VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM

ВЕК РЕВОЛЮЦИИ 1789 - 1848



ЭРИК ХОБСБАУМ

Эрик Хобсбаум

Век
РЕВОЛЮЦИИ
Европа 1789—1848

Ростов-на-Дону
«Феникс»
1999

ББК 63.3 (3) 3
X 68

Научный редактор
канд. ист. наук А. А. Егоров

Хобсбаум Э.

X 68 Век революции. Европа 1789 — 1848 / Пер. с англ. **Л. Д. Якуниной** — Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1999. — 480 с.

ISBN 5-222-00614-X

ББК 63.3 (3) 3

© 1962 by E. J. Hobsbawn
© Оформление изд-ва «Феникс», 1999

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ XIX ВЕКА ЭРИКА ХОБСБАУМА

Работа, предлагаемая вниманию отечественного читателя, давно и хорошо известна по меньшей мере нескольким поколениям читателей на Западе. Впервые увидев свет в 1962 году, она затем была трижды (!) переиздана во второй половине 90-х годов (в 1995, 1996 и 1997 гг.). Уже один этот факт красноречиво свидетельствует о том, что ее автор — британский историк Эрик Хобсбаум, создал произведение поистине выдающееся, талантливо синтезировав огромный, разноплановый, энциклопедический по охвату затронутых проблем материал, выходящий далеко за рамки «чистой» истории.

Слово «энциклопедист», как правило, ассоциируется с Францией второй половины XVIII столетия. Тогда, во времена Дидро и д'Аламбера, Руссо и Вольтера, оно имело вполне реальный, «осязаемый» смысл. Титаны века Просвещения, властители дум своего, и не только своего, поколения, с полным на то правом могли именоваться энциклопедистами и на самом деле являлись ими.

В XIX веке, необыкновенно расширившем горизонты человеческих знаний в самих разных сферах интеллектуальней деятельности, и тем более в космическом XX веке слово «энциклопедист», утратив первоначальный смысл, казалось бы, необратимо стало частью далекого XVIII столетия. Однако в случае с Э. Хобсбаумом и его удивительной книгой все обстоит совершенно иначе. Британский историк отважился создать своеобразную мини-энциклопедию XIX века в трех томах и блестяще осуществил свое

дерзкое намерение. Взяв в качестве точки отсчета Великую Французскую революцию конца XVIII века, исследователь попытался выяснить, как она вместе с промышленной революцией изменила жизнь человечества, заложив фундамент нового мира.

Хобсбаума как исследователя отличают масштабность подхода к изучаемым проблемам, умение видеть их «сверху», как бы «с высоты птичьего полета». Это тем не менее отнюдь не означает столь «модного» у некоторых современных историков пренебрежения фактологией, мелкими и мельчайшими историческими реалиями. То тут, то там автор упоминает детали, скорее более заметные под микроскопом, выстраивая их в сложные, затейливые и в то же время глубоко логичные конструкции. По богатству материала, использованного исследователем, обилию затронутых им тем, оригинальности выводов, к которым пришел британский историк, трехтомник Хобсбаума представляет собой во многом уникальный труд. Из поля зрения автора практически не выпадает ни один из сколько-нибудь важных сюжетов, относящихся к исследуемому им периоду западноевропейской истории: промышленная революция, французская революция, наполеоновские войны, революции 40-х годов, проблема национализма, процессы, проходившие в аграрном секторе экономики стран Европы и их промышленном развитии, положение рабочего класса на Западе, вопросы церковной и светской идеологии, развитие науки и искусства.

Во втором томе своей работы, охватывающем примерно три десятилетия европейской истории (с 1848 по 1875 г.), Эрик Хобсбаум сосредоточил внимание на ключевых проблемах развития промышленного капитализма государств Европы. Как и в первом томе, автор анализирует разнообразные и довольно сложные процессы экономического, политического и духовного роста Европы, каждый из которых достоин отдельного исследования. Он убедительно доказывает, что экспансия капиталистической экономики по всему миру привела к тому, что можно обозначить таким термином, как «европейское преобладание в хозяйственной, политической и культурной жизни человечества».

В центре завершающего тома исследования Э. Хобсбаума —

история последних четырех десятилетий экономического, политического и интеллектуального развития Европы, предшествующих первой мировой войне 1914—1918 годов.

Как и в предыдущих томах своей работы, английский историк разрабатывает широкий комплекс проблем для того чтобы, как выразился сам Хобсбаум, «представить прошлое как единую и цельную сущность   понять, как все эти аспекты прошлой (и настоящей) жизни сосуществуют и почему это возможно».

А. А. Егоров

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга прослеживает преобразования, происшедшие в мире с 1789 по 1848 год, приведшие к так называемой «двойственной революции» — французской революции 1789 года и происходившей одновременно с ней (британской) промышленной революцией. И поэтому она не является историей всей Европы или всего мира. И если какая-либо страна ощущала на себе влияние «двойственной революции» в данный период, я старался, хотя и бегло, этого коснуться. А если влияние революции на какую-либо страну в это время было незначительным, я не упоминал о нем. Поэтому читатель узнает из книги кое-что о Египте, но ничего о Японии, об Ирландии узнает больше, чем о Болгарии, о Латинской Америке — больше, чем об Африке. Естественно, это не означает, что истории не упомянутых здесь стран и народов являются менее любопытными или значительными, чем те, которые освещаются в этой книге. Если дальнейшее развитие стран в основном шло по европейскому или, точнее, по франко-британскому пути, то это происходило потому, что мир, или по крайней мере большая его часть, изменился под воздействием Европы, а именно Франции и Британии. Тем не менее ряд тем, которые можно было бы осветить более подробно, также опущены, не только по причине их объема, но и потому (как в случае с историей США), что они освещаются в других томах этой серии.

Целью данной книги является не детальное освещение событий, а их интерпретация, или, как говорят французы, haute vulgarisation*. Книга эта для читателя с теоретическим складом ума, интеллигентного и образованного гражданина, которого не слишком интересует прошлое, но который желает понять, как и почему мир стал таким, каков он есть сегодня и что его ждет.

* Популяризация (франц.). (*Прим. ред.*)

Поэтому книга эта педантична и не содержит сложных научных терминов, которыми изобилуют подобные труды для более ученой публики.

В моих примечаниях приводятся подлинные цитаты и цифры, а иногда авторитетные суждения, которые особенно противоречивы и неожиданны.

Тем не менее будет справедливо сказать об источниках, которые широко использованы при написании книги. Все историки являются в одних областях знаний большими специалистами, чем в других. Поэтому им необходимо обращаться к трудам других историков. Поскольку период с 1789 по 1848 год освещен в литературе, представляющей собой такой объем, который одному человеку охватить невозможно, даже если бы он владел всеми языками, на которых она написана (на самом деле все историки лишены возможности знать многие языки), то большая часть этой книги опирается на сведения из вторых и даже третьих рук и поэтому, вероятно, содержит ошибки и неточности, о которых автор сожалеет. В библиографии дается рекомендация для дальнейшего изучения.

Хотя ткань истории не может быть расплетена на отдельные нити так, чтобы не быть разрушенной, все-таки некоторое расчленение вопроса практически необходимо. Мне пришлось разделить книгу на две части. В первой широко освещаются основные изменения этого периода, тогда как во второй рассказывается о том, какое общество было создано в результате двойственной революции. В них содержатся умышленные частичные совпадения.

Выражаю благодарность многим людям, с которыми я обсуждал различные проблемы, затронутые в этой книге, которые читали главы в черновиках или гранках, но, разумеется, не несут ответственности за мои ошибки, а именно: Дж. Д. Берналу, Дугласу Дэйкину, Эрнсту Фишеру, Фрэнсису Хаскелу, Х. Г. Кенигсбергу и Р. Ф. Лесли. Глава 14 была написана в особенности благодаря идеям Эрнста Фишера. Мисс П. Ральф оказала значительную помощь как секретарь-ассистент. Мисс Е. Мейсон составила указатель.

Лондон, декабрь 1961 г.

Е. Дж. Х.

ВВЕДЕНИЕ

Слова свидетельствуют зачастую лучше документов. Давайте рассмотрим некоторые английские слова, изобретенные или получившие свое современное значение особенно в период 60-х годов, о которых идет речь в этой книге. Это такие слова, как «промышленность», «промышленник», «фабрика», «средний класс», «рабочий класс», «капитализм» и «социализм». К ним относятся «аристократия», а также «железная дорога», «либеральный» и «консервативный» — как политические термины, «национальность», «ученый» и «инженер», «пролетариат» и (экономический) «кризис». «Утилитарный» и «статистический», «социология» и некоторые другие названия современных наук, «журналистика» и «идеология», все это новые слова или новое их применение, придуманные в этот период*. Таковыми являются «стачка» и «пауперизм».

Вообразив себе современный мир без этих слов (т. е. без вещей и понятий, которые обозначают слова), можно измерить пропасть, в которую мир был ввергнут этой революцией, разразившейся между 1789 и 1848 гг, и которая вызвала величайшее с тех незапамятных времен, когда люди изобрели сельское хозяйство и металлургию, письменность, город и государство, преобразование в человеческой истории. Революция преобразовала и про-

* Большинство из них либо получили международное употребление, либо были просто переведены на различные языки. Так и «социализм», и «журналистика» стали интернациональными словами, тогда как словосочетание «железная дорога» стало основным названием рельсового пути повсюду, кроме той страны, в которой оно появилось.

должает преобразовывать весь мир. Но говоря об этих преобразованиях, мы должны ясно различать долговременные результаты, которые не могут быть сведены к какой-либо социальный схеме, политической организации или распределению международных сил и ресурсов, от ее ранней и решающей фазы, которая была тесно связана с особым социальным и международным положением. Великая революция 1789—1848 гг. явилась триумфом не «промышленности» как таковой, а капиталистической промышленности, не свободы и равенства среднего класса или «буржуазного» либерального общества, не «современной экономики» или «современного государства», но экономики и государства в определенном географическом районе мира (части Европы и некоторых областях Северной Америки), центром которых были соседние государства — Великобритания и Франция. Преобразования 1789—1848 гг. стали по существу двойным переворотом, происшедшим в тех двух странах, и были распространены отсюда по всему миру

Таким образом, эта двойственная революция может рассматриваться не только как французская политическая и британская промышленная революции, не только как нечто, относящееся к истории двух государств, которые были ее главными носителями и символами, но скорее как двойной кратер довольно значительного действующего вулкана. Не является случайным и безынтересным то, что одновременные извержения, происшедшие во Франции и Британии, обладали небольшими отличиями. Но с точки зрения историка, как и с точки зрения китайского или африканского обозревателя, более уместно отметить, что они произошли так или иначе на северо-западе Европы и в ее заокеанских владениях и что они, возможно, не могли быть ожидаемы в то время в какой-либо другой части света. Также уместно заметить, что они почти невероятны в какой-либо иной форме, нежели в форме победы буржуазно-либерального капитализма.

Очевидно, что такое глубокое преобразование невозможно понять, не заглянув в историю намного раньше, чем 1789 г., и даже на десятилетие, предшествовавшее ей и вызвавшее кризис старого порядка северо-западного мира, который двойственная рево-

люция должна была смести. Считаем ли мы или нет американскую революцию 1776 г.[1] взрывом, подобным тому, что произошел в Англии и Франции, или их основной предвестницей и катализатором, придаем ли мы важное значение конституционному кризису и экономическим преобразованиям 1760—1789 гг., которые наглядно объясняют совпадение великого прорыва, но не его основные причины. Как далеко назад в историю пришлось бы вернуться исследователю — к английской революции середины XVII в.[2], Реформации[3] и началу военного завоевания Европой всего мира и эксплуатации колоний в начале XVI в., или еще раньше — для наших целей это неважно, поскольку такой анализ истории вывел бы нас далеко за пределы темы нашего исследования.

Нам же необходимо рассмотреть социальные и экономические силы, политические и интеллектуальные инструменты этих преобразований, которые были уже подготовлены всеми событиями в этой части Европы, достаточно обширной, чтобы революционизировать остальную ее часть, и в нашу задачу не входит изучение возникновения мирового рынка, наиболее активного класса личных предпринимателей или даже (в Англии) состояния, которое способствовало принятию закона об увеличении до предела личной ответственности — что явилось основой политики правительства. Мы также не собираемся прослеживать эволюцию технологии, научных знаний или рассматривать идеологию индивидуалиста, светского человека, рационалистическую веру в прогресс.

Мы допускаем, что до 1780-х годов все эти явления существовали, хотя не можем с уверенностью сказать, что они были широко распространены и получили полное развитие. Напротив, мы хотели бы предостеречь всех от соблазна найти новизну во внешних проявлениях двойственной революции, исходя из простоты одежд людей, совершавших ее. Несомненным фактом является то, что Робеспьер[4], Сен-Жюст[5] по своей одежде, манерам и речи не выглядели бы неуместно в гостиной старого режима, а также и то, что Иеремия Бентам[6], чьи реформаторские идеи выражали взгляды британской буржуазии 1830-х годов, был тем

самым человеком, кто предлагал те же идеи российской императрице Екатерине Великой[7], и то, что государственные деятели, представлявшие крайние политические и экономические интересы среднего класса, были членами британской палаты лордов.

Таким образом, нашей задачей является не объяснение существующих черт новой экономики и общества, а рассказ об их победе, стремление проследить не постепенное разрушение устоев предыдущих столетий, но их решительную победу над ними. А другая задача состоит в том, чтобы проследить те глубокие изменения, которые привели к мгновенной победе в странах, которые были ими затронуты, и в остальном мире, вовлеченном в столкновение новых сил: «победа буржуазии» — так назывался этот период недавней мировой истории.

А поскольку двойственная революция возникла в одной части Европы и ее мгновенные результаты были наиболее очевидны именно там, история, с которой знакомит это издание, — региональна. Так же очевидно и то, что от этого двойного кратера англо-французской революции, она распространилась по всему свету, а потому ясно, что она приняла форму европейской экспансии и победы во всем мире. Очевидно, что ее наиболее разительным последствием для мировой истории было установление господства нескольких режимов (и особенно Британии) над всем миром, чему в истории нет аналогов. Перед купцами, паровыми двигателями, кораблями и пушками Запада — и перед его идеями — отступили и рассыпались в прах вековые цивилизации и империи. Индия стала провинцией, управляемой британскими проконсулами. Исламские государства были сотрясаемы кризисами, Африка была открыта для прямого завоевания. Даже Великую Китайскую империю заставили в 1839—1842 гг. открыть свои границы для эксплуатации территории западными правительствами и бизнесменами[8], перед которыми открывалась беспрепятственная возможность для развития западноевропейского капиталистического предпринимательства.

И все-таки история двойственной революции не является лишь победой нового буржуазного общества. Это также история появления тех сил в эпоху революции 1848 г., которым суждено бу-

дет превратить экспансию в сжатие. Более того, к 1848 г. это необычайное грядущее изменение судьбы было уже до некоторой степени явственно. По общему признанию, всемирный мятеж против Запада, который распространился в середине XX в., был тогда едва заметен. Только в исламском мире мы можем наблюдать первые стадии процесса, благодаря которому народы, побежденные Западом, переняли его идеи и технологии, для того чтобы повернуть их против того же Запада в начале внутренней западнической реформы в Турецкой империи в 1830-х и прежде всего в выдающейся карьере Мохаммада Али в Египте. Но в самой Европе силы и идеи, которые предвидели победу нового общества, уже зарождались. «Призрак коммунизма» уже бродил по Европе в 1848 г. В 1848 г. он был изгнан. В течение долгого времени он оставался бессильным, какими на самом деле бывают призраки, особенно в западном мире, где многое сразу же изменилось под воздействием двойственной революции. Но если мы окинем взглядом весь мир в 1960-е годы, у нас исчезнет соблазн недооценивать историческую силу революционного социализма и коммунистической идеологии, рожденных как ответ на двойственную революцию и к 1848 году впервые получивших свое классическое определение. Исторический период, который начинается с создания первой фабричной системы современного мира в Ланкашире и французской революции 1789 г., заканчивается строительством первой сети железных дорог и публикацией Коммунистического манифеста.

Часть I

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ

ГЛАВА 1

МИР В 1780-х годах

Le dix-huitième siècle doit être mis au Panthéon.
Сен-Жюст[1*]

I

Первое, что можно отметить, взглянув на мир 1780-х годов, это то, что он был намного меньше и намного больше, чем мир наших дней. Он был меньше географически, потому что даже прекрасно образованные и прекрасно информированные люди, жившие тогда — ну, скажем, такой человек, как ученый и путешественник Александр фон Гумбольдт (1769—1859), — знали только обитаемые участки Земли на глобусе («известные земли» с менее развитыми обществами, чем в Западной Европе, понятно, были даже меньше, сужаясь до мелких клочков земли, на которых неграмотный сицилийский крестьянин или земледелец с бирманских холмов проживал свою жизнь и кроме которых все и всегда было неизвестно). Большая часть поверхности океанов, хотя ни в коем случае не вся эта поверхность, уже была освоена и нанесена на карту благодаря замечательным способностям мореплавателей XVIII в., таким, как Джеймс Кук[9], хотя человеческие знания о морском дне оставались незначительными вплоть до середины XIX столетия. Главные очертания континентов и большинства островов были известны, но, по современным меркам, не слишком точно. Протяженность и высота горных хребтов Европы были известны не очень точно, Латинской Америки — очень приблизительно, Азии — изучены крайне мало, Африки (за исключением Атласских гор) — совсем не были изучены. Течения великих рек мира (за исключением рек Китая и Ин-

дии) были неизвестны всем, кроме нескольких охотников, купцов, лесничих, которые могли знать те местности. За исключением некоторых районов на отдельных континентах, им не приходилось проникать в глубь континента более чем на несколько миль от побережья — карта мира состояла из белых пятен, пересеченных тропами торговцев или исследователей. И если бы не труднодобываемая информация из вторых и третьих рук, собранная путешественниками или служащими в отдаленных факториях, эти белые пятна были бы еще обширнее.

Не только «известный мир», но и действительный мир, по крайней мере по своему народонаселению, был меньше, чем теперь. Поскольку для практических целей необходима перепись населения, все демографические исследования довольно приблизительны, но очевидно то, что население Земли составляло тогда только часть сегодняшнего, возможно, не более трети.

Из наиболее часто приводимых подсчетов, не слишком далеких от реальности, население Азии и Африки было намного меньше, чем теперь, в Европе в 1800 г. оно составляло 187 млн (против сегодняшних 600 млн), а населения Америки в 1800 г. по отношению к нынешнему населению еще меньше. В 1800 г. приблизительно два человека из каждых трех проживали в Азии, один из каждых пяти — европеец, один из каждых десяти — африканец и один из тридцати трех — американец или житель Океании. И естественно, что тогда на земле плотность населения была гораздо меньше, исключая, возможно, некоторые небольшие регионы интенсивного земледелия и высокой концентрации городского населения, таких как отдельные части Китая, Индии, Западной и Центральной Европы, в которых по сравнению с современной плотность населения также была велика. При меньшем населении соответственными были и области эффективного человеческого поселения. Климатические условия (возможно, немного более холодные и влажные, чем сегодня, хотя не настолько холодные и влажные, как во времена «малого ледникового периода» с 1300 по 1700 г.), отодвинули поселения дальше в Арктику. Эндемические болезни типа малярии также ограничивали поселение во многих районах, например Южной Италии, где при-

брежные равнины, не населенные длительное время, постепенно были заселены в течение XIX в. Примитивные формы экономики, а именно охота и (в Европе) территориальное растительное сезонное разведение домашнего скота, вызывали необходимость создания больших поселений вне густонаселенных регионов — таких как равнины Апулии.

В начале XIX в. путешественники по Римской Кампанье обычно описывали ее пейзажи так: пустая малярийная равнина с изредка попадающимися развалинами, мало крупного рогатого скота, иногда встречается живописный разбойник. И, конечно, большую часть пахотной земли до сих пор, даже в Европе, занимали неплододородная степь, болота, плохие пастбища или лес.

Люди были ниже ростом по крайней мере на треть: европейцы были в большинстве своем заметно ниже и худощавее, чем они стали теперь. Иллюстрацией этому является множество статистических отчетов о физическом состоянии призывников, на которых основывается такой вывод: в одном из кантонов Лигурийского побережья 72% рекрутов в 1792—1799 гг. были высотой 1,5 м (5 футов 2 дюйма)[2*] Это не значит, что люди конца XVIII в. были слабее, чем мы теперь. Сухопарые, низкорослые, не получившие строевой подготовки солдаты французской революции были так же физически выносливы, как сегодня низкорослые горцы-партизаны, воюющие в колониях. Непрерывные марши в течение недель, с полной выкладкой, со скоростью 30 миль в день были обычным делом. Тем не менее несомненным остается то, что тогда, по нашим стандартам, физические способности человека были очень невелики, и им придавалось исключительное значение королями и генералами, которые в свои элитные гвардейские полки и в кирасиры отбирали высоких парней.

Но хотя мир был во многих отношениях меньше, большие трудности и неопределенность коммуникаций на практике делали его гораздо больше, чем теперь. У меня нет желания преувеличивать эти трудности. Конец XVIII в. был, по меркам средних веков или XVI в., эрой обширных и быстрых коммуникаций и даже до того, как были построены железные дороги, улучшен-

2 Зак. 82

ные дороги, дилижансы[10], почтовая служба были на высоте. Между 1760-ми годами и концом века поездка из Лондона в Глазго длилась не 10—12 дней, а лишь 62 часа. Система почтовых экипажей, или дилижансов, введенная во второй половине XVIII в., широко распространилась с конца наполеоновских войн и до появления железнодорожного сообщения, которое не только способствовало относительному увеличению скорости — в 1833 г. почтовая связь между Парижем и Страсбургом занимала 36 часов, — но также и ее регулярности. Однако обеспечение наземного пассажирского транспорта было слабым, а наземная перевозка грузов была и медленна и очень дорога. Для тех, кто осуществлял государственные дела или занимался торговлей, связь имела первостепенное значение: установлено, что 20 млн писем было доставлено британской почтой в начале наполеоновских войн (а в конце этого периода их было доставлено в 10 раз больше), но подавляющему большинству населения земного шара письма были не нужны, так как они не умели читать, и путешествовали, исключая разве что поездки на рынок и с рынка, крайне редко. Если они или их товары перемещались по земле, это было в большинстве случаев пешком и на небольшой скорости на телегах, которые даже в начале XIX в. перевозили 5/6 французских товаров со скоростью менее чем 20 миль в день. Курьеры мчались на большие расстояния с депешами, форейторы управляли почтовыми каретами, в которых перевозили, трясясь по ухабам, около дюжины пассажиров, или, если коляска была подвешена на ремнях, укачивая их, как при морской качке. Дворяне путешествовали в собственных каретах. Но большая часть населения перемещалась со скоростью погонщика, идущего рядом со своей лошадью или мулом, являвшимися наземным транспортным средством.

В тех условиях водный транспорт был не только удобнее и дешевле, но часто также (исключая такие препятствия, как ветер и погода) и быстрее прочих видов транспорта. Во время путешествия по Италии Гёте понадобилось 4 и 3 дня соответственно, чтобы проплыть из Неаполя до Сицилии и обратно. Если бы ему пришлось преодолевать данное расстояние по суше, то это со-

всем не доставило бы ему удовольствия. В то время располагать портом означало иметь связь со всем миром, и действительно: от Лондона было ближе до Плимута или Лейта, чем до деревень в Брекланде, графство Норфолк; Севилья была куда ближе к Веракрусу, чем к Вальядолиду; из Гамбурга ближе до Багии, чем до Померании, удаленной от моря. Главным недостатком водного транспорта была его зависимость от погоды. Даже в 1820 г. почтовая перевозка из Лондона до Гамбурга и Голландии осуществлялась только два раза в неделю, до Швеции и Португалии — только раз в неделю, а до Северной Африки — раз в месяц. И поэтому нет сомнения в том, что Бостон и Нью-Йорк имели более тесные связи с Парижем, чем, скажем, Карпатская область Марамарош с Будапештом. И так же, как было легче перевезти грузы и людей в большом количестве на большие расстояния по океанам, легче было, к примеру, проплыть под парусами 44 000 км до Америки из северо-ирландских портов за пять лет (1769—1774), чем преодолеть 5 000 км до Данди за три поколения — таким образом, легче было добраться до отдаленной столицы, чем до деревни или другого города. Новость о взятии Бастилии достигла жителей Мадрида за 13 дней, а до Перона, в 133 км от столицы, новости из Парижа пришли не раньше 28 июля.

Мир в 1789 г. был, таким образом, для большинства людей необъятным. Многие из них, за исключением вырванных из своего гнезда ужасной судьбой, воинской службой, жили и умирали в своем округе и зачастую в том же приходе, где родились. К 1861 г. более 9 из каждых 10 человек в 70 из 90 департаментов Франции жили в том же самом департаменте, где родились. Остальная земля являлась предметом интереса правительственных служащих, о ней знали лишь понаслышке. Газет не существовало, за исключением тех, что можно было пересчитать по пальцам одной руки, для средних и высших классов; 5 000 экземпляров был обычный тираж французского журнала даже в 1814 г. — и в любом случае немногие могли его читать. Новости приходили в основном с путешественниками и с мигрирующей частью населения: купцами, торговцами, наемными и сезонными рабочими, ремесленниками, многочисленными бро-

дягами и безногими калеками, странствующими монахами, паломниками, контрабандистами, разбойниками, ярмарочным людом и, конечно, солдатами, которые обрушивались на население во время войны или размещались гарнизонами в мирное время. Обычно новости приходили через официальные каналы — государство или церковь. Но даже большинство муниципальных служащих государственных или вселенских организаций были местными жителями, или людьми, поставленными на пожизненную службу в такого рода организациях. Центральное правительство назначало правителя в колонии и посылало на службу в местную администрацию — но такая практика только устанавливалась. Из всех младших офицеров, возможно, лишь полковые офицеры не ограничивались определенным местом нахождения, утешаясь только разнообразием вина, женщин и лошадей в своей округе.

II

Таким образом, мир в 1789 г. был преимущественно сельским, и никто не может это понять, пока не примет к сведению этот основополагающий факт. В России, Скандинавии или Балканских государствах, в которых город никогда не был развит, около 90—97% населения являлись сельскими жителями. Даже в районах с сильной, хотя и разрушительной городской традицией, процент сельского населения был чрезвычайно высок: 85% в Ломбардии, 72—80% в Венеции, более чем 90% в Калабрии и Лукании — в соответствии с имеющимися исследованиями[3*] Фактически вокруг нескольких процветающих промышленных или торговых центров мы не смогли бы найти европейского государства, в котором по крайней мере четыре из каждых пяти жителей не были бы сельскими. И даже в самой Англии городское население впервые превысило сельское лишь в 1851 г.

Слово «городской», конечно, двусмысленно. Оно относится к двум европейским городам в 1789 г., действительно большим по нашим меркам: Лондону — с населением около миллиона

человек, и Парижу, с населением около полумиллиона, и двум десяткам или около того городов с населением 100 000 или более того: два во Франции, два в Германии, четыре в Испании, возможно, пять в Италии (в удаленной от берегов моря ее части, традиционно считавшейся матерью городов), два в России и по одному в Португалии, Польше, Голландии, Австрии, Ирландии, Шотландии и Европейской Турции. Но оно включает также и множество малых провинциальных городов, где проживало большинство городского населения, городков, в которых человек мог за несколько минут дойти от церковной площади, окруженной городскими зданиями и учреждениями, до полей. Из всего лишь 19% австрийцев, живших в городах даже в конце изучаемого нами периода (1834), более трех четвертей жили в городах с населением менее 20 тыс., около половины — в городах с населением от 2 до 5 тыс. Это были города, по которым бродили французские поденщики, совершая свой «Тур де Франс»; чьи очертания XVI в. сохранились как мухи в янтаре, благодаря застою последующих столетий; романтические поэты Германии вызывали восхищение на фоне их спокойных пейзажей; городами, над которыми возвышались вершины испанских кафедральных соборов, где грязные евреи-хасиды благоговели перед своими чудотворцами-раввинами, а ортодоксы спорили о пророческих тонкостях Закона Божия; в которые гоголевский ревизор ехал для устрашения богатых, а Чичиков размышлял о покупке мертвых душ. Но это также были города, из которых приезжали горячие и честолюбивые молодые люди, чтобы совершить революции или сколотить свой первый миллион, или и то и другое вместе. Робеспьер прибыл из Арраса, Гракх Бабеф[11] — из Сен-Кантена, Наполеон — из Аяччо.

Те провинциальные городки были все-таки городами, хотя и маленькими. Коренные горожане смотрели на окрестные деревни свысока, с презрением остроумных и образованных людей в отношении крепких, медлительных, невежественных и глупых деревенских жителей. (В представлениях нормальных людей полусонным захолустным городкам было нечем похвалиться: в популярной немецкой комедии высмеивается «Скандальный горо-

док» — тем сильнее, чем более очевидна тупость деревенщины). Различие между городом и деревней, или скорее между жителями города и деревни, было разительным. Во многих странах их разделяло нечто вроде стены. В экстремальных случаях, например, в Пруссии правительство, стараясь удержать своих налогоплательщиков под надежным присмотром, ввело фактически полное разделение городской и сельской деятельности; даже там, где не было такого жестокого административного деления, горожане часто физически отличались от сельских жителей. На обширной территории Восточной Европы существовали немецкие, еврейские или итальянские островки, затерянные в озерах из славян, венгров и румын. Даже горожане одной и той же религии и национальности отличались от окрестных сельчан, они носили другую одежду и в самом деле были в большинстве случаев (за исключением эксплуатируемых тружеников работных домов и фабричного люда) выше ростом, а возможно, также стройнее*. Они обычно гордились своей понятливостью и образованностью, хотя в силу своего образа жизни были почти столь же неосведомлены о том, что происходит в непосредственной близости от их области, и почти так же отрезаны от мира, как и сельские жители.

Провинциальный город, в сущности, все так же относился к сельскому обществу и сельской экономике. Он жил, преуспевая за счет окружающего крестьянства и (за немногими исключениями) еще мало чем от него отличался.

Его профессиональными и средними классами были торговцы зерном и крупным рогатым скотом, переработчики сельхозпродукции, юристы и нотариусы, которые вели дела благородных сословий или бесконечные тяжбы, всегда существовавшие между земледельческими общинами, коммерсантами, которые занимали или давали в долг, и между сельскими прядильщиками и ткачами; более уважаемых представителей правительства,

* Так, в 1823—1827 гг. горожане в Бреслау были в среднем на 3 см выше, чем люди из окрестных сел; горожане из Лувена — на 2 см. По этому вопросу сведения взяты из военной статистики XIX в.[4*]

дворян или церкви. Его ремесленники и лавочники снабжали соседних крестьян или горожан, которые жили вне села. Провинциальный город приходил в упадок со времен своего расцвета в средние века. Редко встречался «вольный город»[12] или «город-государство»[13], еще реже центр производства с большим рынком или почтовая станция международной торговли. Поскольку такой город приходил в упадок, он льнул с возрастающим упорством к местной монополии с ее рынком, где мог получить защиту от пришлых: закоренелый провинциализм, который высмеивался молодыми радикалами и журналистами больших городов, проистекал из стремления этих городов к экономической самозащите. В Южной Европе в таких городах дворяне и даже иногда знатные господа жили на ренту со своих имений. В Германии бюрократия бесчисленных малых княжеств сама владела огромными имениями, осуществляя руководство, выполняя волю Его Святейшества по сбору годового дохода с покорных и забитых крестьян. Провинциальный город конца XVIII в. мог быть процветающим и растущим, и тогда в центре его преобладали каменные здания в современном классическом стиле или в стиле рококо[14], до сих пор сохранившиеся в городах Западной Европы. Но процветание было связано с сельской местностью.

III

Аграрный вопрос был главным в 1789 г., и отсюда ясно, почему первая академическая школа европейских экономистов — французские физиократы[15] пришли к выводу, что земля и земельная рента являются источником чистого дохода, а суть аграрного вопроса заключалась в связи между теми, кто обрабатывал землю, и теми, кто владел ею, между теми, кто производил продукцию, и теми, кто присваивал ее.

С точки зрения отношений земельной собственности, мы можем разделить Европу — или даже экономические отношения, центр которых находится в Западной Европе, на три больших составных части. К западу от Европы находятся заокеанские коло-

нии. В них, за исключением Северных Соединенных Штатов Америки и еще немногих менее значительных зон свободного земледелия, трудились типичные земледельцы: индейские рабочие, принуждаемые трудиться или фактически рабы — негры, работавшие как рабы, несколько реже — сельские арендаторы, издольщики или что-то вроде этого. (В колониях Ост-Индии, где прямое возделывание земли европейскими плантаторами встречалось довольно редко, типичной формой принуждения у земельных инспекторов была поставка части урожая, пряностей или кофе на голландских островах.) Другими словами, типичный земледелец был несвободен или политически принуждаем. Типичный помещик владел огромным, почти феодальным имением (асиендой[16], финкой, эстансией) или плантацией, на которой работали рабы. Отличительными чертами поместья полуфеодального типа были примитивизм, замкнутость и ориентация исключительно на местные потребности: Испанская Америка экспортировала добываемую фактическими рабами-индейцами горнорудную продукцию и ничего из сельскохозяйственной. Особенностью хозяйства зоны рабовладельческого плантаторского земледелия, центр которого находился на Карибских островах, на Северном побережье Южной Америки (особенно в Северной Бразилии) и на южном побережье США, было производство небольшого количества жизненно важной продукции на экспорт: сахара, в меньшей степени табака и кофе, красителей и начиная со времени промышленной революции — в основном хлопка. Тем не менее это давало существенную часть сырья для экономики Европы, а также торговля рабами из Африки. Основательно освещая историю этого района в охватываемый период, следует отметить уменьшение экспорта сахара и увеличение экспорта хлопка. К востоку от Западной Европы, особенно восточнее линии, проходящей по реке Эльбе, сегодня это западные границы Чехословакии, а тогда юг Триеста, отделяющей Восточную Австрию от Западной, располагается район аграрного крепостного хозяйства. По общественному устройству юг Итальянской Тосканы и Умбрии и Южная Испания относились к этому району, хотя Скандинавия (за исключением Дании и Южной Швеции) не входила в него.

Эта обширная зона включала и земельные участки специально освобожденных крестьян: германские крестьяне-колонисты стекались отовсюду на Волгу; фактически независимые общины на диких каменистых почвах удаленной от моря Иллирии с почти такими же дикими крестьянами-воителями, как пандуры[17] и казаки; земля, на которой незадолго до этого стояли военные крепости между христианами и турками или татарами; свободные поселенцы-первопроходцы, неподвластные ни правителям, ни государству, или те, кто жил в диких лесах, там, где было невозможно широкомасштабное возделывание земли. В целом тем не менее само земледелие было несвободным и почти пропитанным рабством, которое утвердилось с конца XV — начала XVI в. Оно было менее наглядно на Балканах, которые до тех пор находились под турецким владычеством. Хотя турецкая феодальная аграрная система первоначально предусматривала грубый раздел земли между турецкими воинами без права наследования, впоследствии она переродилась в систему сословий, наследующих землю под магометанским правлением. Эти владельцы редко занимались земледелием. Они буквально выжимали все, что можно, из своих крестьян. Вот почему на Балканах, землях к югу от Дуная и Савы, после турецкого господства возникли в XIX и XX столетиях аграрные, хотя чрезвычайно бедные государства, а не страны с единой аграрной собственностью. Таким образом, балканский крестьянин был по закону несвободен как христианин и фактически несвободен как крестьянин, по крайней мере до тех пор, пока находился на земле землевладельца. Во всех же остальных странах обычный крестьянин был рабом, большую часть недели принудительно трудясь на землевладельца либо неся другие повинности, равноценные полевым работам. Его рабство было настолько велико, что крестьянин приравнивался к движимому имуществу, как в России и в тех частях Польши, где он мог быть продан отдельно от земли: объявление в «Gazette de Moscou» за 1801 г. гласило: «Продаются три кучера, хорошо выученные и приличные с виду, также две девушки, 18 лет и 15 лет, обе хороши собой и умеют выполнять любую ручную работу. В этом же доме продаются два парикмахера, одному 21 год, умеет

читать, писать, играть на музыкальном инструменте и служить форейтором, другой может причесывать дам и господ, а также продаются пианино и органы». (Большинство крепостных служили как домашние слуги, в России это почти 5% всех крепостных в 1851 г.[5*]). В странах Прибалтийского региона, через которые пролегал главный торговый путь в Западную Европу, в сельском хозяйстве, основанном на рабском труде, производилась продукция, экспортируемая в основном для стран, ввозивших с востока зерно, лен, пеньку, древесину, главным образом используемую в кораблестроении. В некоторых местах больше рассчитывали на внутренний ранок, в котором находился по крайней мере один доступный регион с развитым мануфактурным производством и городами (Саксония и Богемия и крупная столица Вена). Большинство же мест оставались отсталыми. Открытие торговли на Черном море и рост городов в Западной Европе, а именно в Англии, только теперь начали стимулировать экспорт зерна из российского черноземья, которому суждено было оставаться главным продуктом, производимом в этом регионе, до проведения индустриализации в СССР. Таким образом, Западная Европа может считаться экономически зависимой от восточных территорий крепостнического хозяйства, как продовольственной и сырьевой базы, так же как от заморских колоний.

Крепостничество в Италии и Испании имело подобные же экономические характеристики, хотя правовое положение крестьян было несколько иное.

В большинстве своем это были земли со множеством поместий знатных сеньоров. Вполне возможно, что на Сицилии и в Андалузии некоторые из них были потомками римских латифундистов, чьи рабы и колоны[18] превратились в типичных безземельных поденщиков в этих регионах. Выращивание крупного рогатого скота, производство хлеба (Сицилия с античных времен экспортировала зерно) — все это вымогалось у бедного крестьянства, обеспечивая доход князей и баронов, которые ими владели.

Особенностью землевладения в зоне крепостнического хозяйства было то, что знатные землевладельцы, или эксплуататоры, обладали большими поместьями. Огромные владения потрясают воображение: Екатерина Великая каждому своему фа-

вориту раздавала от 40 до 50 тыс. душ крепостных; польские Радзивиллы владели такой же территорией, как половина Ирландии, Потоцкий владел 3 млн акров на Украине; Эстергази из Венгрии (покровитель Гайдна[19]) одно время владел почти 7 млн акров. Владения в несколько сотен тысяч акров были обычным явлением*. Часто, будучи запущенными, первозданными и непроизводительными, они приносили сказочные доходы. Испанский гранд мог, по свидетельству приезжего из Франции в бесплодную Медину, Сидонию, господствовать как лев в лесах, чье рычание пугает всех, кто приближается к нему[7*], он не был стеснен в деньгах даже по широким стандартам британского милорда.

Ниже магнатов находился класс сельских дворян различного уровня и дохода, эксплуатирующий крестьянство. В некоторых странах это был очень большой класс, сравнительно бедный и недовольный, отличавшийся от недворян главным образом своими политическими и социальными привилегиями и нежеланием заниматься неблагородным занятием — трудом. В Венгрии и Польше он насчитывал где-то около $^1/_{10}$ населения, в Испании к концу XVIII в. — около полумиллиона, или в 1827 г. до 10% всего дворянства Европы[8*], в других странах его численность была гораздо меньше.

IV

В других странах Европы аграрная структура общества была различна. Для крестьянина или рабочего любой, кто владел недвижимостью, был «джентльменом» и членом правящего класса, и наоборот, знатное происхождение (которое давало социальные и политические привилегии), бывшее в то время фактически единственным путем в высшие эшелоны политической

* В Чехословакии после 1918 г. были конфискованы земли у 80 владельцев поместий, каждое из которых превышало 25 000 акров (10 000 га), среди них 500 000 акров у Шёнборнов и Шварценбергов, 400 000 — у Лихтенштейнов, 170 000 — у Кински[6*].

власти, не мыслилось без обладания недвижимостью. Во многих странах Западной Европы феодальный порядок, который порождал такой образ мыслей, был до этого времени политически действенным, хотя экономически все более устаревал. В самом деле, его экономический упадок, который влек за собой отставание доходов дворянства от неотступного роста цен и расходов, заставлял аристократию использовать свое неотчуждаемое имущество, привилегии от рождения и положение во все большей мере. По всему европейскому континенту благородные дворяне расталкивали своих низкородных соперников: к примеру, в Швеции, где число офицеров из простонародья уменьшилось с 66% в 1719-м (42% в 1700 г.) до 23% в 1780 г.[9*], а также и во Франции, где «феодальная реакция»[20] ускорила французскую революцию (см. ниже гл. 3). Но даже там, где это соотношение было в некотором роде неустойчивым, как во Франции, где попасть в ряды землевладельческой знати было относительно легко, или даже в Британии, где владение землей и дворянский статус были наградой за богатство, при условии, что оно было достаточно велико, связь между положением владельцев имений и правящим классом сохранилась и позже даже стала более тесной.

Тем не менее в экономическом отношении западное городское общество было очень разнообразно. Типичный крестьянин утратил многое из своего рабского положения со времен позднего средневековья[21], хотя до сих пор сохранял немало беспокоящих его признаков фактической зависимости. Типичное имение давно перестало являться разновидностью экономического предприятия и стало средством извлечения денежных доходов и рент... Более или менее свободный крестьянин — владелец крупного, среднего или мелкого земельного участка — был только возделывателем земли, арендатор платил землевладельцу ренту (или в некоторых районах часть урожая). Физический землевладелец все-таки находился под властью местного господина, которому полагалось платить налог, выражавшийся как в деньгах, так и в виде обязательства возить свое зерно только на мельницу хозяина, а также выплачивать налоги королю, десятину церкви[22] и нести некоторые другие повинности, которые

сильно контрастировали с соответствующим освобождением от налогов высших слоев общества. И если убрать эти политические долговые обязательства, большая часть Европы предстала бы как регион сельскохозяйственный; обычно в таком районе меньшинство зажиточных крестьян становились фермерами-торговцами, продающими излишки своего урожая на городском рынке, а большинство мелких и средних сельских владельцев жили в так называемой независимости от своих участков земли в тех случаях, если те были настолько малы, что их владельцам приходилось часть времени быть наемными рабочими в сельском хозяйстве или на фабрике.

И не так много существовало районов, в которых сельское хозяйство уже продвинулось в своем развитии на один шаг к настоящему капиталистическому сельскохозяйственному производству. Англия была ближе всех к такому производству. В этих районах землевладение достигло большой степени концентрации, но там производитель был фермером среднего достатка, торгующим и использующим наемный труд в своем хозяйстве. Но росло и число малоимущих, батраков, что омрачало картину. И когда они были окончательно разорены (приблизительно между 1760 и 1830 гг.), вместо крестьянства возник класс сельскохозяйственных предпринимателей, фермеров и многочисленный сельский пролетариат. Не во многих европейских районах в сельском хозяйстве было развито коммерческое капиталовложение, как на некоторых территориях Северной Италии и Нидерландов, где специально выращивался урожай на продажу, что являлось проявлением капиталистических черт хозяйствования. Впрочем, это было редкостью. Еще большим исключением являлась Ирландия, злосчастное островное государство, которое сочетало в себе недостатки окраины Европы с близостью к районам с самой развитой экономикой. Там множество пришлых латифундистов, подобных тем, что были в Андалузии или на Сицилии, эксплуатировали огромные массы арендаторов через грабительскую денежную ренту.

В основном сельское хозяйство Европы так и оставалось, за исключением немногих развитых районов, в техническом отно-

шении ужасающе отсталым. Сельскохозяйственные продукты были преимущественно традиционными: рожь, пшеница, ячмень, овес, а в Восточной Европе — гречиха, основной продукт питания, крупный рогатый скот, овцы, козы и их молочные продукты, свиньи и домашняя птица, определенное количество фруктов и овощей, вино и сырье для промышленности, такое как шерсть, лен, пенька на канаты, ячмень на пиво и др. Пищевая продукция Европы оставалась региональной. Продукты других климатических поясов были еще редкостью и приравнивались к роскоши, за исключением, возможно, сахара, наиболее важным продуктом, импортируемым из тропиков, чья сладость оборачивалась для человека самой большой горечью. В Англии (по общему признанию, наиболее развитой стране) среднегодовое потребление сахара на душу населения в 1790-х годах составляло 14 фунтов[23]. Но даже в Англии среднее потребление чая в год французской революции едва ли составлял 2 унции[24] в месяц.

Новые продукты, привозимые из Америки или других тропических регионов, помогали прогрессу. В Южной Европе и на Балканах кукуруза уже была широко распространена и приносила пользу предприимчивым балканским крестьянам, выращивавшим ее на своих участках, а в Северной Италии успешно сеяли рис. Табак выращивался в ряде княжеств и в основном на него была правительственная монополия из фискальных соображений, хотя его потребление, по современным меркам, было незначительно: средний англичанин в 1790 г. курил, нюхал или жевал около $^{1}/_{3}$ унции табака в месяц. Шелководство распространилось в некоторых частях Южной Европы. Чемпион среди новых сельскохозяйственных продуктов, картофель, еще только внедрялся, за исключением, возможно, лишь Ирландии, где его способность накормить людей с одного акра[25] больше, чем посредством любого другого продукта, уже сделала его главным продуктом питания. Вне Англии и в менее развитых странах систематическое производство корнеплодов и фуражного зерна (не считая сена) до сих пор было мало развито, и лишь наполеоновские войны

способствовали распространению массового производства сахарной свеклы.

В XVIII столетии не наблюдался упадок в сельском хозяйстве, наоборот, это был период длительного демографического роста, роста урбанизации, торговли и производства, дальнейших усовершенствований, необходимых в сельском хозяйстве. Во второй половине столетия было отмечено начало пугающего роста населения, которое присуще современному миру: между 1755 и 1784 гг., например, сельское население Брабанта (Бельгия) возросло на 44%[10*]. Но что поражало бесчисленных инициаторов усовершенствований в сельском хозяйстве, чье число постоянно росло, а сведения о которых переполняли отчеты правительств и пропагандистские публикации от Испании до России, так это масштабы препятствий на пути аграрных преобразований.

V

Сельское хозяйство развивалось вяло, за исключением его капиталистического сектора, где торговля, производство, технологическая и интеллектуальная деятельность развивались уверенно, живо и масштабно, а классы, получавшие выгоду от такого производства, становились активными решительными и оптимистичными. Более всего современного исследователя могло бы поразить широкое распространение торговли, которая была тесно вязана с колониальной эксплуатацией.

Система морских торговых сообщений быстро росла по объему и видам, охватила весь мир, принося доходы торговым обществам Северо-Атлантической Европы. Используя колониальную власть, они обкрадывали население Ост-Индии*, экспортируя оттуда товары в Европу и Африку; продавая их и товары

* Так же до некоторой степени обстояло дело и с Дальним Востоком, где они скупали чай, шелк, фарфор и т. д., спрос на которые в Европе все возрастал. Но политическая независимость Китая и Японии не позволяла вести с ними такую же пиратскую торговлю.

из Европы, закупали рабов, необходимых для быстро растущей плантационной системы в обеих Америках. А с американских плантаций, в свою очередь, вывозились сахар, хлопок и т. д. в огромном количестве и по дешевой цене в порты Атлантики и Северного моря, откуда они уже попадали на Восток вместе с традиционным товаром местного производства и товарами европейской восточной и западной торговли: текстилем, солью, вином и др. Из Балтийского региона приходили зерно, древесина и лен. Из Восточной Европы шли зерно, древесина лен и парусина (выгодный экспорт в тропики), пенька и железная руда поступали также из этой второй колониальной зоны. А между развитыми экономически взаимосвязанными регионами Европы, включающими усиливающие свою деловую активность общины белых поселенцев в северных британских колониях Америки (после 1783 г. Северные США), торговая сеть стала еще более плотной.

Набоб[26], или плантатор, возвращаясь из колоний с богатством, шокирующим воображение провинциальных скупцов, купец и отправитель грузов из таких чудных портов, как Бордо, Бристоль, Ливерпуль, которые строились и перестраивались в этом веке, оказывались настоящими экономическими счастливчиками этого века, сравнимыми разве что с крупными государственными деятелями и финансистами, преумножавшими свое богатство, находясь на выгодной государственной службе, так как это все еще был век, когда выражение «доходная королевская служба» имело буквальное значение. Кроме него, юристы, представители среднего класса, класс предпринимателей, местные пивовары, торговцы, получавшие умеренный доход от сельского хозяйства, жили скромной и тихой жизнью, и даже владельцы мануфактур оказались лишь немного богаче людей совсем бедных. Это происходило потому, что хотя горнорудное дело и мануфактуры развивались быстро и во всех частях Европы, купцы (а в Восточной Европе также часто феодалы) оставались их главными владельцами.

Причиной этого было то, что основной формой развития про-

мышленного производства являлся так называемый кустарный способ производства, при котором продавец скупал продукцию ремесленника или сезонного сельскохозяйственного рабочего для продажи на более широком рынке. Сам рост такой торговли неизбежно создавал стартовые условия для раннего промышленного капитализма.

Ремесленник, продавая свой товар, должен был вернуть себе немного больше, чем требовалось уплатить наемному рабочему (особенно если торговец снабжал его сырьем и, возможно, давал в аренду производственное оборудование). Крестьянин, который еще и ткал, мог стать ткачом, имевшим еще и клочок земли. Разделение труда и функций в процессе производства привело к разделению ремесленных процессов и появлению целого ряда полуквалифицированных рабочих из числа крестьян. Старые мастера-ремесленники, или некие особые группы ремесленников, или какая-либо группа посредников могли превратиться в нечто вроде подрядчиков или нанимателей, работодателей. Но главный регулятор этих разрозненных форм производства, тот, кто связывал труд далеких деревень или предместий с главным рынком, был чем-то вроде купца. И «промышленники», которые появлялись или были готовы появиться из рядов самих производителей, были мелкими управляющими помимо него, даже когда они не были напрямую от него зависимы. Существовали некоторые исключения в промышленной Англии. Владельцы кузниц, вроде великого керамиста Джосайи Веджвуда, были самостоятельными, уважаемыми людьми, их предприятия посещали умельцы и мастера из всей Европы. Но типичный промышленник (слово это еще не было придумано) был скорее младшим офицером, нежели капитаном производства.

Тем не менее, как их ни назови, но торговля и производство процветали. Самое передовое из европейских государств XVIII в., Британия, приобретала силу благодаря экономическому прогрессу, и к 1780-м годам все европейские правительства, претендующие на рациональную политику, должны были поощрять эко-

номический рост и особенно промышленное развитие, хотя успех был неодинаковый. Науки еще не разделились к XIX в. на первостепенные «чистые» и второстепенные прикладные отрасли, научная мысль занималась решением проблем производства: наиболее выдающиеся открытия 1780-х сделаны в химии, которая традиционно была тесно связана с нуждами производства. Большая энциклопедия Дидро и д'Аламбера[27] не являлась лишь кратким изложением передовых социальных и политических знаний, но также технологического и научного прогресса. И действительно, в XVIII в. существовало глубокое убеждение в том, что прогресс человеческого знания, рационализма, благосостояния, цивилизации и рост власти над природой может быть достигнут благодаря «просвещению», которое во многом зависит от прогресса производства, торговли, экономической и научной рациональности, а также тесно с ним связана. И более всего преуспели тогда наиболее экономически прогрессивные классы, те, которые оказались напрямую связаны с передовыми открытиями того времени: торговые круги и экономически образованные землевладельцы, финансисты, администраторы экономики и науки, научно мыслящие люди, образованный средний класс, производители и предприниматели. Один из множества таких людей — Бенджамин Франклин, типограф и журналист, изобретатель и предприниматель, государственный деятель и умный бизнесмен — как пример активного самостоятельного, мыслящего гражданина будущего. В Англии такие, как он, были новыми людьми, которым не нужны трансатлантические революционные перемены, они вышли из провинциального общества, откуда исходила вся передовая научная, промышленная и политическая мысль. В «The Lunar Society» («Лунное общество») в Бирмингеме входил керамист Джосайя Веджвуд изобретатель современного парового двигателя Джеймс Уатт и его деловой партнер Мэтью Боултон, химик Пристли, благородный биолог и отец теории эволюции Эразм Дарвин (дедушка великого Дарвина), великий печатник Баскервиль. Такие люди повсюду объединялись в вольные масонские ложи[28], в которых клас-

совые различия не принимались в расчет и идеология Просвещения распространялась с бескорыстным усердием.

Примечательно то, что два основных центра идеологии Просвещения стали также и центрами двойственной революции, французской и английской, хотя фактически его идеи получили широкое международное распространение во французских формулировках (даже в том случае, когда они были буквальным переводом на французский язык с английского). В передовой мысли преобладали светскость, рационализм и прогрессивный индивидуализм. Главной ее задачей было освободить личность от оков, стеснявших ее, от невежественного традиционализма средневековья, который все еще довлел над миром, от религиозных предрассудков церкви (далеких от жизни или разумности), от неразумного разделения людей на иерархию из высокородных и низкородных слоев. Свобода, равенство и братство всех людей — вот были их лозунги. В свою очередь, они стали лозунгами французской революции. Торжество свободы личности не могло не иметь благотворных последствий. Наиболее заметные результаты, которые уже тогда можно было наблюдать, чтобы следовать им, — это пример освобожденного личного таланта в мире разума. Горячая вера в прогресс просвещенного мыслителя способствовала ощутимому росту знаний и технических приемов, благосостоянию и цивилизации, которые он мог видеть вокруг себя и которые он приписывал с некоторой долей справедливости растущему успеху своих идей. В начале века все еще повсеместно сжигались на кострах колдуны, а в конце его просвещенные правительства, напрмер австрийское, запретили не только судебные пытки, но также и крепостничество. И разве нельзя было ожидать, что остававшиеся препятствия на пути прогресса, такие как узаконенные права феодалов и церкви, будут сметены?

Было бы не совсем точно назвать «просвещение» идеологией среднего класса, хотя множество просветителей — и они являлись влиятельными политиками — считали, что свободным могло быть капиталистическое общество[11*]. В основе этой тео-

рии лежало стремление сделать всех граждан свободными. Все прогрессивные рационалистические, гуманистические идеологии базируются на этом принципе и исходят из него. Хотя на практике лидеры освобождения, к которому призывало Просвещение, все были выходцами из средних слоев общества, новыми рациональными людьми высоких способностей и достоинств, социальный строй, который возникал благодаря их деятельности, был буржуазным или капиталистическим.

Было бы более точно назвать Просвещение революционной идеологией, несмотря на политическую умеренность многих его лидеров в Европе, большинство из которых до 1780-х годов слепо верили в просвещенную абсолютную монархию. Просвещение подразумевало отмену существовавшего социального и политического порядка почти во всей Европе. Было бы слишком смело ожидать, чтобы старые режимы отменили себя сами добровольно. Наоборот, как мы видели, в некоторых отношениях они усиливали себя против наступления новых социальных и экономических сил. А их цитаделями (вне Британии, Соединенных провинций[29] и в некоторых других местах, где они уже потерпели крушение) были те самые монархии, в которые слепо верили умеренные просветители.

VI

За исключением Британии, в которой революция произошла в XVII в., и некоторых небольших государств, абсолютные монархи были у власти во всех европейских государствах, там же где они не правили, наступали анархия, разброд, и такие государства поглощались своими соседями, как, например, Польша. Наследные монархи волею Божьей возглавляли иерархии знатных землевладельцев, опорой им служили традиционные организации, ортодоксальность церкви и окруженные нарастающим хаосом институты, которые ничем уже не располагали, кроме авотритета своего великого прошлого. Правда, насущные инте-

ресы государственной стабильности и действенности государственной власти в эпоху острой международной конкуренции вынуждали монархов обуздывать анархические наклонности своей знати и ее наследственные интересы и назначать в государственный аппарат, насколько это было возможно, граждан неаристократического происхождения. Более того, в конце XVIII в. эти потребности и очевидность международного успеха британского капиталистического государства побудили большинство таких монархий (или скорее их советников) принять программы экономической, социальной, административной и интеллектуальной модернизации. В те дни государи принимали призыв к Просвещению, как и правительства в наши дни, стараясь утвердить их на бумаге, и, как в наши дни, соглашаясь с чем-либо теоретически, очень мало делали для этого на практике, и большинство из тех, кто так поступал, были менее заинтересованы в главных идеях, ведущих к просвещению общества, чем в практической выгоде принятия наиболее современных методов увеличения своих доходов, благополучия и могущества.

Наоборот, средний и образованные классы, а также те, кто был заинтересован в прогрессе, часто смотрели на аппарат центральной власти, просвещенную монархию, рассчитывая реализовать свои надежды. А монархи нуждались в среднем классе и его идеях модернизации их государства, в то время как слабому среднему классу был нужен монарх для того, чтобы сломить сопротивление прогрессу укрепившейся аристократии и церкви.

На самом же деле абсолютная монархия, какой бы передовой и склонной к новациям она ни была, считала невозможным и действительно выражала мало желания порывать связи с иерархией знатных землевладельцев, к которым в конце концов она принадлежала, чье значение она символизировала и выражала и от чьей поддержки главным образом зависела. Абсолютная монархия, как бы теоретически она ни вольна была поступать самовластно, на практике принадлежала миру, который, Просвещение окрестило «феодализмом» — термин, получивший рас-

пространение позже, во время французской революции. Такая монархия была готова использовать все возможности для укрепления своего авторитета и увеличения доходов от налогообложения внутри государства. А это так или иначе заставляло ее поощрять все, что помогало окрепнуть растущему обществу. Она была готова усилить свою политическую власть путем натравливания одного сословия, класса или области на другую. Хотя ее настоящими заботами являлись ее история, ее функция и ее класс. Вряд ли она когда-нибудь хотела или была способна достигнуть коренных преобразований в обществе и экономике, которые требовались для прогресса в экономике и к которым призвали нарождающиеся классы.

Обратимся к наглядному примеру. Некоторые передовые мыслители, даже из числа государственных советников, серьезно сомневались в необходимости отмены крепостного права и существующих отношений феодальной зависимости крестьян. Подобная реформа явилась бы главным пунктом любой программы Просвещения, и фактически не было ни одного правителя от Мадрида до Санкт-Петербурга, от Неаполя до Стокгольма, который бы в то или иное время, предшествовавшее французской революции, не подписывал бы такой программы. Хотя на практике освобождение крестьян состоялось в период до 1789 г. только в таких маленьких и своеобразных странах, как Дания и Савойя, и во владениях некоторых других государей. Одно такое крупное освобождение было предпринято Иосифом II Австрийским[30] в 1781 г., но оно провалилось перед лицом политического сопротивления со стороны тех, кто был наделен земельными имущественными правами, что грозило надвигающейся гражданской войной, а потому так и осталось незаконченным.

Что же действительно отменило аграрные феодальные отношения прямым действием, реакцией или примером по всей Западной и Центральной Европе, так это французская революция и революция 1848 г.

Таким образом, существовало нечто скрытое, что вскоре ста-

ло явным, — конфликт между старыми силами и новым буржуазным обществом, которое не умещалось в рамках существующих политических режимов, за исключением, конечно, тех, где буржуазия уже одержала победу, как в Британии. Что делало данные режимы еще более уязвимыми, так это то, что они подвергались давлению с трех сторон: со стороны новых сил, со стороны усилившихся старых сил, имевших законные имущественные права, и со стороны внешних врагов.

Наиболее уязвимым местом старых режимов было то, где сопротивление старого и наступление нового совпадали: возникали сепаратистские движения в отдаленных или слабо контролируемых провинциях или колониях. Так, в габсбургской монархии реформы Иосифа II в 1780-х годах вызвали волнения в Австрийских Нидерландах (сегодняшней Бельгии) и революционное движение, которое в 1789 г. естественно слилось с французским. Чаще всего общины белых поселенцев в отдаленных колониях европейских государств возмущались политикой своего центрального правительства, которое строго подчиняло интересы колоний интересам метрополии. Во всех американских, испанских, французских и британских колониях, а также в Ирландии такие сепаратистские движения требовали автономии — не всегда для режима, представлявшего экономически более прогрессивные силы, чем метрополия — и ряд британских колоний либо получили эту автономию мирно на время, как Ирландия, либо добились ее революционным путем, как США. Развитие экономики, рост колоний и противостояния, с которыми столкнулись реформы просвещенного абсолютизма, вели к нарастанию конфликтов в 1770-х и 1780-х годах.

Сами по себе разногласия провинций и колоний не являлись роковыми. Старые монархии могли пережить потерю одной-двух провинций, и главная жертва колониального сепаратизма, Британия, не страдала от слабости старых режимов, а поэтому оставалась устойчивой и динамичной, как всегда, несмотря на революцию в Америке. И было не так уж много областей, в которых внутренние условия требовали коренных изменений

системы государственного управления. Взрывоопасной ситуацию сделало международное соперничество.

Международное соперничество, то есть война, расшатывало устои государства как ничто другое, и когда государство не выдерживало такого испытания, оно испытывало потрясение и погибало. Это главное противоречие царило на европейской международной сцене почти все XVIII столетие, находилось в ее центре и периодически выливалось в большие войны: 1689—1713, 1740—1748, 1756—1763, 1776—1783[31] и пересекающаяся с нашим периодом 1792—1815 гг. Это был конфликт между Британией и Францией, который имел также значение столкновения между старым и новым режимами: Франция, питавшая враждебность к Британии из-за бурного роста ее торговли и колониальной империи, была такой же сильнейшей, выдающейся и влиятельной державой, иначе говоря классической, аристократической абсолютной монархией. Нигде превосходство нового над старым социальным порядком не являлось таким наглядным, как в конфликте между двумя державами. Поэтому Британия выиграла с различной степенью полноты во всех, кроме одной, этих войнах. Сравнительно легко она поддерживала новую организацию, финансирование и заработную плату. Французская монархия, напротив, будучи намного больше, имея большее население и в смысле своих потенциальных ресурсов куда богаче Британии, сочла это для себя непосильным трудом. После своего поражения в Семилетней войне (1756—1763) восстание в американских колониях дало ей возможность поменяться ролями с соперницей. Франция воспользовалась случаем. В следующем международном конфликте Британия потерпела сокрушительное поражение, потеряв наиболее важную часть своей американской империи, а Франция — союзница новых США — стала соответственно победительницей. Но цена победы была чрезмерной, и трудности французского правительства неизбежно привели его к такому внутриполитическому кризису, из которого шестью годами позже родилась революция.

Остается закончить это предварительное обозрение мира на-

кануне двойственной революции, рассмотрев отношения между Европой (если точнее, Северо-Западной Европой) и остальным миром. Результатом двойственной революции было полнейшее политическое и военное господство Европы и ее заморских колоний, общин белых поселенцев над миром. В конце XVIII в. ряд великих неевропейских держав все еще соперничали с белыми торговцами-моряками и солдатами на равных. Великая Китайская империя, находясь на вершине процветания Маньчжурской (Циньской) династии, не стала пока ничьей жертвой. Наоборот, поток культурного влияния устремился с Востока на Запад. Европейские философы осмысливали учение совсем иной, но очевидно высокой цивилизации, в то время как художники и ремесленники использовали в своих работах часто непонятные мотивы Дальнего Востока и осваивали новый материал «фарфор» в Европе. Исламские державы (такие, как Турция), периодически потрясаемые военными вторжениями соседних европейских государств (Австрии и более всего России), были далеко не беспомощными увальнями, какими они стали в XIX в. Африка оставалась фактически свободна от военного проникновения европейцев. За исключением небольших территорий вокруг мыса Доброй Надежды, белые ограничивались проживанием в прибрежных торговых факториях.

Быстро растущая экспансия европейской торговли и капиталистического предпринимательства в Африке подрывала ее социальный строй через беспрецедентную по своей интенсивности и варварству торговлю рабами, в районе Индийского океана — через проникновение соперничающих колониальных держав, на Ближнем и Среднем Востоке — через торговлю и через военные конфликты. В XVII в. белые североамериканские поселенцы уже стали завоевывать территории, находящиеся дальше тех, что уже давно были захвачены пионерами колониализма — испанцами и португальцами — в XVI в. Успешно развивалась экспансия британцев, которые к этому времени уже установили прямой территориальный контроль над частью Индии (Бенгалией), фактически низвергнув империю Моголов, шаг, который

приближал их к нашему периоду, когда они стали правителями и администраторами всей Индии. Сравнительная слабость неевропейских цивилизаций при столкновение с технологическим и военным превосходством Запада была вполне предсказуема. То, что называлось «эрой Васко да Гама»[32] — четыре столетия мировой истории, во время которой целый ряд европейских государств и европейские силы капитализма установили полное, хотя, как стало теперь очевидно, временное господство над целым миром, достигло своей вершины. Двойственная революция должна была сделать европейскую экспансию непреодолимой, хотя она также в известном смысле помогла неевропейскому миру, предоставив ему условия и инструменты для его возможного контрнаступления.

ГЛАВА 2

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Такие работы, какими бы ни были их действия, причины и следствия, имеют большую важность и открывают большие возможности талантам человека, такого изобретательного и полезного, который будет иметь то достоинство, что, где бы он ни оказался, он заставит людей думать... Избавлять от дармоедства, сонливости, тупого безразличия и небрежности, объединять людей в следовании по пути их предков, без сомнения, без мысли и без честолюбия, и вы наверняка сотворите добро. Какая работа ума, какая сила воли, какие огромные усилия били ключом во всех сферах жизни от дел таких людей, как Бриндлей, Уатт, Пристли, Харрисон, Аркрайт... На каком бы жизненном пути ни оказался человек, какое вдохновение в своих делах получит он, созерцая паровой двигатель Уатта?

Артур Янг «Путешествия по Англии и Уэльсу»[1*]

Из этой грязной сточной канавы низвергается промышленный поток человечества, чтобы удобрить весь мир. Из этой мерзкой канавы текут потоки чистого золота. Здесь цивилизация достигает своего самого законченного развития и своей самой большой грубости, здесь цивилизация создает свои чудеса, а цивилизованный человек превращается почти в дикаря.

А. де Токвиль (во время пребывания в Манчестере в 1835 г.)[2*]

I

Давайте начнем с промышленной революции, а это значит с Британии. На первый взгляд, такая отправная точка кажется несколько спорной, поскольку последствия этой революции не могли быть сразу и безошибочно определены — по крайней мере вне Англии — по меньшей степени до конца нашего периода, конечно, не в 1830 г., возможно, и не накануне 1840-го или сразу после него. Лишь только в 1830-х гг. в литературе и искусстве появи-

лось изображение капиталистического общества, того мира в котором разрушились все общественные связи, за исключением безжалостного золота и денег — денежных отношений (фраза взята из Карлейля). «Человеческая комедия» Бальзака — наиболее выдающийся литературный памятник подъему капиталистического общества — была написана в это десятилетие. И лишь в 1840 г. появился большой поток официальной и неофициальной литературы, отражающий социальные последствия промышленной революции: множество голубых книжек и статистических исследований в Англии, «Tableau de l'état physique et moral des ouvriers» Villerme's, «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса, в Бельгии — работа Дюкпетьо и статьи ряда озабоченных и испуганных обозревателей от Германии до Испании и США. И только с 1840-х гг. пролетариат — это дитя промышленной революции — и коммунизм, которые теперь тоже относились к общественным движениям, а также призрак Коммунистического манифеста стали бродить по Европе.

Само название «промышленная революция» свидетельствует о ее сравнительно запоздалом воздействии на Европу. Это явление существовало в Британии еще до того, как получило свое название. И только в 20-х годах английские и французские социалисты, сами представлявшие уникальную в своем роде группу, изобрели это название, возможно, по аналогии с политической революцией во Франции[3*]

Тем не менее она считается первой по двум причинам: прежде всего потому, что фактически она разразилась — пользуясь подходящим к предмету выражением — до штурма Бастилии, а во-вторых, потому что без нее мы не можем понять беспристрастную мертвую зыбь истории, на фоне которой появились наиболее выдающиеся личности и события этого периода.

Что же означает фраза «промышленная революция разразилась»? Это значит, что однажды в 1780-х гг. впервые в человеческой истории были сорваны оковы с производительных сил общества, которые с этого момента получили возможность постоянно, быстро и беспредельно увеличивать объем рабочей силы, товаров и услуг. Сегодня экономистам известно, как до-

биваться самообеспечивающего роста, не одно предшествующее общество не было способно пробить стену из слаборазвитых промышленных и общественных структур, науки и технологии, следствием чего были периодические упадок, голод и смерть, обрушивающиеся на производство. «Начало», конечно, не являлось подобием землетрясения или метеорита, способным запустить саму по себе неразвитую промышленность. Если заглянуть в предысторию Европы, в зависимости от желания историка и степени его интереса, скажем, в 1000-летие нашей эры, если не раньше, проникнуть в атмосферу того времени так же неумело, как ходят крошечные утята, то и тогда мы столкнемся с названием «промышленная революция» — в XIII в., в XVI и в последнее десятилетие XVII. С середины XVIII в. процесс увеличения скорости, нужной для начала этого процесса, так отчетливо просматривается, что историки старшего поколения склонны относить точку отсчета промышленной революции к 1760 г. Но тщательное изучение приводит экспертов к заключению, что ее начало скорее относится к 1780-м годам, нежели к 1760-м, так как это было решающее десятилетие, поскольку тогда все статистические указатели отметили тот неожиданный, крутой, почти вертикальный взлет, который и является подлинным запуском.

Экономика достигла космических высот.

Назвать этот процесс промышленной революцией, с одной стороны, логично, а с другой — традиционно, хотя одно время у консервативных историков было модно — возможно, из-за некоторой боязни использования в настоящее время подстрекательских концепций — отрицать ее существование и заменять это название банальным термином — «ускоренное развитие».

Если мгновенное качественное и коренное превращение, которое произошло в 1780-х годах, было не революцией, тогда это слово не имеет общепринятого значения. Промышленная революция на самом деле не была эпизодом, имеющим начало и конец. Спросить, когда она закончилась — бессмысленно, ибо ее сущность состояла в том, что со времени ее начала революционное изменение стало нормой. Она происходит до сих пор; самое

большее — мы могли бы спросить, когда экономические преобразования шли настолько глубоко, чтобы создать преимущественно индустриальную экономику, способную производить все, что необходимо на уровне имеющейся техники, «промышленно развитую экономику», используя специальный термин. В Британии, а значит и в мире в целом, период первоначальной индустриализации, вероятно, совпадает почти полностью с периодом, с которым знакомит эта книга, поскольку раз он начался с подъема 1780-х годов, возможно, следует сказать, что он совпадает со строительством железной дороги и созданием крупной тяжелой промышленности в Британии в 1840-х годах. Но сама революция, момент ее начала, может быть датирован с большей точностью как время, приходящееся на двадцатилетний отрезок с 1780 до 1800 г.: почти одновременно, но лишь немногим раньше, чем французская революция.

По любому расчету это явилось наиболее важным событием мировой истории, по крайней мере со времен появления сельскохозяйственного производства и городов. И она была начата в Британии. Очевидно, это произошло не случайно. Если бы должно было произойти состязание для достижения первенства в промышленной революции в XVIII в., в нем на самом деле могло участвовать лишь одно государство. Здесь было достаточно промышленных и торговых достижений, выпестованных интеллигентными и экономически далеко не наивными министрами и гражданскими служащими каждой просвещенной монархии в Европе, от Португалии до России. Все они были настолько же заинтересованы в экономическом росте, как и сегодняшние администраторы. Некоторые малые государства и регионы были довольно развиты в промышленном отношении, например Саксония и Льежская епархия, хотя их промышленные комплексы были слишком малы и обособлены друг от друга, чтобы оказывать революционное воздействие, сравнимое с британским. Не вызывает сомнений, что даже до революции Британия была уже намного впереди своего главного потенциального соперника по уровню производства и торговли, даже имея в виду уровень ее годового производства и торговли. Но в науках и технологии Брита-

ния не имела превосходства. В естественных науках Франция шла впереди Британии, и преимущество, которое французы получили благодаря революции, касались математики и физики, потому что во Франции наука поддерживалась, в то время как в Англии реакция относилась к наукам с подозрением. Даже в общественных науках Британия была все еще далека от лидерства, которое давало, а больше сохраняло экономику как выдающееся достижение англосаксов, но тут промышленная революция поставила их на неоспоримое первое место. Экономист 1780-х гг. мог читать Адама Смита[33], но также, а может быть, с большей пользой — французских физиократов и бухгалтерские отчеты по национальному доходу Кене, Тюрго, Дюпона де Немура, Лавуазье[34] и одного двух итальянцев. Во Франции явилось на свет много оригинальных изобретений, например ткацкий станок Жакарда (1804) — более сложный по своему устройству, чем любой изобретенный в Британии, и лучшие корабли. У немцев существовали заведения по техническому обучению, такие как Прусская горная академия, подобных которой в Британии не было, а французская революция создала уникальное замечательное заведение — Ecole Polytechnique (Политехническую школу). Английское образование представляло собой шутку дурного тона, но его недостатки уходили своими корнями в строгие сельские школы и аскетические мятежные и демократические университеты кальвинистской Шотландии, которые выпускали поток великолепных, трудолюбивых, жаждущих карьеры и практичных молодых людей в южные страны: Джеймс Уатт, Томас Телфорд, Лаудон Мак Адам, Джеймс Милль. Оксфорд и Кембридж — лишь два университета в Англии — были в интеллектуальным смысле совершенно ничтожными, равно как и сонные публичные и грамматические школы, не считая, конечно, академий, основанных сектантами, которые были исключены из англиканской системы образования. А аристократические семьи, желавшие дать своим сыновьям образование, полагались в основном на гувернантов или шотландские университеты. Системы начального образования не было и в помине до квакера Ланкастера, который создал в начале XIX в. добровольную массовую школу начальной грамоты, ввер-

гая английское образование в бесконечные сектантские дискуссии. Боязнь социальных беспорядков не позволила ввести образование для бедных.

К счастью, для того чтобы совершить промышленную революцию, необходимо было не так уж много новых изобретений*. Ее технические изобретения были более чем скромны и не выходили за рамки кругозора смышленых мастеровых, производивших опыты в своих мастерских, или за конструктивные способности плотников, техников и слесарей: летающий челнок ткацкого станка, прядильный станок, мюль-машина. Даже самая совершенная в техническом отношении машина Джеймса Уатта — вращающийся паровой двигатель (1784) — не требовала никаких усовершенствований и применялась почти все столетия, и впоследствии, в 1820-х гг. француз Карно только усовершенствовал теорию паровых двигателей — и основываясь на ней, эти паровые котлы применяли в течение нескольких поколений, преимущественно в шахтах. В благоприятных условиях технические усовершенствования сослужили добрую службу, за исключением, возможно, химической промышленности. Это не означает, что первые промышленники были не заинтересованы в науке и не имели в виду практическую выгоду[4*]

Но благоприятные условия существовали в Британии, где более века прошло с тех пор, как первый король был осужден и казнен своим народом, а личная выгода и экономическое развитие воспринимаются как главные вопросы политики правитель-

---

* С одной стороны, радостно сознавать, что англичане унаследовали огромные богатства для своей политической жизни путем изучения античных авторов, как бы педантично это ни проводилось, в такой мере, что парламентские ораторы довольно часто цитировали древних и небезуспешно, и этот опыт был перенят у них законодательным собранием. С другой стороны, нас не может не поражать и то, что в стране, где преобладает развитое производство, а следовательно, необходимость знакомить людей с науками и искусствами для дальнейшего развития производства очевидна, отсутствие этих предметов в школьных программах оставалось без внимания. Тем более удивительно, как много достижений совершено людьми, имевшими для своих профессий недостаточное образование». (W. Wachsmuth. Europaeische Sittengeschichte. 5, 2. Leipzig, 1839, S. 736).

ства. Уникальное революционное решение Британией аграрного вопроса уже было найдено. Сравнительно много землевладельцев с коммерческим складом ума уже монополизировали землю, которая обрабатывалась фермерами-арендаторами, нанимавшими безземельных или малоземельных крестьян. Многие пережитки древней крестьянской общинной экономики все еще уцелели и должны были быть уничтожены актами Об огораживании (1760—1830) и путем частных сделок, путем соглашений, но нам едва ли есть смысл говорить о «британском крестьянстве» так, как мы говорим о французском, германском и российском крестьянстве. Сельское хозяйство уже было главным поставщиком для рынка, производство уже давно было рассеяно из-за того, что деревня была нефеодальной. Сельское хозяйство уже было готово выполнять свои три основные функции в век индустриализации: повысить производительность и увеличить объем продукции, так чтобы накормить быстро растущее несельское население; снабжать города и промышленность людьми и создать механизм накопления капитала, который будет использован в современных отраслях экономики. (Две другие функции были не настолько важны в Британии: это создание достаточного и большого рынка для сельского населения — обычно составлявшего большую часть населения — и производство излишков на экспорт, что позволило бы привлечь капиталовложения). Значительный объем общественного наличного капитала и дорогостоящее оборудование, необходимые для того, чтобы вся экономика плавно двигалась вперед, был уже накоплен в кораблестроении, портовом оснащении, улучшении дорог и водных путей. Государство уже ожидало прибылей. Особые требования деловых людей встречали отпор со стороны тех, кто обладал законными наследственными правами, и, как мы увидим, крестьяне готовились воздвигнуть последний барьер, чтобы задержать продвижение индустриализации между 1795 и 1846 гг. Хотя в общем считалось, что деньги не только говорили, но и правили. Все промышленники должны были располагать достаточным капиталом, чтобы быть принятыми в правящих кругах общества. Деловые люди, без сомнения, были заняты преумножением своих капиталов, потому

что большая часть XVIII в. была для всей Европы периодом процветания и выгодной экономической экспансии, подлинной причиной счастливого оптимизма вольтеровского доктора Панглосса[35]. Конечно, можно возразить, что рано или поздно эта экспансия, сопровождаемая мягкой инфляцией, должна была бы толкнуть какую-либо страну к рубежу, отделяющему доиндустриальную экономику от индустриальной. Но проблема не так проста. Большую часть XVIII столетия промышленная экспансия фактически не сразу или на протяжении обозримого будущего приводила к промышленной революции, то есть к созданию механизированной фабричной системы, которая, в свою очередь, производила такое большое количество товаров и по таким быстро падавшим ценам, что больше не зависела от существующего спроса, но создавала свой собственный рынок*. К примеру, развитие торговли или множества малых производств, выпускающих хозяйственные металлические товары — гвозди, кастрюли, ножи, ножницы и т. д. в британских землях средней полосы и в Йоркшире, в этот период испытывало заметный подъем, но всегда оставаясь лишь частью существующего рынка. Выпуская в 1850 г. намного больше, чем в 1750 г. эти предприятия производили продукцию в основном старым способом. Но необходимо было не простое расширение производства, а тот особый вид расширения, который создал скорее Манчестер, нежели Бирмингем.

Более того, первопроходцы промышленной революции оказались в особых исторических условиях, в которых рост экономики был следствием противоречивых решений бесчисленных частных предпринимателей и изобретателей, каждый из которых руководствовался первой заповедью века: купить дешевле, а продать дороже. Как было им понять, что большую прибыль можно получить, проводя промышленную революцию скорее, чем полагаясь на более им привычную (и в прошлом более выгодную) производственную деятельность? Откуда они могли знать то, чего

* Современное производство двигателей является тому хорошим примером. Отнюдь не потребность в грузовиках, существовавшая в 1890-х гг., привела к созданию промышленности современного масштаба, но возможность производить дешевые автомобили создала современный массовый спрос на них.

тогда еще никто не знал: что промышленная революция создаст беспрецедентный рост их рынков? Известно, что главные социальные основы индустриального общества уже были заложены в Англии XVIII в. они требовали во-первых: промышленности, которая приносила производителю такие исключительные прибыли, что он мог быстрее развивать производство, используя при необходимости разумно дешевые и простые усовершенствования, и во-вторых: мирового рынка, который был в основном монополизирован одним государством*.

Эти предпосылки имеют отношение до некоторой степени ко всем странам нашего периода. К примеру, во всех странах лидерство в росте промышленности было захвачено производителями товаров массового потребления — в основном, но не исключительно, производителями текстиля[6*], — потому что обширный рынок для таких товаров уже существовал, и деловой человек мог ясно видеть его потенциальные возможности. В других случаях они относятся только лишь к Британии. Промышленники-первопроходцы сталкивались с самыми сложными проблемами. Но когда в Британии началась индустриализация, другие страны могли пожинать плоды быстрого роста экономики, который стимулировался пионерами промышленной революции. Более того, успех Британии показывал, чего можно достичь при помощи промышленной революции, британскую технологию можно было перенять, британский опыт и капитал импортировался. Саксонская текстильная промышленность, неспособная сделать собственные изобретения, копировала английскую, иногда с помощью английских механиков. Англичане откликнулись на потребности Европы, например, Кокериллы помогали создавать промышленное производство в Бельгии и различных частях Германии. Между 1789 и 1848 гг. Европа и Америка были наводнены британски-

* «Только покупательная способность населения, доход на душу населения, цены на перевозки, да еще ограничения на торговлю росли медленно. Но рынок расширялся, и жизненный вопрос состоял в том, когда производитель товаров массового потребления настолько захватит его, чтобы получить возможность быстро и долго расширять их производство»[5*].

ми экспертами, паровыми двигателями, ткацкими станками и инвестициями.

У Британии таких преимуществ не было. С другой стороны, она располагала весьма сильной экономикой и достаточно агрессивным государством для того, чтобы захватывать рынки у своих соперников. В результате войн 1793—1815 гг., последней и решающей фазы вековой англо-французской дуэли, фактически были устранены все соперники из неевропейского мира, за исключением молодых США. Более того, Британия обладала промышленностью, прекрасно подходившей для того, чтобы первенствовать в промышленной революции при капиталистических условиях и экономических связях, которые позволяли развивать текстильную промышленность и захватывать все новые колонии.

II

Британская текстильная промышленность, подобно текстильной промышленности других стран, очень быстро выросла как побочный продукт заморской торговли, она производила сырьевой материал (или даже один из сырьевых материалов, поскольку первоначальным продуктом была бумазея, смесь хлопка и льна), и индийский хлопок, или миткаль, который завоевал рынки, так что европейские производители вынуждены были пробиваться на рынок со своими грубыми поделками. Вначале они не добились успеха, в лучшем случае располагая возможностью производить преимущественно дешевые и грубые товары, нежели красивые и искусно сделанные. К счастью, давно сформировавшиеся и влиятельные интересы торговцев шерстью периодически способствовали запрету на импорт индийского миткаля (который в чисто торговых интересах Ост-Индская компания вынуждена была экспортировать из Индии в наибольших объемах) и таким образом поддерживали отечественную текстильную промышленность. Хлопок и смеси с хлопком, будучи дешевле шерсти, завоевали дома скромный, но достаточный рынок. Но главные возможности для для их быстрой экспансии находились за морями.

Колониальная торговля создала текстильную промышленность и продолжала питать ее. В XVIII в. она развивалась на территориях, прилегающих к главным колониальным портам Бристоля, Глазго, особенно Ливерпуля, крупного центра работорговли. Каждая фаза его бесчеловечной, но быстро растущей торговли способствовала ее развитию. Фактически в течение всего периода, который охватывается в этой книге, работорговля и торговля хлопком идут рука об руку. Африканские рабы покупались в одной партии с индийским хлопком, но когда приток этих товаров остановился из-за войны или революции в Индии или по соседству с ней, Ланкашир был на краю гибели. Плантации хлопка в Вест-Индии, куда доставлялись рабы, производили большую часть хлопка-сырца для британской промышленности, и в ответ плантаторы покупали чеки Манчестерской хлопковой компании в больших количествах. Все это продолжалось до тех пор, пока подавляющая часть ланкаширского хлопкового экспорта не пошла на смешанные афроамериканские рынки[7*]. Ланкашир позднее внес свой вклад в работорговлю, сохраняя ее, поскольку после 1790-х годов поставка рабов из Южных Соединенных Штатов была продолжена и определялась ненасытными и стремительно возрастающими потребностями фабрик в Ланкашире, для которых они поставляли большую часть хлопка-сырца.

Таким образом, толчком колониальной торговли, как планер, была запущена промышленность по переработке хлопка, которая обещала не только большую, но и скорую экспансию, позволяющую предпринимателям пойти навстречу потребностям революционных технологий. Но между 1750 и 1769 гг. экспорт британского хлопка возрос более чем в 10 раз. В таких ситуациях доходы для человека, пришедшего на рынок первым с наибольшим количеством чеков, были астрономическими и стоили риска проведения усовершенствования технологии. Но заморский рынок, а особенно территории бедные, заброшенные, неразвитые не только время от времени расширялись, но и развивались постоянно и безгранично. Без сомнения, любой участок подобного рынка, находясь в изоляции, по промышленным стандартам был мал, и соревнование между представителями развитых экономик

делало его для каждого из них еще меньше. Но как мы видели в течение долгого времени, одна из развитых стран монополизировала весь или почти весь такой рынок; в этом случае перспективы монополиста становились безграничными, в чем преуспела и британская хлопковая промышленность, сюда же добавилась решительная поддержка со стороны британского правительства. В отношении торговли промышленная революция может быть описана, исключая только несколько лет в 1780-х гг., как триумф экспортного рынка за рубежом: к 1814 г. Британия экспортировала около 4 ярдов хлопчатобумажной ткани на каждые 3 внутри страны, к 1850 г. 13 на каждые 8[8*] И внутри этого растущего экспортного рынка процветали полуколониальные и колониальные рынки, являвшиеся главными рынками сбыта для британских товаров за границей в течение долгих лет. Во время наполеоновских войн, когда европейские рынки были в основном закрыты из-за войны и блокированы, это было вполне естественно. Но и после войн они продолжали заявлять о себе. В 1820 г. когда Европа снова открывается для свободного британского импорта, на ее рынки поступило 128 млн ярдов британского хлопчатобумажного полотна, Америка, не считая США, Африка и Азия получили 80 млн, а к 1840 г. Европа получила 200 млн ярдов, тогда как неразвитые страны получили 529 млн ярдов британской хлопчатобумажной ткани.

В этих странах британская промышленность установила монополию посредством войны, народных восстаний и при помощи собственной имперской власти. Два региона заслуживают особого внимания: Латинская Америка стала во многом зависеть от британского импорта во время наполеоновских войн, а после того как она порвала отношения с Испанией и Португалией, попала в почти полную экономическую зависимость от Британии, поскольку она находилась в абсолютной изоляции от каких-либо политических вмешательств потенциальных европейских конкурентов Британии. К 1820 г. этот почти обнищавший континент уже получил на четверть больше хлопчатобумажных тканей из Британии, чем вся Европа, к 1840 г. туда поступало их уже наполовину больше, чем в Европу. Ост-Индия, как мы уже видели, традици-

онно являлась экспортером хлопчатобумажных товаров, поддерживаемая Ост-Индской компанией. Но преобладавшие британские промышленно-инвестиционные интересы оттесняли торговые интересы Ост-Индии (уже не говоря об индийских). Индия систематически выводилась из процесса индустриализации и в конце концов превратилась в ланкаширский рынок хлопчатобумажных товаров: в 1820 г. субконтинент получил от Британии только 11 млн ярдов, но в 1840 г. уже 145 млн ярдов хлопчатобумажных тканей. Это был великий поворотный пункт в мировой истории. Поскольку со времен расцвета европейской торговли она больше импортировала с Востока, чем продавала там, потому что Востоку мало что требовалось от Запада взамен на пряности, шелка, миткаль, драгоценности и пр., которые шли оттуда. На первых порах хлопчатобумажная рубашечная ткань — продукт промышленной революции — изменила эти отношения, которые раньше сохранялись в равновесии при помощи экспорта слитков золота и прямого разбоя. Только консервативные и самодовольные китайцы так и отказывались покупать то, что предлагал Запад или экономики, управляемые Западом: до тех пор, пока между 1815 и 1842 гг. западные торговцы, поддерживаемые западными канонерками, не сумели найти идеальный товар, который легко можно было экспортировать в больших количествах из Индии на Восток: опиум. Хлопок же предоставлял невероятно заманчивые перспективы, толкая частных предпринимателей на совершение промышленной революции, а экспансия быстро требовала ее проведения. К счастью, она также предоставляла иные условия, которые давали возможность проводить ее. Новые изобретения, которые принесла с собой революция — прядильный станок, изготовление муаровой ткани, мюль-машину и чуть позже управляемый ткацкий станок, были относительно просты и дешевы и почти сразу окупались за счет их высокой производительности: если необходимо — по частям, небогатым человеком, который начинал с нескольких фунтов, взятых взаймы, и человеком, располагавшим большими накоплениями в XVIII в., который не собирался делать значительные капиталовложения в промышленность. Расширение промышленности могло легко финансировать-

ся из текущей прибыли, поскольку сочетание обширных завоеванных рынков и постоянное понижение цен давали фантастический рост доходов, они составляли не 5 и не 10%, позднее один английский политик справедливо заметил: «Счастье Ланкашира составили сотни и тысячи процентов прибыли». В 1789 г. бывший помощник торговца мануфактурой Роберт Оуэн мог начать бизнес в Манчестере, скопив 100 фунтов, к 1809 г. он выкупил у своих партнеров в Нью-Лэнарке фабрики за 84 000 фунтов наличными. И его история преуспеяния в бизнесе довольно скромна. Необходимо помнить, что к 1800 г. менее 15% британских семей располагали доходом в более чем 50 фунтов годовых, и из них только одна четверть владела более чем 200 фунтами годовых[9]*

Но фабриканты шерстяных тканей имели и другие преимущества. Все сырье для этой промышленности поступало из-за границы, и снабжение им могло расширяться только благодаря решительным действиям белого населения в колониях — рабству и освоению новых площадей для возделывания — в отличие от медленных процессов возделывания в европейском сельском хозяйстве, им также не мешали имущественные интересы, являвшиеся серьезным препятствием в развитии европейского сельского хозяйства*. С 1790-х годов британская хлопчатобумажная промышленность нашла новые запасы сырья в только что открытых Южных Штатах США, и это состояние длилось беспрерывно до 1860-х годов. Опять-таки в критические моменты переработка (а именно прядильное дело) хлопка испытывала недостаток дешевого и производительного труда и поэтому получила толчок к механизации. Промышленность, к примеру, по переработке льна, которая первоначально имела куда лучшие шансы для колониальной экспансии, чем хлопок, в большой степени страдала от легкого и поэтому дешевого, немеханизированного производства и могла расширяться в обедневших крестьянских районах (в основном в Центральной Европе, но также в Ирлан-

* Заморские поставки шерсти, к примеру, оставались незначительными в рассматриваемый нами период и стали важными только в 1870-х гг.

дии), в которых она в основном процветала. Поскольку в XVIII в. единственный путь промышленной экспансии в Саксонии и Нормандии, так же как и в Англии, состоял не в строительстве фабрик, а в расширении так называемой «надомной» системы, или системы «выгона», при которой рабочие — иногда бывшие независимые ремесленники, иногда бывшие крестьяне, имеющие свободное время в мертвый сезон — обрабатывали сырье у себя дома своим собственным или арендованным инструментом, получая его и доставляя назад торговцу, который становился их нанимателем*. В самом деле, и в Британии, и в остальном экономически развитом мире основная экспансия в рассматриваемый период индустриализации шла таким путем. Даже в хлопкоперерабатывающей промышленности такие процессы, как ткачество, расширялись благодаря появлению множества ткачей-надомников на ручных ткацких станках для обслуживания центра механизированного прядения, примитивное ручное ткачество было гораздо более эффективно, чем прядильное колесо. Повсюду ткачество было механизировано спустя поколение после механизации прядения; повсюду ткачи на ручных станках умирали медленной смертью, время от времени восставая против своей ужасной судьбы, когда промышленность в них больше не нуждалась.

III

Таким образом, совершенно справедлива та точка зрения, которая рассматривает историю британской промышленной революции в связи с мануфактурой. Хлопчптобумажная промышленность была первой отраслью промышленности, пережившей революцию, и трудно найти какую-либо другую, которая смогла бы подвигнуть частное предпринимательство к революционным

---

* «Надомная система», являясь универсальной первой ступенью развития производства на пути от надомного или ремесленного производства к современной промышленности, может принимать бесчисленные формы, иные из которых очень близки к фабричным. Если писатель XVIII в. говорит о «мануфактурах», то он неизменно именно это имеет в виду.

переменам. До 1830-х гг. мануфактура была единственной отраслью промышленности в Британии, в которой фабрика, или «mill» (название произошло от наиболее распространенного допромышленного учреждения, где использовались механически управляемые машины), преобладала, вначале (1780—1815) в основном прядильные, чесальные и вспомогательные операции, после 1815 г. дальнейшее развитие получило ткачество. Фабрики, о которых были приняты новые фабричные акты, до 1860-х гг. оставались исключительно мануфактурными фабриками с преобладанием хлопчатобумажного производства. Фабричное производство в других текстильных отраслях медленно развивалось до 1840-х гг. а в других отраслях промышленности было совсем незначительным. Даже паровой двигатель, который мог применяться во многих отраслях промышленности, к 1815 г. использовался только на шахтах. В 1830 г. «промышленность» и «фабрика» в современном смысле означали исключительно хлопчатобумажные регионы в Соединенном Королевстве. Несмотря на это, нельзя недооценивать силы, которые развивали и усовершенствовали производство других необходимых товаров, таких как иные текстильные производства*, производство продуктов питания и напитков, гончарных изделий и прочие хозяйственные товары, которые в основном стимулировались быстрым ростом городов. Но, во-первых, на них требовалось намного меньше людей: ни одна отрасль не достигла полутора миллионов наемных рабочих, которые были заняты в 1833 г. в мануфактурной отрасли[11*]. Во-вторых, их стремление усовершенствовать производство было намного меньше: пивоварение, которое во всех отношениях технически и научно наиболее продвинулось и имело производство механизированное и революционизированное задолго до мануфактур, вряд ли оказывало влияние на экономику других отраслей[12*] Существовал спрос на хлопок, на строительство большого числа зданий и все виды деятельности в новых промышленных райо-

* Во всех странах, обладавших какой-либо рыночной мануфактурой, преобладали текстильные мануфактуры: в Силезии (1800) они составляли 74 % всего количества мануфактур[10*].

нах, на машины, химические усовершенствования, промышленное освещение, строительство судов и ряд других видов деятельности; и этого достаточно, чтобы увидеть, как велик был рост экономики в Британии к 1830-м годам. В-третьих, рост мануфактурной промышленности был так значителен и его вес во внешней торговле Британии так велик, что он вызывал прогресс в смежных отраслях. Количество хлопка-сырца, импортируемого Британией, выросло с 11 млн фунтов в 1785 г. до 588 млн фунтов в 1850 г., производство ткани — с 40 млн до 2025 млн ярдов[13*] С 1816 по 1848 г. из всего британского годового объема экспорта хлопчатобумажная мануфактура составляла от 40 до 50%. Если хлопковая промышленность процветала — процветала и экономика, если нет — то же ожидало и экономику. Колебание цены на хлопок определяло уровень национальной торговли. Только сельское хозяйство обладало сопоставимой силой, но оно заметно приходило в упадок.

Тем не менее, хотя рост хлопкоперерабатывающей промышленности и хлопкоиспользующие промышленные отрасли «обскакали всех»[14*], их успех был не таким уж безоблачным, и к 1830-м и к началу 1840-х гг. создалось много проблем роста, не говоря уже о революционных волнениях, не имеющих себе равных в любой другой исторический период в недавней истории Британии. Это первое сокращение темпов развития промышленной капиталистической экономики выразилась более медленным ростом рынка, возможно, даже падением британского национального дохода в этот период[15*] Но этот первый всеобщий капиталистический кризис не является чисто британским явлением.

Наиболее серьезными его последствиями были последствия социальные: переход к новой экономике породил нищету и недовольство, признаки социальной революции. И в самом деле, социальная революция началась в форме спонтанных бунтов городской и промышленной бедноты и породила революции 1848 г. в Европе, широкое движение чартистов в Британии. Но недовольство охватило не только рабочую бедноту. Мелкие и неудачливые бизнесмены, мелкие буржуа, отдельные отрасли экономики также попали в разряд жертв промышленной революции. Рабо-

чие, обладая ограниченным сознанием, отреагировали на новую систему разрушением машин и станков, которые, как они полагали, были причиной их бед, но на удивление большое число местных деловых людей и фермеров полностью поддержали действия луддитов[36], ибо они тоже считали себя жертвами дьявольского меньшинства эгоистических новаторов. Эксплуатация труда, который оплачивался так, что едва мог обеспечить существование, чтобы дать возможность богатым преумножить свои доходы, из которых финансировалась индустриализация (и оплачивался их собственный приличный комфорт), настраивала пролетариат враждебно. Тем не менее другой аспект оттока национального дохода от бедных к богатым, от расхода к вложению также враждебно настраивал мелких предпринимателей. Крупные финансисты — тесное сообщество держателей акций у себя дома и за границей, которые получали то, что все платили в виде налогов (см. гл. «Война»), где-то около 8% валового национального дохода[16*], — вероятно были еще более ненавистны малым бизнесменам, фермерам и им подобным, чем рабочим, поскольку они разбирались в денежных делах и кредитах достаточно хорошо, чтобы испытывать негодование от своих неудач. Но для богатых все было прекрасно, они могли по желанию поднять свои доходы, обуздать жесткую инфляцию и монетаристскую ортодоксальность в экономике после наполеоновских войн; страждущими были мелкие собственники, которые во всех странах и во все времена в XIX в. требовали беспроцентных кредитов и финансовой неортодоксальности*. Рабочие и рассерженные мелкие буржуа, находившиеся на краю падения в пропасть нищеты, таким образом, разделяли недовольство. Все это, в свою очередь, объединяло их в массовое движение «радикалов», «демократов» или «республиканцев», в которых британские «радикалы», французские «республиканцы» и американские «джексоновские демократы»[37] представляли значительную силу между 1815 и 1848 гг.

* От постнаполеоновского радикализма в Британии до популизма в США все движения протеста, включая фермеров и мелких предпринимателей, можно определить по их требованию финансовой неортодоксии: «все это были денежные причуды».

Однако с точки зрения капиталистов эти социальные проблемы вполне соответствовали прогрессу экономики, лишь бы по ужасной случайности они не опрокинули социальный строй. С другой стороны, появились определенные ошибки в экономическом процессе, которые угрожали основной побуждающей силе — доходу. Поскольку, если уровень возврата капитала падает до нулевой отметки, экономика, в которой человек производит продукт для получения дохода, постепенно откатывается к «состоянию неподвижности», которое предвидели и которого опасались экономисты[17*]

Тремя наиболее очевидными из этих ошибок были торговые циклы, когда экономика переживала стремительные взлеты и резкие падения, тенденция к падению уровня доходов и (что приводило к той же ситуации) нехватка возможности выгодных вложений. Первая из них не рассматривалась как серьезная, за исключением критиков капитализма как такового, которые первыми поняли, что это неотъемлемая часть процесса капиталистической экономики и проявление присущих ему противоречий*. Периодические кризисы экономики, ведшие к безработице, падению производства, банкротствам и т. д., были хорошо известны. В XVIII в. они в основном происходили после каких-либо несчастий в сельском хозяйстве (неурожаев и т. п.) и на европейском континенте до сих пор полагают, что до нашего времени наиболее широко распространенные периоды спада производства вызываются главным образом неполадками в сельском хозяйстве. Периодические кризисы на небольших предприятиях и в финансовом секторе экономики были также знакомы в Британии по крайней мере с 1793 г. После наполеоновских войн систематическое чередование периодов экономического подъема и кризиса имело место в 1825—1826 и в 1836—1837, 1839—1842, 1846—1848 гг. — явственно различимые в экономической жизни нации в мирное время. К 1830-м гг., разрушительному

---

* Швейцарец Симон де Сисмонди и консерватор Мальтус были первыми, кто задумался об этих причинах еще до 1825 г. Новые социалисты считали теорию кризисов краеугольным камнем в своей критике капитализма.

десятилетию в нашей истории, наконец пришли к убеждению, что эти кризисы были регулярным периодическим явлением, по крайней мере в торговле и финансах[18*] Тем не менее предприниматели все еще были в основном убеждены, что кризисы бывают вызваны частично ошибками — такими, как чрезмерная спекуляция американскими акциями — или внешним вмешательством в капиталистическую экономику. Считалось, что кризисы не влияют сколь-нибудь значительно на систему. Не таковым было падение прибыли в хлопкоперерабатывающей промышленности. Первоначально эта промышленность процветала в силу огромных преимуществ. Механизация сильно увеличивала производительность (снижала цену на каждый продукт) своего труда, который в любом случае оплачивался отвратительно, поскольку там работали в основном женщины и дети*. Из 12 000 рабочих-станочников на ткацко-прядильных фабриках Глазго в 1833 г. только 2 000 зарабатывали свыше 11 шилингов в неделю. На 131 манчестерской фабрике средняя заработная плата не составляла и 12 шиллингов, и только на 21 фабрике зарплата была выше[19*] А строительство фабрик было относительно дешевым, в 1846 г. целая ткацкая фабрика на 410 машин, включая стоимость земли и строений, могла быть построена примерно за 11 000 фунтов[20*] Но более всего высокая цена за сырье была снижена за счет резкого увеличения производства хлопка в Южных Соединенных Штатах после изобретения Эли Уитни хлопкоочистительной машины в 1793 г. Если мы добавим то, что предприниматели получали премии от доходной инфляции (т. е. главная тенденция цен становится выше при продаже товара, чем когда он произведен), мы поймем, почему классы производителей оставались с прибылью. На первое место промышленная революция и конкуренция поставили постоянное снижение цены конечного продукта, а не первоначальной его цены[21*] Во-вторых, после 1815 г. основным состо-

* Э. Бейнс в 1835 г. определил среднюю зарплату всех прядильных и ткацких процессов в 10 шиллингов в неделю при двухнедельном неоплачиваемом отпуске в год, а ткачам на ручных станках — по 7 шиллингов снижения зарплаты.

янием цен была дефляция, а не инфляция, иначе говоря, доходы падали, ибо если происходило повышение цен, то происходила и некоторая задержка в сбыте. Таким образом, в 1784 г. продажная цена фунта хлопчатобумажной пряжи составляла 10 шиллингов 11 пенни, цена сырья для ее изготовления — 2 шиллинга (прибыль — 8 шиллингов 11 пенни), в 1812 г. ее цена была 2 шиллинга 6 пенни, цена сырья на ее изготовление — 1 шиллинг 6 пенни (прибыль — 1 шиллинг), а в 1832 г. ее цена стала 11 1/4 пенни, цена сырья — 7 1/2 пенни, а прибыль составила всего 4 пенни[22*]. Поэтому в основном ситуация, которая была характерны для Британии, при всех преимуществах ее промышленности была не столь уж трагична. «Доходы все еще достаточные», — писал чемпион и историк хлопкового бизнеса в 1835 г., слишком уж оптимистично, «чтобы можно было сколотить значительные капиталы в мануфактурном производстве»[23*]. Если объемы годовой продажи возрастали, то росли и доходы, хотя и замедленными темпами. Все, что было необходимо, это продолжение невиданной экспансии. Тем не менее казалось, что сокращение доходов нужно было остановить, по крайней мере замедлить. Этого можно было достичь только снижением цен. По подсчетам Мак-Куллоха, если что необходимо было снижать, так это зарплату, среднегодовую — в 3 раза, а также цену на сырье — вот что дало экономию для приостановки падения прибыли.

Экономия могла достигаться путем прямого уменьшения зарплаты, путем замены дешевых работников на более высокооплачиваемых с высшей квалификацией, а также посредством ввода соревнования машин. Это последнее сокращение средненедельной зарплаты ручным ткачам в Болтоне с 33 шиллингов и 14 пенни в 1795 г. и 14 шиллингов в 1815 г. до 5 шиллингов и 6 пенни в 1829—1834 гг[24*]. И в самом деле, в постнаполеоновский период происходило постоянное падение уровня зарплаты. Но существовал физиологический предел такого сокращения, иначе рабочие должны были умирать от голода, что и произошло — 500 000 ткачей умерли голодной смертью. Зарплата могла падать ниже этого уровня, только если жиз-

ненный уровень становился ниже. Производители мануфактур разделяли мнение о том, что жизненный уровень искусственно поддерживался монополистами в интересах землевладельцев, которые ухудшали положение высокими тарифами; по сельскому хозяйству британский парламент, защищая интересы землевладельцев, принял хлебные законы[38]. Более того, это явилось дополнительным неудобством для экспорта британских товаров, снижая рост его годового объема. И если бы остальному миру, еще не прошедшему индустриализацию, мешали продавать свои сельскохозяйственные продукты, чем бы он стал платить за товары, произведенные Британией, которые только она могла производить и должна была поддерживать это производство? Таким образом, деловой мир Манчестера стал центром воинственной и грозной оппозиции политике защиты землевладельцев вообще и особенно из-за хлебных законов и выступал за возрождение движения против хлебных законов в 1838—1846 гг. Но хлебные законы не были отменены до 1846 г., а их отмена не сразу привела к снижению жизненного уровня, и мы сомневаемся, наступило бы это снижение, если бы не пришла эра железных дорог, пароходов и свободного продовольственного импорта, когда жизненный уровень значительно понизился. Итак, промышленность испытывала величайшую потребность в механизации (т. е. в снижении цен путем сокращения трудозатрат), в рационализации и расширении рынков сбыта продукции, тем самым компенсируя массой малых доходов на каждом виде продукции падение прибыли. Ее успех был не всегда одинаков. Как мы уже видели, всеобщий рост производства и экспорта продукции был гигантским, таким образом, после 1815 г. происходила механизация до тех пор ручных или частично механизированных профессий. Это приняло форму преимущественно полного приспособления существующего или слегка измененного станка вместо дальнейшей технической революции. Несмотря на то, что возрастала необходимость в техническом перевооружении, в хлопкопрядении было зарегистрировано 39 новых патентов на изобретения, и т. д. в 1800—1820 гг.; 51 изобретение в 1820-е гг.;

86 изобретений в 1830-е гг. и 156 изобретений в 1840-е гг.[25*] — британская мануфактурная промышленность технологически стабилизировалась к 1830-м гг. С другой стороны, хотя производительность труда каждого работника возросла в постнаполеоновский период, она не достигла революционного уровня. Настоящее существенное ускорение производства было достигнуто во второй половине века: существовало относительное давление на темпы роста капитала, который современная теория склонна считать прибылью. Но рассматривая этот вопрос, необходимо перейти к следующей фазе промышленного развития — созданию капиталистических основных средств производства.

IV

Очевидно, что промышленная экономика может развиваться до определенного уровня, до тех пор, пока она обладает необходимыми основными средствами. Вот почему даже сегодня одним из наиболее надежных показателей промышленного потенциала любой страны является производство железа и стали. Но также очевидно и то, что в условиях частного предпринимательства сверхвысокие капиталовложения, необходимые для развития большинства отраслей, нет необходимости вкладывать в индустриализацию мануфактурного производства или других отраслей производства потребительских товаров. Для них уже существует массовый рынок сбыта, по крайней мере потенциальный: даже любой бедняк носит рубашки и пользуется предметами домашнего обихода и потребляет продукты питания. Проблема заключается в том, как наполнить достаточно широкий рынок довольно быстро, исходя из возможностей бизнесменов. Но такого рынка не существует, скажем, для тяжелого металлического оборудования, такого как, например, балка. Он был создан лишь благодаря промышленной революции (и то существовал не всегда) и тех, кто вложил свой капитал в очень крупные инвестиции, необходимые для

относительно скромных работ с металлом, и ждал скорого результата (в то время как на мануфактурах существовал огромный и быстрый оборот), можно скорее назвать любителями приключений или фантазерами, а не здравомыслящими бизнесменами. На самом деле во Франции несколько подобных мечтателей-утопистов сен-симонистов пропагандировали такую индустриализацию, которая требовала крупных и долгосрочных инвестиций.

В таком крайне невыгодном положении оказалась металлургия, особенно железная. Ее производительность возросла благодаря нескольким простым изобретениям, таким как пудлингование и прокат в 1780-х годах, но спрос на них оставался низким при невоенных заказах, а военные, хотя и сильно возросли в период успешных войн между 1706 и 1815 гг., после Ватерлоо сильно снизились. И они, конечно, были не столь велики, чтобы сделать Британию главным производителем железа. В 1790 г. она произвела его больше Франции только на 40% или около того, и даже в 1800 г. его выпуск был значительно меньшее, чем половина выпуска всей Европы, и насчитывал по более поздним данным четверть миллиона тонн. Так или иначе, вклад Британии в мировое производство железа в следующие десятилетия начал снижаться.

По счастью, англичане меньше делали капиталовложений в горное дело, главным образом это были угольные шахты, поскольку в XIX в. уголь стал почти единственным и главным источником энергии в промышленности, но также и главным домашним топливом, в основном благодаря сравнительно малому количеству лесов в Британии. Рост городов, и особенно Лондона, заставил уже с конца XVI в. сильно увеличить добычу угля. В начале XVIII в. это была достаточно примитивная отрасль промышленности, несмотря на использование ранних паровых двигателей (применяемых в сходных целях при добыче цветных металлов, в основном в Корнуэлле) для откачки воды из шахт. Поэтому угольная добыча и не нуждалась в техническом переоснащении и не претерпела технического пере-

вооружения в рассматриваемый нами период. В этой отрасли проводились усовершенствования, но не коренное изменение всего процесса производства. Хотя ее производительность была огромной, а по мировым стандартам — даже астрономической. В 1800 г. в Британии было добыто около 10 млн тонн угля, или около 90% всей мировой добычи. Её ближайший соперник Франция добыла меньше миллиона тонн.

Эта мощная промышленность, хотя, возможно, недостаточно сильно развивалась для всеобщей индустриализации по современным меркам, была достаточно велика для того, чтобы появлялись изобретения, которые должны были изменить капиталистическое производство, в результате чего возникла железная дорога. Ведь на шахтах были необходимы не только паровые двигатели в больших количествах и большой мощности, но также требовались средства, достаточные для транспортировки значительного количества угля от пласта до ствола шахты и особенно от разработки к месту погрузки. Возникал вопрос. Должен ли вагоны толкать стационарный двигатель? Это было бы заманчиво, поскольку толкать вагоны живым двигателем казалось непрактичным. В результате из-за того, что цены наземной транспортировки основной массы товаров были слишком велики, в дело пришлось вмешаться владельцам шахт и решить вопрос о том, что краткосрочные тягловые средства нужно заменить на долгосрочные при внутренних перевозках. Линия от наземной угольной разработки в Дарэме до побережья (Стоктон—Дарлингтон, 1825) была первой современной железной дорогой. Технологически железная дорога является порождением горного производства и особенно угольных шахт на севере Англии. Джордж Стефенсон начинал как машинист паровоза в Тинисайде, и через несколько лет все машинисты локомотивов набирались с его родной шахты.

Ни одно изобретение промышленной революции не поражает воображения так, как железная дорога: свидетельством является тот факт, что это единственное достижение XIX в.,

продукт индустриализации, который стал поэтическим и фольклорным образом. Едва ли с 1825 по 1830 г. в Англии было технически возможно и выгодно строить железную дорогу, пока планы создания ее не созрели по всей Западной Европе, хотя ее строительство повсеместно откладывалось. Первые короткие железнодорожные линии были открыты в США в 1827 г. во Франции — в 1828 г. и в 1835 г., в Германии и Бельгии — в 1835-м и даже в России в 1837 г. Причина заключалась, бесспорно, в том, что никакое другое изобретение не показывало обывателю силу и скорость нового времени столь отчетливо; изобретение произвело на всех наибольшее впечатление своей замечательной технической завершенностью даже на самых ранних железных дорогах. (Скорость до 60 миль в час, к примеру, была весьма практичной в 1830-х годах и не была сильно превышена последующими паровозами на железных дорогах.) Железная дорога, толкающая свои тяжелые дмящиеся составы со скоростью ветра через страны и континенты, через дамбы и туннели, мосты и станции, составляла единое целое, после которого египетские пирамиды и римские акведуки и даже Великая Китайская стена утратили прежнее величие, была настоящим символом человеческого триумфа, достигнутого посредством технологии.

Фактически с экономической точки зрения главным ее преимуществом было стремительное строительство. Главным ее достижением стали, без сомнения, способность открывать страны, до того отрезанные от мирового рынка из-за высоких транспортных цен, большое увеличение скорости и объема наземного сообщения, которые она дала человеку. До 1848 г. они были экономически менее важны: вне Британии — потому что железных дорог было мало, в Британии по географическим причинам транспортные проблемы были более легко разрешимы, чем в больших странах, окруженных сушей*. Но были с точки зрения эко-

* В Британии любая точка суши удалена от моря не более чем на 70 миль, и все промышленные районы XIX в., исключая один, были расположены либо на море, либо на небольшом расстоянии от него.

номического развития, огромное потребление железными дорогами железа и стали, угля и тяжелых машин, труда, капитальных вложений в тот период было наиболее важно. Появление железной дороги повлекло за собой столь значительное перевооружение капиталистического товарного производства, какое до этого было проведено в мануфактурной отрасли. В первые два десятилетия существования железной дороги (1830—1850) выпуск железа в Британии возрос с 680 тыс. до 2 млн 250 тыс. тонн, другими словами — втрое. Добыча угля в этот период увеличилась втрое — с 15 млн тонн до 49 млн тонн. Такой потрясающий рост произошел благодаря железной дороге, поскольку на каждую милю полотна в среднем требовалось 300 тонн железа на рельсы[26*]. Заметное увеличение производства стали произошло и в следующие десятилетия.

Причиной такого неожиданного масштабного и жизненно необходимого расширения является, по-видимому, неразумный энтузиазм, с которым бизнесмены и инвесторы ринулись в железнодорожное строительство. В 1830 г. было несколько дюжин миль железной дороги во всей мире — главным образом линия от Ливерпуля до Манчестера. К 1840 г. было уже 4 500 миль, к 1850 г. — более 23,5. Большая часть из них была спроектирована благодаря безумию энтузиастов железной дороги в 1835—1837 гг., и особенно в 1844—1847 гг. большинство из них было построено в основном при помощи британского капитала, из британской стали, машин и применения достижений технологии*. Этот подъем капиталовложений был иррационален, потому что тактически немногие железные дороги были более выгодны для инвесторов, чем другие виды капиталовложений, по большей части они приносили совсем скромный доход, а многие и вовсе не приносили дохода, в 1855 г. общие капиталовложения в британскую железную дорогу снизились на 3,7%. Без сомнения, люди понимавшие ситуацию, забрали свои вложе-

* В 1848 г. одна треть капитала французских железнодорожных линий была британской[27*].

ния из этого предприятия, но простые инвесторы — нет. И тем не менее к 1840 г. в железные дороги было вложено 28 млн фунтов, а к 1850 г. — 240 млн фунтов[28*]

Почему? Основная причина состояла в том, что Британия в первых двух поколениях промышленной революции была страной, где благополучные и богатые классы получили доход так быстро и в таких огромных количествах, что превосходили все возможности тратить и вкладывать (годовой уровень инвестиций в 1840-х годах насчитывал около 60 млн фунтов)[29*] Без сомнения, феодалы и аристократия промотали бы богатства*. Даже в Британии шестой герцог Девонширский, чей доход позволял ему жить припеваючи, умудрился сделать долги на миллион фунтов в середине XIX столетия (которые он выплатил, заняв еще полтора миллиона фунтов и продолжая преумножать свою недвижимость[30*]). Но подавляющее большинство представителей среднего класса, которые составляли значительную часть инвесторов, оставались более накопителями, нежели вкладчиками, хотя к 1840 г. появилось много признаков того, что они почувствовали себя достаточно состоятельными, чтобы не только тратить, но и вкладывать деньги. Их жены стали превращаться в «леди», изучали по книгам этикет, который ценился в тот период; перестраивались церкви в более дорогом и помпезном стиле, тогда начали отмечать коллективно победы строительством тех шокирующих городских ратуш и других гражданских чудовищ, настоящая и непомерная цена которых с гордостью записывалась муниципальными историками**.

Опять-таки, современное социалистическое или капиталистическое общество, без сомнения, распределили бы эти зна-

---

* Конечно, такие расходы также стимулируют экономику, но не очень эффективно, и едва ли вообще в направлении промышленного роста.

** Немногие города в традициях XVIII в. продолжали строительство общественных зданий, а типично новые индустриальные метрополии, такие как Болтон в Ланкашире, не строили до 1847—1848 гг. ничего заметного и неутилитарного[31*].

чительные накопления в общественных интересах. В тот же период ничего подобного не могло произойти. Средний класс, фактически не облагаемый налогами, тем не менее продолжал накапливать богатства среди голодающего народа, чей голод как раз и способствовал их накоплению. И поскольку они не были крестьянами, чтобы хранить накопленные богатства в шерстяных чулках или в золотых побрякушках, им приходилось искать места выгодных вложений этих денег. Но куда? Существовавшие отрасли промышленности стали настолько дорогими, что поглощали значительную долю дохода на инвестиции, если предположить, что объем мануфактурной промышленности возрос бы вдвое, стоимость капитала поглотит только часть его. Что было необходимо, так это достаточно большая губка, чтобы вобрать в себя ее полностью*. Иностранные капиталовложения были выгодной возможностью. Остальной мир — будь то старые правительства в поисках средств на восстановление после наполеоновских войн или новые — в основном только и был озабочен, как бы получить неограниченные займы. Английские инвесторы с готовностью их давали. Но увы, южноамериканские займы, которые были вначале многообещающими в 1820-х гг., североамериканские, казавшиеся столь заманчивыми в 1830-х, превратились в клочки ненужной бумаги: из 25 иностранных правительственных займов, проданных с 1818 по 1831 г., 16 (содержащих почти половину от выпускной стоимости в 42 млн фунтов) прекратили платежи в 1831 г. Теоретически по этим займам должны были бы выплатить инвесторам 7 или 9%, фактически в 1831 г. было получено в среднем 3,1%. У кого же не отобьет охоту такая практика, когда чеки 5%-ного займа 1824 и 1825 гг. совсем не приносили дохода до 1870-х[32*]? И естественно, что капиталистической экспансии за рубежом во время рискованного бума в

* Общий капитал — основной и работающий в мануфактурной промышленности — измерялся Мак-Куллохом в 34 млн фунтов в 1833-м, а в 1845-м — в 47 млн фунтов.

1825 и в 1835—1837 гг. надо было бы искать менее разочаровывающее применение. Джон Фрэнсис, оглядываясь на привычки 1851 г., описывал богачей, считавших обогащение, которое у промышленников всегда превосходит обычный метод капиталовложений, законно и справедливо использованных. В молодости он видел деньги, выброшенные на военные займы, работая на южноамериканских шахтах, видел, как создавались дороги, нанимались рабочие и рос бизнес. Железные дороги, если и поглощали капитал безвозвратно, то были полезны для страны, в которой они строились. Другое дело иностранные шахты и иностранные займы — вот где деньги не могли исчезнуть безвозвратно или быть бесполезными[33*]

Могли ли они найти другие формы инвестиций у себя дома — к примеру строительство, — вопрос академический, который до сих пор не получил ответа. Таким местом вложения оказались железные дороги, которые строились не так уж быстро, пока не получили приток капитала на свое строительство, особенно в середине 1840-х гг. Это было счастливым стечением обстоятельств, поскольку железные дороги помогли решить все жизненно важные проблемы экономического рынка сразу.

V

Проследить, какие силы движут процесс индустриализации, — это только одна часть работы историка. Другая — изучить мобилизацию и перераспределение экономических ресурсов, адаптацию экономики и общества, которую требовалось создать, следуя новому революционному курсу.

Первым и, наверное, наиболее существенным фактором, который необходимо было использовать и перераспределить, являлся труд, поскольку промышленная экономика означает резкое соразмерное уменьшение сельского и резкий рост несельского населения. А это, в свою очередь, сразу потребует

роста продовольственного снабжения, в основном из своего сельского хозяйства — а это означает сельскохозяйственную революцию!*

Быстрый рост городов и несельских поселений в Британии оказывал долгосрочное воздействие на сельское хозяйство, которое обычно настолько неэффективно в своих непромышленных формах, что совсем небольшие усовершенствования — более рациональный уход за животными, улучшенный севооборот, удобрения, оборудование ферм, культивация новых растений — могут принести большие результаты. Такое изменение в сельском хозяйстве предшествовало промышленной революции и на первых порах способствовало резкому увеличению численности населения, этот импульс продолжал действовать, хотя британское сельское хозяйство страдало от резкого падения цен, которое последовало за неоправданно высокими ценами во время наполеоновских войн. В смысле технологий и капиталовложений изменения в наш период были невелики, и так дела обстояли до 1830-х гг. — времени, когда сельскохозяйственная наука и техника получили наиболее полное развитие. Значительное увеличение сельскохозяйственной продукции дало британскому сельскому хозяйству возможность в 1830-х гг. обеспечить на 98% зерном население, которое возросло в 2 и в 3 раза в середине XVIII в.[34*], что было достигнуто широким распространением передовых методов в его начале путем рационализации и расширения обрабатываемых земель.

Все это было, в свою очередь, достигнуто скорее благодаря изменениям в обществе, чем новыми технологиями: путем ликвидации средневековой общинной обработки земли с ее открытыми полями и общим пастбищем (движение за огораживание), самообеспечивающимися крестьянскими хозяйствами и старым некоммерческим отношением к земле. Благодаря пе-

* До начала эры железных дорог и пароходов, т. е. до конца рассматриваемого нами периода, возможность импортировать большие количества продовольственных продуктов из-за границы была ограничена, хотя Британия пришла к равновесию, когда импорт продовольствия стал доходным в 1780-х гг.

реходному периоду с XVI по XVIII в. путем эволюции произошло радикальное решение аграрных проблем, что сделало Британию страной нескольких крупных землевладельцев, небольшого числа торгующих фермеров-арендаторов и большого числа наемных рабочих — все это было достигнуто с минимумом неприятностей, хотя при сопротивлении не только сельской бедноты, но и мелкопоместного сельского дворянства. В некоторых графствах после голодного 1795 г. благородными судьями была принята добровольная программа помощи бедным, которая называлась «Система Спинхамленда» и рассматривалась как последний систематический шаг помощи старому сельскому обществу, страдающему от денежных отношений*. После кризиса 1815 г. вышел хлебный закон, который в интересах аграриев должен был защитить фермерство, находящееся в тисках экономической ортодоксии; это был своеобразный манифест против тенденции относиться к сельскому хозяйству как к любому другому производству и судить о нем исходя лишь из критерия выгодности. Но это был арьергардный бой против окончательного введения капитализма в деревню, и в конечном итоге он закончился поражением на волне наступления среднего класса после 1830 г. новым законом о бедных 1834 г. и отменой хлебного закона в 1846 г.

В отношении экономического прогресса это изменение общества явилось замечательным успехом, в отношении человеческих страданий трагедия усугублялась депрессией в сельском хозяйстве после 1815 г., которая привела сельскую бедноту к деморализующей нищете. После 1800 г. даже такой восторженный сторонник огораживания общественных земель и развития сельского хозяйства, как Артур Янг[39], был потрясен изменениями, происшедшими в обществе[35*]. Но с точки зрения индустриализации тут также наличествовали благоприятные условия, поскольку промышленность нуждается в рабочих,

* В соответствии с этой системой бедноте были гарантированы выплаты в виде субсидий из местных налогов, но будучи умеренными, они влекли за собой еще большую нищету, чем прежде.

откуда же еще, как не из непромышленного сектора можно их взять? Сельское население страны или иммигранты (в основном из Ирландии) из-за границы были добавочным источником рабочей силы кроме различных мелких производителей и рабочей бедноты*. Людей необходимо привлекать к новым видам деятельности, или если (что было наиболее вероятно) они невосприимчивы к этому и не желали изменять свой традиционный образ жизни[36*], их нужно было вынудить это сделать. Экономическая и социальная нужда являлись самым эффективным кнутом в этом деле, более высокая зарплата и большая свобода жизни в городе — дополнительной приманкой. По разным причинам силы, которые должны вознаграждать людей, покинувших свое историческое социальное прибежище, все еще были относительно слабы в наш период по сравнению со второй половиной XIX в. Голод в Ирландии стал потрясающей катастрофой и явился причиной массовой эмиграции (1,5 млн иммигрантов — из населения в 8,5 млн человек в 1835—1850 гг.), которая стала обычной после 1850 г. Тем не менее в Британии они были сильнее, чем где бы то ни было. А не будь они сильными, развитие промышленности в Британии столкнулось бы с такими препятствиями, какие были во Франции, где в сельском хозяйстве господствовали стабильность и относительное благополучие крестьян и мелкой буржуазии, которые лишили промышленность необходимого притока рабочей силы**.

---

* Другой взгляд на эту проблему состоит в том, что обеспечение производства рабочими руками зависит не от таких изменений, а от общего роста населения, которое, как мы знаем, очень быстро выросло. Но это сбивает с толку. В промышленной экономике не только численность, но и доля сельскохозяйственной рабочей силы должна была резко возрасти. Это значит, что мужчины и женщины, которые все-таки должны были остаться в деревне и жить, как их предки, вынуждены переехать куда-либо на каком-то отрезке своей жизни, потому что города растут быстрее, чем вырастает их население, которое в любом случае ниже, чем у деревень в нормальных условиях. И это зависит от того, уменьшается ли сельское население, остается его численность постоянной или даже вырастает.

** Британии, как, к примеру, и США, приходилось рассчитывать только на массовую иммиграцию, частично на иммиграцию из Ирландии.

Приобрести нужное число рабочих рук — одно, а приобрести рабочих нужной квалификации и навыков — другое. Опыт XX в. показал, что это важная проблема и решить ее очень трудно. Во-первых, все рабочие должны научиться работать в промышленности, т. е. в ритме регулярной непрерывной каждодневной работы, которая совершенно отличается от сезонной работы на ферме или от самостоятельного случайного графика независимого ремесленника. Рабочие также должены знать прогрессивную систему заработной платы. Британские наниматели в то время, как южноафриканские сегодня, постоянно жаловались на «леность» рабочих или на их склонность работать при устойчивой понедельной зарплате, достаточной для выживания. Ответ был найден в драконовской трудовой дисциплине («Мастер и слуга» — свод законов, где закон на стороне нанимателя, и т. д.), но более всего на практике было возможным платить за труд так мало, что приходилось работать в течение всей недели, чтобы заработать минимальную прибавку на фабриках, где проблема трудовой дисциплины была более насущной; находили более удобным нанимать сговорчивых детей и женщин: из всех работников на английских мануфактурах в 1834—1847 гг. около $^1/_4$ составляли взрослые мужчины, более половины — женщины и девушки, юноши до 18 лет[37*]. Другой общепринятый путь укрепления дисциплины, который отражался на маломасштабном постепенном процессе индустриализации на этой ранней стадии, являлся передоверенный контракт, или практика, заставляющая квалифицированных рабочих обучать своих подручных. В мануфактурной промышленности, к примеру, около $^2/_3$ юношей и $^1/_3$ девушек были наняты к станочникам в подмастерья и находились под их контролем вне фабрики. Подмастерье, конечно, имел прогрессивную систему заработной платы, которая позволяла следить, чтобы нанятые не ленились.

Но было гораздо труднее нанять или подготовить достаточно квалифицированного рабочего, поскольку в современной промышленности были мало пригодны навыки кустарного труда, хотя многие работы, такие как строительство, продолжали оставаться неизменными. По счастью, медленная полуиндустриализация Бри-

тании, длившаяся до 1789 г., создала большой резерв пригодных навыков как в текстильной промышленности, так и в металлообработке. В Европе слесарь, использовавшийся на точных работах с металлом, стал предшественником машиностроителя и иногда название передавал ему; так было в Британии: техник-машиностроитель и инженер, или «человек при двигателе». Не случайно, что в Англии слово «инженер» означает обоих, и искусного металлиста, и конструктора, потому что многие высококвалифицированные рабочие нанимались инженерами. Фактически британская индустриализация опиралась на этот незапланированный приток высококвалифицированных рабочих, которого в Европе не было. Это объясняет ужасающее пренебрежение к общему и техническому образованию в стране, за что пришлось платить позже высокую цену. Кроме проблемы снабжения рабочей силой существовала и другая важная проблема — снабжения капиталом. Но в отличие от многих европейских стран в Британии не было недостатка в капитале. Главная трудность состояла в том, что те, кто контролировал этот капитал в XVIII в. — землевладельцы, торговцы, владельцы судов, финансисты и др., — не желали вкладывать его в новые отрасли промышленности, которые тем не менее начинались часто с малых вкладов или займов и развивались, принося доходы.

Нехватка местного капитала заставляла первых предпринимателей, особенно самостоятельных людей, становиться жестче, экономнее и предприимчивей, но это была реакция на замедленный приток национальных капиталовложений, но не на их недостаточность. С другой стороны, в XVIII в. богатые люди были готовы вкладывать деньги в такие предприятия, которые помогали индустриализации, большей частью в транспорт (каналы, оборудование доков, дороги и позднее также в железные дороги) и в шахты, с которых владельцы земель взимали арендную плату, даже когда они не эксплуатировались. Других трудностей в производстве работ и финансировании не было. Банки и банкноты, счета и расчеты посредством векселей, основной капитал и акции, техническая сторона дела заморской и оптовой торговли, нахождение рынков

сбыта — все было знакомо, и люди, которые могли заниматься этим или легко научиться делать это, становились богатыми, более того, к концу XVIII в. политика правительства была полностью подчинена интересам бизнеса. Устаревшие указы (такие как Свод социальных законов Тюдоров)[40] давно уже не действовали и в конце концов были отменены в 1813—1835 гг., за исключением сельскохозяйственных районов. Теоретически законы и финансовые или торговые учреждения Британии были несовершенны и организованы так, что скорее препятствовали, чем помогали экономическому развитию, к примеру, они стали применять парламентский частный закон в каждом случае, когда человек хотел создать компанию со смешанным товаром. Французская революция позволила французам и через их влияние всему остальному миру с большей рациональностью и эффективностью решать такие проблемы. На практике британцы очень хорошо справлялись с трудностями, значительно лучше, чем их соперники.

И этим достаточно бессистемным, бесплановым и эмпирическим способом была построена ведущая индустриальная экономика. По современным стандартам она была мала и архаична, и этот архаизм и до сих пор остался в Британии. По меркам 1848 г. она была монументальна, хотя и довольно пугающа, поскольку ее новые города были безобразнее, положение пролетариата хуже, чем где-либо еще*: туман, задымленность, в которой сновали туда-сюда массы бледных спешащих переселенцев. Но сила ее паровых двигателей, мощность которых была равна миллиону лошадиных сил, оборачивалась двумя миллионами ярдов мануфактуры каждый год, которую ткали более 17 млн механических ткацких станков; добывалось почти 50 млн тонн угля, импортировалось и экспортировалось товаров на 170 млн фунтов в год. Ее торговля в 2 раза превосходила по объему торговлю ее ближайшего соперника — Франции: перегнала ее Франция только в 1780 г. Потребление хлопка было в 2 раза больше, чем в США, в 4 раза больше,

---

* «В общем положение рабочего класса в Англии казалось гораздо хуже, чем во Франции 1830—1848 гг.» — считает современный историк[38*].

чем во Франции. Она производила более чем половину чугуна, выплавляемого всеми индустриально развитыми странами, и потребляла его в 2 раза больше на душу населения, чем следующая по уровню развития страна (Бельгия), в 3 раза больше, чем США, и более чем в 4 раза по сравнению с Францией. Из примерно 200—300 млн фунтов британских инвестиций, приносивших назад дивиденды со всего света, $^1/_4$ шла в США, почти $^1/_5$ часть в Латинскую Америку[39*] Фактически это была «промышленная мастерская мира». И Британия, и весь мир знали, что промышленная революция, начавшаяся на этих островах, благодаря и посредством труда и предпринимательства, чей единственный закон заключался в том, чтобы купить подешевле и продать подороже без всяких ограничений, изменяла мир. Ничто не могло устоять на ее пути. Боги и короли прошлого были бессильны перед бизнесменами и паровыми двигателями того времени.

ГЛАВА 3

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Англичанин, не преисполненный чувством уважения и восхищения к самой значительной Революции, которая когда-либо происходила в мире, должен быть невосприимчив к чувству справедливости и свободы; любой из моих соотечественников, которому посчастливилось быть свидетелем перемен последних трех дней в этом великом городе, подтвердит, что мои слова не являются преувеличением.

«Морнинг пост», 21 июля 1789 г., описывая падение Бастилии.

Скоро просвещенные нации прогонят тех, кто до сих пор правил ими. Короли побегут в пустыни в общество диких зверей, с которыми они имеют сходство, и природа обретет свои права.

Сен-Жюст. О Конституции Франции.
Речь, произнесенная в Конвенте 24 апреля 1793 г.

I

Если мировая экономика XIX в. формировалась в основном под влиянием британской промышленной революции, его политика и идеология формировались под влиянием Франции. Британия дала как образец свои железные дороги и фабрики, экономический взрыв, который разрушил традиционную экономику и социальные структуры неевропейского мира, но Франция совершила свою революцию и дала ему свои идеи, вот почему трехцветный флаг стал эмблемой фактически каждой рождающейся нации, а европейская и мировая политика между 1789 и 1917 гг. представляла собой борьбу за или против принципов 1789 г. или более радикальных принципов 1793 г. Франция создала словарь

и дала примеры либеральной и радикально-демократической политики для всего мира. Франция стала первым великим примером, концепцией и словарем национализма. Франция создала свод законов, модель научной и технической организации, метрическую систему мер для большинства стран. Идеология современного мира впервые проникла в древние цивилизации, которые до тех пор сопротивлялись принятию европейских идей. Вот что сделала французская революция*.

Конец XVIII в., как мы видели, был эрой кризисов старых режимов Европы и их экономических систем, и его последние десятилетия изобиловали политическими катаклизмами, которые порой доходили до восстания; колониальными движениями за автономию, которые добивались отделения: не только в США (1776—1783), но также в Ирландии (1782—1784), в Бельгии и Льеже (1787—1790), в Голландии (1783—1787), в Женеве и даже (это оспаривается) в Англии (1779). Все кипение этого политического беспокойства настолько потрясает, что некоторые современные историки говорили об «эре демократической революции, на пути к которой французы находились одни, хотя и будучи наиболее решительными и более всех удачливыми»[1*]

Поскольку кризис старого режима был присущ не одной Франции, необходимо уделить этому некоторое внимание. Также можно спорить, что российская революция 1917 г. (которая занимает такое же место в нашем веке) была наиболее драматичной из всех потрясений, которые произошли на несколько лет раньше 1917 г., в результате которых разрушились древние Турецкая и Китайская империи. Хотя это уже уводит нас в сторону от предмета. Французская революция, возможно, и не была изолированным феноменом, но она была куда более значительной, чем

* Это различие между британским и французским влиянием не должно восприниматься как очень разные явления. Каждый из центров двойной революции не ограничивал своего влияния какой-либо одной сферы человеческой жизни, а обе скорее дополняли одна другую, чем соперничали. Тем не менее, даже когда обе сближались — как в социализме, который был почти одновременно изобретен и назван в обеих странах, — они сближались с разных направлений.

любая современная ей революция, и ее последствия из-за этого были гораздо глубже. Прежде всего, она произошла на территории самого могущественного и густонаселенного государства Европы (не считая России). В 1789 г. один европеец из пяти был французом. Она была на втором месте среди всех революций до и после нее, как массовая социальная революция и гораздо более радикальная, чем любая другая по сравнению с ней. Нет такого случая, чтобы американские революционеры или британские якобинцы, переехав во Францию по политическим соображениям, ощутили себя более радикальными во Франции. Томас Пейн[41] был экстремистом в Британии и в Америке, но в Париже он оказался среди наиболее умеренных жирондистов. Результаты американской революции были таковы: в Штатах все осталось, как и раньше, только прекратился политический контроль Британии, Испании и Португалии. Результатом французской революции было то, что эра Бальзака пришла на место эпохи мадам Дюбарри[42].

В-третьих, единственная из всех современных революций, она была всемирной. Ее армии разнесли революцию и ее идеи по всему свету. Американская революция осталась решающим событием в истории Америки, но (за исключением стран прямо, непосредственно вовлеченных в нее) она мало повлияла на другие страны. Французская революция — это веха для всех стран. Ее влияние, более значительное, чем влияние американской революции, вызвало восстания, которые привели к освобождению Латинской Америки после 1808 г. Ее прямое воздействие достигло далекой Бенгалии, где Рам Мохан Рой[43] был воодушевлен ею и основал первое движение хинди за реформы, положившее начало современному индийскому национализму (когда в 1830 г. он посетил Англию, он настоял на том, чтобы плыть на французском корабле, демонстрируя свои принципы). Как справедливо отмечали, это было первое значительное идейное движение в западном христианском мире, которое оказало реальное и почти немедленное воздействие на исламский мир[2*] К середине XIX в. турецкое слово «ватан», до того буквально означавшее «место человека по рождению или местожительство», начало под воздействием французской революции изменяться по значению в

«партию»; термин «liberty», до 1800 г. означавший нечто «противоположное рабству», начал приобретать новый политический смысл. Его косвенное влияние универсально, так как оно явилось примером последующих революционных движений, его уроки изучаются современным социализмом и коммунизмом*.

Тем не менее французская революция остается наиболее выдающейся революцией своего времени. Ее истоки потому должны быть рассмотрены не только исходя из общих условий Европы, но и из специфической обстановки во Франции. Ее специфичность наиболее показательна в международных отношениях. В течение XVIII в. Франция была главным международным экономическим соперником Британии в мире. Ее иностранная торговля возросла в 4 раза с 1720 по 1780 г., вызывая тревогу англичан; ее колониальные владения располагались в более динамично развивающихся районах (Вест-Индия), чем у Британии. И все же Франция не являлась такой мощной державой, как Британия, чья внешняя политика уже была направлена на обеспечение капиталистической экспансии. Она была наиболее сильной и во многих отношениях наиболее типичной из всех старых аристократических абсолютных монархий Европы. Иначе говоря, конфликт между официальной структурой и закрепленными законом имущественными правами старого режима и растущими новыми общественными силами был во Франции острее, чем где-либо еще.

Новые силы точно знали, чего они хотели. Тюрго — экономист-физиократ выступал за рациональное использование земли, за свободное предпринимательство и торговлю, за стандартизированное эффективное управление единой однородной национальной территорией и отмену всех запретов и социального неравенства, которые препятствовали развитию национальных ресурсов и за рациональное справедливое управление и налого-

* Это не умаляет влияния американской революции. Она, без сомнения, помогла поддержать французов в узком смысле — обеспечила моделью конституции — в противовес французской — для различных латинских стран и способствовала время от времени росту демократических радикальных движений.

обложение. Хотя его попытка как первого министра Людовика XVI в 1774—1776 гг. провести в жизнь эту программу закончилась плачевно, но провал ее был закономерен. Реформы такого рода в скромных масштабах были вполне совместимы с монархией и не встречались ею в штыки. Наоборот, с тех пор как монархия усилила свою власть, подобные программы широко распространялись в это время среди так называемых «просвещенных монархов». Но во многих странах с «просвещенными монархами» подобные реформы были либо неприменимы и поэтому служили лишь предметом оживленных теоретических дискуссий, либо не могли изменить общий характер их политической и социальной структуры; или же они не выдерживали сопротивления местной аристократии и других закрепленных законом имущественных прав, и страна оставалась в том же самом состоянии. Во Франции они потерпели неудачу более сокрушительную, чем где-либо еще, из-за сопротивления со стороны обладателей законных имущественных прав. Но результаты такого поражения были катастрофичны для монархии, а силы буржуазных перемен были настолько значительны, что остановить их уже было невозможно. Они просто перенесли свои надежды с просвещенной монархии на народ, или «нацию». Однако такое обобщение не ведет нас к пониманию, почему революция разразилась тогда и почему она пошла именно по этому пути. Для этого необходимо прежде всего рассмотреть так называемую «феодальную реакцию», которая на самом деле явилась во Франции искрой для бочки с порохом.

Среди 23 млн французов 400 тыс. принадлежали к знати, достаточно спокойно, бесспорно являвшейся высшим сословием нации, хотя не так надежно защищенным от вторжения в ее ряды низших по социальному статусу слоев, как, например, в Пруссии или кое-где еще. Они пользовались значительными привилегиями, включая освобождение от уплаты ряда налогов, а также имели право собирать феодальные подати. Политически их положение было не столь блестящим. Абсолютная монархия, будучи аристократической и феодальной по своему характеру, лишила дворян политической независимости и ответственности и сократила

их старые представительные институты — штатов и парламентов — до минимума. Этот факт продолжал терзать высшую аристократию и совсем недавних (noblesse de robe) дворян мантии, созданных королями для различных целей, главным образом финансовых и административных; новые дворяне из рядов среднего класса, вошедшие в правительство, выражали через суды и штаты двойное недовольство аристократии и буржуазии. Экономическое недовольство дворян никоим образом не оставалось без внимания. Более воины, чем владельцы по рождению и традиции, дворяне даже формально не имели права торговать или заниматься каким-то другим делом, они зависели от дохода со своих имений или, если они принадлежали к избранному меньшинству придворных, — от выгодного брака, придворных пенсий, подарков и синекур. Но расходы дворянского сословия были велики и постоянно росли, а их доходы — поскольку они не распоряжались своим состоянием, как бизнесмены — уменьшались. Предприниматели, если отваживались на это, несли потери. Инфляция резко сокращала ценность фиксированного дохода с рент. Поэтому естественно, что дворяне были вынуждены пользоваться своим единственным главным достоянием — привилегиями своего сословия. На протяжении XVIII в. во Франции, как и в других странах, они постоянно стремились занять официальные посты, на которые абсолютная монархия предпочитала брать технически компетентных и искусных в политике представителей среднего класса. К 1780-м гг. все дворяне должны были купить патент на офицерский чин, все епископы были дворянами, и даже столпы королевской администрации, интенданты, в основном были дворяне. Соответственно дворянство раздражало стремление среднего класса бороться за официальные посты, дворянство просто разрушало само государство, занимая места в провинциальной и центральной администрации. Таким образом они, и особенно беднейшие провинциальные дворяне, у которых было мало источников доходов, старались остановить сокращение своих прибылей, выжимая все возможное из своих феодальных прав, вымогая деньги (или, гораздо реже, повинности) у крестьян. Для возрождения абсолютных прав дворянства или максимальному

выявлению существующих появилась специальная профессия feudist (февдисты). Наиболее выдающийся ее представитель Гракх Бабеф впоследствии стал вождем первого коммунистического выступления в современной истории в 1796 г. В результате дворянство раздражало не только средний класс, но также и крестьян. Положение этого многочисленного класса, представлявшего, возможно, 80% французского народа, было далеко не блестящим. Правда, крестьяне были абсолютно свободны и часто являлись владельцами земель. В обычном исчислении владения дворянства составляли лишь $^1/_5$ часть всей земли, владения церкви еще 6% с некоторыми колебаниями в зависимости от районов[3*] Таким образом, в епархии Монпелье крестьяне уже владели 38—40% земли, буржуа — от 18 до 19, дворяне — от 15 до 16, духовенство — от 3 до 4%, а $^1/_5$ земель находилась в общинном пользовании[4*]. Фактически же подавляющее большинство крестьян были безземельными или обладали недостаточными участками земли; недостаток земель усугублялся технической отсталостью, а общая нехватка земли возрастала с ростом населения. Феодальные налоги, сборы, десятины забирали большую и все растущую часть дохода крестьян, а инфляция уменьшала объем оставшейся. Только меньшинство крестьян имели из-за растущих цен постоянный доход от продажи излишков, остальные так или иначе страдали от этого, особенно в неурожайные годы, когда наступал голод. Не вызывает сомнений, что за 20 лет до революции положение крестьянства по этим причинам еще более ухудшилось.

Финансовые проблемы монархии обострили ситуацию. Административные и фискальные структуры изжили себя, и, как мы видели, попытка оживить их реформами 1774—1776 гг. потерпела неудачу из-за сопротивления владельцев законных имущественных прав под предводительством парламентов. Затем Франция оказалась вовлеченной в войну американцев за независимость. Победа над Англией далась ценой окончательного банкротства, и, таким образом, можно говорить, что американская революция явилась причиной французской. Различные средства были применены с малым успехом, но ничто, кроме фундамен-

тальных реформ, которые бы мобилизовали реальные и подразумеваемые налоговые возможности страны, не могло бы улучшить ситуацию, в которой расходы превосходят доходы по меньшей мере на 20%, и никакая эффективная экономика не была возможна. И хотя экстравагантность Версаля часто называлась одной из причин кризиса, расходы двора составляли всего лишь 6% годовых в 1738 г. Расходы на войну, флот и дипломатию составили $^1/_4$, государственный долг составлял половину. Война и долг, американская война и ее долг привели к падению монархии.

Правительственный кризис дал шанс аристократии и парламентам. Они отказывались платить налоги, не получив расширения своих прав. Первая брешь в стене абсолютизма была пробита в 1787 г., на собрании нотаблей[44]; второй и решающей было отчаянное решение созвать Генеральные штаты[45], не созывавшиеся с 1614 г. Таким образом, революция началась с попытки аристократии захватить власть. Эта попытка оказалась просчетом по двум причинам: она недооценила намерений третьего сословия — бесправного, но реально существующего, задумавшего представлять всех, кто не был ни дворянином, ни духовенством, но преобладал как средний класс, и этот класс предвидел глубокий экономический кризис, в разгар которого он выставит свои политические требования.

Французская революция не была совершена какой-либо сформировавшейся партией или движением в современном понимании этого слова, людьми, старавшимися осуществить какую-либо последовательную программу. Едва ли она выдвинула лидеров, таких, какие возглавляли революции XX в., кроме постреволюционной фигуры Наполеона. Тем не менее потрясающее единообразие главных идей среди довольно связанных социальных групп придало революционному движению действенное единство. Это была группа «буржуазии»: она восприняла идеи классического либерализма, сформулированные философами и экономистами и распространяемые франкмасонами и неформальными объединениями. Исходя из этого «философы» справедливо могут быть названы ответственными за революцию. Она могла начаться и

без них, но они, возможно, создали противоречие между отжившим свое старым режимом и эффективным, быстро идущим ему на смену новым.

В своей наиболее общей форме идеология 1789 г. была масонской идеологией, выраженной с такой искренней возвышенностью в «Волшебной флейте» Моцарта (1791) — одном из ранних и великих пропагандистских произведений искусства того времени, когда величайшие художественные произведения так часто являлись пропагандой. Более четко требования буржуазии в 1789 г. были изложены в знаменитой «Декларации прав человека и гражданина». Этот документ является манифестом против иерархического привилегированного дворянского общества, но не в пользу демократического общества. «Люди рождены и живут свободными и равными перед законом», — говорилось в ее первом параграфе, но она также признает существование социальных различий «только на основании общей целесообразности». Частная собственность — естественное право, священное, неотъемлемое, неприкосновенное. Люди равны перед законом, и возможности карьеры открыты перед талантами в равной степени, но если соревнование начиналось без помех, по всеобщему признанию, соревнующиеся придут к финишу в разное время. Декларация устанавливала (в пику дворянской иерархии или абсолютизму), что «все граждане имеют право участвовать в выработке законов», но «либо сами, либо через своих представителей». А представительное собрание, которое признавалось как основной орган правительства, не обязательно избиралось демократически, а также и режим, который она подразумевала, не исключал королей. Конституционная монархия, основанная на разумной олигархии[46], выражающая себя через представительное собрание, была более близка по духу большинству буржуазных либералов, чем демократическая республика, которая могла показаться более последовательным выражением их теории, хотя находились и те, кто не сомневался, что она была бы предпочтительнее. Но в общем классическая либеральная буржуазия 1789 г. (и либеральная буржуазия 1789—1848 гг.) была не демократична, а просто верила в конституционализм, светское государство с гражданскими пра-

вами и гарантиями для частного предпринимательства и правительство, защищающее налогоплательщиков и собственников.

Тем не менее официально такой режим выражал бы не просто свои классовые интересы, но общие стремления «народа», который в свою очередь назывался (специальным термином) «французская нация». Король теперь был не Людовиком, Божьей милостью Королем Франции и Наварры, а королем Божьей милостью и волею государственного конституционного закона. «Источник верховной власти, — сказано в Декларации, — принадлежит нации». А нация не признает ничьей власти на земле, кроме своей собственной, и не признает ничьего закона, кроме своего, — никаких правителей или других наций. Без сомнения, французская нация и те, кто впоследствии попытались ей подражать, сначала не понимали, как их интересы совпадают с интересами других людей, наоборот, они считали, что присутствуют на торжественном начале или участвуют в движении всеобщего освобождения людей от тирании. Но фактически национальное соперничество (к примеру, соперничество французских и британских бизнесменов) и национальные различия (к примеру, различия между завоеванными или освобожденными нациями и интересами так называемых великих наций), — все это представляло собой национализм, которому официально была привержена буржуазия в 1789 г. Понятие «народ» соответствует понятию «нация» — такова была революционная концепция, более революционная, чем буржуазно-либеральная программа, в которой это выражалось.

Поскольку крестьяне и пролетарии были неграмотны, политически ограниченны или незрелы, а выборы не прямыми, то были избраны 610 человек представителей третьего сословия. Большинство из них составили юристы, игравшие важную роль в экономике провинциальной Франции, и около сотни капиталистов и бизнесменов. Средний класс отчаянно и успешно боролся за представительство большее, чем у дворян и духовенства, за скромные потребности группы, официально представлявшей 95% народа. Сейчас они боролись с одинаковой решимостью и за право эксплуатировать своих потенциальных избирателей путем за-

мены Генеральных штатов на собрание отдельных депутатов, избираемых так, чтобы вместо традиционно феодального органа, обсуждающего и голосующего по предписанию, где дворянство и духовенство всегда могли одержать верх над третьим сословием, появился новый. В этом состоял первый революционный прорыв. Через какие-то шесть недель после открытия Генеральных штатов третье сословие, стараясь опередить действия короля, дворян и духовенства, узаконило себя и всех, кто был готов присоединиться к нему на его условиях, как Национальное собрание с правом принятия конституции. Попытка дворцового переворота привела их к оформлению своих требований фактически в духе английской палаты общин. Абсолютизму пришел конец, как сообщил королю Мирабо[47], блестящий и пользующийся дурной славой бывший дворянин: «Сир, Вы посторонний в этом собрании, у Вас нет права говорить здесь»[5*]

Третье сословие победило перед лицом объединенного противодействия короля и привилегированных сословий, потому что они представляли не только взгляды образованного и воинствующего меньшинства, но гораздо более могущественные силы: городских, а особенно парижских пролетариев и, в общем, взгляды революционного крестьянства. Распространение ограниченных реформ заменила революция, потому что созыв Генеральных штатов совпал с глубоким экономическом и социальным кризисом. Конец 1780-х годов был по многим причинам периодом больших трудностей во всех отраслях французской экономики. Плохой урожай 1788—1789 гг. и очень тяжелая зима сделали этот кризис особенно острым. Плохие урожаи били по крестьянству, но пока они полагали, что крупные производители могли продать зерно по низким ценам, большинство крестьян могли съесть посевное зерно или покупать продовольствие по низким ценам, особенно в месяцы, предшествующие новому урожаю (май—июль). От неурожаев страдала также и городская беднота, чей жизненный уровень — хлеб, ее основной продукт питания — был вдвое ниже необходимого. Они били по бедноте еще и тем, что нищета деревни уменьшала рынок промтоваров и тем самым создавала депрессию в промышленности. Сельская беднота, до-

веденная этим до отчаяния, бунтовала и занималась разбоем, городская беднота была доведена до отчаяния отсутствием работы в тот самый момент, когда цены стремительно росли. В обычных условиях мог бы возникнуть стихийный бунт. Но в 1788 и 1789 гг. все потрясения в королевстве, пропагандистская кампания и выборы придали людскому отчаянию политическую окраску. Они получили потрясающую и подобную землетрясению идею Свободы от привилегий и угнетения. Бунтующий народ стоял за депутатами третьего сословия.

Контрреволюция превратила возможный подъем масс в настоящий. Без сомнения, естественно то, что старый режим должен был отстаивать себя, бороться, если потребуется, применить силу, хотя армия больше не была надежной. (Только праздные мечтатели могут предположить, что Людовик XVI был в состоянии примириться с поражением и тут же превратиться в конституционного монарха, даже если бы он был менее беспечным и тупым человеком, чем на самом деле, не женился бы на безответственной женщине с куриными мозгами и меньше слушал столь гибельные советы.) Фактически контрреволюция мобилизовала парижские массы, уже голодные, подозрительные и агрессивные. Наиболее потрясающим следствием этой мобилизации было взятие Бастилии, государственной тюрьмы — символа королевской власти, где революционеры рассчитывали найти оружие. Во время революции ничего не бывает таким впечатляющим, как падение символов. Взятие Бастилии, которое произошло 14 июля, стало для Франции национальным праздником, ознаменовавшим падение деспотизма, и было провозглашено по всему миру началом освобождения. Даже строгий философ Иммануил Кант из Кенигсберга, который, как известно, был в своих привычках так последователен, что горожане проверяли по нему часы, отложивший час своего послеобеденного моциона, получив это известие, довел до сознания кенигсбержцев, что произошло событие, потрясшее мир. Но наиболее важно то, что падение Бастилии распространило пожар революции в провинцию и деревню.

Крестьянские революции — безбрежные, стихийные, безы-

мянные и непреодолимые движения. Эпидемию крестьянского бунта превратило в необратимое потрясение объединение восстаний провинциальных городов и волны массового страха, которая смутно, но быстро распространилась по просторам страны: так называемый Grande Peur («великий страх») конца июля и начала августа 1789 г.; буквально за три недели июля социальный строй французского крестьянского феодализма и государственная машина королевской Франции были сокрушены.

Все, что осталось от государственной власти, — это разрозненные ненадежные полки, Национальное собрание, не обладающее силой, и множество муниципальных и провинциальных администраций, состоящих из представителей третьего сословия, которые скоро учредили буржуазную вооруженную «Национальную гвардию» по примеру Парижа. Средний класс и аристократия сразу приняли неизбежное: все феодальные привилегии официально уничтожались, хотя когда политическая обстановка стабилизируется, будет установлена жесткая цена за их выкуп. До 1793 г. феодализм не был окончательно уничтожен. К концу августа революция обзавелась своим формальным манифестом, «Декларацией прав человека и гражданина». Наоборот, король сопротивлялся со свойственной ему тупостью, и некоторая часть революционеров из среднего класса, испугавшись того, что народ будет вовлечен в борьбу, стала помышлять о том, чтобы наступило примирение.

Короче говоря, основная форма французской и всех последующих революционных политик стала отчетливо видна. И последующим поколениям будут присущи столь драматические диалектические перемены. Пройдет время, и мы снова увидим умеренные реформы среднего класса, объединяющие массы против консервативного сопротивления или контрреволюции. Мы увидим массы, толпящиеся за умеренными, стремящиеся к своим собственным социальным революциям, и самих умеренных, которые теперь примыкают к реакционерам, находя с ними общий курс, и левое крыло, готовое преследовать оставшиеся незавершенными умеренные цели с помощью масс, даже с риском потери контроля над ними. И так далее, через повторения и вариации примера сопротивления — массовая мобилизация, сдвиг влево —

раскол среди умеренных — движение вправо, пока большая часть среднего класса не перейдет в консервативный лагерь или не будет разбита социальной революцией. В большинстве последующих буржуазных революций умеренные либералы отступали или переходили в консервативный лагерь на очень ранней стадии. В самом деле, в XIX в. мы все больше обнаруживаем (главным образом в Германии), что они перестают хотеть революции из страха ее непредсказуемых последствий, предпочитая компромиссы с королями и аристократией. Особенность французской революции состоит в том, что одно крыло, либеральное, среднего класса было готово остаться в революции до того, как разразится антибуржуазная революция: это были якобинцы, чьим именем повсюду стали называть «радикальных революционеров».

Почему? Частично потому, что французская буржуазия еще не располагала тем опытом, который имели последующие либералы, то есть жуткой картиной французской революции, которая пугала их. После 1794 г. умеренным станет ясно, куда, так далеко от буржуазного комфорта и надежд, привел якобинский режим революцию, так же как для революционеров было ясно, что «солнце 1793 г.», если и взойдет снова, то должно будет светить не буржуазному обществу. И опять таки якобинцы могли позволить себе радикализм, потому что в их время не существовало класса, который мог бы предложить последовательную социальную альтернативу. Такой класс вырос только в результате промышленной революции — «пролетариат» со своей собственной идеологией и движением, опирающимся на нее. Во время французской революции рабочий класс — и даже это неверное употребление названия для того, что является «агрегатом на прокат» — в основном не промышленный, в поисках зарплаты как таковой не играл значительной независимой роли. Рабочие голодали, они бунтовали, возможно, они и думали, но на практике они следовали за непролетарскими вождями. Крестьянство никогда не выдвигает какой-либо политической альтернативы, разве лишь тогда, когда это диктуют обстоятельства, оно — почти неотразимая сила или почти неподвижный класс. Единственной альтернативой буржуазному радикализму были «санкюлоты»[48], бесформенное в основном движение сельской рабочей бедноты, мелких ре-

месленников, лавочников, мастеровых, мелких предпринимателей и тому подобных людей. Санкюлоты были организованы в так называемые секции Парижа и местные политические клубы и представляли главную ударную силу революции — обычные демонстранты, бунтари, строители баррикад. Через журналистов, таких как Марат и Эбер, местных ораторов они все-таки делали политику, за которой стояли смутно очерченные и противоречивые социальные идеи, сочетающие уважение к (малой) частной собственности с враждебностью к богатым, требовали правительства, гарантирующего работу, зарплату и социальные гарантии для бедных, полное равноправие и либеральную демократию. Фактически санкюлоты были одной из ветвей этого всеобщего и важного политического направления, выражавшего интересы большой массы «маленьких людей», находившихся между поэтами буржуазии и пролетариата, часто намного ближе к последним, чем к первым, потому что они были как никак очень бедны. Мы можем видеть это на примере Соединенных Штатов (демократия Джефферсона и Джексона, или популизм), в Британии (радикализм), во Франции (предвестник будущей «республики» и радикал-социалистов), в Италии (движение мадзинианцев и гарибальдийцев), и др. Большей частью она формируется в постреволюционную эпоху как левый фланг либералов среднего класса, не склонный отказываться от древнего принципа, что среди левых у них нет врагов, и готовый во время кризисов восставать против «денежной стены», «экономических роялистов» или против «золотого креста, распинающего человечество». Но санкюлоты не несли с собой реальной альтернативы. Их идеалы: золотое прошлое деревень и малых мастерских, или золотое будущее мелких фермеров, не разоренных банкирами и миллионерами, — были неосуществимы. История безразлично сметала их со своего пути. Самое большее, что они могли сделать — и они достигли этого в 1793—1794 гг., — соорудить заслоны, которые мешали бы французской экономике расти с тех пор и по сегодняшний день. Фактически санкюлотизм был беспомощным явлением, чье название уже почти забыто или вспоминается только как синоним якобинства, с которым оно слилось во II году[49].

II

Между 1789 и 1791 гг. побеждающая умеренная буржуазия, действуя теперь уже через Учредительное собрание, принялась за гигантские рационалистские реформы во Франции. Большинство из длительных достижений революции начинаются с этого периода, поскольку имеют наиболее впечатляющее международное значение: метрическая система и первое освобождение евреев. Экономические планы Учредительного собрания были полностью либеральны: его политика относительно крестьянства была направлена на превращение общинных земель в частную собственность и поддержку сельских предпринимателей, для рабочего класса — запрещение профсоюзов и объединений. Простым людям она не принесла удовлетворения, за исключением секуляризации с 1790 г. и продажи церковных земель (как и земель эмигрировавшей знати), которые имели тройное преимущество ослабляя клерикализм, укрепляя позиции провинциальных и сельских предпринимателей и вознаграждая многих крестьян за их участие в революции. Конституция 1791 г. не допустила чрезмерной демократии, сохранив конституционную монархию, основанную на предоставлении довольно широких «привилегий собственности» «активных граждан». Относительно «пассивных» надеялись, что они будут жить в соответствии со своим статусом.

На самом деле этого не произошло. С одной стороны, монархия, хотя теперь сильно поддерживаемая влиятельными экс-революционерами, буржуазными фракциями, не могла подписаться под новым режимом. Двор плел интриги, помышляя о крестовом походе братьев короля, изгнании правящей черни и восстановлении Божьего Помазанника, христианнейшего короля Франции на его престоле. Гражданская конституция духовенства (1790) — неверная попытка разрушить не церковь, а абсолютистский союз церкви с Римом — привела большинство духовенства и верующих в оппозицию и вызвала отчаяние короля, который попытался покинуть страну, что было равносильно самоубийству. Он был схвачен в Варенне (июнь 1791 г.), и с этих пор республи-

канизм превратился в массовую силу, потому что традиционно короли, пытающиеся покинуть свой народ, теряют право на лояльность. С другой стороны, бесконтрольная свободная промышленная экономика умеренных вызвала колебания уровня цен на продовольствие и, следовательно, недовольство городской бедноты, особенно Парижа. Цена на хлеб определяла политическую температуру Парижа, как термометр, а парижские массы были решающей революционной силой: недаром французский трехцветный флаг составлен из старого королевского белого с красно-голубым — цветами Парижа.

Начало войны[50] прибавило печали, иначе говоря, она привела ко второй революции 1792 г., якобинской республике II года (1793 г.) и к Наполеону. Иными словами, превратила историю французской революции в историю Европы.

Две силы ввергли Францию во всеобщую войну: ультраправые и умеренно-левые. Для короля, французского дворянства и растущей эмиграции аристократии и духовенства, осевших в различных городах Западной Германии, по-видимому, лишь иностранная интервенция, казалось, могла теперь реставрировать старый режим*. Такую интервенцию было не так-то легко организовать в сложной международной обстановке и при относительно спокойной политике других стран. Тем не менее для дворянства и Богом назначенных правителей было очевидно, что реставрация власти Людовика XVI была не только актом классовой солидарности, но и важным профилактическим средством от распространения устрашающих идей, исходящих из Франции. В конце концов силы для восстановления монархии во Франции сосредоточились за границей.

В это время сами умеренные либералы, и особенно группа политиков, теснившихся вокруг депутатов из торгового департамента Жиронда, стали воинственной силой. Это происходило отчасти потому, что настоящая революция пыталась стать всемирной. Для французов, как и для бесчисленных сторонников их революции за границей, освобождение Франции было буквально

---

* Около 300 тыс. французов эмигрировали в период с 1789 по 1795 г[6*].

первым взносом во всеобщий триумф свободы, позиция, которая легко привела к заключению, что долг Родины, Революции — освободить все народы, стонущие от притеснения и тирании. Были среди революционеров, умеренных и крайних, искренние восторги и всеобщее желание распространить свободу и искренняя неспособность отделить путь французской нации от пути порабощенных народов. Как французское, так и все другие революционные движения, придерживались такого мнения по крайней мере до 1848 г. Все планы освобождения Европы до 1848 г. вращались вокруг объединенного восстания народов под предводительством французов против европейской реакции, а после 1830 г. другие национальные и либеральные движения, такие как итальянское, польское, также видели в своих нациях в некотором роде мессианское предназначение своим собственным освобождением подать пример другим народам.

С другой стороны, если смотреть на вещи менее идеалистично, война также помогает разрешить бесчисленные внутренние проблемы. Возникла очевидная склонность приписывать трудности нового режима заговорам эмигрантов и иностранных тиранов и обратить народную ярость против них. Характернее другое: бизнесмены утверждали, что плохие экономические перспективы, девальвация денег и другие беды станут средством для излечения, если угроза интервенции исчезнет. Они и их идеологи могли думать, видя пример Британии, что превосходство экономики — это дитя систематической агрессивности. (В XVIII в. удачливые бизнесмены не всегда преуспевали благодаря миру.) Более того, как вскоре оказалось, прибыль можно получать, развязав войну. По всем этим причинам большинство из этого нового Законодательного собрания, за исключением малого правого крыла и небольшого левого под предводительством Робеспьера, приветствовали войну. По этим причинам также, когда война началась, победы революции нужно было соединить с освобождением, эксплуатацией и политическими диверсиями.

Война была объявлена в апреле 1792 г. Поражение, которое народ (довольно правдоподобно) приписывал саботажу короля и государственной измене, принесло с собой радикализацию. В ав-

густе—сентябре при помощи вооруженных санкюлотов в Париже была свергнута монархия, установлена единая и неделимая республика, провозглашена новая эра в человеческой истории и введен год I по революционному календарю. Суровая и героическая эра французской революции началась среди резни политических заключенных, выборов в Национальный Конвент — возможно, наиболее замечательную ассамблею в истории парламентаризма, и призыва к всеобщему сопротивлению интервентам. Короля посадили в тюрьму, иностранная интервенция была остановлена обычной артиллерийской дуэлью при Вальми[51].

Революционные войны имеют свою собственную логику, жирондисты были доминирующей партией в новом Конвенте, воинственные во внешней политике и умеренные во внутренней; среди них был ряд парламентских ораторов, обаятельно и блистательно представлявших большой бизнес, провинциальную буржуазию и обладавших интеллектуальными достоинствами. Их политика была совершенно неосуществимой, поскольку жить изолированно от других государств и вести плохо оплачиваемые военные действия с помощью только что созданной регулярной армии, продолжать войну и внутригосударственные дела могли только леди и джентльмены в Британии, описанные в повестях Джейн Остин[52]. Революция не оплачивала ни ограниченные военные действия, ни созданную армию: потому что эта война колебалась между полной победой мировой революции и полным поражением, которое означало всеобщую контрреволюцию; а ее армия — то, что осталось от старой французской армии, была неэффективна и ненадежна. Дюмурье, ведущий генерал Республики, был на грани дезертирства. Только беспрецедентные и революционные методы помогут одержать победу в такой войне, только если победа могла означать поражение иностранных интервентов. Фактически такие методы были найдены. Во время наступившего кризиса молодая Французская Республика открыла или изобрела тотальную войну: всеобщая мобилизация национальных ресурсов через воинскую повинность, введение пайков и жесткий контроль военной экономики и фактическая отмена в стране и за границей различий между солдатами и граждански-

ми лицами. Только в нашу историческую эпоху стало ясно, как ужасно участие в подобном процессе. Поскольку революционная война 1792—1794 гг. осталась исключительным эпизодом, большинство исследователей XIX в. не смогли понять ее смысла, кроме как увидеть, что (а в благополучные викторианские времена и это было забыто) войны приводят к революциям, а революции выигрывают так или иначе войны, которые нельзя выиграть. Только сегодня мы можем понять смысл якобинской республики и террора 1793—1794 гг. на примере современных войн.

Санкюлоты поддерживали правительство, которое вело революционную войну, потому что верили, что контрреволюцию и иностранную интервенцию можно победить, и потому, что его методы мобилизовали людей и приближали социальную справедливость (они просмотрели тот факт, что ни одна эффективная современная война невозможна при децентрализованной волюнтаристской[53] прямой демократии, которая у них существовала). Жирондисты боялись политических последствий объединения революционных масс с войной, которую они развязали. Они были также не готовы бороться с левыми. Они не хотели судить и казнить короля, но вынуждены были согласиться со своими соперниками; не они, а якобинцы — «монтаньяры», олицетворявшие революционную решимость... С другой стороны, это они хотели продолжать войну и превратить ее во всеобщий идеологический крестовый поход освобождения и прямой вызов великому экономическому сопернику Британии. В этом вопросе их поддержали. К маю 1793 г. Франция вела войну почти со всей Европой и приступила к захватам территорий (оправданных недавно созданной доктриной о праве Франции на ее «естественные границы»). Но расширение военной экспансии проходило все труднее и лишь укрепило ряды левых, которые одни только и могли выиграть эту войну. Пересмотрев свои взгляды и изменив тактику, жирондисты в конце концов повели неразумные атаки на левых, что вскоре превратилось в организованный провинциальный бунт против Парижа. Поспешное объединение с санкюлотами позволило подавить этот мятеж 2 июня 1793 г. Наступило время якобинской республики.

III

Когда о французской революции рассуждает дилетант, ему на ум обычно приходят события 1789 г. и особенно якобинская республика II года.

Чопорный Робеспьер, огромный и распутный Дантон, ледяная революционная изысканность Сен-Жюста, грубый Марат, Комитет общественной безопасности, Революционный трибунал и гильотина — вот образы, которые чаще всего встают перед нами. А имена умеренных революционеров, которые появились после Мирабо и перед Лафайетом в 1789 г., и якобинские лидеры в 1793 г. не стерлись из памяти лишь одних историков. Жирондистов помнят как политическую группу, и благодаря незначительным в политике, но романтическим женщинам, связанным с ними, — это мадам Ролан и Шарлотта Корде. Кто, кроме специалистов, знает имена Бриссо, Верньо, Гюаде и др.? Консерваторы создали устойчивый образ террора, диктаторства и истерической кровожадности, хотя по меркам XX в. и консервативных репрессий против социальной революции, таких как резня после Парижской Коммуны 1871 г., ее массовые убийства были сравнительно умеренными, 17 тыс. официальных казней за четырнадцать месяцев[7*] Революционеры, особенно во Франции, рассматривали ее как первую республику, вдохновившую все последующие революции. Кроме того, это была эра, которую нельзя измерять обычными человеческими критериями.

Это верно. Но для обеспеченного француза из среднего класса, который стоял за этим террором, это не было чем-то патологическим, чем-то апокалиптическим. Это был первый, предпочтительный и единственно эффективный метод защиты их страны. Это было совершено якобинской республикой, и все достигнутое ею отличалось гениальностью. В июне 1793 г. 60 из 80 департаментов Франции поднялись против Парижа, армии германских правителей наводнили Францию на севере и востоке, Британия атаковала ее с юга и запада, страна была беспомощна и разорена. Через четырнадцать месяцев вся Франция находилась под жестким контролем, оккупанты были изгнаны, а французская

армия, в свою очередь, заняла Бельгию и была близка к тому, чтобы в течение 20 лет пожинать плоды несокрушимого и непоколебимого военного триумфа. Хотя к марту 1794 г. на содержание армии выделялось в 3 раза больше, чем раньше, и в 2 раза больше, чем в 1793 г., и объем французской наличности (или, скорее, бумажных ассигнаций, которые во множестве ее заменили) держался почти стабильно. Неудивительно, что Жанбон Сент-Андре, член якобинского Комитета общественного спасения, который будучи твердым республиканцем, позже стал у Наполеона самым влиятельным префектом, смотрел на французскую империю с презрением, поскольку она не выдержала поражений 1812—1813 гг. Республика II года столкнулась с наихудшим кризисом и с меньшими ресурсами*. Для таких людей, как и для большинства членов Национального Конвента, которые, оказавшись на дне, сохраняли контроль над этим героическим периодом, выбор был прост: либо террор со всеми его ужасами с точки зрения среднего класса, либо гибель революции, распад национального государства, и возможно — разве Польша не служила примером? — исчезновение страны. Очень может быть, но во время столь жестокого кризиса во Франции многие из них предпочли бы менее жесткий режим и соответственно менее строгий экономический контроль. Падение Робеспьера привело к эпидемии экономического разброда и коррумпированному жульничеству, которые в свою очередь закончились бешеной инфляцией и национальным банкротством в 1797 г. Но даже с более узкой точки зрения надежды французского среднего класса зависели от сильного централизованного национального государства. В любом

* «Вы знаете, какое правительство (победило)?... Правительство Конвента. Правительство непримиримых якобинцев в красных колпаках, носящее грубую шерстяную одежду, деревянные башмаки и питающееся одним хлебом и плохим пивом. Эти люди отправлялись спать на матрасы, расстеленные прямо на полу зала заседаний, когда они были слишком утомлены, чтобы бодрствовать и обсуждать будущее. Это те люди, которые спасли Францию. Я был одним из них, господа. И здесь, перед резиденцией императора, в которую я собираюсь войти, я говорю, что «горжусь этим». Цит. по: Ж. Саван. Префекты Наполеона (1958), 111—112. Цит. по: J. Savant, des Préfets de Napoléon (1958), 111—112.

случае могла ли революция, которая создала термины «нация» и «патриотизм» в их современном смысле, расстаться с мыслью о «великой нации»?

Первой задачей якобинского режима было мобилизовать массы против раскола, учиненного жирондистами и провинциальной знатью, поддержать уже мобилизованных парижских санкюлотов, среди требований которых такие как: революционная военная мобилизация, всеобщая воинская обязанность, террор в отношении предателей и всеобщий контроль над ценами («максимум»), в любом случае совпадали с настроением якобинцев, хотя и другие их требования были опасны. Была принята некоторым образом радикализированная новая конституция, которая до тех пор откладывалась жирондистами. В соответствии с этим величественным, но академичным документом граждане получили всеобщее избирательное право, право на восстание, труд или созидание, и наиболее замечательное из всего — официальное заявление, что счастье всех является целью правительства и права народа теперь не только доступны, но и действенны. Это была первая наиболее последовательная демократическая конституция, провозглашенная современным государством. Более конкретно: якобинцы уничтожили все оставшиеся феодальные права без компенсаций и дали возможность небогатым гражданам приобретать земли, конфискованные у эмигрантов, и через несколько месяцев отменили рабство в колониях Франции с целью подтолкнуть негров Сан-Доминго бороться за республику против англичан. Эти меры преследовали самые далекие цели. В Америке, благодаря им, возник первый независимый революционный лидер Туссен Лувертюр*. Во Франции они создали неприступную цитадель малых и средних крестьянских собственников, мелких ремесленников и лавочников, эко-

* Неудачная попытка наполеоновской Франции вновь захватить Гаити была главной причиной ликвидации все еще остававшейся Американской империи (Луизианы), которая была продана США в 1803 г. Таким образом, дальнейшее распространение якобинства в Америке было предпринято для того, чтобы превратить США в государство всего континента.

номических ретроградов, нежно преданных революции и республике, которая с этих пор определяла жизнь деревни. Капиталистические изменения в сельском хозяйстве и в мелком предпринимательстве — неотъемлемое условие для быстрого экономического развития — замедлилось, а с ними и урбанизация, расширение внутреннего рынка, рост рабочего класса и, как следствие, последующая возможность пролетарской революции. Большой бизнес и рабочее движение были обречены надолго оставаться во Франции неразвитыми островками, окруженными морем бакалейщиков, мелкими землевладельцами-крестьянами и владельцами кафе (см. гл. IX).

Поэтому центр нового правительства, представляющий союз якобинцев и санкюлотов, заметно склонился влево. Это отразилось на реорганизованном Комитете общественного спасения, который скоро стал эффективным военным правительством Франции. В нем уже не было Дантона, могучего, распутного, возможно, даже продажного, но чрезвычайно талантливого революционера, более умеренного, чем казалось (он был министром в последнем королевском правительстве), но в него вошел Максимилиан Робеспьер, который стал его наиболее влиятельным членом. Не многие историки остались равнодушны к этому щеголеватому бледнолицему фанатичному юристу с его несколько преувеличенным чувством личной непогрешимости, потому что он до сих пор олицетворяет ужасный и великий II год, к которому никто не остался равнодушным. Он не был симпатичной личностью, и даже те, кто сегодня верит в его правоту, предпочитают ему сияющую математическую суровость этого архитектора спартанского рая, Сен-Жюста. Он не был великим человеком и зачастую даже казался ограниченным деятелем. Но он был единственным человеком (иным, чем Наполеон), которого революция вознесла и из которого сделали божество. Это потому, что для него, как и для истории, якобинская республика не была средством одержать в войне победу, а идеалом: ужасной и прекрасной властью справедливости и добродетели, когда все добрые граждане были равны перед лицом нации и наро-

да, уничтожая предателей. Жан-Жак Руссо и кристальная уверенность в собственной правоте придавали ему силу. У него не было формальной диктаторской власти или должности, он был одним из членов Комитета общественного спасения, который в свою очередь являлся единственным подкомитетом, но наиболее могущественным, хотя и никогда всемогущим — в Конвенте. Его власть была властью народа — парижских масс; свой террор он осуществлял от их имени. Когда они покинули его, он пал.

Трагедия Робеспьера и якобинской республики заключалась в том, что им самим пришлось отринуть поддерживающих их. Режим представлял собой альянс между средним классом и трудящимися массами, но для среднего класса уступки якобинцев и санкюлотов были терпимы только постольку, постольку они привлекали массы к режиму, не причиняя вреда классу собственников, и в этом альянсе средний класс играл решающую роль, более того, сами военные нужды обязывают любое правительство осуществлять централизацию и поддерживать дисциплину ценой свободной, прямой демократии на местах, в клубах и секциях, в добровольческих подразделениях, на свободных показательных выборах, на которых одерживали победу. Процесс, на котором во время гражданской войны в Испании 1936—1939 гг. укрепились коммунисты, а анархисты проиграли, укрепились якобинцы образца Сен-Жюста и проиграли санкюлоты. К 1794 г. правительство и политика были монополизированы и находились под контролем прямых агентов Комитета или Конвента — через делегатов en mission (в миссии) — большого отряда якобинских офицеров и служащих в компании с представителями местных партий. В конце концов экономические нужды войны оттолкнули народ. В городах контроль за ценами и пайки приветствовались народом, но соответственно замораживание зарплаты также било по нему. В деревне постоянные реквизиции продовольствия (которые санкюлоты первыми поддерживали) оттолкнули крестьянство.

Таким образом, массы отходили с недовольством, недоуме-

нием и злой пассивностью, особенно после суда и казни Эбера, самого громкоголосого оратора санкюлотов. Тем временем многие умеренные сторонники были напуганы атакой на правое крыло оппозиции, возглавляемой в то время Дантоном. Эта фракция предоставляла убежище бесчисленным вымогателям, спекулянтам, дельцам черного рынка и другим коррумпированным в процессе накопления капитала элементам, так или иначе готовых, как сам Дантон, воплощение аморальности, на фальстафовскую свободную любовь и свободную трату денег. Это всегда появляется на начальной стадии социальной революции, пока не одолевается суровым пуританизмом. Дантоны в истории всегда бывают побеждаемы Робеспьерами (или теми, кто притворяется ими, ведя себя как Робеспьер), потому что суровая самоотверженность может одержать верх там, где богемность победить не в силах. Тем не менее, если Робеспьер получил поддержку умеренных за очищение от скверны коррупции, которая была в интересах всеобщей мобилизации, дальнейшее ограничение свободы и предпринимательства приводило бизнесменов в замешательство. В конце концов какому мыслящему человеку понравится нечто вроде фантастически-идеологического экскурса в эпоху, где происходили систематические кампании по развенчанию христианства (при активном участии санкюлотов) и утверждению робеспьеровской новой гражданской религии Верховного Существа[54], вместе с обрядами, которые старались противопоставить религии атеизм и следовать пророческим проповедям Жан-Жака. А постоянный свист падающего ножа гильотины напоминал всем политикам, что никто не может рассчитывать на спасение.

К апрелю 1794 г. все, и правые и левые, пошли на гильотину, а сторонники Робеспьера, таким образом, оказались в политической изоляции. Только военный кризис смог поставить их у власти. Когда в конце июня 1794 г. новые республиканские армейские подразделения доказали свою стойкость решительным разгромом австрийцев при Флерюсе и оккупацией Бельгии, это был конец. Девятого Термидора по революционному календарю

(27 июля 1794 г.) Конвент низвергнул Робеспьера. На следующий день он, Сен-Жюст и Кутон были казнены, а через несколько дней были казнены еще 87 членов революционной Парижской коммуны.

IV

Термидор является концом героической и памятной фазы революции: фазы оборванных санкюлотов и аккуратных граждан в красных колпаках, которые представляли себя Брутами и Катонами, имели вид классически напыщенный и благородный, но всегда с ужасными фразами: «Lyon n'est plus![55]», «Десять тысяч солдат разуты. Вы возьмете башмаки всех аристократов Страсбурга и приготовите их к отправке в штаб-квартиру завтра к десяти часам пополудни[8*]».

Это было буйное время, большинство людей были голодны, многие в страхе, эпоха ужасная и необратимая, как первый ядерный взрыв, и вся история после нее изменилась. А энергия, заключенная в ней, была такова, что смела, как солому, все армии старых режимов Европы.

Проблема, вставшая перед средним классом Франции, когда революционный период прошел (1794—1799 гг.), состояла в том, как достичь политической стабильности и экономического прогресса на основе новой либеральной программы 1789—1791 гг. С того дня и поныне программа не была осуществлена, хотя с 1870 г. в парламентской республике была выведена ее действующая формула на все последующие времена. Быстрая смена режимов — Директория (1795—1799 гг.), Консульство (1799—1804 гг.), Империя (1804—1814 гг.), реставрация монархии Бурбонов (1815—1830 гг.), конституционная монархия (1830—1848 гг.), Республика (1848—1851 гг.) и Империя (1852—1870 гг.) — была попыткой сохранить буржуазное общество и избежать двойной опасности: либо якобинской демократической республики, либо старого режима.

Крупной ошибкой термидорианцев было то, что они всегда

предпочитали терпимость политической поддержке, зажатые между растущей реакцией аристократии и якобинско-санкюлотской парижской беднотой, которая скоро пожалела о падении Робеспьера. В 1795 г. они создали тщательно проработанную конституцию с контролем и подведением итогов, чтобы обезопасить себя от периодических уклонов то вправо, то влево и удерживать их в рискованном равновесии, но все чаще им приходилось полагаться на армию, чтобы справляться с оппозицией. Это положение имело странное сходство с Четвертой республикой, и конец был одинаковый: генерал у власти. Но Директория опиралась на армию не только для подавления периодических бунтов и заговоров (целый ряд в 1795 г., в 1796 г. — тайный заговор Бабефа, фруктидор в 1797 г., флореаль в 1798 г., прериаль в 1799 г.[56])*. Инертность народа была единственным спасением власти, представлявшей слабый и непопулярный режим, но среднему классу требовались инициатива и экспансия. И армия помогала решить эту явно неразрешимую проблему. Она побеждала, она сама себя снабжала, более того, то, что ей удавалось награбить, доставалось и правительству. Разве не удивительно, что наиболее образованные и способные из армейских лидеров, Наполеон Бонапарт, к примеру, пришли к выводу, что армия могла всецело обходиться без слабого гражданского режима?

Эта революционная армия была наиболее грозным детищем якобинской республики. Из «Levée en masse»[57], состоявшего из революционных граждан, она скоро превратилась в профессиональную армию, потому что с 1793 по 1798 г. военного призыва не было, а те, у кого не было ни способностей к воинской службе, ни желания служить, дезертировали en masse. Благодаря этому она сохранила революционные качества и усвоила «шкурный» интерес — типично бонапартистское сочетание. Революция дала ей беспрецедентное превосходство, которое помогло Наполеону оправдать свое благородное звание генерала. Она всегда напоминала народное ополчение, в котором старые солдаты тренирова-

* Название этих месяцев по революционному календарю.

ли новобранцев, а те заимствовали у них навыки и нравственные нормы; формальная казарменная дисциплина находилась в небрежении, к солдатам относились как ко всем другим людям, а наградой было продвижение по службе благодаря заслугам (которое давало только отличие в бою), создававшее истинный дух отваги. Эта отвага и чувство превосходства революционной миссии сделало французскую армию независимой от ресурсов, от которых зависели другие армии «старого образца». У нее никогда не было эффективной система снабжения, потому что она фактически жила вне страны. Для нее никогда не существовало никакого производства вооружения, хоть сколько-нибудь отвечавшего ее потребностям, но она так быстро одерживала победы, что обходилась минимумом вооружения: в 1806 г. огромная машина прусской армии рассыпалась перед армией, в которой один корпус сделал 1400 пушечных выстрелов. Генералы могли положиться на безграничную наступательную отвагу и изрядную инициативу. По общему признанию, у нее были и слабые стороны. Не считая Наполеона и немногих других французских военачальников, ее генералитет и штабы были бедны, потому что революционные генералы или наполеоновские маршалы были в основном такими же стойкими, как выносливые сержанты, майоры или ротные офицеры, выдвинувшиеся благодаря смелости и духу лидерства, а не уму: герой, но не большого ума, маршал Ней был очень типичной фигурой. Наполеон выигрывал сражения: а его маршалы, оказываясь вне его поля зрения, умудрялись проигрывать их. Когда она находилась в богатых и сытых странах: Бельгии, Северной Италии, Германии, — ее система снабжения срабатывала сносно. На безбрежных просторах Польши и России, как мы еще увидим, она не срабатывала вовсе; между 1800 и 1815 гг. Наполеон потерял 40% своих сил (около $^1/_3$ из этого числа в результате дезертирства), но около 90—98% этих потерь составили люди, умершие не в сражениях, а от ран, болезней, истощения и холода. Короче говоря, это была армия, которая победила всю Европу короткими и резкими ударами не только потому, что она могла, но потому, что должна была победить.

С другой стороны, армия была поприщем, как и при многих других буржуазных революциях, открывавшим дорогу талантам, и те, кто добивался успеха, получали законные имущественные права, внутреннюю стабильность, как любой буржуа. Это то, что превратило армию, несмотря на то, что она была создана якобинцами, в опору посттермидорианского правительства и ее предводитель Бонапарт стал удобной личностью, способной закончить буржуазную революцию и установить буржуазный порядок. Сам Наполеон Бонапарт, хоть и дворянин по рождению, по меркам своей жестокой родины — острова Корсики — был типичным карьеристом. Рожденный в 1769 г., честолюбивый, неудовлетворенный и революционно настроенный, он медленно делал карьеру в артиллерии, одном из немногих родов королевских войск, в котором были необходимы технические знания. Во время революции и особенно при якобинской диктатуре, которые всецело поддерживал, он был направлен местным комиссаром на решающую передовую позицию. Он стал генералом в год II. Он выжил в год падения Робеспьера, и его талант устанавливать полезные связи в Париже помог ему продвинуться после этого трудного момента. Он не упустил своих возможностей в Итальянской кампании 1796 г., которая сделала его бесспорно первым солдатом Республики, который действовал, в сущности, не подчиняясь гражданским властям. Власть ему была частично навязана, частично захвачена им, когда иностранные интервенции показали в 1799 г. беспомощность Директории и его собственную незаменимость. Он стал первым консулом, затем пожизненным консулом, потом императором. И с его приходом чудесным образом неразрешимые проблемы Директории начали решаться. Через несколько лет у Франции был Гражданский кодекс, договор с церковью и даже наиболее потрясающий признак буржуазной стабильности — Национальный банк. А мир обрел свой первый светский миф.

Читатели старшего возраста или те, кто живет в странах со старыми режимами, возможно, знают о наполеоновской легенде, какой она существовала в течение нескольких столетий, ког-

да никакой кабинет правительства представителей среднего класса не обходился без его бюста, а остряки-памфлетисты заявляли даже в шутку, что он был не человек, а бог-солнце. Сверхъестественная сила этого мифа не может быть объяснена ни победами Наполеона, ни пропагандой Наполеона, ни даже его наполеоновским, без всяких сомнений, гением. Как человек он был, бесспорно, блистательной, многосторонней, умной и одаренной личностью, хотя власть сделала его довольно скверным; как генерал он не имел себе равных; как правитель он был в высшей степени умелым вождем и администратором, талантливым, обладавшим всесторонним интеллектом, способным понимать и руководить подчиненными, чем бы они ни занимались. Как личность он излучал величие, но большинство из тех, кто описывал это, как Гёте, например, наблюдали его на вершине славы, когда миф уже окутывал его. Он был, без сомнения, великим человеком и — за исключением, может быть, Ленина, — его изображение и сегодня узнают все образованные люди, даже если это всего лишь изображение на крохотном торговом знаке Тройственного Союза: волосы, зачесанные вперед на лоб, и рука, продетая за отворот сюртука. Ну и совсем бессмысленно сравнивать его с деятелями XX в., претендующими на звание великих людей. Потому что миф о Наполеоне, основывается в меньшей степени на личных достоинствах Наполеона, чем на фактах, по тем временам уникальных, в его карьере. Известно, что великие ниспровергатели основ прошлого начинали как цари, вроде Александра, или патриции, как Юлий Цезарь, но Наполеон был «маленьким капралом», который достиг власти над Европой только благодаря своему таланту. (Это не совсем верно, но его «взлет» был настолько стремителен и высок, что обсуждать это нет смысла.) Любой молодой интеллектуал, который жадно поглощал книги, как молодой Наполеон, писал плохие стихи и повести и преклонялся перед Руссо, мог смотреть на небеса как на объект своего тщеславия, видеть свое изображение в лавровом венке и на монограмме. Каждый бизнесмен с тех пор получил название своим стремлениям: быть — самая избитая фраза — «Наполеоном финансов»

или в промышленности; все простые люди с трепетом наблюдали тогда единственный случай, когда простой человек стал более великим, чем те, кто имел право носить корону в силу своего рождения. Наполеон дал свое имя честолюбию в момент, когда двойственная революция открыла дорогу честолюбцам. И все же у него честолюбия было больше. Он был цивилизованный человек XVIII в. рационалист, пытливый, просвещенный, преданный последователь Руссо, благодаря которому стал романтическим человеком XIX в. Он был человеком революции и человеком, вернувшим стабильность. Одним словом, он был образцом человека, порвавшего с традициями для достижения своей мечты.

Для французов он был также чем-то более простым и самым успешным правителем в их долгой истории. Он — великий триумфатор за границей, но дома он также создал или переделал аппарат государственных учреждений Франции, и в этом новом виде они существуют и поныне. По общему признанию, все его идеи существовали еще во времена Директории и Революции, его личный вклад состоял в том, что он сделал их довольно консервативными, иерархичными и авторитарными. То, что его предшественники предвидели, он воплощал. Великие памятники французского права, кодексы, которые стали моделью всего не англосаксонского мира, были созданы Наполеоном. Иерархия должностей от префектов и ниже в судах, университетах и школах — все выработано им. Великие карьеры французской общественной жизни, армии, гражданской службы, образования, права до сих пор имеют наполеоновский порядок и очертания. Он принес стабильность и процветание во все, за исключением четверти миллиона французов, не вернувшихся с его войн; но даже их родственникам он принес почет. Вне сомнения, британцы видели себя борцами за свободу против тирании, но в 1815 г. большинство англичан были беднее и жили хуже, чем в 1800 г., в то время как большинство французов жили хорошо, не исключая даже рабочих с их мизерной зарплатой, потерявших значительные экономические блага, данные им революцией. Существует

некоторая загадка относительно наличия бонапартизма в идеологии французов, далеких от политики, особенно у богатых крестьян после его падения. В мгновение ока их рассеял Наполеон Малый в 1851—1870 гг.

Ему пришлось разрушить только одну вещь: якобинскую революцию, мечту о свободе, равенстве и братстве и о великих народных восстаниях, сокрушающих угнетателей. Это был более могущественный миф, чем его собственный, потому что после его падения именно он, а не память о Наполеоне, вдохновляла революции XIX в. даже в его собственной стране.

ГЛАВА 4

ВОЙНА

Во времена нововведений все, что не ново, становится пагубным. Военное искусство монархии более не устраивает нас, так как мы другие люди и у нас другие враги. Власть и победы над людьми, великолепие их политики и военных приемов, всегда зависели от одного принципа единственного учреждения власти... Наша нация уже имеет свой национальный характер. Ее военная система должна быть отличной от системы ее врагов. Очень хорошо, если французская нация ужасна из-за своего рвения и мастерства, а наши враги неповоротливы, медлительны и слабы, тогда наша военная система должна быть стремительной.

Сен-Жюст. Доклад Национальному Конвенту от имени Комитета Общественного Спасения 19, первого месяца, II года. (10 октября 1793 г.)

Это неправда, что война божественно предопределена, неправда и то, что земля жаждет крови. Сам Бог проклинает войну, а также людей, которые ведут ее, и тех, кто в тайном ужасе поддерживает ее.

Альфред де Виньи. «Неволя и величие солдата»

I

С 1792 по 1815 г. в Европе почти не прекращалась война, связанная или совпадающая со случайными войнами на других континентах: в Вест-Индии, Леванте и Индии в 1790-х и начале 1800-х, со случайными морскими операциями за границей, в США в 1812—1814 гг. Последствия победы или поражения в этих войнах были значительны, так как после них изменялась карта мира. И поэтому мы должно сначала рассмотреть их. Но мы также должны рассмотреть менее очевидную проблему. Каковы были последствия обычного процесса войны, военная мобилизация и действия, политические и экономические меры, принимаемые для

этого? Две очень разные воюющие стороны противостояли одна другой на протяжении двадцати с лишним лет: государства и системы. Франция как государство, с ее интересами и стремлениями, противостояла (или состояла с кем-либо в союзе) другим государствам, но, с другой стороны, Франция как страна Революции обращалась к народам мира с призывом сбросить тиранию и обрести свободу, а силы консерватизма и реакции оказывали сопротивление. Без сомнения, после первых апокалиптических лет революционной войны различия между этими двумя точками зрения, их противостояние уменьшились. К концу правления Наполеона элемент имперских завоеваний и эксплуатации преобладал над элементом освобождения, где бы французские войска ни наносили поражения, оккупировали или аннексировали отдельные страны, и интернациональная война была так или иначе гораздо менее связана с гражданской войной. И наоборот, антиреволюционные силы отступали перед необратимостью успехов революционной Франции и вследствие этого были готовы к переговорам (с определенными оговорками) о мире с Францией как с обычным противником, а не с позиций добра и зла. Они были даже готовы в течение нескольких недель после первого поражения Наполеона вновь принять Францию как равного партнера в традиционную игру союзничества, контрсоюзничества, запугивания, угроз и войны, в которой отношения между главными странами регулировались посредством дипломатии. Тем не менее двойственная природа войн как конфликта между государственными системами осталась. С социальной точки зрения, воюющие стороны были разделены неравномерно.

Кроме самой Франции, существовала лишь одна крупная держава, чье революционное происхождение и симпатии к Декларации прав человека могли бы с идеологической точки зрения поставить это государство в число союзников Франции: это были Соединенные Штаты Америки. И действительно, США стали на сторону Франции в дальнейшем, по крайней мере однажды (1812—1814 гг.) в случае войны, хотя не в союзе с Францией, но против общего врага, британцев. Так или иначе, США оставались нейтральными в большинстве случаев, и их противоречия с

Британией не нуждаются в идеологическом объяснении. В остальном идеологическими союзниками Франции были партии или движения внутри других государств, а не сами государства.

В самом широком смысле слова, каждый человек, имеющий образование, талант, просвещенные взгляды, отдает свои симпатии Революции, всем событиям до якобинской диктатуры, а часто и гораздо позднее. (Пока Наполеон не провозгласил себя императором, а Бетховен не отказался от посвящения ему «Героической симфонии».) То, что целый ряд европейских талантов и гениев поддерживали революцию, можно только сравнивать с подобной почти всеобщей симпатией к Испанской Республике в 1930-х гг. В Британии ей симпатизировали поэты Вордсворт, Блейк, Кольридж, Роберт Бернс, Саути; ученые: химик Джозеф Пристли и некоторые члены выдающегося Лунного общества Бирмингема*; техники и промышленники, такие как Уилкинсон, фабрикант железных изделий, Томас Тэлфорд — инженер; все сторонники борьбы против британского владычества и все инакомыслящие интеллектуалы. В Германии ими были философы: Кант, Гердер, Фихте, Шеллинг и Гегель; поэты: Шиллер, Гёльдерлин, Виланд, старый Клопшток; музыкант Бетховен; в Швейцарии — просветитель Песталоцци, психолог Лафатер и художник Фюссли; в Италии — фактически все граждане, придерживающиеся антиклерикальных настроений. Так или иначе, хотя Революция получала такую интеллектуальную поддержку и благородных выдающихся иностранных друзей и тех, кто готов отстаивать принципы Революции, присвоив им честь быть гражданами Франции**, ни Бетховен, ни Роберт Бернс не были сильны в политике или в военном искусстве.

---

* Сын Джеймса Уатта уехал во Францию, когда произошла революция, чем привел отца в страх и смятение.

** А именно: Пристли, Бентам, Уилберфорс, Кларксон (борцы за отмену рабства), Джеймс Макинтош, Дэвид Уильямс из Британии; Клопшток, Шиллер, Кант и Анахарсис Клоотс из Германии, Песталоцци из Швейцарии, Костюшко из Польши, Горани из Италии, Корнелиус де По из Нидерландов, Вашингтон, Гамильтон, Мэдисон, Том Пейн и Джоэл Бало из США. Не все из них симпатизировали Революции.

Серьезное политическое якобинофильство, или профранцузский дух существовали в основном в определенных местах, прилегающих к Франции, где социальные условия были схожи или культурные контакты постоянны (Нидерланды, Рейнские земли, Швейцария и Савойя), в Италии и по некоторым иным причинам — в Ирландии и Польше. В Британии якобинство, без сомнения, является феноменом большого политического значения, даже после Террора, если он не смыкался с традиционными антифранцузскими настроениями, распространенным в Англии национализмом, смешанным с презрением джон-булльского[58] поедателя говядины к голодающему европейцу (все французы на известных карикатурах того периода худы как спички) и враждебно к тому, кто, кроме всего прочего, являлся «традиционным врагом» Англии, будучи в то же время наследственным союзником шотландцев*. Британское якобинство было уникально, так как оно было характерно для ремесленников и рабочих, по крайней мере после того, как первый порыв энтузиазма иссяк. Первыми независимыми политическими организациями рабочего класса были corresponding societies[59]. С этими обществами был солидарен Том Пейн с его «Правами человека» (которые он распространил в миллионах экземпляров), и они находили политическую поддержку со стороны вигов, подвергавшихся гонениям за богатство и общественное положение, но готовых защищать традиции британской гражданской свободы и желательность мирных переговоров с Францией. Несмотря на это, реальная слабость британского якобинства подтверждается фактом, что даже флот, стоявший при Спитхеде, который взбунтовался в самый переломный период войны (1797), шумно требовал, чтобы ему разрешили выступать против Франции, как только его экономические требования будут выполнены.

На Пиренейском полуострове, в габсбургских владениях, Центральной и Восточной Германии, Скандинавии, на Балканах и в России сочувствующих якобинству лиц было ничтожно мало. Симпатию к нему испытывали пылкие молодые люди, некото-

* Якобинство в Шотландии все-таки было более заметной общественной силой.

рые просвещенные интеллектуалы и еще те, кто как Игнатий Мартинович в Венгрии или Ригас в Греции, стали предшественниками борьбы в своих странах за национальную и социальную свободу. Но отсутствие какой-либо массовой поддержки таким взглядам среди средних и высших классов изолировало их от фанатичных неграмотных крестьян, и поэтому якобинство было легко запрещено там, где, как в Австрии, оно находилось в подполье. Должно было смениться целое поколение, чтобы появились сильные и боевые испанские либеральные традиции из нескольких незначительных студенческих подпольных кружков, или благодаря деятельности якобинских эмиссаров 1792—1795 гг.

Истина заключалась в том, что во многих зарубежных странах якобинцы прямо апеллировали к образованным гражданам и к среднему классу и их политическая сила поэтому зависела от эффективности и желания следовать ему. Так, в Польше французская революция произвела глубокое впечатление. Франция долго оставалась главной силой за рубежом, в которой Польша искала поддержку против объединенной алчности Пруссии, России и Австрии, которые уже аннексировали обширные территории страны и вскоре окончательно разделили ее между собой. К тому же одна только Франция представляла модель своеобразной глубокой внутренней реформы, и, как полагали все мыслящие поляки, она одна и могла помочь их стране избавиться от палачей. Поэтому неудивительно, что конституционная Реформа 1791 г. оказалась под глубоким воздействием французской революции*. Но в Польше передовое и мелкопоместные дворянство обладало свободной землей. В Венгрии, где конфликт между Веной и местными сторонниками независимости должен был заставить их интересоваться теорией сопротивления, которой у них самих не было, якобинство было намного слабее и менее эффективно. В Ирландии же национальные и аграрные беспорядки сделали якобинство политической силой, которая с избыт-

* Поскольку Польша была республикой дворян и мелкопоместных землевладельцев, конституция была якобинской лишь внешне: власть дворян была усилена еще больше, а не отменена.

ком располагала поддержкой свободомыслящих, лидеров с масонской идеологией «объединенных ирландцев». В этой наиболее католической стране церковь выступала за победу безбожной Франции, а ирландцы были готовы приветствовать вторжение в их страну французских войск не из-за симпатий к Робеспьеру, а потому, что они ненавидели англичан и искали союзников против них. С другой стороны, в Испании, где католицизм и нищета процветали одинаково, якобинство не смогло обрести точку опоры по противоречивым причинам: никакие иностранные государства не притесняли испанцев, кроме французов.

Ни Польша, ни Ирландия не были типичными примерами наличия якобинства, поскольку действительная программа революции слабо привлекала эти страны. Она получила отклик в странах с подобными французским социальными и политическими проблемами. Такие страны можно было бы разделить на две группы: государства, в которых свое якобинство получило, без сомнения, реальную возможность стать политической силой, и те, в которых только Франция, захватив эту страну, помогла бы им выдвинуться. Нидерланды, часть Швейцарии и возможно одна или две итальянские области относились к первой группе, а большая часть Западной Германии и Италии относилась ко второй. Бельгия (Австрийские Нидерланды) уже была охвачена революцией с 1789 г., часто забывается, что Камиль Демулен назвал свой журнал «Les Révolutions de France et de Brabant»[60]. Профранцузские революционные элементы были, без сомнения, слабее консервативных сил, но достаточно сильны, чтобы оказать революционную поддержку французским завоевателям, явившимся в их страны, которых они приветствовали. В Нидерландах патриоты, надеясь на союз с Францией, были достаточно сильны, чтобы начать революцию, но очень сомнительно, чтобы она могла победить без помощи извне. Они представляли средний класс и другие группы населения, выступавшие против господствующих олигархий крупных торговцев-аристократов. В Швейцарии левое крыло в некоторых протестантских кантонах уже было сильным, а симпатии к Франции тут всегда были велики. Здесь также фран-

цузские завоеватели скорее поддержали, а не создали революционные силы.

В Западной Германии и Италии все обстояло не так. Вторжение французов приветствовали германские якобинцы — в Майнце и на юго-западе; но кого винить в том, что они находились уж очень далеко от правительства, которому сами по себе доставляли массу хлопот*. В Италии распространение масонства и просвещения сделало революцию популярной среди образованных слоев общества, но местное якобинство было сильным, исключая разве что королевство Неаполитанское, где революционным настроением были охвачены все просвещенные (антиклерикальные) средние классы и часть мелкопоместного дворянства. Там существовали хорошо организованные тайные ложи и общества, процветавшие в атмосфере Южной Италии. Но даже там оно страдало от местного неумения наладить контакт с революционно настроенными массами. Неаполитанская республика была с легкостью провозглашена, как только туда дошли вести о победе французов, но так же легко и подавлена социальной революцией правых под лозунгом «Народ и король», поскольку крестьяне и неаполитанские лаццарони[61], которые, не без основания, говорили о якобинцах как о «господах в карете».

Вообще говоря, воинственные качества приверженцев якобинства за рубежом всецело зависели от вероятности победы французов и от источника информации политически надежных администраторов на завоеванных территориях. И на самом деле существовала тенденция территории с сильным местным якобинством превращать в республики-сателлиты, а затем, где удобно, присоединять их к Франции. Бельгия была аннексирована в 1795 г. Нидерланды стали Батавской республикой в этом же году, а впоследствии королевством Бонапартов. Левый берег Рейна был аннексирован, подпав под власть наполеоновских государств-сателлитов (таких как великое герцогство Берг — теперешний район Рура — и королевство Вестфалия), и вследствие прямой аннек-

* Французам все же не удалось упрочить в качестве своего сателлита Рейнскую республику.

сии Франции ее влияние распространилось далее на северо-запад Германии. Швейцария стала Швейцарской республикой в 1798 г. и также была аннексирована. В Италии образовался целый ряд республик — Цизальпинская (1797 г.), Лигурийская (1797 г.), Римская (1798 г.), которые становились потом частично французской территорией, но в основном — государствами-сателлитами (Итальянское королевство, Неаполитанское королевство).

Иностранное якобинство имело некоторое военное значение, и иностранные якобинцы в самой Франции играли значительную роль в создании стратегии Республики, как, например, группа Саличетти[62], которая сыграла немалую роль в возвышении итальянца Наполеона Бонапарта во французской армии и в его последующих успешных действиях в Италии. Но немногие могли бы претендовать на то, что они сыграли решающую роль. Лишь одно иностранное профранцузское движение могло стать решающим, если бы оно было использовано, — ирландское. Сочетание ирландской революции и французской интервенции, особенно в 1797—1798 гг., когда Британия какое-то время была единственной воюющей против Франции державой, могло бы заставить Британию заключить мир. Но технические проблемы интервенции через столь широкий морской пролив были очень велики, усилия Франции провести эту операцию были чрезвычайно сомнительны и плохо продуманы, а Ирландское восстание 1798 г. хотя и опиралось на широкую поддержку масс, было скверно организовано и без труда подавлено. Рассуждать же о теоретических возможностях франко-ирландских действий — дело бесполезное.

Но если французы располагали поддержкой революционных сил за рубежом, антифранцузские силы также ею обладали. Нельзя не говорить о добровольных движениях народного сопротивления против французских завоевателей, имевших социально-революционное содержание, даже когда крестьяне, участвовавшие в этих движениях, выражали это в виде воинственного консерватизма от имени Бога и Короля. Показательно, что военная тактика, которая в наш век стала всецело отождествляться с революционными действиями, тактика партизанской войны, су-

ществовала с 1792—1815 гг., почти всегда представляя антифранцузскую сторону. В самой Франции вандейцы и chouans (шуаны), в Бретани вели партизанскую войну за короля с 1793-го (с перерывами) до 1802 г. За границей разбойники Южной Италии в 1798—1899 гг. были первым антифранцузским народным партизанским движением. Тирольцы под руководством трактирщика Андреаса Гофера в 1809 г., но более всех испанцы с 1808-го и до некоторой степени русские партизаны в 1812—1813 гг. применяли такие методы со значительным успехом. Парадоксально, но военное значение этой революционной тактики антифранцузского движения было значительнее, чем военное значение иностранного якобинства для французов. Ни на какой территории за пределами самой Франции не устанавливалось проякобинское правительство сразу после разгрома или выдворения французских войск, кроме Тироля, Испании и до некоторой степени Южной Италии, которая доставила французам более серьезные проблемы после разгрома их регулярных войск и правителей, чем до того. Причина ясна: это были крестьянские движения. Там, где антифранцузский национализм не опирался на местное крестьянство, его военные успехи были ничтожны. В свою очередь, патриотизм проявили жители Германии в освободительной войне в 1813—1814 гг., но можно сказать, что поскольку считается, что она была в основном массовым сопротивлением французам, то это не более чем благочестивый вымысел[1*] В Испании народ сдерживал французов тогда, когда испанская армия была уже разгромлена, в Германии армии «старого образца» громили их совершенно традиционными методами.

Попросту говоря тогда война была войной Франции и ее ближайших сателлитов против всех. Что касается отношений с государствами и режимами «старого образца», то они были очень сложными. Основной конфликт был между Францией и Британией, которая главенствовала в европейских международных отношениях большую часть этого столетия. С точки зрения Британии это были исключительно экономические отношения. Британцы желали устранения своего главного соперника с пути достижения полного превосходства в торговле на европейских рын-

ках, всеобщего контроля над колониями и заморскими рынками, который, в свою очередь, подразумевал контроль в открытых морях.

Фактически в результате войн они достигли ненамного меньше. В Европе англичан не интересовало завоевание территорий, кроме контроля за некоторыми пунктами, имевшими значение в качестве морских портов, или уверенности, что они не попадут в руки государств, являвшихся потенциальными конкурентами. В остальном Британия была почти согласна на какое-либо континентальное соглашение, по которому любой потенциальный соперник сдерживался бы другими странами. За границей было необходимо полное разрушение колониальных империй других стран и значительные приращения колониальных владений к самой Британии.

Такая политика могла помочь Франции обрести некоторых потенциальных союзников, так как все морские, торговые и колониальные государства относились к Англии с недоверием и враждебностью. Фактически их обычным состоянием был нейтралитет, так как прибыли от свободной торговли в военное время весьма значительны, но тенденция Британии относиться к нейтральному мореплаванию (вполне реалистичная) как к силе, помогающей Франции более чем ей самой, приводила ее время от времени к конфликту, пока Франция не установила блокаду после 1806 г. и заставила ее изменить направленность своей политики. Большинство морских держав были слишком слабы или, находясь в Европе, слишком изолированы, чтобы причинить Британии какой-либо вред, но англо-американская война 1812—1814 гг. стала результатом этого конфликта. Враждебность Франции по отношению к Британии представляла собой нечто более сложное, но тот элемент, который во Франции, как и в Британии, требовал полной победы, был весьма усилен революцией, которая привела к власти французскую буржуазию, чьи аппетиты были так же безграничны, как и притязания британской буржуазии. Самое малое, что было необходимо для победы над Британией, — это разрушить ее торговлю, от которой она зависела, и постоянно разрушать эту торговлю, чтобы воспрепятствовать Британии

возродиться в будущем (аналогия между франко-британским и римско-карфагенским конфликтом засела в головах у французов, чьи политические образы были классическими). Будучи более честолюбивой, французская буржуазия могла надеяться свести на нет очевидное экономическое превосходство Британии только своими собственными политическими и военными силами: т. е. создавать самим широкий внутренний рынок, с которого ее соперники будут изгнаны. Оба эти мотива придали англо-французскому конфликту невиданную остроту. Ни одна из сторон не согласилась бы на меньшее, чем полная победа (весьма редкое в те дни, хотя и обычное в наше время явление). Единственный короткий мирный перерыв в войне между двумя странами (1802—1803 гг.)[63] прервался из-за нежелания обеих сторон сохранять его. Все это было тем более показательно, когда в конце 1790-х Британия не могла эффективно проникнуть на континент, а Франция не могла совсем вытеснить ее. Другие державы — противницы Франции боролись менее яростно. Все они надеялись уничтожить французскую революцию, но не ценой своих собственных политических интересов, а после 1792—1795 гг. это стало совсем невозможно. Австрийский престол, имевший родственные связи с Бурбонами, снова обрел «перспективу» прямого вторжения Франции на свою территорию, территорию Италии и Германии, где Австрия имела преобладающее влияние, она была наиболее последовательным противником Франции и принимала активное участие во многих коалициях против Франции. Россия становилась противником Франции время от времени, вступая в войну только в 1799—1800, 1805—1807 и в 1812 гг. Пруссия разрывалась между симпатией к контрреволюционным элементам, недоверием к Австрии и своими собственными притязаниями на Польшу и Германию, которые возросли после перехода Франции к агрессии. Поэтому она вступала в войну случайно и полунезависимым образом: в 1792—1795, 1806—1807 (когда ее к этому подтолкнули) и 1813 гг. Политика остальных государств, которые время от времени вступали в антифранцузские коалиции, говорит об относительных колебаниях. Они были против революции, но политика есть политика, а из них у каждого имелись

свои собственные интересы, ничто в интересах этих государств не внушало им постоянной непоколебимой враждебности к Франции, особенно, когда она побеждала, что вело к периодическому переделу европейской территории.

Эти временные дипломатические претензии и интересы европейских держав, также давали Франции ряд потенциальных союзников, поскольку в каждой постоянной системе государств, в условиях противостояния и трения между ними, враг одного из них становится другом его врага. Наиболее надежными из таких сателлитов были мелкие германские князья, интересы которых уже давно были направлены на обычные союзнические отношения с Францией, ослабление власти империи (т. е. Австрии) над княжествами, или над теми, кто страдал от возрастающей силы Пруссии: государства Юго-Западной Германии, Баден, Вюртемберг, Бавария, которые стали составляющими наполеоновской Рейнской конфедерации (1806); а старый соперник и пострадавшая в свое время от Пруссии Саксония действительно была последней и наиболее преданной союзницей Наполеона, фактически также частично из-за своих экономических интересов: как высокоразвитый промышленный центр ее больше устраивала наполеоновская континентальная система.

И тем не менее, допуская разделение государств на противников Франции и потенциальных ее союзников, на бумаге коалиция противников Франции была несомненно намного сильнее, чем союз ее сторонников, по крайней мере сначала. Хотя история этих войн — это одна бесконечная и захватывающая дух победа французов. После первоначального соединения иностранной интервенции и внутренней контрреволюции, потерпевшей поражение в 1793—1794 гг., был только один короткий период в конце века, когда французская армия держала серьезную оборону в 1799 г.: Вторая коалиция мобилизовала значительную русскую армию под предводительством Суворова на ее первые операции в Западной Европе. Список кампаний и сухопутных сражений между 1794 и 1812 гг. — это постоянная, нескончаемая победа Франции. Причиной является революция во Франции. Но ее политическое воздействие за рубежом, как мы виде-

ли, было невелико. В основном можно отметить, что это влияние удерживало население реакционных государств от сопротивления французам, которые принесли им свободу, но фактически военная стратегия и тактика старорежимных государств XVIII в. не предполагала участия гражданского населения в военных действиях. Фридрих Великий твердо сказал своим верным берлинцам, которые хотели оказать сопротивление россиянам, что в войне должны участвовать профессионалы, для которых она предназначена. Но это переместило военные действия за пределы Франции и дало им значительное превосходство над армиями старых режимов. Технически старые армии были лучше подготовлены и дисциплинированны, и это сыграло решающую роль в войне на море, где французы оказывались в худшем положении. Они были искусны в рукопашном бою, в быстрых кавалерийских атаках, но хорошо обученных моряков у них не было и более всего им недоставало грамотных морских офицеров, все они были уничтожены Революцией, поскольку в основном состояли из приверженцев королевской власти нормандского и бретонского дворянства, которых невозможно было восстановить быстро. В 6 крупных и 8 малых сражениях с англичанами потери французов в живой силе почти в 10 раз превосходили британские[2*] Но там, где требовались импровизация, мобильность, подвижность, гибкость и более всего беспредельная отвага и стойкость, французам не было равных. Это превосходство не зависит от каких-либо военных гениев, поскольку у французов и до Наполеона их было более чем достаточно, а средний уровень французского генералитета не был таким уж выдающимся. Но оно как раз зависело частично от омоложения французских командных кадров и дома, и за границей, что является одним из главных последствий любой революции. В 1806 г. из 142 генералов в королевской Прусской армии 79 были старше шестидесяти лет, что составляло $^{1}/_{4}$ всех батальонных командиров[3*] Но в 1806 г. Наполеон (который в 24 года стал генералом), Мюрат (который командовал бригадой в 26), Ней (в 27) и Даву — все они были в возрасте 26—27 лет.

II

Сравнительное однообразие побед французов делает обсуждение военных операций на суше в деталях необязательным. В 1793—1794 гг. французы совершили революцию, в 1794—1795 гг. они оккупировали Нидерланды, Рейнские земли, часть Испании, Швейцарию и Савойю (Лигурию). В 1796 г. Наполеон отмечал победу в Итальянской кампании, которая отдала в их руки всю Италию и разрушила Первую коалицию против Франции. Экспедиция Наполеона на Мальту, в Египет и в Сирию (1797—1799) была отрезана от своей базы военно-морским флотом Британии, и в отсутствие Бонапарта Вторая коалиция вытеснила Францию из Италии и отбросила ее назад в Германию. Поражение объединенных армий в Швейцарии (в битве при Цюрихе, 1799) спасло Францию от оккупации, и вскоре возвращение Наполеона и захват им власти во Франции снова повели ее в наступление. К 1801 г. французы заключили мир с тогдашними европейскими союзами, а к 1802 г. даже с Британией. После этого превосходство французов на захваченных или контролируемых территориях в 1794—1798 гг. оставалось несомненным. Новые попытки развязать войну против них в 1805—1807 гг. продвинули Францию к границам России. Австрия была разбита в 1805 г. в битве при Аустерлице в Моравии, и затем воцарился мир. Пруссия, которая вступила в войну отдельно и позже была разбита в битве при Йене и Ауэрштедте, в 1806 г. выведена из игры. Россия, хотя и потерпевшая поражение при Аустерлице, жестоко избитая при Эйлау (1807) и опять потерпевшая поражение при Фридланде (1807), оставалась грозной военной силой. Тильзитский договор (1807) относился к ней с заслуженным уважением, хотя при этом устанавливал гегемонию Франции над остальным континентом, не считая Скандинавии и турецких Балкан. Попытка Австрии сбросить французское владычество в 1809 г. потерпела неудачу в битвах при Асперн-Эслинге и Ваграме. Тем не менее революция в Испании в 1808 г. против марионеточного короля, брата Наполеона Жозефа, дала возможность выступить Британии и вести постоянные военные действия на Пиренеях, которые не имели

успеха из-за периодических поражений и отступлений британцев (1809—1810).

На море тем не менее Франция к этому времени была разбита окончательно. После Трафальгарской битвы (1805) исчез какой-либо шанс не только захватить Британию, форсировав пролив, но даже сохранить заморские связи. Не осталось никаких средств разгрома Британии, кроме экономического воздействия, и это средство Наполеон постарался эффективно использовать посредством континентальной системы (1806). Для эффективного установления этой блокады существовало препятствие, такая блокада нарушала Тильзитские соглашения и вела к разрыву с Россией, что явилось переломным моментом в судьбе Наполеона. Россия была оккупирована, и войска вошли в Москву. Заключи царь мир, как это сделали большинство противников Наполеона в подобных обстоятельствах, азартная игра пришла бы к успешному завершению. Но царь не пошел на это, и Наполеон столкнулся с проблемой, то ли продолжать бесконечную войну, не имея ясной перспективы на победу, или отступить. И то и другое было гибельно. Приемы боевых действий французской армии, как мы уже видели, заключались в молниеносности кампаний на местности, достаточно богатой и густонаселенной. Но тактика, которая годилась в Ломбардии или на Рейне, где она была впервые применена, и также подходила для Центральной Европы, совершенно не годилась на безбрежных пустых и нищих пространствах Польши и России. Наполеон потерпел поражение не столько из-за российской зимы, сколько из-за отсутствия возможности снабдить свою Великую армию всем необходимым. Бегство из Москвы разрушило армию. Свыше 610 тыс. человек в то или иное время пересекли границы России, 100 тыс. или около того удалось оттуда вернуться.

При этих обстоятельствах последняя коалиция против французов объединила не только их старых соперников и врагов, но и всех тех, кто боялся не оказаться среди победителей. Лишь король Саксонии оставил Наполеона слишком поздно для себя. Новая и достаточно неопытная армия французов, несмотря на ослепительные маневры Наполеона, была разбита у Лейпцига

(1813), и союзники, что было неизбежно, вступили во Францию, а в это время с Пиренейского полуострова пришли британцы. Париж был оккупирован, а император 6 апреля 1814 г. отрекся от престола. Он попытался вернуть свою власть в 1815 г., но битва при Ватерлоо (июнь 1815-го) поставила точку в его карьере.

III

В процессе этой десятилетиями длившейся, войны политические границы Европы перекраивались неоднократно. Но тут мы рассмотрим только те варианты, которые так или иначе достаточно долго просуществовали после разгрома Наполеона.

Наиболее значительным явлением была повсеместная рационализация европейской политической карты, особенно в Германии и Италии. С точки зрения политической географии, французская революция положила конец средневековью в Европе. Типичным современным государством, развивавшимся в течение нескольких столетий, является государство с единой и сплошной территорией с четко определенными границами, управляемое единым суверенным правительством и в соответствии с основной системой управления и законодательства. (Со времен французской революции также считалось, что все это должно быть представлено одной нацией, или лингвистической группой, но на той стадии суверенное территориальное государство еще не подразумевало этого. Типичное европейское феодальное государство, хотя иногда оно так и выглядело, как, например, в средневековой Англии, не имело таких условий. Оно было «скроено» из множества сословий. Так же, как выражение «поместья герцога Бэдфорда» не означает, что они все должны находиться вместе или что все они должны управляться одним хозяином, так что феодальное государство Западной Европы имело такие же сложности, какие имеет и сегодняшнее государство. К 1789 г. эти сложности уже доставляли неприятнос-

ти. Поселения иностранцев казались заброшенными на территории другого государства, как папский город Авиньон во Франции. Территории внутри одного государства по историческим причинам находились в зависимости от другого государства, господина, который в данный момент находился на территории другого государства и, таким образом, как бы под двойным суверенитетом*. Границы в виде таможенных барьеров проходили между разными областями одного и того же государства. В Священную Римскую империю входили ее собственные княжества, складывавшиеся столетиями и всегда разные по размеру и содержанию — глава дома Габсбургов даже не имел одного титула, указывавшего на его власть над всеми его территориями до 1804 г.**, — а имперская власть над разными территориями, исходившая от великих держав как их личное право, как в королевстве Прусском (которое также не было объединено как таковое до 1807 г.), через княжества, различные по своей территории, к независимым городам-государствам и «свободным имперским рыцарям», чьи владения часто не превышали нескольких акров, случалось, не имели общего покровителя. Каждое из таких княжеств, если оно было достаточно большим, также не имело территориального единства и зависело от капризов приобретения по частям в течение длительного исторического периода и от разделов и размежеваний фамильного наследства. Из комплекса экономических, административных, идеологических и государственных соображений проистекает необходимость минимальной территории и населения, чтобы стать административной единицей с правительством по современным меркам, а то ведь и сегодня мы не перестаем удивляться, скажем, тому, что Лихтенштейн — член Организации Объединенных Наций. Так что эти принципы и до наших дней не совсем осуществи-

---

* Единственное оставшееся в Европе государство этого вида — Республика Андорра, находящаяся под двойным сюзеренством испанского епископа Ургелла и президента Французской республики.

** Он был буквально в одном лице герцогом Австрийским, королем Венгрии, королем Богемии, графом Тироля и т. д.

лись. Поэтому особенно в Германии и Италии маленькие и карликовые государства преобладали.

Революция и последующие войны уничтожили большую часть этих реликтов, частично из революционного рвения к территориальной унификации и стандартизации, частично в силу того, что малые и слабые государства стали жертвой алчности их более крупных соседей на протяжении довольно длительного времени. Такие пережитки древних времен Священной Римской империи, города-государства и имперские города, исчезли. Империя прекратила свое существование в 1806 г., древние Генуэзская и Венецианская республики прекратили свое существование в 1797 г. и к концу войны число германских вольных городов сократилось до четырех. Другой характерный пережиток средневековья — независимые церковные государства — шли тем же путем: епископские княжества — Кёльн, Майнц, Трев, Зальцбург и др. — прекратили свое существование, только папские владения в центре Италии существовали вплоть до 1870 г. Аннексия, мирные договоры и Конгресс, на котором Франция систематически старалась реорганизовать политическую карту Германии (1797—1798 и 1803 гг.) уменьшили 234 территории Священной Римской империи, не считая свободных имперских княжеств и т. п., до 40, в Италии, там, где партизанская война, шедшая на протяжении нескольких поколений, уже упростила политическую структуру, карликовые государства существовали только на севере и в центре страны — и изменения там были не столь глубокими. Поскольку большая часть этих изменений пошла на пользу некоторым сильным монархическим державам, поражение Наполеона только увековечило их. Австрия уже и думать не могла о том, чтобы реставрировать Венецианскую республику, потому что она первоначально получила эти территории благодаря операциям французской революционной армии, затем ей пришлось расстаться с мечтами о Зальцбурге (который она приобрела в 1803 г.) лишь потому, что она уважала католическую церковь.

Вне Европы, конечно, территориальные изменения из-за вой-

ны явились следствием полной британской аннексии чужих колоний и движений за освобождение от колониальной зависимости воодушевленных французской революцией жителей колоний (как в Сан-Доминго), что делало возможным временное отделение колоний от их метрополий (как в испанской и португальской Америке). Превосходство Британии на морях являлось гарантией того, что все эти изменения необратимы, вне зависимости от того, были ли они достигнуты за счет французов или (чаще всего) за счет их врагов.

Так же важны были изменения, произведенные в учреждениях прямо или косвенно вследствие французского завоевания. Находясь на вершине своего могущества (1810 г.), французы прямо управляли как частью своей страны всей Германией по левому берегу Рейна, Бельгией, Нидерландами и Северной Германией к востоку до Любека, Савойей, Пьемонтом, Лигурией и западной частью Италии до границ с Неаполем, Иллирийской провинцией от Каринтии на юг, включая Далмацию. Французские королевства-сателлиты и графства покрыли Испанию, остальную Италию, оставшуюся часть Рейнско-Вестфальского региона и большую часть Польши. На всех этих территориях (за исключением, возможно, Великого герцогства Варшавского) автоматически были установлены учреждения французской революции и наполеоновской империи: формально феодализм был уничтожен, были введены французские законы. Эти изменения оказались более существенными, чем обозначение границ. Таким образом, Гражданский кодекс Наполеона явился или стал основой для местного законодательства в Бельгии, в Рейнской области (даже после ее возвращения Пруссии) и в Италии. Феодализм, однажды официально отмененный, уже нигде не был восстановлен. Поскольку для умных противников Франции было ясно, что они потерпели поражение от новой политической системы или по крайней мере по их собственной неспособности провести подобные реформы, войны принесли изменения не только через французские завоевания, но и как своеобразный ответ на них, в некоторых случаях — как в Испании — благода-

ря действиям этих факторов. Сотрудники Наполеона, afrancesados[64], с одной стороны, и либеральные лидеры анти-французской хунты Кадиса, с другой, предвидели, по существу, один и тот же тип Испанского государства, модернизированного во всех отношениях в соответствии с реформами французской революции, и то, чего первые не смогли достигнуть, достигли вторые. Более наглядный пример реформ через реакцию, поскольку испанские реформисты были, во-первых, реформистами, а врагом Франции — только по исторической случайности — была Пруссия. Там было проведено освобождение крестьян, была реорганизована армия с элементами levée en masse, законодательные, экономические и образовательные реформы являлись прямым следствием поражения армии Фридриха при Йене и Ауэрштедте и крушения прусского государства и главная цель реванша состояла в исправлении положения дел. Фактически можно сказать, не слишком уж преувеличивая, что ни одно важное европейское государство к западу от России и Турции и южнее Скандинавии не вышло из этих двух десятилетий войны с внутригосударственными институтами, совсем не испытавшими воздействия экспансии французской революции и не попытавшись ей подражать. Даже ультрареакционное королевство Неаполитанское легально не восстановило феодализм, поскольку он был запрещен французами. Но изменения границ, законов и институтов управления были ничтожны в сравнении с третьим эффектом тех десятилетий революционной войны — коренным изменением политической атмосферы. Когда разразилась французская революция, правительства Европы смотрели на нее как на бунт: тот факт, что сразу же изменились институты, стали происходить мятежи, что династии были свергнуты или короли казнены, сам по себе не потряс правителей XVIII в., которые привыкли к таким явлениям и рассматривали подобные изменения в других странах только с точки зрения их воздействия на равновесие сил и на свое собственное положение.

«Мятежники, которых я изгнал из Женевы, — писал Вержен, знаменитый министр иностранных дел старого режима

Франции, — являются агентами Англии, в то время как мятежники в Америке делают все, чтобы обеспечить устойчивые дружественные отношения. Мое отношение к каждой стороне определяется не ее политическими убеждениями, а ее отношением к Франции. Такова моя точка зрения[4*]». Но к 1815 г. уже преобладало совершенно иное отношение к революции и политика держав была другой.

Теперь стало ясно, что революция одной страны может превратиться в европейское явление, что ее доктрины могут распространяться, минуя границы, и, что еще хуже, ее армии могут опрокинуть политические системы Европы. Теперь стало ясно, что социальная революция была возможна, что нации существовали как нечто независимое от своих правителей, и даже то, что беднота существовала вполне независимо от правящих классов. В 1796 г. де Бональд[65] написал: «Французская революция — уникальное явление в истории»[5*] Эта фраза несправедлива: это было универсальное событие. Ни одна страна не могла противиться ее влиянию. Французские солдаты, которые прошли с боями от Андалузии до Москвы, от Балтики до Сирии — через пространство большее, чем проходил кто-либо со времен монголов, и бесспорно большее пространство, чем любая предшествующая сила в Европе, исключая норманнов, — несли универсальность своей революции более эффективно, чем только можно было это себе представить. И доктрины, и учреждения, которые они несли с собой, даже при Наполеоне, от Испании до Иллирии, были универсальными доктринами, как об этом узнали правительства и как сами народы вскоре должны были узнать. Греческий партизан и патриот в полной мере выразил их чувства. «По моему суждению, — сказал Колокотронес, — французская революция и деяния Наполеона открыли глаза всему миру. Народы были наивны раньше и люди думали, что короли — это боги на земле и что им следует повторять, что все совершаемое ими — хорошо. Из-за этого изменения управлять людьми стало намного сложнее»[6*]

IV

Мы увидели влияние почти двадцатилетней войны на политическое устройство Европы. Но каковы же были последствия самого процесса войны, военных мобилизаций, политических и экономических мер, которые пришлось предпринять из-за них?

Парадоксально, что они были наибольшими там, где кровопролитие было наименьшее, за исключением самой Франции, которая, конечно, больше понесла прямых и косвенных потерь, чем любая другая страна. Люди революции и наполеоновского периода имели счастье жить между двумя периодами ужасных войн — между XVII в. и нашим, который обрел способность опустошать страны действительно беспрецедентным образом. Ни одна территория, затронутая войной 1792—1815 гг., даже Пиренейский полуостров, где военные операции шли дольше, чем где бы то ни было еще, и где народное сопротивление и репрессии сделали их более жестокими, не была разорена так, как Центральная и Восточная Европа в Тридцатилетней войне и в Северной войне XVII в., Швеция и Польша в начале XVIII в. или большие части мира в мировой или гражданской войнах в XX в. Долговременные экономические изменения, которые предшествовали 1789 г., означали, что голод и его следствие, чума и мор не приносили столько опустошения, сколько сражения и грабежи, по крайней мере до 1811 г. (основной период голода наступил после войн в 1816—1817 гг.), военные кампании обычно были непродолжительными, а используемое оружие — сравнительно легкая и мобильная артиллерия — не слишком разрушительны по современным меркам. Осады были редкостью. Огонь представлял большую опасность для жилищ и продовольствия, а маленькие домики или фермы было легко построить вновь. Единственные материальные разрушения, которые трудно восстановить в короткий срок в предпромышленной экономике, — это строевой лес, фруктовые или оливковые рощи, которым необходимо много лет, чтобы вырасти, но их, кажется, не много было уничтожено.

В конце концов общие человеческие потери в течение этих двух десятилетий войны не кажутся, по сегодняшним представлениям, пугающе высокими, хотя ни одно правительство не потрудилось подсчитать их, и все наши современные подсчеты приблизительны, исключая французов и некоторые особые случаи. Один миллион смертей за весь период[7*] — это намного меньше в сравнении с потерями одной воюющей стороны за 4 с половиной года первой мировой войны, или с потерями в 600 тыс. человек или около того в американской гражданской войне 1861—1865 гг. Даже цифра в 2 млн была бы не такой большой за более чем 20 лет военных действий; особенно, если припомнить необыкновенную убийственную способность голода и эпидемий в те дни: в 1865 г. эпидемия холеры в Испании по некоторым данным унесла 236 744 жертвы[8*] Фактически ни одна страна не испытала значительного замедления темпов роста населения в течение этого периода, за исключением Франции.

Для большинства граждан Европы, не участвовавших в боевых действиях, война значила не более чем редкое непосредственное вторжение в нормальное течение жизни. Сельские семьи у Джейн Остин отправлялись по своим делам, как будто ничего не происходило. Мекленбуржцы Фрица Ройтера вспоминали времена иностранной оккупации, которые для них были скорее маленьким анекдотом, чем драмой, старый герр Кюгельген, вспоминая свое детство в Саксонии как арену борьбы, чье географическое и политическое положение притягивало различные армии и тут происходили все битвы, какие только Бельгия и Ломбардия затевали между собой, буквально с сожалением припоминал те удивительные дни, когда мимо них маршировали армии, следовавшие на квартиры в Дрезден. Замечено, что число вооруженных людей было значительно большим, чем принято в более ранних войнах, хотя это число, по современным меркам, не такое выдающееся. Даже страны-участницы не привлекали к сражениям всех призывников, а только часть из них; департамент Франции Кот д'Ор при Наполеоне поставил только 11 тыс. человек из 350 тыс. населения, или 3,15%; а с

1800 по 1815 г. было призвано в армию не более 7% от общего населения Франции против 21% за более короткий период первой мировой войны[9]* И все-таки в общем это была очень большая цифра. Levée en masse 1793—1794 гг. составило 630 тыс. человек под ружьем (из теоретически призванных 770 тыс.), вооруженные силы Наполеона в мирное время 1805 г. насчитывали 400 тыс. человек или около того, а в начале кампании против России в 1812 г. Великая армия насчитывала 700 тыс. человек (300 тыс. из них не французы), не считая французских войск в остальных странах континента, а именно в Испании. Постоянная мобилизация противников Франции была намного меньше не только потому, что было время, когда они участвовали в сражениях (не считая Британии) меньше, но также в силу финансовых трудностей и организационных, часто усложнявших проведение полной мобилизации; к примеру, Австрия, которая к 1813 г., будучи связанной мирным договором 1809 г., по которому должна была выставить 150 тыс. человек, выставила только 60 тыс., готовых к боевым действиям. Британия, напротив, содержала удивительно большую армию. В разгар борьбы (1813—1814), имея деньги на призыв 300 тыс. человек в регулярную армию и 140 тыс. моряков и офицеров, она могла обеспечить свои войска живой силой в гораздо большей степени, чем французы имели в течение всей войны*[10]* Потери были тяжелые, хотя опять же не столь ужасающие по меркам нашего века, но ничтожное число из них составляли потери от военных действий. Только 6—7% британских моряков погибло с 1793 по 1815 гг., сражаясь с французами, 80% умерли от болезней и от катастроф. Смерть на поле битвы была маловероятна, только 2% убитых при Аустерлице, около 8—9% при Ватерлоо. По-настоящему страшную опасность на войне представляли небрежность, грязь, слабая организация, плохое медицинское обслуживание и отсутствие средств гигиены, отчего умирали раненые, заклю-

---

* Если эти цифры основываются на денежных суммах, вотированных парламентом, число призывников было гораздо меньше.

ченные и в соответствующих климатических условиях (как в тропиках) практически все.

Обычные военные действия убивали людей, прямо и косвенно, выводили из строя производственное оборудование, но, как мы уже видели, они нисколько не нарушали нормальный ритм жизни страны и ее развития. Экономические затраты на войну имели далеко идущие последствия.

По стандартам XVIII в., революционные и наполеоновские войны обходились дороже, чем предыдущие. В самом деле, затраты в денежном выражении на войну поражали современников больше, чем расходы на жизнь. Конечно, груз финансового бремени войны на поколение после Ватерлоо был гораздо меньше, чем сокращение числа людских потерь; подсчитано, что во время войны 1821—1850 гг. средний расход составил менее 10% на каждый год по сравнению с той же цифрой в 1790—1820 гг., среднегодовая цифра погибших на войне оставалась на уровне чуть меньше 25% на начальном этапе. Какой ценой заплатить за эту утрату[11*]? Традиционным методом было сочетание денежной инфляции (выпуск дополнительной наличности для того, чтобы оплатить счета правительства), займов и с минимумом специальных налогообложений, поскольку налоги создавали недовольство в обществе и (там, где они были одобрены парламентариями и сословиями) политическую напряженность. Но чрезвычайные финансовые расходы и обстоятельства войн не считались со всем этим.

Первым делом они ознакомили мир с неконвертируемыми бумажными деньгами*. В Европе легкость, с которой печатались бумажные деньги, чтобы оплатить долги государства, была крайне соблазнительна. Французские ассигнации (1789 г.) сначала были просто французскими ценными облигациями (bon de trésor) с 5%-ным участием в прибылях, выпущенными для ускорения доходов с продажи церковных земель. Через несколь-

---

* Обычно любая эмиссия банкнот, меняемых по требованию на золото или нет, было сравнительно редким явлением, до конца восемнадцатого века.

ко месяцев их превратили в наличный капитал, а каждый успешный финансовый кризис заставлял печатать облигации в больших количествах и обесценивать, пользуясь неосведомленностью публики. К началу войны они обесценились на 40%, а к июню 1793 г. почти на $^2/_3$. Якобинский режим создал достаточно хорошие финансы, но отсутствие экономического контроля со стороны государства после Термидора обесценило их приблизительно до уровня 1 : 300 от их первоначальной стоимости, пока официальное банкротство государства в 1797 г. не положило конец той ситуации, когда французы большую часть века не доверяли банкнотам. Обращение бумажных денег в других странах находилось в менее катастрофическом положении, хотя к 1810 г. российские деньги обесценились на 20%, а австрийские (дважды девальвировались, в 1810 и 1815 гг.) на 10%. Британцы избежали этой особой формы финансирования войны, они были достаточно знакомы с банкнотами и не пугались их, но и при всем этом Английский банк не мог вынести тяжелый пресс огромных правительственных расходов — в основном посланных за границу в виде займов и субсидий, — частный спрос на его золотой запас и особое напряжение голодного года. В 1797 г. золотые платежи для частных клиентов были прекращены и успешно начали оборачиваться неконвертируемые банкноты, в результате вышла банкнота в 1 фунт. Бумажный фунт никогда не падал так, как деньги в Европе: его нижнее значение равнялось 71% от его первоначальной стоимости, а к 1817 г. он опять вернулся на отметку 98% — но это длилось намного дольше, чем ожидалось. К 1821 г. денежные выплаты восстановились полностью.

Другой альтернативой повышению налогов были займы, но головокружительный рост общественного долга, происшедшего из-за неожиданно тяжелых и длительных расходов на войну, испугал даже самые богатые, состоятельные и финансово искушенные страны. После 5 лет финансирования войны исключительно через займы британское правительство было вынуждено пойти на беспрецедентный и зловещий шаг платы за войну

путем прямого налогообложения, вынеся на рассмотрение парламента подоходный налог (1799—1816). Быстрый рост благосостояния страны сделал такой шаг вполне возможным, и расходы на войну с этих пор в основном оплачивались из текущих доходов. Национальный долг не поднялся бы с 228 млн фунтов в 1793 г. до 876 млн фунтов в 1816 г. и годовое долговое обязательство с 10 млн фунтов в 1792 г. до 30 млн фунтов в 1815 г., что было больше, чем общие правительственные расходы в последний предвоенный год, если бы подобное налогообложение было введено с самого начала. Социальные последствия таких задолженностей были велики, так как в результате они действовали как дымоход, отводя все бо́льшие суммы от налогов, собираемых каждый год с населения, в основном в карманы небольшого класса богачей, обладателей капитала, против которых спикер от бедных и мелких бизнесменов и фермеров — Вильям Коббет метал громы и молнии. За границей займы в основном росли (по крайней мере на стороне противников французов) благодаря британскому правительству, которое долго проводило политику субсидирования военных альянсов: между 1794 и 1804 гг. он возрос до 30 млн фунтов на эти цели. Теми, кто более всех извлек из этого выгоду, были международные финансовые дома — британские или иностранные, но действующие через Лондон, ставшие главным центром международного финансирования — такие как Баринги и дом Ротшильда, которые действовали как посредники в этих сделках (Мейер Амшель Ротшильд, основатель банкирского дома, послал своего сына Натана из Франкфурта в Лондон в 1798 г.). Великий век этих международных финансистов наступил после войн, когда они финансировали главные займы, чтобы помочь старым режимам оправиться от войны, а новым стабилизироваться; но начало этой эры — время, когда Баринги и Ротшильды возглавляли мир финансов, как никто с тех пор, как это делали великие германские банки XVI в., организованные во время войн.

Тем не менее технические детали финансирования военного времени менее важны, чем общий экономический эффект вели-

кой переориентации ресурсов от мирного их использования на военные нужды, что было вызвано войнами. Неверно было бы полагать, что военные усилия всецело выстраивались за счет гражданской экономики. Вооруженные силы могут мобилизовать только мужчин, либо являющихся безработными, либо возможными кандидатами в безработные, которые всегда есть в экономике*. Военная промышленность, которая быстро отвлекает людей и материалы от гражданского рынка, в конечном итоге может стимулировать развитие, которое, по расчетам мирного времени, приносят ничтожные доходы. Таков был легендарный случай с железной и стальной индустрией (см. гл. 2), которая не имела возможности быстро расти по сравнению с хлопчатобумажной промышленностью и поэтому традиционно надеялась получить стимул к дальнейшему развитию либо от правительства, либо от войны. «В течение XVIII в., — писал в 1831 г. Дионисиус Ларднер, — железоплавильщики стали почти приравниваться к пушкарям»[12*] Таким образом, можно считать, что часть капитальных ресурсов, отвлеченная от использования в мирных целях, использовалась в виде долгосрочных вложений в капитал производства товаров народного потребления и технического развития.

Среди технических новинок, созданных благодаря наполеоновским и революционным войнам, — производство сахара из сахарной свеклы в Европе (как заменитель импортируемого из Вест-Индии сахарного тростника) и консервная пищевая промышленность (которая появилась вследствие попыток британского флота найти продовольственные продукты, которые можно сохранить на борту корабля). Тем не менее, несмотря на все скидки, большая война предполагает большое отвлечение ресурсов и даже при условии взаимной блокады означает, что экономика военного и мирного времени боролись за одни и те же ресурсы. Очевидным последствием такого соревнования всегда

* Это была основа устойчивой традиции эмигрировать в качестве военного наемника в таких перенаселенных горных районах, как районы Швейцарии.

является инфляция, и мы знаем, что фактически период войны дал толчок росту цен в XVIII в., до этого находившемуся в процессе медленного возрастания, хотя в некоторых странах он произошел из-за денежной девальвации. Это, в свою очередь, повлекло за собой определенное перераспределение доходов, которые имели экономические последствия, к примеру, от наемных рабочих к бизнесменам (если зарплата отстает от цен) и от производителя — в сельское хозяйство, так как крестьянам, как известно, выгодны высокие цены, вызванные войной. И наоборот, в конце войны освобождается масса ресурсов, включая человеческие, которые благодаря войне получают работу, и переносит на рынок мирного времени, как всегда, более сильные проблемы перераспределения. Возьмем наглядный пример: с 1814 по 1818 г. численность британской армии была сокращена до 150 тыс. человек, что превышает современное население Манчестера, а уровень цен на пшеницу упал с 108,5 шиллинга за кварту в 1813 г. до 64,2 шиллинга в 1815 г. Фактически мы знаем, что период послевоенной перегруппировки был одним из периодов чрезвычайных экономических трудностей по всей Европе, еще более усилившийся в неурожайные 1816—1817 годы.

Таким образом, мы должны задать самый главный вопрос: насколько отвлечение ресурсов из-за войны замедляло экономическое развитие различных стран? Понятно, что этот вопрос особенно важен для Франции и Британии, двух первостепенных промышленных держав и двух стран, выдержавших сильнейшие экономические тяготы. Бремя французов было тяжко не только из-за войны на ее последних стадиях, ибо оно облегчалось в основном за счет иностранцев, чьи территории грабились или подвергались реквизициям армиями-победительницами и кого они облагали налогами в виде людей, материалов и денег. Около половины государственного налога от годового дохода Италии ушло во Францию в 1805—1812 гг.[13*] Возможно, на самом деле эта сумма была заметно завышена. Настоящее разрушение французской экономики явилось следствием революции, длившейся десятилетия, гражданской войны и хаоса, которые,

к примеру, уменьшили оборот мануфактур департамента Нижняя Сена (Руан) с 41 до 15 млн в 1790—1795 гг., а число их рабочих — с 246 тыс. до 86 тыс. К этому надо добавить потери от прекращения заморской торговли из-за британского контроля на морях. Бремя Британии складывалось не только из расходов на военные нужды страны, но также из традиционных субсидий европейским союзникам, а также другим странам. В денежном отношении британцы несли более тяжелый груз в течение всей войны: она обходилась им в 3—4 раза дороже, чем французам.

Ответ на главный вопрос легче дать в отношении Франции, чем Британии, поскольку французская экономика осталась относительно инертной, а французская промышленность и торговля почти наверняка развивались бы в дальнейшем быстрее, если бы не революция и война. Хотя экономика страны при Наполеоне пережила существенный прогресс, она не могла достичь своего первоначального состояния, так как потеряла движущую силу.

В отношении Британии ответ менее ясен, поскольку ее экспансия была стремительной, и остается поэтому только один вопрос: была бы эта экспансия еще стремительней, не будь войны? Ответ, с которым сегодня все согласны: была бы быстрей[14*]. Для других стран этот вопрос не так уж важен, ибо у них развитие экономики шло медленно или, как в большей части Габсбургской империи, темпы ее роста были неустойчивыми и ее материальный вклад в ведение войны был сравнительно невелик.

Конечно, такие смелые утверждения вызывают вопрос. Даже чисто экономические войны Британии в XVII и XVIII вв. не могли продвинуть экономическое развитие сами по себе, лишь стимулируя экономику, они это сделали только благодаря победе: убирая соперников и захватывая новые рынки. Цена нарушенного бизнеса, перемещения ресурсов и т. п. измерялась их «доходностью», которая выражалась в том сравнительном положении, в котором находились противоборствующие стороны после войны. По этим показателям войн 1793—1815 гг. ясно вид-

но, что они более чем оплачивали себя ценой небольшого замедления экономической экспансии, которая тем не менее оставалась гигантской. Британия решительно устранила своего ближайшего возможного соперника и стала «промышленной мастерской мира» на два поколения. По каждому промышленному или торговому показателю Британия находилась намного впереди всех других стран (возможно, за исключением США), чем в 1789 г. Если мы согласны, что временное удаление ее противников и фактическое господство в морских торговых портах и на колониальных рынках было основным условием дальнейшей индустриализации Британии, то цена этого достижения была весьма умеренная. И если мы доказываем, что к 1789 г. ее отрыв от других стран был уже достаточно велик, что обеспечило превосходство Британии в экономике, несмотря на войну, тогда мы можем сказать, что цена поддержания этого превосходства, вопреки угрозе Франции вернуть себе политическими и военными средствами земли, потерянные в экономическом соревновании, была невысока.

ГЛАВА 5

МИР

Теперешнее согласие (держав) является хорошей защитой от революционных угольков, так или иначе тлеющих в каждой из европейских стран, — и... настоящая мудрость состоит в том, чтобы покончить с мелкими раздорами нашего времени и вместе отстаивать установленные принципы социального порядка.

Каслри[1*]

L'empereur de Russie est de plus le seul souverain parfaitement en état de se porter dès á présent aux plus vastes entreprises. Il est à la tête de la seule armée, vraiment disponible qui soit aujourd'hui formée en Europe.

Гентц, март 24, 1818[2*]

После более чем 20 лет почти непрерывной войны и революции победившие старые режимы встали перед проблемой заключения и сохранения мира, что было особенно трудно и опасно. Двадцатилетние завалы были расчищены, награбленное перераспределено. Более того, всем образованным государственным деятелям, было очевидно, что нельзя допустить теперь большую европейскую войну, поскольку такая война почти наверняка будет означать новую революцию и, следовательно, уничтожение старых режимов. «В теперешним болезненном состоянии европейского общества, — сказал король Леопольд Бельгийский (мудрый и несколько надоедливый дядюшка королевы Виктории), — содержится предпосылка к грядущему кризису, было бы неслыханно допустить ... большую войну. Такая война ... конечно, принесет конфликт принципов, насколько я знаю Европу, я думаю, такой конфликт изменит ее форму и разрушит всю ее структуру»[3*] Короли и государственные деятели были не умнее и не глупее, чем раньше. Но они были бесспорно более напуганы.

Им, конечно, необычайно повезло. Фактически в Европе не было ни одно крупной войны, ни одного конфликта, в котором одна великая держава противостояла бы другой на поле боя с момента поражения Наполеона вплоть до Крымской войны 1854—1856 гг. В самом деле, кроме Крымской, не происходило ни одной войны, в которой участвовало бы более двух великих держав с 1815 по 1914 г. Гражданин XX в. может оценить значение подобного достижения. Это еще больше впечатляет, поскольку международная сцена была далека от спокойствия, а случаи конфликтов многочисленны. Революционные движения (которые мы рассмотрим в гл. 6) расстраивали с таким трудом достигнутую международную стабильность снова и снова: в 1820-х — в Южной Европе, на Балканах и в Латинской Америке, после 1830-х — в Западной Европе (в Бельгии) и снова накануне революции 1848 г. Распад Турецкой империи, чреватый внутренними беспорядками и претензиями враждебных великих держав — Британии и России, и в меньшей степени Франции, — создал так называемый «восточный вопрос» — постоянный источник кризиса: в 1820-х гг. он возник в Греции, в 1830-х — в Египте, и хотя утратил свою остроту серьезного конфликта в 1839—1841 гг., оставался, как и раньше, потенциально взрывоопасным. Британия и Россия находились в наихудших отношениях из-за Ближнего Востока и ничейных территорий, находившихся между двумя империями в Азии. Франция была далека от того, чтобы примирять их, находясь в положении куда более скромном, чем она была до 1815 г. Несмотря на все эти отмели и водовороты, дипломатические корабли преодолевали трудное сопротивление воды без столкновений.

Наше поколение столько раз так эффектно терпело поражение в основной задаче международной дипломатии — избежании крупных войн, и поэтому с таким уважением, которое не всегда испытывали их преемники, оглядывается на государственных деятелей и методы 1815—1848 гг. Талейран, возглавлявший французскую внешнюю политику с 1814 по 1835 г., остается образцом французской дипломатии до сего дня. Каслри, Джордж Каннинг и виконт Пальмерстон, которые были британскими сек-

ретарями иностранных дел соответственно в 1812—1822, 1822—1827 гг. и все администрации не тори с 1830 до 1852 г.* приобрели обманчивый и имеющий обратную силу статус гениев дипломатии. Князь Меттерних, канцлер Австрии с момента низвержения Наполеона до собственного падения в 1848 г., сегодня все меньше рассматривается как ярый противник всяческих изменений, а чаще как мудрый гарант стабильности. Однако даже святой не смог бы выделить достойных почитания министров иностранных дел в России Александра I (1801—1825) и Николая I (1825—1855) и в относительно незначительной Пруссии.

В известном смысле похвала оправданна. Умиротворение Европы после наполеоновских войн было не более справедливо и не более морально, чем во все другие времена, но учитывая антилиберальные и антинациональные (контрреволюционные) цели творцов системы послевоенного урегулирования, это было реалистично и разумно. Не было ни одной попытки использования полной победы над Францией, которая бы спровоцировала новый всплеск якобинства. Границы страны, потерпевшей поражение, были оставлены в лучшем положении, чем они находились в 1789 г., финансовые гарантии были небезосновательны, оккупация иностранными войсками скоротечна, и к 1818 г. Франция вновь была принята в качестве полноправного члена Европейского сообщества. (И даже несмотря на безуспешный возврат Наполеона в 1815 г. отношение к Франции стало еще более сдержанным). На престол снова посадили Бурбонов, но было ясно, что им придется пойти на уступки перед лицом опасных настроений своих подданных. Главные перемены, вызванные Революцией, были упрочены, несравненное изобретение, конституция, была пожалована им, хотя, конечно, в довольно умеренной форме под маской Конституционной Хартии вернувшейся абсолютной монархии Людовика XVIII.

Карта Европы была изменена без учета желания народов или прав бесчисленных князей, которыми время от времени распоря-

* То есть на протяжении всего периода, исключая несколько месяцев в 1834—1845 и в 1841—1846 гг.

жались французы, но зато во главу угла ставилось сохранение баланса между пятью великими державами, возникшими после войны: Россией, Британией, Францией, Австрией и Пруссией. Только три из них действительно решали все вопросы. У Британии не было территориальных претензий на континенте, хотя она предпочитала осуществлять контроль или протягивать руку помощи торговым морским городам и центрам торговли. Она сохранила Мальту, Ионические острова и о. Гельголанд, установила строгий контроль над Сицилией и особенно выиграла вследствие передачи Норвегии из-под власти Дании во владение Швеции, что мешало какой-либо стране контролировать вход в Балтийское море, и союза Голландии с Бельгией (бывшие Австрийские Нидерланды), отдавшего устье Рейна и Шельды в руки безобидного, но достаточно сильного государства, защищенного рядом крепостей на юге, чтобы противостоять хорошо всем известному аппетиту французов в отношении Бельгии. Оба образования были очень непопулярны и в Бельгии, и в Норвегии, и последнее просуществовало лишь до революции в 1830 г. После некоторых трений между Францией и Англией было создано маленькое придерживавшееся нейтралитета королевство, во главе с королем, которого выбирала Британия. За пределами Европы претензии Британии на территории были намного больше, хотя становилось неважным то, находится ли какая-либо территория под британским флагом или нет, поскольку британский флот господствовал на всех морях, и только на северо-восточных границах Индии для Британии существовала опасность — Российская империя находилась в непосредственной близости от Индии, и только несколько слабых княжеств разделяли их. Но враждебность между Британией и Россией вряд ли влияла на район, который было необходимо переделить после 1814—1815 гг. В Европе британские интересы не нуждались в мощной поддержке.

Россия, решающая военная держава на суше, удовлетворила свои территориальные претензии, получив Финляндию (за счет Швеции), Бессарабию (из турецких владений) и значительную часть Польши, которой была дана автономия и местное самоуправление; эта часть всегда стремилась к союзу с Россией (после

восстания 1830—1831 гг. автономия была ликвидирована). То, что осталось от Польши, было разделено между Пруссией и Австрией, за исключением города-республики Кракова, который не пережил восстания 1846 г. Кроме того, Россия согласилась издалека осуществлять эффективную гегемонию над всеми княжествами восточнее Франции, главный ее интерес состоял в том, чтобы избежать революции. Царь Александр с этой целью спонсировал Священный союз, к нему присоединились Австрия и Пруссия, а Британия не присоединилась. С точки зрения Британии, эта явная гегемония России над большей частью Европы была отнюдь не идеальным соглашением, но оно отвечало военным реалиям, и не могло быть предотвращено иначе, как предоставлением Франции куда большего влияния, нежели ее бывшие враги были готовы ей дать. За Францией был признан статус великой державы, но лишь настолько, насколько каждый готов был это принять.

Австрия и Пруссия почитались великими державами лишь из учтивости. Так, глядя на слабость Австрии во времена международных кризисов, можно было справедливо усомниться в этом, и столь же, впрочем, несправедливо усомниться в Пруссии вследствие того, что в 1806 г. прусское государство потерпело сокрушительный разгром. Их главной функцией было оказывать стабилизирующее воздействие на Европу. Австрия получила назад свои итальянские провинции плюс бывшие венецианские территории в Италии и Далмации, в основном ими управляли родственники Габсбургов (за исключением Пьемонта-Сардинии, которая поглотила бывшую Генуэзскую республику, чтобы служить эффективным буфером между Австрией и Францией. Австрия находилась в роли полицейского, следящего за порядком по всей Италии. И поскольку в ее интересах была стабильность — все остальное могло привести к распаду, — она могла действовать только как постоянный гарант против любых попыток нарушить порядок в Европе. Пруссия, поддержанная Британией в ее стремлении получить сильную власть в Западной Германии, регионе, чьи княжества издавна стремились слиться с Францией или могли попасть под влияние Франции, получила Рейнскую область, чей огромный экономический потенциал аристократы-диплома-

ты не смогли должным образом оценить. Это также послужило разрастанию конфликта между Британией и Россией, из-за чего Британии пришлось согласиться на обширную экспансию России в Польше. В результате сложных переговоров, проходивших под угрозой войны, Пруссии пришлось уступить России часть ее бывшей польской территории, но взамен удалось получить половину богатой и промышленно развитой Саксонии. В территориальном и экономическом отношении Пруссия получила от договора 1815 г. сравнительно больше, чем другие державы, и фактически стала в первое время после этого великой европейской державой по части ресурсов, хотя для политиков вплоть до 1860-х годов это не было очевидно. Австрия, Пруссия и множество малых германских государств, чья главная международная функция состояла в том, чтобы обеспечивать королевские дома Европы продуктами животноводства, подумывали об объединении в Германскую конфедерацию, не без учета старшинства Австрии. Основной международной функцией конфедерации было удерживать малые государства, входящие в зону влияния Франции, от присущего им стремления присоединиться к ней. Несмотря на утрату национальных прав в качестве приспешников Наполеона, они были далеко не несчастны.

Государственные деятели 1815 г. были достаточно мудры и знали, что никакая договоренность, как бы тщательно ни была она построена, в течение длительного времени не сможет выдержать напряжения соперничающих государств в изменившихся обстоятельствах. В конце концов они взялись за создание механизма по поддержанию мира, устраняющего все возникающие проблемы путем регулярного созыва конгресса. Конечно, было ясно, что на таких конгрессах главенствующее положение будут занимать «великие державы» (данный термин — изобретение того периода). Европейское сообщество — другой термин, который тогда вошел в употребление, не соответствует Объединенным Нациям, но, скорее, Совету Безопасности Объединенных Наций. Тем не менее только в течение нескольких лет конгрессы собирались регулярно — с 1818 г., когда Франция была официально принята в сообщество, до 1822 г.

Система конгрессов самоликвидировалась, потому что она не могла существовать дольше периода после наполеоновских войн, когда начался голод 1816—1817 гг. и разразилась промышленная депрессия, создавшая неоправданный страх социальнбй революции повсюду, включая Британию. По возвращении экономической стабильности около 1820-х каждое нарушение договоренности 1815 г. вызывало расхождение между интересами государств. Столкнувшись с первым кругом недовольства и мятежей, Австрия твердо стала придерживаться принципа немедленного и автоматического подавления всех подобных движений в интересах социального порядка (и ради обеспечения интеграции австрийских территорий). Помимо Германии, Италии и Испании три монархии «Священного союза» и Франция согласились с этими принципами, хотя последняя, выполняя с удовольствием функцию международного жандарма в Испании (1823 г.), была менее заинтересована в европейской стабильности, чем в расширении сферы своей дипломатической и военной активности, особенно в Испании, Бельгии и Италии, где находилось большинство ее иностранных инвестиций[4*] Британия оставалась от этого в стороне. Отчасти потому, особенно после того как гибкий Каннинг пришел на смену жесткому реакционно настроенному Кестльри (1822 г.) — было решено, что политические реформы в абсолютистской Европе рано или поздно все равно произойдут, а британские политики не испытывали симпатий к абсолютизму, но также и потому, что применение полицейских принципов должны привести враждебные державы (а именно Францию) в Латинскую Америку, которая была, как мы видели, британской экономической колонией и при этом жизненно важной. Поэтому Британия поддерживала независимость государств Латинской Америки, как и США в декларации Монро[66] от 1823 г., манифесте, который не имел практической ценности, но представлял значительный пророческий интерес — если кто и защищал независимость Латинской Америки, так это британский флот. По поводу Греции мнения великих держав были еще более различны. Россия со всей своей ненавистью к революциям поддерживала православные народы в их борьбе за выход из состава Турецкой им-

перии, чем они ослабляли Турцию, должны были искать помощи у России (более того, по договору она имела право вторгаться в Турцию и защищать православных христиан). Опасность иностранной интервенции России, филэллинистское[67] давление, экономические интересы и общая уверенность в том, что распад Турции невозможно предотвратить, но лучше тогда его организовать, привели Британию от враждебности через нейтралитет к неформальному проэллинизму, и Британия вторглась в Грецию. Греция, таким образом, завоевала независимость (1829 г.) благодаря и российской, и британской помощи. Международный ущерб был невелик благодаря превращению страны в королевство, во главе которого был поставлен один из многих надежных принцев маленьких германских княжеств, который не являлся сателлитом России. Но прочность соглашения 1815 г., системы конгрессов и принципа подавления всех революций была нарушена.

Революции 1830-х гг. разрушили ее окончательно, поскольку они охватили не только малые государства, но и крупную державу, Францию. Вследствие революций вся Европа к Западу от Рейна оказалась вне сферы полицейских операций Священного союза. В это время встал «восточный вопрос» — проблема, что делать с очевидной дезинтеграцией Турции, превратила Балканы и Левант в поле битвы держав, главным образом России и Британии. «Восточный вопрос» нарушил равновесие сил, потому что все способствовало усилению русских, главным объектом дипломатии которых, как и впоследствии, было обретение контроля над проливами между Европой и азиатским материком, которые дадут ей доступ в Средиземное море. Это был вопрос не только дипломатического, но и военного значения, с ростом экспорта украинского зерна он становился также и экономической необходимостью. Британия волновалась, как всегда, из-за путей в Индию и была глубоко озабочена продвижнием на юг одной из великих держав, которая могла угрожать ей. Ее политика сводилась к тому, чтобы натравить Турцию на Россию из-за ее экспансии по всему побережью (это давало еще и надежду на улучшение британской торговли в Леванте, которая в этот период заметно возросла). К сожалению, такая политика была совершенно

неосуществима. Турецкая империя была беспомощна в военном отношении, но она лекго справлялась с внутренними мятежами и оказывала сопротивление объединенным силам России и находила выход из неблагоприятной международной обстановки. Сама она была не способна провести модернизацию, хотя проявляла большую готовность к этому; начало модернизации было предпринято при Махмуде II (1809—1839) в 1830-х годах. В конце концов прямая дипломатическая и военная поддержка Британии могла предотвратить постоянный рост российского влияния и развал Турции после ее многочисленных несчастий. Это сделало «восточный вопрос» самым взрывоопасным в международных отношениях после наполеоновских войн, единственным, способным привести к большой войне, и фактически такая война началась в 1854—1856 гг. Тем не менее сама ситуация, которая склонила международную игру в пользу России и против Британии, также заставила Россию пойти на компромисс. Она могла достичь объекта своих дипломатических усилий двумя путями: либо нанеся поражение и расчленяя Турцию и естественно оккупируя Константинополь и проливы, либо установив фактический протекторат над слабой и раболепной Турцией. Выбирать она могла любой вариант. Другими словами, царь никогда бы не начал большую войну из-за Константинополя. Так было в 1820-х гг., когда война в Греции благоприятствовала политике расчленения и оккупации. России не удалось извлечь из этого все, на что она надеялась, и она уже не желала больше добиваться превосходства. Вместо этого путем переговоров она заключила благоприятный договор в Ункяр-Искелеси (1833 г.) с Турцией, находившейся в очень стесненных обстоятельствах, которая теперь остро ощущала необходимость в могущественном защитнике. Британия была оскорблена: к 1830-м годам относится возникновение массовой русофобии, которая создала образ России как традиционного врага Британии*. Под давлением Британии Россия отступила и в 1840-х гг. вернулась к предложениям о разделе Турции.

* Фактически англо-российские отношения, основанные на экономических взаимовыгодных связях, традиционно были более дружелюбны и только после наполеоновских войн начали серьезно ухудшаться.

Российско-британское противостояние на востоке на практике было менее серьезным, чем в общественном мнении. Куда более Британия опасалась возвышения Франции и при любой возможности делала все, чтобы уменьшить ее влияние. Фактически фраза «большая игра», которая позже стала означать дела любителей приключений и секретных агентов обеих стран, которые действовали в азиатских ничейных землях между двумя империями, точно отражала суть их деятельности, что сделало ситуацию действительно опасной — из-за непредсказуемого развития освободительного движения в Турции и интервенции других государств. Из участвовавших стран Австрия имела сравнительно небольшой интерес, сама будучи разваливающейся многонациональной империей, напуганной тем самым движением народов, которое так сильно нарушало стабильность Турции — балканских славян, а именно сербов. Тем не менее угроза со стороны балканских славян была сиюминутная, хотя позже она стала непосредственной причиной первой мировой войны. Франция была более обеспокоена, имея долгосрочные дипломатические контакты и экономическое влияние в Леванте и периодически пытаясь восстановить их и расширить. В особенности со времен наполеоновской экспедиции в Египет французское влияние в этой стране было сильным, а ее паша Мехмет Али, независимый правитель, мог при желании более или менее потрясти или консолидировать Турецкую империю. И действительно кризис, вызванный «восточным вопросом» в 1830-х (1831—1833 и 1839—1841 гг.), был по существу кризисом в отношениях Мехмета Али со своим номинальным повелителем, осложненный в последнем случае французской поддержкой Египту. Таким образом, если Россия не желала вести войну за Константинополь, Франция и не могла, и не хотела ее. Наступил дипломатический кризис. И в конце концов, кроме Крымского эпизода, войны против Турции не было, по крайней мере в XIX в.

Из международных дискуссий этого периода становится очевидным факт, что взрывоопасный материал в международных отношениях был недостаточно взрывчатым, чтобы развязать большую войну. Из великих держав Австрия и Россия были слишком

слабы, чтобы предпринимать решительные шаги. Британия была удовлетворена. К 1815 г. они одержала самую полную победу из всех держав за всю историю, выйдя из двадцатилетней войны против Франции как единственная промышленная, как единственная морская держава (в Британском флоте в 1840 г. было столько кораблей, сколько у всех остальных стран вместе взятых) и фактически как единственная колониальная держава во всем мире. Ничто, казалось, не стояло на пути экспансионистских интересов Британии в ее внешней политике. Россия, будучи ненасытной, имела только ограниченные территориальные претензии и ничто не мешало ей в ее продвижении: расширении британской торговли и капиталовложений. Франция была «недовольной» державой и имела возможность нарушить международный стабильный порядок. Но Франция могла это сделать только при одном условии: если она снова аккумулирует внутри страны энергию революции и якобинства, а за границей — энергию либерализма и национализма. Ибо по меркам давней борьбы великих держав она была чудовищно ослаблена. Она уже больше никогда не будет способна, как при Людовике XIV или во время революции, бороться против коалиции из двух или трех держав на равных, полагаясь только на свои ресурсы и свое население. В 1780 г. на каждого англичанина приходилось по 2,5 француза, но в 1830-м — менее трех на каждых двух англичан. В 1780 г. французов было почти столько же, сколько и русских, но в 1830 г. русских было почти вдвое больше, чем французов. А темпы французской экономической эволюции значительно отставали от британской и американской, а очень скоро — и от германской.

Но якобинство было слишком высокой ценой для французского правительства, чтобы удовлетворить свои международные амбиции. Державы содрогнулись, когда в 1830 и 1848 гг. во Франции снова были свергнуты правящие режимы, а абсолютизм был либо ослаблен в одних странах, либо свергнут в других. И для них наступили бессонные ночи. В 1830—1831 гг. умеренные во Франции были не готовы даже пальцем пошевелить, чтобы помочь восставшей Польше, к которой все французы (как и все европейские либералы) питали симпатии. «А Польша? — писал ста-

рый, но полный энтузиазма Лафайет Пальмерстону в 1831 г. — Что Вы будете делать, что нам сделать для нее?[5*]» А ответом было — ничего. Франция могла восстановить свои возможности вместе с европейскими революциями, что, как надеялись все революционеры, она и сделает. Но умеренные либеральные французские правительства и Меттерниха такое вовлечение в революционную войну пугало. Ни одно французское правительство в интересах своего собственного государства с 1815 по 1848 гг. не рисковало миром.

А раз равновесие в Европе было нарушено, ничто не могло сдержать экспансии и воинственности. Фактически, хотя реакционные страны были огромны, но их приобретения были невелики. Британия довольствовалась тем, что заняла выгодные точки для морского контроля над миром и для обеспечения ее мировой торговли в таких местах, как южная оконечность Африки (отобранная у Дании во время наполеоновских войн), Цейлон, Сингапур (который был открыт в это время) и Гонконг, а также тем, что обострилась борьба против работорговли — такая политика Британии отвечала как гуманитарным взглядам, так и стратегическим интересам британского флота, который использовал эти пункты для усиления своей мировой монополии — такая политика заставила Британию создать точки опоры вдоль африканского побережья. Но в целом, не считая одного критического случая, на их взгляд, мир был свободен для британской торговли, и оберегаемый британским флотом от непрошеных вмешательств, обходился гораздо дешевле без административных расходов на оккупацию. Кризисным исключением была Индия и все, что находилось под ее контролем. Любой ценой надо было сохранить Индию, в этом не сомневались даже самые антиколониально настроенные торговцы. Ее рынок имел все возрастающее значение, и этот рынок, бесспорно, пострадает, если Индия будет предоставлена самой себе. Индия была ключом к Дальнему Востоку, путям транспортировки наркотиков и других прибыльных промыслов, которыми европейские бизнесмены были не прочь заняться. Китай стал доступным для этого в результате Опиумной войны 1839—1842 гг. Вследствие этого с 1814 по 1849 г. размеры

британско-индийской империи выросли и стали занимать $^2/_3$ всего субконтинента, что явилось следствием серии войн против маратхов, непальцев, бирманцев, раджпутов, афганцев, синди, сикхов, и весь Средний Восток был опутан сетью британского влияния, которое контролировало прямой путь в Индию, учрежденный в 1840 г. — пароходами по линиям Р и О, дополненный наземным прохождением по Суэцкому перешейку. Хотя Россия имела репутацию великого экспансиониста (по крайней мере у британцев), ее завоевания были куда скромнее. Царь в этот период старался захватить обширные и пустынные пространства киргизских степей на восток от Урала и отчаянно сопротивляющиеся горные территории Кавказа. США, в свою очередь, захватили фактически весь запад, юг от границы Орегона путем агрессии и войны с беспомощными мексиканцами. С другой стороны, французы вынуждены были ограничить свои экспансионистские амбиции в Алжире, в который они вторглись, прикрываясь сфабрикованным оправданием в 1830 г., и постарались завоевать в последующие 17 лет. К 1847 г. они сломили народное сопротивление.

Об одном условии установления мира между народами необходимо упомянуть отдельно: запрещение международной работорговли. Причины этого были и гуманитарные, и экономические: рабство было ужасно и чрезвычайно неэффективно. С точки зрения британцев, которые находились в первых рядах борцов этого движения среди других государств, потому что экономика в 1815—1848 гг. основывалась не, как в XVIII в., на торговле людьми и сахаром, а на торговле мануфактурой. Фактическая отмена рабства проходила гораздо медленнее (за исключением, конечно, тех мест, где французская революция отменила его). Британцы отменили его в своих колониях — в основном в Вест-Индии, в 1834 г., хотя вскоре постарались снова вернуть его, там где находились громадные плантации сельскохозяйственный культур, импортируя завербованных рабочих из Азии. Французы официально не отменяли его снова до революции 1848 г. В 1848 г. рабство еще было сильно распространено, и, соответственно, подпольная работорговля существовала в мире.

ГЛАВА 6

РЕВОЛЮЦИИ

Свобода — это соловей с голосом великана, она разбудит самых последних сонь... Как можно сегодня думать о чем-либо, кроме как о борьбе за или против свободы? Тот, кто не может любить человека, может прославиться только как тиран. Но как можно оставаться равнодушным?

Людвиг Бёрне, 14 февраля 1831 г.[1*]

Правительства, утратившие равновесие, напуганы, в смятении и замешательстве от криков, раздирающих новые классы общества, находящихся между королями и их подданными, сокрушающих монаршие скипетры, захватывающих власть и склоняющих народ на свою сторону.

Меттерних — царю, 1820 г.[2*]

Редко неспособность правительств воспрепятствовать ходу истории может быть столь убедительно продемонстрирована, как это случилось после 1815 г. Не допустить революции во Франции или еще худшей катастрофы, всеобщей европейской революции по французскому образцу, — вот что было главной задачей всех держав, которые только что потратили более 20 лет, чтобы подавить первую революцию. Даже британцы, не испытывавшие симпатий к реакционному абсолютизму, который вновь утвердился по всей Европе, очень хорошо знали, что реформ невозможно и нельзя избежать, но боялись новой экспансии французского якобинства более, чем какой-либо другой международной случайности. И все-таки никогда в европейской истории или еще где-либо революционный дух не был столь *эндемичен*, так грандиозен и так способен распространяться, подобно инфекции, благодаря либеральной пропаганде.

С 1815 по 1848 г. в западном мире прокатились три главные волны революции (Азия и Африка все еще оставались не-

восприимчивы к ней: первые крупные революции в Азии — «индийский мятеж» и «восстание тайпинов» произошли только в 1850-х годах. Первая волна революций прокатилась в 1820—1824 гг. В Европе революции вспыхивали в основном в бассейне Средиземного моря: в Испании (1820), Неаполе (1820), Греции (1821) в качестве их эпицентра. Все восстания, кроме греческого, были подавлены. Испанская революция пробудила освободительные движения в Латинской Америке, которые были подавлены после первых выступлений, послуживших поводом для завоевания Наполеоном Испании в 1808 г., и выродились в мелкие, слабые отряды беженцев и разбойников. Три великих предводителя освободительного движения в испанской Южной Америке: Симон Боливар, Сан-Мартин и Бернардо О'Хиггинс, — добились независимости соответственно «Великой Колумбии» (которая состояла из теперешних республик Колумбии, Венесуэлы и Эквадора), Аргентины, за исключением внутренних районов, которые теперь называются Парагвай и Боливия, и пампасов вдоль реки Ла-Плата, на которой ковбои из Банда Ориенталь (теперь Уругвай) сражались с аргентинцами и бразильцами; а также Чили. Сан-Мартин при помощи чилийского флота, возглавляемого британским дворянином-радикалом Кочрэйном, захватил последний оплот испанского владычества, вице-королевство Перу. К 1822 г. испанская Южная Америка была освобождена, а Сан-Мартин, умеренный и дальновидный человек, с редким самопожертвованием оставил все Боливару и республике и вернулся в Европу, прожил остаток жизни в убежище для разоренных англичан в Булонь-сюр-Мер на пенсию от О'Хиггинса. А тем временем испанский генерал Итурбиде, посланный против оставшихся в живых мексиканских крестьян и партизан, объединился с ними и под лозунгом испанской революции в 1821 г. окончательно добился независимости для Мексики. В 1822 г. Бразилия мирно отделилась от Португалии в эпоху регентства, установленного португальской королевской династией по ее возвращении из Европы после изгнания Наполеоном. США почти сразу признали наиболее крупные из новых стран, следом — Британия,

заботясь о заключении с ними торговых договоров; Франция из-за своего положения до 1820-х годов не могла осуществлять подобные акции.

Вторая волна революции началась в 1829—1834 гг. и захватила всю Европу, запад России и североамериканский континент, поскольку к этому периоду необходимо причислить как часть его и эроху великих реформ президента Эндрю Джексона (1829—1837), хотя она была связана с европейскими восстаниями косвенно. В Европе свержение Бурбонов во Франции стимулировало многие другие восстания. Бельгия завоевала (1830) независимость от Голландии, Польское восстание (1830—1831) было подавлено только после значительных военных операций, многие районы Италии и Германии были охвачены волнениями, в Швейцарии победил либерализм — куда более спокойной стране, чем теперь, — в то время как в Испании и Португалии начался период гражданской войны между либералами и клерикалами. Даже в Британии были волнения, снова начались извержения вулкана местного значения в Ирландии, которая боролась за права католиков (1829) и возобновила агитацию за реформы. Билль о реформе 1832 г., совпал с Июльской революцией 1830 г. во Франции и получил мощный стимул с каждой новостью из Парижа. Этот период, пожалуй, единственный в новой истории, когда политические события в Британии происходили параллельно с аналогичными на континенте до той точки, когда случилось нечто похожее на революционную ситуацию, которая могла бы развиться в 1831—1832 гг., если бы не сдержанность и вигов и тори. Это единственный случай в XIX в., когда анализ британской политики в этом смысле не является чем-то искусственным.

Революционная волна 1830 г. имела более серьезные последствия, чем в 1820 г. В результате аристократия потерпела значительное поражение от буржуазии в Западной Европе. Правящим классом на следующие 5—10 лет должна была стать богатейшая буржуазия — банкиры, крупные промышленники и иногда городские должностные лица; из аристократов принимали тех, кто держался в тени, или согласных с проведением буржуазной политики, согласных со всеобщим избирательным правом; все

они были встревожены волнением мелких недовольных предпринимателей, мелкой буржуазии и первыми движениями рабочих. Политическая система в Британии, Франции и Бельгии в основном была одинаковой: либеральные институты ограждали себя от демократии путем образовательного или имущественного ценза для избирателей — сначала право голоса во Франции имели 168 тыс. человек при конституционной монархии, фактически нечто похожее на первые и очень умеренные буржуазные этапы французской революции, конституцию 1791 г.* В США тем не менее джексоновская демократия пошла дальше на один шаг: разгромив недемократических собственников-олигархов, чья роль была той же, что у победивших теперь в Западной Европе, но неограниченная политическая демократия пришла к власти благодаря голосам жителей приграничных районов, мелких фермеров, городской бедноты. Это было зловещее нововведение, а некоторые мыслители умеренного либерального толка, достаточно реалистичные, чтобы понимать, что расширение права участия в выборах рано или поздно станет неизбежным, тщательно его изучали, испытывая глубокое волнение. Примером может быть Алексис Токвиль, который в своей книге «Демократия в Америке» (1835) пришел к мрачным заключениям по этому поводу. Но, как мы увидим, в 1830 г. отмечаются даже более радикальные нововведения в политике: появление рабочего класса как независимой и самостоятельной в политике Британии и Франции силы, а также национальные движения в большинстве европейских стран.

За этими крупными изменениями в политике стоят главные изменения в экономике и социальном развитии. На какой бы аспект социальной жизни мы ни обратили внимание, в 1830 г. в нем произошло коренное изменение, и из всех дат — с 1789 по 1848 г. — этот год самый знаменательный. В истории индустриализации и урбанизации в Европе и в США, в истории миграции людей, в социальной и географической сферах, в идеологии и искусстве — всюду произошли изменения. А в Британии и в За-

---

* Только на практике с бóльшим числом ограничений прав участия в выборах, чем в 1791 г.

падной Европе в основном отмечено начало кризиса в развитии нового общества, который совпал с поражением революции в 1848 г. и гигантским рывком вперед после 1851 г.

Третья и самая большая революционная волна 1848 г. стала итогом этого кризиса. Почти одновременно разразилась и победила революция во Франции (хотя и временно), во всей Италии, в германских государствах, почти во всей Габсбургской империи и Швейцарии (1847). В менее острой форме волнения произошли в Испании, Дании и Румынии, и в спорадической форме — в Ирландии, Греции и Британии. Мир никогда не был так близок к мировой революции, о которой мечтали участники восстаний того периода и которыми закончилась эра, рассмотренная нами в этой книге. То, что в 1789 г. было восстанием одной нации, теперь казалось «весной человечества» целого континента.

II

В отличие от революций конца XVIII в. те, что происходили в постнаполеоновский период, были и ожидаемы и планируемы. Поскольку большая часть этого страшного наследства — французской революции — представляла собой набор моделей и образцов политического переворота, пригодных для всеобщего применения бунтовщиками где бы то ни было, нельзя сказать, что революции 1815—1848 гг. были делом рук нескольких недовольных агитаторов, как докладывали шпионы и полицейские в те времена, — совсем никудышные специалисты. Они начались потому, что политическая система, насажденная в Европе, была и в период резких социальных изменений глубоко неадекватна политическим условиям на континенте, и экономическое и социальное недовольство было таким острым, что приводило к неизбежным взрывам. Но политические модели, созданные революцией 1789 г., служили для того, чтобы придать недовольству необходимую форму, превратить недовольство в революцию и помимо всего привести всю Европу в единое движение, или, лучше сказать, в поток ниспровержения.

11 Зак. 82

Существовало несколько таких моделей, хотя все они были позаимствованы из опыта Франции с 1789 по 1797 г. Они соответствовали трем главным направлениям оппозиции после 1815 г., умеренным либералам (или в общественном смысле — верхушка среднего класса и либеральной аристократии), радикальным демократам (низы среднего класса, часть новых производителей, интеллектуалы и недовольное мелкое дворянство) и социалистам (трудовая беднота, или новый промышленный рабочий класс). Этимологически, между прочим, все они отражали интернационализм периода: слово «либерал» произошло от франко-испанского слова, «радикал» — британского, «социалист» — англо-французского. Термин «консервативный» — также частично французского происхождения, другое доказательство чрезвычайно близкой связи британской и континентальной политики в период закона о реформе. Вдохновителем первой конституции была революция 1789—1791 гг., ее политическим образцом — разновидность почти британской конституционной монархии с ограниченной собственностью и потому олигархической, парламентарной системой, которая была представлена в конституции 1791 г. и которая, как мы видели, стала стандартным типом конституции во Франции, Британии и Бельгии после 1830—1832 гг. Вдохновителем второй конституции была революция 1792—1793 гг., а ее политический образец — демократическая республика с уклоном к благосостоянию государства с некоторым предубеждением против богатства — соответствует идеалам якобинской конституции 1793 г. Но поскольку те социальные группы, что стояли за радикальную демократию, были беспорядочным и странным объединением, трудно повесить какой-либо ярлык на их модель французской революции, элементы которой в 1792—1793 гг. носили название жирондизм, якобинство и даже санкюлотизм, хотя, пожалуй, якобинство конституции 1793 г. в ней представлено лучше всего; вдохновителем третьей конституции была революция II года и восстаний после Термидора, прежде всего «заговор равных» Бабефа; этим знаменитым восстанием крайних якобинцев и ранних коммунистов отмечено рождение современных коммунистических традиций в политике. Это было дитя санкюлотизма

и левого крыла робеспьеризма, у которого ненависть к богачам шла от среднего класса. Политически модель революции по Бабефу была выдержана в традициях Робеспьера и Сен-Жюста.

С точки зрения абсолютистского правительства все эти движения были также разрушительны для стабильности и правопорядка, хотя некоторые из них более последовательно распространяли хаос, чем другие, иные были более опасны, потому что могли разбудить безразличие нищих масс. Вот почему секретная полиция Меттерниха в 1830-х годах уделяла такое повышенное на наш взгляд внимание распространению «Paroles d'un Croyant» (1834 г.) Ламенне, поскольку, говоря на неполитическом языке католиков, она могла обращаться к людям, уже отравленным откровенно атеистической пропагандой[3*] Фактически оппозиционные объединения были объединены чем-то большим, нежели их общим отвращением к режиму 1815 г., так возник и традиционно единый фронт всех противников (по какой-либо причине) абсолютной монархии, церкви и аристократии, в период с 1815 по 1848 г. происходило разрушение этого объединенного фронта.

III

Во время Реставрации (1815—1830 гг.) ночь реакции накрыла всех, кто высказывал оппозиционные мнения, и в этой темноте вряд ли можно было отличить бонапартистов от республиканцев, умеренных — от радикалов. В то время еще не было самостоятельных революционеров или социалистов из рабочего класса, по крайней мере в политике, разве что в Британии, где появилось независимое пролетарское направление в политике и идеологии под эгидой кооперативов Оуэна[68] накануне 1830-х гг. Большинство из не британских массовых проявлений недовольства были еще не политическими или служили предлогом для легитимистов и клерикалов, выражая глухой протест против нового общества, и несли только злость и хаос. Но, несмотря на это, на континенте появлялись первые ростки политической оппозиции в виде небольших групп, состоявших из людей богатых и образо-

ванных, что было одно и то же, поскольку в такой могущественной цитадели левых, как Политехническая школа, лишь одну треть студентов, называемых подрывной группой, составляли выходцы из мелкой буржуазии (из низших чинов армии или гражданских служащих) и только 0,3% — простой народ. Представители бедноты, сознательно находившиеся на левом фланге, принимали на вооружение классические лозунги революции среднего класса, хотя в версии радикальных демократов, скорее, чем во взглядах умеренных деятелей, уже стало проскальзывать нечто вроде социальных требований. Классическая программа, вокруг которой объединилась британская рабочая беднота, представляла простую парламентскую реформу, что было выражено в «Шести пунктах» Народной Хартии*. В сущности эта программа не отличалась от якобинской программы времен Пейна и была вполне совместима (отличалась только своей связью с растущим рабочим классом) с политическим радикальным реформаторством среднего класса, идеологом которого являлся Джеймс Милль. Единственное отличие в период Реставрации состояло в том, что рабочие-радикалы уже предпочитали слушать выступления людей, которые говорили с ними на их языке — риторических пустозвонов, как Хант (1773—1835 гг.), или блестящих и энергичных стилистов, как Уильям Коббет (1762—1835 гг.), и, конечно, Тома Пейна (1737—1809 гг.), — куда больше, чем самих реформаторов из среднего класса.

Таким образом, в этот период европейскую оппозицию не разделяли на разные лагеря ни социальные, ни даже национальные различия. Если не считать Британии и США, где существовала регулярная форма массовой политики (хотя в Британии ей положила конец антиякобинская истерия вплоть до начала 1820-х гг.), политические планы были очень сходны с планами оппозиционеров всех стран Европы, все были очень похожи и методами совершения революций — по всей Европе абсолютизм обычно

* 1) Избирательное право для мужчин; 2) выборы по избирательным бюллетеням; 3) равные избирательные округа; 4) плата за членство в парламенте; 5) ежегодные парламенты; 6) отмена имущественного ценза для кандидатов.

исключал мирные реформы. Все революционеры полагали с некоторой долей справедливости, что они представляют элиту свободных и прогрессивных деятелей среди широких инертных масс безразличных и введенных в заблуждение простых людей, которые, без сомнения, будут приветствовать освобождение, когда оно наступит, но ничего не сделают для этого. Все они (по крайней мере к западу от Балкан) думали, что борются против одного общего противника, союза монархов под предводительством царя. Все они думали о революции как об объединяющем, а не разъединяющем явлении, а не о совокупности национальных или местных свобод. Все они старались принять единый тип революционной организации: принцип мятежного братства.

Такие братства, каждое из которых имело яркие ритуалы и иерархию, копировали масонские модели, выросшие в конце наполеоновского периода. Лучше всех известны из-за интернационального характера так называемые «добрые братья», или карбонарии. Они возникли из масонских или подобных лож в Восточной Франции, состоявших из находившихся в Италии французских офицеров-антибонапартистов, оформились в Южной Италии после 1806 г. и вместе с другими подобными группами распространились на север по всему Средиземноморью после 1815 г. Они или их филиалы обосновались даже в России, где такие организации объединялись и назывались декабристы, которые подняли первое восстание в истории России в 1825 г., но особенно — в Греции. Движение карбонариев достигло своего расцвета в 1820—1821 гг. После 1823 г. большинство братств было уничтожено. Тем не менее карбонаризм (в общем смысле слова) продолжал существовать как главный оплот революционной организации, возможно, объединявший посредством близкой по духу задачей освобождения Греции (филэллинизм), а после неудач в 1830 г. революционных движений, политических эмигрантов из Польши и Италии, которые распространили революционное движение еще дальше.

Идеологически карбонарии и им подобные были довольно пестрой компанией, объединенной только общей ненавистью к реакции. По очевидным причинам радикалы и среди них левое крыло, якобинцы и бабувисты, — наиболее решительные из револю-

ционеров — оказывали влияние на братства. Филиппо Буонарроти, старый товарищ Бабефа по оружию, являлся самым опытным и неутомимым конспиратором, хотя его доктрины были намного левее, чем у большинства братьев.

До сих пор предметом споров остается, могли бы они совершить одновременную международную революцию, если бы их усилия были более скоординированы, хотя делались попытки объединить все секретные братства пусть на их высшем и наиболее инициативном уровне в интернациональное тайное общество. Какова бы ни была правда, в 1820—1821 гг. прокатилась волна восстаний, близких по духу к движению карбонариев. Они потерпели полное поражение во Франции, там, где политические условия для революции совершенно отсутствовали и участники не имели доступа к единственно эффективному рычагу восстаний в ситуации, не подходящей для восстания, — недовольной армии. Французская армия тогда и на протяжении всего XIX в. была частью гражданской службы, это означает, что она выполняла приказы того правительства, которое было у власти. Такие восстания победили временно в некоторых районах Италии и в Испании, там, где они происходили по самой эффективной схеме — военного мятежа. Либеральные полковники организовали свои секретные офицерские братства, в своих полках они отдавали своим подчиненным приказы, и те выполнялись (декабристское движение в России старалось сделать то же самое в своих подчиненных полках в 1825 г., но потерпело поражение, испугавшись, что дело зашло слишком далеко). Офицерские братства, часто с либеральным уклоном, с тех пор как в новых армиях стало возможным быстрое продвижение по служебной лестнице молодых офицеров из неаристократических семей, и революционные настроения стали отличительной чертой политической жизни на Пиренеях и в Латинской Америке; они стали самым долговечным политическим приобретением периода карбонариев. Эти иерархические секретные общества, такие как соблюдающие ритуалы франкмасоны, получили по понятным причинам очень сильное распространение в военной среде. Новый испанский либеральный режим в 1823 г. был

свергнут вторгшимися французами, за спиной которых стояла европейская реакция.

Только одна из революций 1820—1822 гг. имела успех — Греческое восстание, частично вследствие успешного подключения народных масс и частично в силу благоприятной дипломатической ситуации в 1821 г.* Греция, таким образом, стала вдохновительницей международного либерализма и филэллинизма, который включал в себя организованную поддержку грекам и отъезд в Грецию бесчисленных добровольцев-бойцов; она послужила делу объединения сил европейского левого крыла в 1820-х годах, также как и поддержка Испанской республики сыграла аналогичную роль в 1930-х.

Революции 1830-х гг. полностью изменили ситуацию. Как мы видели, они были первыми итогами общего периода острого и широко распространенного экономического и социального недовольства и резких социальных изменений. Последствия были таковы: участие масс в политике, революции образца 1789 г. и исключительная опора на секретные братства. В Париже были свергнуты Бурбоны благодаря характерному соединению кризиса, причиной которого считалась политика реставрированной монархии и народного недовольства, вызванного экономической депрессией. В результате активность масс была такой, что Париж в июле 1830 г. был покрыт баррикадами, каких не видывали ни до ни после того (фактически в 1830 г. баррикады стали символом народного восстания. Хотя их воздвигали в Париже и в 1588 г.[69]; но и в 1789—1794 гг. они не играли такой важной роли). Вторым результатом было то, что с развитием капитализма народ и трудящуюся бедноту, т. е. людей, которые строили баррикады, уже можно было назвать новым промышленным пролетариатом — «рабочим классом». Таким образом возникло революционное движение пролетариев-социалистов.

Революции 1830 г. также представляли два разветвления левого политического крыла. Они отделили умеренных от радикалов и создали новую международную ситуацию. Таким образом,

---

* О Греции см. также гл. 7.

они помогли расчленить движение не только на разные социальные, но и разные национальные части.

Революция разделила Европу на два больших лагеря. Западнее Рейна она объединила реакционные державы. Умеренные либералы победили во Франции, Британии и Бельгии. Либерализм (более радикального типа) одержал неполную победу в Швейцарии и на Пиренейском полуострове, где главные массовые либеральное и антилиберальное католические движения противостояли друг другу, но Священный союз больше не мог вторгаться в эти области, поскольку был все еще занят к востоку от Рейна. В Португалии и Испании в гражданских войнах 1830-х годов абсолютистские и умеренно либеральные силы поддерживали каждая свою сторону, хотя либералы несколько энергичнее, и с помощью некоторых иностранных радикальных добровольцев, которые в какой-то мере предвещали филоиспанизм 1930-х*. В конце концов проблема решалась в этих странах соотношением местных сил. Перевес был то на одной стороне, то на другой с короткими перерывами (1833—1837, 1840—1843).

К востоку от Рейна ситуация оставалась почти такой же, как до 1830 г., все революции были подавлены. Германское и Итальянское восстания — при поддержке австрийцев, Польское восстание — намного серьезнее — русскими войсками. Более того, в этом регионе национальный вопрос стоял на первом месте. Все народы проживали в государствах, которые были либо слишком малы, либо слишком велики по национальному признаку: как члены разъединенных наций, разделенные или нет на малые княжества (Германия, Италия, Польша), как члены многонациональных империй (Габсбургской, Российской, Турецкой) или в том и другом качестве. Другое дело датчане или скандинавы, которые хоть и принадлежали в широком смысле слова к неабсолютист-

* Англичане были заинтересованы в Испании через испанских либеральных изгнанников, с которыми они вошли в контакт в 1820-х гг. Британский антикатолицизм также сыграл определенную роль в привлечении внимания к сражающейся Испании такими произведениями, как «Библия в Испании» Джорджа Борроу и знаменитый «Сравочник по Испании» Мюррея, выдержанный в антикарлистском духе[70].

ской зоне, жили сравнительно спокойной жизнью вне драматических коллизий остальной Европы.

Очень много общего было в революциях, проходивших на обеих территориях: как свидетельствуют факты, в 1848 г. революции охватили оба региона, хотя не все подряд части этих регионов. Тем не менее в каждом регионе было отмечено разное революционное рвение. В Западной Британии и Бельгии до настоящей революции дело не дошло, тогда как в Испании и Португалии и в меньшей степени в Швейцарии, где имела место острая общественная борьба, равной которой не отмечалось больше нигде (за исключением швейцарской гражданской войны в 1847 г.). В остальной же Европе возникло бросающееся в глаза различие между активностью «революционных» наций и пассивностью всех прочих. В связи с этим секретные службы Габсбургов были озабочены проблемой с поляками, итальянцами, а не австрийскими немцами, равно как и с постоянно неспокойными венграми, в то время как население из альпийских районов и славяне в других землях не внушали такого беспокойства. России лишь Польша доставляла хлопоты, в то время как турки все еще могли рассчитывать на то, что балканские славяне останутся спокойными.

Эти различия отражались на разной скорости эволюции и на социальных условиях разных стран и в 1830-х и в 1840-х гг. стали влиять на политику. Таким образом, развитая промышленность в Британии изменила ритм британской политики, в то время как большая часть континента находилась в самом тяжелом социальном кризисе 1846—1848 гг., в Британии же в это время наблюдалась депрессия исключительно в промышленности в 1841—1842 гг. (см. также гл. 9). Напротив, в то время как в 1820-х гг. группы молодых идеалистов могли, вероятно, надеяться на военный переворот, способный принести свободу России, равно как в Испании и во Франции, после 1830 г. социальная и политическая обстановка в России была менее чревата революцией, чем обстановка в Испании.

Тем не менее революционные проблемы Востока и Запада были сопоставимы, хотя и неодинаковы: они вели к росту напряжения между умеренными радикалами. На Западе умеренные ли-

бералы вышли из общего фронта оппозиции Реставрации и стали в ряды правительств. Более того, достигнув власти усилиями радикалов — потому что кто как не они сражались на баррикадах? — они тут же предали их. В те времена не было опаснее дела, чем связаться с демократией или республикой, как сказал Гизо, лидер оппозиции времен Реставрации и премьер-министр во времена июльской монархии: «Нет больше законных мотивов, нет благовидных предлогов для принципов и страстей, так долго прикрывавшихся знаменем демократии. То, что раньше было демократией, теперь анархия, демократический дух и теперь и дальше будет означать только революционный дух»[4*]

Более того, после короткого периода терпимости и усердия либералы начали умерять свой энтузиазм в дальнейшем осуществлении реформ и подавлять левых радикалов, а особенно революционеров из рабочего класса. В Британии «Генеральный союз» оуэнистов в 1834—1835 гг. и чартисты[71] столкнулись с враждебностью противников Закона о парламентской реформе, но также и тех, кто защищал его. Командующий вооруженными силами, развернутыми против чартистов в 1839 г., сочувствовал их требованиям, будучи радикалом из средних классов, но всегда держал их под контролем. Во Франции подавление республиканского восстания 1834 г. стало поворотным пунктом; в этом же году начались гонения на шестерых честных рабочих из Вельсина, которые пытались организовать профсоюз сельских рабочих («Мученики из Толпудла»); это стало началом борьбы против движений рабочего класса в Британии. Движения радикалов, республиканцев и нового пролетариата поэтому отошли от союза с либералами; умеренные, продолжая находиться в оппозиции, часто употребляли выражение «демократическая и социальная республика», которое теперь стало лозунгом левых.

Больше нигде в Европе революция не победила. Раскол между умеренными и радикалами и появление нового социал-революционного движения стали следствием поражения и анализа перспектив будущей победы. Умеренные — землевладельцы-виги и представители существующего среднего класса — возлагали свои надежды на реформы, которые проведет подходящее пра-

вительство при гибкой поддержке новых либеральных властей. Удобные правительства были редки. Савойя в Италии продолжала сочувствовать либерализму и все больше надеялась на поддержку умеренных, которые, в свою очередь, надеялись на ее поддержку в деле объединения страны. Группа либеральных католиков, воодушевленных таким странным и быстротечным явлением, как «либеральное папство» при папе Пие IX (1846), мечтала, и совершенно беспочвенно, о мобилизации сил церкви для этой цели. В Германии все мало-мальски заметные государства относились к либерализму не иначе как враждебно. Это не остановило некоторых умеренных — в гораздо меньшем числе, чем обычно представляется прусской исторической пропагандой, у которых только и был один Германский таможенный союз (1834), а все только и мечтали об удобном, хорошем монархе, а не о баррикадах. В Польше, где надежда на умеренную реформу при поддержке царя больше не вдохновляла польских магнатов и их окружение, которые всегда надеялись на это (Чарторыйские), умеренные теперь надеялись только на дипломатию Запада. Ни одна из этих надежд не была реалистичной при том положении вещей, какое было с 1830 по 1848 г.

Радикалы были также разочарованы поражением французов, которым не удалось сыграть роль международных освободителей, предначертанную для них Великой Революцией и революционной теорией. И в самом деле, это разочарование, растущий национализм 1830-х гг. (гл. 7) и сознание различий революционных программ в каждой стране разрушили интернационализм, к которому стремились революционеры в период Реставрации. Стратегические цели остались теми же. Неоякобинская Франция и, возможно (как думал Маркс), радикально интервенционалистская Британия все еще оставались незаменимы для дела европейского освобождения ввиду маловероятности российской революции[5*] Тем не менее реакция национализма против франкоцентристского интернационализма взамен карбонариев приобрела эмоциональную окраску, которая хорошо сочеталась с новой модой на романтизм, много позаимствовавшей от левых после 1830 г.: апостолами движения антикарбонариев были такие сильно

отличающиеся друг от друга люди, как сдержанный учитель музыки XVIII в., рационалист Буонарроти и взъерошенный и неловкий доморощенный трагик Дзузеппе Мадзини (1805—1872); под их руководством создавались различные тайные общества («Молодая Италия», «Молодая Германия», «Молодая Польша» и т. д., потом объединившиеся в «Молодую Европу»). Децентрализация революционного движения была оправдана обстановкой, поскольку в 1848 г. нации действительно поднимались отдельно, стихийно и одновременно. С другой стороны, эта децентрализация была неоправданна потому, что стимул к одновременному выступлению исходил снова от Франции, и нежелание Франции играть роль освободителя явилось причиной поражения этих движений.

Романтично это или нет, но радикалы отвергли надежды умеренных на монархов и власти по практическим и идеологическим соображениям. Народы должны быть готовы сами завоевать свою свободу, поскольку больше никто этого за них не сделает, мнение, которое одновременно было принято пролетарско-социалистическими движениями. Они должны сами завоевать ее прямыми действиями. Эти мысли зародились еще у карбонариев на все случаи, когда массы остаются пассивными. В конечном счете это было неэффективно, хотя между нелепыми методами Мадзини с его попыткой вторжения в Савойю и рядом продолжительных попыток польских демократов вызвать и возродить партизанскую войну в своей стране после поражения восстания 1831 г. — большая разница. Но сама решимость радикалов — захватить власть без или против специально учрежденных сил — породила новый раскол в их рядах. Были они готовы или нет осуществить захват власти путем социальной революции?

IV

Этот вопрос обсуждался повсюду, за исключением США, где уже никто не сомневался в необходимости привлечения к политике простого народа, так как это уже сделала джексоновская

демократия*. Но несмотря на то, что в США партия рабочего класса появилась в 1828—1829 гг., социальная революция европейского образца не подходила для этой большой и быстро развивающейся страны, хотя отдельные поводы для недовольства существовали и тут. Вопрос этот не имел значения для Латинской Америки, где ни одному политическому деятелю, за исключением, возможно, мексиканских политиков, не приходила мысль призывать к революции индейцев (крестьян и сельских рабочих), рабов-негров или даже мелких фермеров, ремесленников или городскую бедноту для каких бы то ни было целей. Но в Западной Европе, где социальная революция городской бедноты была реально возможна, а в крупных аграрных районах Европы — аграрная, вопрос о том, призывать или нет народные массы, был актуальным и неизбежным. Повсюду в Западной Европе был очевиден рост активности бедноты, особенно городской. Даже в имперской Вене это отразилось на отношении к мелкой буржуазии и плебеям в провинциальном популярном театре. В наполеоновский период в их пьесах соединялось добродушие (Gemuetlichkeit) с наивной габсбургской лояльностью. Величайший писатель 1820-х гг. Фердинанд Раймунд наводнил сцену сказками, печалью и ностальгией по утраченной невинности, простоте, традициям некапиталистического общества. Но с 1835 г. в ролях ведущего актера (Иоганна Нестроя), который был главным образом художником социальным и политическим, начали преобладать горькое и диалектическое остроумие, дух разрушения, которые сделали его в 1848 г. революционером-энтузиастом. Даже германские эмигранты, выезжавшие из Гавра, объясняли свой отъезд в США, в страну европейских бедняков, который начался с 1830-х гг., тем, что там нет короля[6*]

Недовольство в городах стало характерным для Западной Европы. Пролетарские и социалистические движения наблюдались главным образом в странах двойственной революции — Британии и Франции. В Британии оно возникло приблизительно в 1830 г. и приняло зрелую форму массового движения рабочей

* Исключая, конечно, рабов Юга.

бедноты, которая считала вигов и либералов возможными предателями, а капиталистов — несомненными врагами. Широкое движение Народной Хартии, которое приблизилось к своему апогею в 1839—1842 гг., оставалось влиятельным вплоть до 1848 г. и стало самым значительным достижением рабочего движения. Британский социализм и профсоюзы были намного слабее. Он начал бурно развиваться в 1829—1834 гг. привлекая большинство воинственно настроенных рабочих своими учениями (которые распространялись главным образом среди ремесленников и квалифицированных рабочих с начала 1820-х годов) и попытками организовать национальные «всеобщие союзы» рабочего класса, которые под воздействием оуэнистов даже пытались создать всеобщую кооперативную экономику с тем, чтобы одержать верх над капитализмом. Разочарование после билля о реформе 1832 г.[72], которое заставило рабочее движение примкнуть к этим оуэнистам, кооператорам, примитивным революционным синдикалистам и т. п., и их неспособность разработать эффективную политическую стратегию и обрести лидерство и систематические нападки со стороны нанимателей и правительства разрушили движение в 1834—1836 гг. Это поражение сократило численность социалистов до немногих пропагандистских и образовательных групп, находящихся вне главного потока рабочей агитации; осталось также новое, более умеренное движение производителей товаров народного потребления в форме кооперативных предприятий, возникших вначале в Рочдейле и Ланкашире начиная с 1844 г. В том-то и парадокс, что наивысшая точка развития революционного движения масс в Британии — чартизм — был менее идеологизирован, зато более зрел политически, чем движение 1829—1834 гг. Но это не спасло его от поражения из-за политической слабости лидеров, местных и фракционных разногласий и неспособности на согласованные национальные действия, а только на подготовку угрожающих петиций.

Во Франции не существовало никакого относительно массового движения промышленной рабочей бедноты, костяк движения рабочего класса во Франции 1830—1848 гг. составляли городские ремесленники и поденщики, особенно квалифицирован-

ные рабочие в центрах традиционной кустарной и надомной промышленности, таких как шелковое производство в Лионе (суперреволюционные ткачи Лиона были не работниками по найму за заработную плату, но мелкими ремесленниками). Более того, разнообразные направления утопического социализма, последователи таких социалистов, как Сен-Симон, Фурье, Коббет и другие, не были заинтересованы в политической агитации, хотя на деле их небольшие секты и группы — особенно фурьеристы — должны были действовать как руководящее ядро рабочего класса и организаторы масс перед революционным выступлением 1848 г. С другой стороны, во Франции существовали сильные и политически высокоразвитые традиции левого якобинства и бабувизма, большая часть представителей которых после 1830 г. стали коммунистами. Самым грозным лидером коммунистов был Огюст Бланки (1805—1881), ученик Буонарроти.

С точки зрения социального анализа теория бланкизма мало что внесла в учение о социализме, кроме решительного заявления о том, что пролетариат — это передовая часть рабочего класса, а средний класс (теперь уже не высший) — его главный враг. В отношении политической стратегии и организации он применил законы тайного братства к условиям пролетариата, между прочим приспособив ритуальность и маскарадные костюмы времен Реставрации и традиционный метод якобинской революции — восстание и централизованное диктаторство — к рабочему движению. От бланкистов (которые в свою очередь заимствовали это у Сен-Жюста, Бабефа и Буонарроти) современное социалистическое революционное движение позаимствовало убеждение, что его целью должен быть захват политической власти, за которым следует диктатура пролетариата, выражаясь словами бланкистов. Слабость бланкизма состояла в том, что французский рабочий класс был слаб. В отсутствие большого массового движения они оставались, как и их предшественники карбонарии, элитой, которая планировала свои восстания в пустоте и потому часто терпела поражения, скажем, в восстании 1839 г.

Рабочий класс или городская революция и социализм, таким образом, становились реальной опасностью в Западной Европе,

хотя фактически в большинстве промышленных стран, таких как Британия и Бельгия, правительство и правящий класс относились к ним сравнительно спокойно; не было случая, чтобы британское правительство было серьезно озабочено угрозой общественному порядку от мощного, но разрозненного, плохо организованного чартизма[7*] С другой стороны, городское население слабо поддерживало революционеров и не пугало власти. У британского правительства минуты паники возникли лишь тогда, когда волна мятежа и крушения машин распространилась на голодавших сельскохозяйственных рабочих Южной и Восточной Англии в конце 1830 г. На эту последнюю революцию рабочих[8*] оказала влияние французская революция июля 1830 г., и она была подавлена более жестоко, чем чартистские агитаторы и чем ожидали в такой очень напряженной ситуации периода Билля о реформе. Тем не менее волнения аграриев вскоре приобрели менее пугающую политическую форму; в остальных экономически развитых районах, за исключением, может быть, Западной Германии, аграрные революции и не предвиделись и не ожидались, а крестьян не привлекали революции, как горожан. Из всей Западной Европы (не считая Пиренейского полуострова) лишь в Ирландии были большие и эндемические аграрно-революционные движения, секретно организованные и повсеместные террористические организации такие, как «Whiteboys» и «Ribbonmen»[73]. Но социально и политически Ирландия принадлежала совсем к иному миру, чем ее соседи. Результат социалистической революции отторгнул радикалов среднего класса, т. е. тех недовольных бизнесменов, интеллигентов и др., кто все еще находился в оппозиции к правительству умеренных либералов 1830 г.

В Британии она разделила радикалов среднего класса на тех, кто был готов поддержать чартизм или идти с ними одним путем (как в Бирмингеме или в «Союзе всеобщего избирательного права» квакера Джозефа Стерджа) и на тех, кто настаивал, как члены «Лиги против хлебного закона» в Манчестере, на том, чтобы бороться и с аристократами, и с чартизмом. Непримиримые одержали верх, уверенные в однородности сознания своего класса, в своих деньгах, которые они потратили в больших количе-

ствах, и в эффективности пропагандистской и рекламной кампании, которую они проводили. Во Франции слабость официальной оппозиции Луи-Филиппу и инициатива революционных парижских масс повернули события на другой путь. «Итак, мы снова стали республиканцами, — писал радикальный поэт Беранже после Февральской революции 1848 г. — Возможно, это случилось немного раньше и немного поздно... Мне бы хотелось, чтобы процесс проходил более осторожно, но мы не выбирали часа, не выстраивали войска, не определяли направление марша»[9*]. Разрыв радикалов среднего класса с крайне левыми здесь произошел только после революции. К неудовольствию мелкой буржуазии, независимые ремесленники, лавочники, фермеры и им подобные (вместе с массой рабочих), возможно, больше всех выиграли от радикализма в Западной Европе, им были снижены налоги. Будучи маленькими людьми, они встали на сторону бедноты против богатых, а мелкие владельцы выступили с богачами против бедноты. Но противоречивость их симпатий привела их к сомнениям, а не к коренному изменению их политических приоритетов. Когда дошло до дела, они оказались слабыми: и якобинцы, и республиканцы, и демократы. И все стороны всегда колеблются до тех пор, пока настоящие экспроприаторы не придут к власти.

V

А в остальной революционной Европе, где недовольные мелкие помещики и интеллигенция составляли ядро радикализма, проблема была намного серьезнее. Поскольку крестьянство составляло основную массу, зачастую принадлежало к разным нациям со своими хозяевами и горожанами — словаки и румыны в Венгрии, украинцы в Восточной Польше, словаки в части Австрии. А беднейшие и менее предприимчивые землевладельцы, которые едва существовали на свой доход, зачастую принадлежали к наиболее радикальным националистам. Замечено, что в то время как большая часть крестьянства остается безразличной и по-

литически пассивной, вопрос о его поддержке революции остается насущным. И в 1840-х гг. с этой пассивностью больше нельзя было мириться. Восстание крепостных в Галиции в 1846 г. стало самой большой жакерией[74] со времен французской революции в 1789 г.

Экономика требовала проведения необходимых аграрных реформ, модернизации отсталых районов в Восточной Европе или хотя бы отмены крепостничества, которое все еще существовало в Австрии, России и Турецкой империи. В политическом смысле крестьянство достигло порога активности и ничего не оставалось, как что-либо сделать, чтобы выполнить его требования, по крайней мере в странах, где революционеры боролись против иностранных правителей. Поскольку, если они не привлекут крестьянство на свою сторону, реакционеры воспользуются ситуацией, законные короли, императоры и церковь в любом случае имели тактические преимущества, так как традиционно крестьянство верило им больше, чем землевладельцам, и все еще в принципе было готово ожидать от них правосудия. А монархи были готовы в случае необходимости уступить крестьянству за счет мелкопоместного дворянства: Бурбоны в Неаполе так и поступили, без колебаний выступив против неаполитанских якобинцев в 1799 г. «Да здравствует Радецкий! — кричали в 1848 г. крестьяне Ломбардии, приветствуя австрийского генерала, который подавил восстание националистов. — Смерть хозяевам!»[10*] Перед радикалами в независимых странах стоял вопрос не о том, искать ли союза с крестьянами, а сумеют ли они привлечь крестьян на свою сторону.

Радикалы в таких странах разделились на две группы: на демократов и левых экстремистов. Радикалы (представленные в Польше польским Демократическом обществом, в Венгрии — последователями Кошута, в Италии — сторонниками Мадзини) признавали необходимость привлечения крестьянства к революционной борьбе там, где необходимо отменить крепостничество и передать право собственности мелким хозяевам, но надеялись на мирное сосуществование между дворянством, добровольно, но не без компенсации отказавшимся от своих прав, и крестьянством.

Таким образом, там, где напряжение среди крестьянства не доходило до критической отметки и страх господ был не слишком велик (как почти во всей Италии), демократы на практике ничего не предпринимали для примирения с крестьянством и не проводили никаких социальных программ, предпочитая толковать о политической демократии и национальном освобождении с военными.

Крайние левые искренне полагали, что революция является единственным путем борьбы против иностранных правителей и местных эксплуататоров. Принимая участие в национал-социалистических революциях того века, они сомневались в способности дворянства и слабого среднего класса с его обычным стремлением к власти в империи привести новую нацию к независимости и переменам. Их собственная программа находилась, таким образом, под большим воздействием зарождающегося социализма на Западе, хотя в отличие от большинства предшественников марксизма социалисты-утописты были политическими революционерами, а также критиками социализма. Недолго просуществовавшая Краковская республика в 1846 г. сняла с крестьян все бремя и пообещала городской бедноте работу на национальных предприятиях. Наиболее передовые карбонарии в Южной Италии приняли бабувистско-бланкистскую платформу. Только в Польше это направление было относительно неразвито, и его влияние уменьшилось после поражения движений, состоявших из учащихся, студентов, интеллигенции, из мелких помещиков или из низших классов и нескольких идеалистов, которые старались привлечь крестьянство в свое движение*.

Радикалы из отсталых стран Европы никогда не решали свои проблемы успешно частично из-за нежелания их сторонников пойти на адекватные или временные уступки крестьянству, частично из-за политической незрелости крестьянства. В Италии революция 1848 г. прошла соответственно без участия пассивно-

* Тем не менее в некоторых районах с малоземельными крестьянами с арендой и налогами, как в Румынии или Юго-Западной Германии, радикалы Мадзини добились поддержки крестьянства и до и после 1848 г.

го сельского населения, в Польше (где восстание 1846 г. неожиданно переросло в восстание крестьянства против польских помещиков, получивших поддержку австрийского правительства), никакой революции уже не было вовсе в 1848 г., исключая лишь прусскую Познань. Даже среди наиболее развитых революционных наций, например в Венгрии, где была осуществлена грамотная земельная реформа, проведенная помещиками, это не позволило полностью вовлечь крестьян в национально-освободительную войну. И почти во всей Восточной Европе славянские крестьяне, одетые в форму имперских солдат, успешно подавляли выступления германских и мадьярских революционеров.

VI

Тем не менее, хотя революционные движения 1830—1848 гг. имели местную специфику, национальные и классрвые различия, в них было все же много общего. Во-первых, как мы видели, они, как и прежде, в большинстве своем состояли из представителей среднего класса и интеллигенции, часто находившихся в ссылке или ограниченных узкими литературными кругами. (Когда началась революция, простой народ выступил сам по себе. Из 350 погибших в Милане во время восстания 1848 г. лишь дюжина были студенты, служащие или землевладельцы, кроме них 74 женщины и дети, а остальные ремесленники и рабочие[11*].) Во-вторых, они сохранили в общем модель политического процесса, стратегии и тактики, выработанную опытом и унаследованную от революции 1789 г., и могучее чувство интернационального единства.

Первая причина легко объясняется. Давно выработанная традиция массовой агитации и организации как часть нормальной (а не пред- или постреволюционной) общественной жизни существовала только в Британии, в США и, возможно, в Швейцарии, Нидерландах, а также в Скандинавии, но в других странах для этого не было условий. Только недельный тираж газет в Англии составлял более 60 тыс. и еще больше было читателей у такой газеты, как чартистская «Северная звезда» в апреле 1839 г.[12*]; где-

либо еще — это было невероятно, в такой стране, как Франция общий тираж газет составил 5 тыс. экземпляров, хотя полуофициальные развлекательные журналы с 1830 г. имели тираж приблизительно в 20 тыс. экземпляров[13*] Даже в конституционных государствах, таких как Бельгия и Франция, легальная агитация крайне левых разрешалась лишь время от времени, а их организации были нелегальными. Поэтому в странах, где существовало подобие демократии среди ограниченных классов, которые составляли pays légal[75], и некоторые из них имели влияние на непривилегированных, основные изобретения в массовой политике — публичные мероприятия для оказания давления на правительство, массовые организации, петиции, разъездные ораторы, обращавшиеся к простым людям, и проч. — являлись только некоторыми из возможностей. Вне Британии никто серьезно не думал о достижении всеобщего избирательного права на выборах в парламент путем проведения массовых мероприятий по сбору подписей и публичных демонстраций или об отмене непопулярного закона при помощи массовой агитации и акций по оказанию давления, таких какие использовали чартисты и Лига противников хлебного закона. Большинство поправок в конституцию и многие социальные изменения были проведены такими методами.

Нелегальные организации обычно меньше по численности, чем легальные, а их социальное представительство не может быть широким. Отмечено, что развитие основных секретных обществ, от карбонариев до пролетарско-революционных, таких как бланкисты, привело к сравнительному уменьшению среди них числа представителей среднего класса и росту представительства рабочего класса, т. е. ремесленников и поденщиков. Но в 1830-х и 1840-х годах бланкистские организации состояли в основном из рабочих[14*] Такими были Германская лига изгоев (которая со временем стала Союзом справедливости и Союзом коммунистов Маркса и Энгельса), чей костяк составляли германские ремесленники-эмигранты. Но это был довольно редкий случай. Большинство тайных организаций состояли из людей, имеющих профессию, меньше — из мелкопоместных дворян, студентов и учащихся, журналистов и т. п. и, возможно, в наименьшей степени

из молодых офицеров (за исключением пиренейских стран), чем в пору расцвета движения карбонариев.

Более того, европейские и американские левые продолжали бороться против тех же врагов, выдвигали одни и те же требования и имели одинаковые программы. «Мы не признаем, отвергаем и проклинаем все сословные различия и различия кастовые, — писали братские демократы (в числе которых были уроженцы Великобритании, Франции, Германии, Скандинавии, Польши, Италии, Швейцарии, Венгрии и других стран) в своей Декларации принципов, — одновременно мы считаем королей, аристократов и классы, обладающие всеми привилегиями вследствие обладания собственностью, узурпаторами. Нашим политическим кредо является — правительства, избранные и ответственные перед народом, избравшим их»[15*] Какие радикалы и какие революционеры не примут такие требования? Что касается буржуа, то они поддерживают государство, в котором собственность, хотя и не имеет политических привилегий как таковых (как в конституциях 1830—1832 гг., по которым право голоса определялось количеством собственности), но будет обладать экономической свободой: что касается социалистов или коммунистов, то, по их мнению, государство должно быть социализировано. Без сомнения, цель будет достигнута — в Британии она уже достигнута со времен чартизма, — когда бывшие союзы против короля, аристократии и привилегий были обращены друг против друга, и основной конфликт теперь происходил между буржуазией и рабочими. Но до 1848 г. эта цель нигде больше не была достигнута. Только крупные буржуа в некоторых странах были уже официально введены в правительственные круги. Даже самые сознательные пролетарские коммунисты все еще считали себя и действовали как крайне левое крыло основного радикального и демократического движения и рассматривали достижение буржуазно-демократической республики как подготовительное мероприятие для дальнейшего продвижения к социализму. В Коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса сказано о будущей войне против буржуазии, но по крайней мере для Германии в настоящее время — о союзе с ней. Наиболее развитый средний

класс в Германии, промышленники Рейнской области, можно сказать, просили Маркса редактировать свой радикальный орган «Новую рейнскую газету» в 1848 г.: он принял приглашение и не просто редактировал ее как коммунистический орган, а был еще оратором и лидером германского радикализма.

Европейские левые обрисовали не только общие перспективы на будущее, но и общую картину того, какой должна быть революция, основываясь на опыте 1789 г. и учитывая опыт 1830 г. В государстве необходим политический кризис, который приведет к восстанию. (Идея карбонариев о путче элиты, о том, что восстание организуется вне зависимости от роста недоверия к общему политическому и экономическому климату, подверглась дескридитации, не считая стран Пиренейского полуострова, в значительной степени из-за унизительного поражения всех революционных попыток в Италии в 1833—1834, 1841—1855 гг. и военных мятежей (вроде предпринятого племянником Наполеона — Луи Наполеоном в 1836 г.). Баррикады должны покрыть столицу, революционерам следует захватить парламент или (среди экстремистов, которые призывали действовать как в 1792 г.), здание ратуши, повсюду водрузить трехцветные флаги и провозгласить республику и временное правительство. После этого в государстве будет установлена новая власть. Все признавали решающее значение столиц, хотя лишь после 1848 г. правительства взялись за их перепланировку с целью облегчить войскам действия против революционеров.

Необходимо организовать национальную гвардию из вооруженных граждан, провести демократические выборы в Учредительное собрание; временное правительство станет настоящим правительством и начнет действовать новая конституция. Новый режим затем окажет братскую помощь другим революциям, которые в это время произойдут почти повсеместно. Все, что случится после этого, относится к послереволюционному периоду, для которого события во Франции 1792—1799 гг. представляли конкретную модель того, что надо делать и чего избегать. Умы большинства якобинцев из революционеров, конечно, сразу обратились к проблеме защиты революции от угрозы внутренней и

внешней контрреволюции. В общем, можно сказать, что чем левее было крыло политиков, тем более оно (как якобинцы) тяготело к принципам централизации и сильной исполнительной власти, тогда как жирондистские принципы — это принципы федерализма, децентрализации и разделения властей.

Данная общая перспектива была усилена традицией интернационализма, которая выжила даже среди тех крайних националистов, которые отказывались автоматически принять лидерство какой-либо страны — к примеру Франции, или точнее Парижа. Этот курс всех наций был единым, даже без учета такого очевидного факта, что освобождение всей Европы возможно только после уничтожения царизма. Национальные предрассудки (которые, как считали братские демократы, существовали во все века и которые были на руку угнетателям народов) исчезнут в мире братства. Попытки создания международных революционных органов никогда не прекращались, начиная с мадзиниевской «Молодой Европы», созданной в противовес старым интернационалистам из карбонариев-масонов, до Демократической ассоциации для объединения всех стран 1847 г. Подобные националистические движения теряли свое значение по мере того, как государства завоевывали свою независимость, а отношения между людьми становились менее братскими, чем это ожидалось. Но между социал-революционными движениями, которые все больше приобретали пролетарскую ориентацию, братство возрастало. «Интернационал» как организация и как песня стали неотъемлемой частью социалистических движений в конце века.

Одним случайным фактором, который усилил интернационализм 1830—1848 гг., стала ссылка. Большинство политических активистов из числа европейских левых были какое-то время эмигрантами, многие десятилетия, скапливаясь в некоторых местах, находя там приют и убежище: к примеру, во Франции, Швейцарии, в меньшей степени Британии и Бельгии (Америка была слишком далека для временной политической эммиграции, хотя кое-кто туда поехал). Самый многочисленный контингент в такой иммиграции состоял из польских эмигрантов, около 5—6 тыс. человек[16*], выдворенных из своей страны после поражения вос-

стания 1831 г., следующими по численности эмигрантами были итальянские и германские (и те и другие усилились после присоединения к ним крупной неполитической иммиграции или образовавшихся местных коммун из представителей их же национальности в других странах). К 1840 г. небольшая колония русских интеллигентов из состоятельных семей впитала западные революционные идеи, обучаясь за границей или стремясь найти атмосферу более благоприятную, чем существовавшая при Николае I смесь тюрьмы и муштры. Студентов и богатых людей из маленьких стран также можно было встретить в двух городах, которые служили интеллектуальными маяками для стран Восточной Европы, Латинской Америки и Леванта: в Париже и много позже — в Вене.

В этих центрах эмигранты объединялись в организации, спорили, ссорились, посещали и обличали одни других, планировали освобождение своих, а заодно и других стран. Поляки и в меньшей степени итальянцы (Гарибальди, находясь в ссылке, боролся за освобождение различных латиноамериканских стран) превратились в результате в интернациональные корпуса революционных активистов. Ни одно восстание или освободительная война в Европе с 1831 по 1871 г. не заканчивались без участия польских военных специалистов или бойцов; даже единственное восстание в Британии в чартистский период в 1839 г. Не только они принимали в них участие. Типичный эмигрант, народный освободитель Харро Хэрринг из Дании успешно сражался в Греции (в 1821 г.), в Польше (в 1830—1831 гг.), был членом организованных Мадзини «Молодой Германии», «Молодой Италии» и еще более призрачной «Молодой Скандинавии». За океаном он боролся, защищая идею Соединенных штатов Латинской Америки и будучи в Нью-Йорке, — до своего возвращения в Европу с началом революции в 1848 г., он тем временем напечатал книги под названием: «Народы», «Капли крови», «Слова человека», «По-

* Ему не повезло, Маркс испытывал к нему враждебность, он применил одно из своих грозных дарований — сатирическое обличение, чтобы сохранить его имя для потомков в своей работе «Великие люди иммиграции» (Маркс — Энгельс, Берлин, 1960, т. 8, 292—298).

эзия скандинава»*. Общая судьба и общие идеи связывали этих эмигрантов и путешественников. Большинство из них столкнулись с одинаковыми проблемами нищеты и полицейского надзора, с нелегальной перепиской, шпионажем и вездесущими агентами-провокаторами. Как фашизм в 1930-х гг., абсолютизм в 1830-х и 1840-х гг. объединил своих общих врагов вместе. Затем век спустя коммунизм, который старался объяснить и разрешить социальный кризис в мире, привлек воинственных и жаждущих знаний в свою столицу — Париж, таким образом добавив прелести к его взрывному очарованию. (Если бы не француженки — не стоило бы и жить. Mais tant qu'il y a des grisettes, va!)[17*] В этих центрах эмиграции формировалось временное, а зачастую постоянное сообщество ссыльных, где они жили и планировали освобождение человечества. Они не всегда любили и одобряли друг друга, а знали друг друга, и у них была общая судьба. Вместе они готовили и встретили европейскую революцию, которая началась и была подавлена в 1848 г.

ГЛАВА 7

НАЦИОНАЛИЗМ

У каждого человека есть собственное предназначение, которое объединится с миссией всего человечества. Эта миссия и определяет его национальность. Национальность — это святое.

Закон братства «Молодой Европы, 1834

Настанет день ... когда величественная Германия встанет на бронзовый пьедестал свободы и справедливости, держа в одной руке факел просвещения, который пошлет луч цивилизации в отдаленные уголки земли, а в другой — третейские весы. Народы будут обращаться к ней за разрешением своих споров: те самые народы, которые сейчас демонстрируют нам, что прав тот, кто силен, с презрением пинают нас сапогом.

Из речи Зибенпфайффера на фестивале в Хамбахе, 1832

I

После 1830 г., как мы видели, общее революционное движение раскололось. Одно из последствий этого раскола заслуживает особого внимания: националистические движения.

Движения, которые лучше всего представляют развитие в этом направлении, — это «молодежные» движения, основанные Джузеппе Мадзини сразу после революции 1830 г.: «Молодая Италия», «Молодая Польша, «Молодая Швейцария», «Молодая Германия» и «Молодая Франция» (1831—1836 гг.) и аналогичное — «Молодая Ирландия» в 1840-х гг. — предшественница успешно действующей и поныне революционной организации, созданной по модели тайного братства начала XIX в., фениев, или Ирландского революционного братства, больше известного благодаря своему вооруженному отряду — Ирландской Республиканской Ар-

мии. Эти движения как таковые не имели большого значения, само наличие Мадзини достаточно, чтобы объяснить их повсеместную неэффективность. Символически они очень важны, что подтверждается принятием последующими националистическими движениями такого названия, как, например, «Молодые чехи» или «Молодые турки». Они отметили раскол европейского революционного движения на национальные сегменты. Без сомнения, у каждого из этих сегментов была очень похожая политическая программа, стратегия и тактика и один и тот же флаг — почти всегда трехцветный. Их члены не видели противоречий между требованиями своей организации и других и предвидели всеобщее братство, одновременное освобождение всех народов. С другой стороны, каждый национальный сегмент теперь пытался оправдать приоритетность собственной нации, приняв роль мессии для всех остальных. Италией (как утверждал Мадзини), через Польшу (как уверял Мицкевич) страждущие народы всего мира должны быть приведены к свободе; мысль, с готовностью принятая консервативной, или империалистической, политикой, свидетельство тому — российские славянофилы с их Святой Русью, Третьим Римом, и германцы, которые также говорили, что мир нужно долго излечивать посредством германского духа. Признано, что эта двусмысленность национализма уходит корнями во французскую революцию. Но в те дни была лишь одна великая и революционная нация, и это означало, что ее надо рассматривать как центр всех революций и необходимый, главный двигатель в деле освобождения всего мира. Опыт Парижа был интернационален, а опыт Италии, Польши или Германии (представленный на практике горсткой конспираторов и эмигрантов) был только опытом итальянцев, поляков или германцев.

Если бы новый национализм ограничивался только участием в национально-революционных братствах, то ему не стоило уделять столько внимания. Так или иначе, он представлял значительные силы, которые были следствием политической сознательности 1830-х гг. и итогом двойственной революции. Сначала это были недовольные мелкопоместные дворяне и появляющийся национальный средний класс и даже низы среднего класса во

многих странах: ораторами у тех и других были в основном интеллигенты.

Революционная роль дворянства очень хорошо прослеживается в Польше и Венгрии. Там магнаты — крупные землевладельцы в целом — всегда считали возможным и необходимым прийти к соглашению с абсолютизмом и иностранными властями. Венгерские магнаты были в основном католиками и давно считались опорой венского двора; не многие из них примкнули к революции 1848 г. Воспоминания о Речи Посполитой заставили даже польских магнатов мыслить в интересах своей нации, но наиболее влиятельный из их якобы национальной партии Чарторыйский, осуществлявший руководство ею из своего роскошного эмигрантского «отеля Ламбер» в Париже, всегда тяготел к союзу с Россией и продолжал отдавать предпочтение дипломатическим средствам, а не революции. Экономически они были достаточно богаты, чтобы позволить себе все необходимое, расточительны и могли себе позволить, если желали, внести улучшения в хозяйство своих имений, тем самым способствуя экономическому развитию. Граф Сечени, один из немногих умеренных либералов этого класса, чемпион по экономическим преобразованиям, передал Венгерской Академии наук годовой доход в размере 60 тыс. флоринов. И его образ жизни не пострадал от такого бескорыстного великодушия. С другой стороны, многочисленные дворяне, которые могли похвастать только своим знатным происхождением, отличавшим их от других бедных фермеров — один из восьми венгерских граждан претендовал на благородный статус, — не имели ни денег, чтобы поддерживать приличное существование, ни желания бороться с немцами и евреями за благополучие среднего класса. Если они не могли прилично жить на свою ренту, деградирующий век отрешил их от службы в армии, и если были не слишком невежественны, то могли подумать о занятии юриспруденцией, управлением делами или чем-либо, требующим интеллектуального развития, но не буржуазной деятельностью. Такие благородные люди издавна были оплотом оппозиции абсолютизму, иностранцам и правлению магнатов в их странах, прячась за двойное ограждение кальвинизма и

окружной организации. Естественно, что их оппозиционность, недовольство, стремление получить больше должностей для местных дворян — теперь все это смешалось с национализмом.

Национальные предприниматели, появлявшиеся в этот период, как ни парадоксально, были наименее националистическим элементом. По общему признанию, в разобщенной Германии и Италии имело смысл создать большой, единый национальный рынок. Автор песни «Германия превыше всего» обращался к тем, кто производил

Ветчину и ножницы, ботинки и подвязки,
Шерсть и мыло, и пряжу, и пиво... [1*]

потому что они добились того, чего не мог свершить дух национализма, великого чувства национального единства посредством объединения покупателей. Тем не менее существует немного свидетельств того, что грузоотправители Генуи (которые позже обеспечивали в основном поддержку Гарибальди) предпочитали возможности национального рынка Италии большим возможностям торговли по всему Средиземноморью. А в больших многонациональных империях промышленный или торговый центр, который возникал в какой-то одной провинции, мог столкнуться с дискриминацией, но на задворках, понятно, предпочитали большой рынок, открытый для них сейчас, маленькому, когда наступит национальная независимость. Польские промышленники притом, что в их распоряжении была и вся Россия, принимали слабое участие в национальном освобождении Польши. Когда Палацкий выступал в защиту чехов, говоря: «Если бы Австрия не существовала, ее нужно было бы придумать», он не только призывал монархию защитить чехов от немцев, но также подчеркивал экономическое значение промышленно более развитого сектора большой, но потому и отсталой империи. Интересы бизнеса иногда ставились выше интересов национальных, как случилось в Бельгии, где сильное передовое промышленное объединение оказалось в невыгодном положении под управлением могущественной голландской купеческой общины, с которой она была связана с 1815 г. Но это был случай исключительный. Известные представители националь-

ного среднего класса в этот период были профессионалами низшего и среднего звена, административные работники и интеллектуалы — все они составляли образованные классы. (Они, конечно, не отличались от класса деловых людей, особенно в отсталых странах, где у административных работников, юристов и т. п. основные доходы черпались из сельских поместий). Говоря точнее, передовой отряд национального среднего класса сражался за свои позиции на полях образования, тогда много новых образованных людей пришли туда, где все места были уже заняты узкой элитой. Национальным достижением было развитие школ и университетов и так как они находились в первых рядах носителей прогресса, конфликт между Германией и Данией из-за Шлезвиг-Гольштейна в 1848 г., а потом снова в 1864 г. был как бы предвосхищен конфликтом Кильского и Копенгагенского университетов по этому вопросу еще в середине 1840-х годов.

Прогресс был удивительный, хотя общее число образованных людей оставалось невелико. Число учеников во французских государственных лицеях удвоилось с 1809 по 1842 г. и особенно увеличилось во время июльской монархии, но даже в 1842 г. оно насчитывало менее 19 тыс. (общее число детей, обучавшихся в средней школе[2*] тогда составляло около 70 тыс.). В России к 1850 г. в средней школе обучалось около 20 тыс. учеников, и это из общего населения в 68 млн[3*] Число студентов в университетах было еще меньше, хотя оно возрастало. Трудно представить себе, что прусская студенческая молодежь, которая была проникнута идеей освобождения после 1806 г., насчитывала в 1805 г. не более 1 500 молодых людей; что все ученики Политехнической школы были настоящей отравой для Бурбонов в период после 1815 г.; всего за время с 1815 по 1830 г. там был подготовлен 1 581 молодой человек, а это значит, что в год принималось около 100 человек. Революционные заслуги студентов в 1848 г. не дают нам забыть, что в Европе, включая нереволюционные Британские острова, всего их насчитывалось около 40 тыс.[4*] Но это число все время росло. В России оно увнличилось с 1 700 в 1825 г. до 4 600 в 1848 г. И даже если они не изменяли общество, все равно университеты позволили им осознать себя как социальную

группу. Никто не помнит того, что в 1789 г. в Парижском университете было около 6 тыс. студентов, потому что они не играли в революции никакой самостоятельной роли[5*] Но в 1830 г. никто не мог предвидеть такого числа студентов, участвовавших в революционных событиях.

Малочисленные элиты владеют иностранными языками; когда число образованных людей становится достаточным, возрастает значение родного языка (как о том свидетельствует борьба за признание национального языка в индийских штатах с 1940-х гг.). С того момента, когда бывают написаны первые книги и выпущены первые газеты на родном национальном языке или когда этот язык впервые используется с какой-либо официальной целью, наступает решающий шаг в национальном развитии. В 1830-х гг. такие шаги были сделаны во многих уголках Европы. В это десятилетие были написаны или завершены первые главные работы на чешском языке по астрономии, химии, антропологии, минералогии и ботанике, в Румынии также вышел первый учебник на румынском языке, который заменил бывший официальным греческий. Венгерским парламентом в 1840 г. был утвержден венгерский язык вместо бывшего официальным латинского, хотя Будапештский университет управлялся из Вены, а лекции на латинском языке не были отменены вплоть до 1844 г. (тем не менее борьба за использование венгерского языка как официального велась постоянно с 1790 г.). В Загребе Гай публиковал «Хорватскую газету» (позже «Иллирийская национальная газета») с 1835 г. в первой международной версии, в ней и в дальнейшем было использовано несколько диалектов. В странах, которые длительное время официально имели национальный язык, изменение нельзя так легко определить, хотя интересно то, что после 1830 г. число книг на немецком языке, изданных в Германии (по сравнению с числом книг на латыни и французском), впервые возросло на 90%, а число книг на французском после 1820 г. снизилось более чем на 4%*[6*] В более общих чертах рост книг, из-

* В начале XVIII в. только около 60% всех названий, опубликованных в Германии, были на немецком языке, с этого времени оно увеличивалось почти постоянно.

даваемой литературы позволяет сделать сравнения. Так, в Германии число издаваемых книг долго оставалось одним и тем же: в 1821 г., как и в 1800 г., — около 4 тыс. наименований в год, но к 1841 г. оно возросло до 12 тыс. наименований[7*]

Конечно, большое число европейцев и неевропейцев оставались неграмотными. За исключением немцев, датчан, скандинавов, швейцарцев и граждан США, ни один народ в 1840 г. нельзя было назвать образованным. Некоторые могут быть названы поголовно неграмотными, такие как южные славяне, у которых было менее полупроцента грамотных в 1827 г. (и даже гораздо позже только 1% рекрутов из Далмации в австрийской армии мог читать и писать), или русские, у которых было 2% грамотных (1840 г.), и великое множество малограмотных у испанцев, португальцев (у которых было едва 8 тыс. детей во всех школах после Пиренейской войны) и в Италии, за исключением Ломбардии и Пьемонта. Даже в Британии, Франции и Бельгии в 1840-х гг. насчитывалось от 40 до 50% неграмотных[8*] Неграмотность не является препятствием для политического сознания, но фактически нет такого примера, чтобы национализм в современном виде был могучей массовой силой, кроме стран, уже измененных двойственной революцией: во Франции, в Британии, в США и в Ирландии, потому что она была экономически и политически зависима от Британии.

Приписывать национализм образованным классам — это не значит утверждать, что все русские не считали себя русскими при столкновении с кем-либо или чем-либо. Тем не менее для массы людей в общем понятие национальности определялось религиозной принадлежностью: испанцы были католиками, россияне — православными. Несмотря на то, что столкновения происходили все чаще, они были все-таки редкостью, и определенные качества национального самосознания итальянцев были все же присущи общей массе народа, который даже говорил не на национальном литературном языке, а на местных диалектах; даже в Германии патриотическая мифология послужила поднятию национального духа в борьбе против Наполеона. Франция была особенно уважаема в Западной Германии, преж-

де всего среди солдат, которые свободно нанимались на службу[9*] Народы, находившиеся под властью папы или императора, могли выразить недовольство своими врагами, которыми оказались французы, но это с трудом можно отнести к национальному самосознанию или стремлению создать национальное государство. Более того, сам факт, что национализм представлен средним классом и мелкими дворянами, был достаточен, чтобы вызвать подозрения у бедных людей. Польские революционеры радикально-демократического толка искренне старались — как и более искушенные карбонарии Южной Италии и другие заговорщики — поднять крестьянство, обещая провести аграрные реформы. Они нигде ничего не добились. Крестьяне Галиции в 1846 г. были против польских революционеров, даже несмотря на то, что те провозглашали отмену крепостничества; оставаясь верными императорским властям, они устроили резню дворян.

Чтобы лишить людей того, что являлось наиболее важным, уникальным явлением XIX в., нужно было разрушить это глубокое, создававшееся веками чувство традиционализма. До 1820-х годов никто во всем мире не мигрировал, не эмигрировал, не считая вынужденных миграций из-за нашествия вражеских армий, из-за голода, или традиционно мигрирующих групп крестьян из центра Франции, которые отправлялись на сезонные строительные работы на север, или странствующих германских ремесленников. Отрыв от корней все же означал не мягкую форму тоски по дому, которая становилась характерной психологической болезнью XIX в. (отраженной во множестве сентиментальных народных песен), но острой, убивающей mal de pays или mal de coeur[76], которая была впервые клинически описана врачами среди старых швейцарских наемников в чужих краях. Служба в армии во время революционных войн обнаружила это чувство среди бретонцев. Притяжение далеких северных лесов было так сильно, что могло заставить эстонскую девочку-служанку бросить своих прекрасных хозяев, у которых она работала в Саксонии, где она была свободна, и вернуться домой в условия крепостничества. Миграция и иммиграция, из которых

миграция в США является наиболее удобным показателем, усилилась в 1820-х гг. хотя до 1840-х гг. она еще была не такой значительной, когда 1 750 тыс. человек (чуть не в 3 раза больше, чем в 1830 г.) отправились через Северную Атлантику. Самыми большими мигрирующими нациями стали выходцы с Британских островов, а также из Германии, издавна посылавшей своих сыновей осваивать земли Восточной Европы и Америки в качестве странствующих ремесленников или наемных рабочих по всей Европе.

Фактически мы можем вести речь только об одном западном национальном движении, которое имело организацию до 1848 г., искренне связанное с народом, но даже оно пользовалось огромным преимуществом отождествления с сильнейшим носителем традиции — церковью. Это было Irish Repeal[77], движение, возглавляемое Дэниэлом О'Коннелом (1785—1847), юристом-демагогом с медоточивым голосом из крестьянской семьи, первым и до 1843 г. единственным из тех харизматических народных лидеров, которые характеризуют пробуждающееся политическое самосознание прежде отсталых масс. (Единственной сравнимой с ним фигурой до 1848 г. был Фергюс О'Коннор (1794—1855), другой ирландец, который символизировал чартизм в Британии, и, наверное, Лайош Кошут (1802—1894), который, возможно, обрел свой престиж народного лидера перед революцией 1848 г., хотя фактически в 1840-х гг. он был всего лишь вождем мелкого дворянства, а его последующее превознесение историками как националиста не проливает свет на его раннюю деятельность.) Католическая ассоциация О'Коннелла, которую поддерживали массы и которая не вполне оправдывала доверие духовенства в своей успешной борьбе за освобождение католиков (1829), никак не была связана с мелкопоместными дворянами, которые были протестантами и англо-ирландцами. Это было движение крестьян и тех элементов национальных ирландских низов среднего класса, которые обитали на обнищавших островах. Освободитель был рожден для того, чтобы управлять движением масс в крестьянской войне, главной мотивирующей силе ирландских политиков в этот ужасный век. Она состояла из секретных террористиче-

ских обществ, которые надеялись сами разрушить узость ирландской жизни. Так или иначе, его целью была не революция, не национальная независимость, а автономия умеренного среднего класса Ирландии путем соглашения или переговоров с британскими вигами. Таким образом, он не был ни националистом, ни крестьянским революционером, но борцом за автономию умеренного среднего класса. И в самом деле, он заслужил критику, которой удостоился от более поздних ирландских националистов (еще большую, чем индийские радикальные националисты критиковали Ганди, который занимал аналогичную позицию в истории своей страны) за то, что он мог поднять всю Ирландию против Британии и умышленно отказался от этого. Но это не меняет того факта, что его движение было поддержано всей ирландской нацией.

II

Вне зоны современного буржуазного мира существовали еще народные движения против иноземного владычества (т. е. правителей разных религий, а не разных национальностей), которые иногда ускоряли более поздние национальные движения. Такими были восстания против Турецкой империи, против русских на Кавказе и борьба против британского господства в самой Индии и за ее пределами. Не стоит приписывать этому появление современного национализма, хотя в отсталых районах, населенных вооруженными и воинственными крестьянами и пастухами, организованными в клановые группы и вдохновляемыми племенными вождями, героями-разбойниками и пророками, сопротивление иностранному правлению могло принимать форму народной войны, совсем непохожей на национальные движения элиты в менее гомерических странах. Фактически сопротивление маратхов (военно-феодальной группы хинди) и сикхов (воинствующей религиозной секты) британцам в 1803—1818-х и 1845—1849 гг. соответственно не имело отношения к последующему индийскому национализму и само никаких восста-

ний не предпринимало*. Кавказские племена, дикие, героические, с традициями кровной мести, пребывали в пуританских исламских сектах мюридизма[78], временно сплотившись под предводительством Шамиля (1797—1871) против вторжения русских, но на сегодняшний день нет кавказской нации, а существует только несколько малых горских народов в маленьких советских республиках (грузины и армяне, которые сформировались в нации в современном смысле, не участвовали в движении Шамиля.) Бедуины, уничтоженные пуританскими религиозными сектами, ваххабиты в Аравии и синуши там, где теперь Ливия, боролись за простую веру в Аллаха и простую жизнь пастухов и погонщиков против откупщиков, пашей и урбанизации, но то, что мы сегодня называем арабским национализмом — продукт XX в., — вышел из городов, а не из кочевых поселений.

Даже восстания против турок на Балканах, особенно среди недавно покоренных горских народов юга и запада, не стоит отождествлять с современным национализмом, хотя барды и смельчаки — а это означало часто одно и то же, как и у поэтов-воинов — епископов Монтенегро, — воспевали славу почти национальных героев, таких как албанский Скандербег, и трагедии, вроде поражения сербов в Косово в давних битвах против турок. Это было так естественно — восстать там, где это необходимо, против местных властей или ослабевающей Турецкой империи. Однако то, что мы теперь называем Югославией, объединяла характерная экономическая отсталость даже по сравнению с другими составляющими районами Турецкой империи, а сама концепция Югославии родилась в головах австро-венгерских интеллектуалов, а не у тех, кто действительно боролся за

---

* Движение сикхов существует и по сегодняшний день. Традиция воинственного сопротивления хинди в Махараштре сделало этот район ранним центром индийского национализма и дало некоторых ее первых лидеров-традиционалистов, таких как Тилак, но он был только региональным, в не доминирующем племенем. Что-то вроде национализма маратхов может существовать сегодня, но его социальная основа — это сопротивление большого рабочего класса и низов среднего класса экономическому — и до сего дня — языковому преобладанию Гуджарата.

свободу*. Православные черногорцы никогда не покорялись, боролись с турками, но с таким же жаром они противостояли неверным католикам-албанцам, объединенным славянам и мусульманам-боснийцам. Боснийцы восстали против турок, чью религию они исповедовали с большим рвением, чем православные сербы с лесистых дунайских равнин, и большим жаром, чем православные древние сербы на границах с Албанией. Первыми из балканских народов, которые в XIX в. подняли восстание, были сербы под предводительством торговца свиньями и разбойника Карагеоргия (1760—1817), но первоначальная стадия этого восстания (1804—1807) не проходила как борьба против турецких властей, но, напротив, как выступление в поддержку султана против злоупотребления местных властей. В ранней истории горских восстаний на востоке Балкан существует мало примеров, когда сербы, албанцы, греки и другие были бы недовольны так называемым ненациональным автономным княжеством, которое могущественный сатрап Али Паша (Лев Яннинский) (1741—1822) на время установил в Эпире.

Только в одном случае в вечных боях пастухов и героев-разбойников против любой реальной власти использовались идеи национализма среднего класса и французской революции — в борьбе греков за независимость (1821—1830). Вот почему Греция стала мифом и повсюду вдохновляла националистов и либералов. Потому что только в Греции народ поднялся против угнетателей так, как это делали левые в Европе, и в ответ они получили поддержку левых во главе с поэтом Байроном, который и умер там, и в деле завоевания Грецией независимости это была очень существенная помощь.

Большая часть греков были, как и другие забытые бойцы, крестьянами и представителями кланов Балканского полуостро-

* Возможно, что режим сегодняшней Югославии разрушил то, что образовывало сербскую нацию, и разделил их по малым республикам и образованиям — Сербию, Боснию, Черногорию, Македонию, Косово. По стандартам лингвистики XIX в. большинство из них принадлежало к единому сербскому народу, кроме македонцев, которые ближе к болгарам, и албанского меньшинства к косметам. Но фактически они никогда не объединялись в сербскую нацию.

ва. Часть же, выходцы из торговых и административных классов, образовали колонии или меньшинства, через которые протянулись связи по всей Турецкой империи и дальше, а язык и высшие чины православной церкви, к которой относились многие балканские народы, возглавляемые греческим патриархом Константинопольским, были греческими. Греческие государственные служащие, превращенные в вассалов князей, управляли дунайскими княжествами (теперешней Румынией). По самой природе своих занятий образованные классы и представители торговых кругов на Балканах, Черноморском побережье и в Средиземноморье, каковы бы ни были их национальные корни, были эллинизированы. В течение XVIII в. этот процесс эллинизации происходил более интенсивно, чем когда-либо, в большей степени, благодаря развитию рыночной экономики, которая, безусловно, расширила сферу распространения и связи греческой диаспоры. Новая и растущая торговля зерном по Черному морю, вовлекшая Италию, Францию и британские деловые центры, позволила укрепить их связи с Россией; расширение торговли на Балканах позволило греческим купцам проникнуть в Центральную Европу. Первые газеты на греческом языке были изданы в Вене (1784—1812). Периодические иммиграции и переселения мятежных крестьян постепенно усиливали коммуны изгнанников. Такая вот космополитичная диаспора приняла на вооружение идеи французской революции — либерализм, национализм и методы политической организация масонских секретных обществ. Лидер раннего и, возможно, пробалканского революционного движения Ригас (1760—1796) говорил по-французски и перевел «Марсельезу» на греческий язык. Секретное патриотическое общество «Philiké Hetairiá» подготовило и осуществило мятеж 1821 г., было организовано в большом российском порту Одесса в 1814 г.

Их национализм до некоторой степени был схож с движениями элиты на Западе. Только этим можно объяснить, что в этих нищих, задавленных крепостничеством землях, где все дворяне, епископы, купцы и образованные люди были греками, было подготовлено восстание за греческую независимость в дунайских княжествах под предводительством местных греческих магнатов.

Естественно, что восстание было подавлено (1821). Но тем не менее «Гетерия» посеяла анархию в греческих горных районах (особенно на Пелопоннесе) и с заметно большим успехом, во всяком случае после 1818 г., чем карбонарии юга Италии, которые пытались проделать подобную работу со своими местными разбойниками. Очень сомнительно, чтобы нечто вроде современного национализма что-либо значило для всех этих «воришек», хотя у многих из них и были свои писари, которые сочиняли манифесты с использованием якобинской терминологии, уважение и интерес к чтению книг, являвшийся сохранившимся «пережитком» древнего эллинизма. Если они и отстаивали что-то, так это древний эпос полуострова, в котором человеку отводилась роль героя, и единственным признанным здесь политическим идеалом для всех несогласных с законом было уйти в горы и бороться с правительством.

Нового греческого национализма было достаточно для того, чтобы завоевать независимость, хотя сочетание руководства со стороны среднего класса, разбойничьей неорганизованности и вмешательства великих держав создало то маленькое подобие идеи свободы западного образца, которая так прижилась в Латинской Америке. Но это дало также и парадоксальный результат сужения эллинизма лишь до греков и таким образом способствовало созданию или усилению скрытого национализма других балканских народов. Теперь быть греком стало чем-то бóльшим, чем быть грамотным православным балканским христианином, так эллинизация послужила прогрессу. Поскольку это означало политическую поддержку грекам, она распространилась среди ассимилированных балканских грамотных классов. В этом смысле независимость греков стала непременным условием развития других разновидностей национализма на Балканах.

Очень трудно говорить о национализме неевропейских стран. Многочисленных республик Латинской Америки, которые освободились от власти Испанской и Португальской империи (чтобы быть точным, Бразилия стала и оставалась независимой монархией с 1816 до 1869 г.) и чьи границы служили больше только для того, чтобы разграничить владения грандов, которые кто боль-

ше, а кто меньше, поддерживали местные восстания, начали проводить политику защиты собственности и территориальной целостности. Первоначально панамериканский идеал Симона Боливара (1783—1830) из Венесуэлы и Сан-Мартина (1778—1850) из Аргентины было невозможно реализовать, хоть он и присутствовал во всех мощных революционных движениях на всех территориях с испаноязычным населением, так же как и панбалканизм — наследник православного объединения против ислама, существовавшего, а возможно, существующего и поныне. Большая протяженность и разнообразие условий на континенте, существование независимого центра восстания в Мексике (определявшего положение дел в Центральной Америке), Венесуэле и Буэнос-Айресе и особая проблема в центре испанской колонизации в Перу, которое было освобождено без последующего автоматического разделения. Но революции в Латинской Америке производились малочисленными группами аристократов, солдат и офранцуженных интеллигентов, в то время как масса белого католического населения оставалась пассивной, а индейского безучастным или враждебным. Только в Мексике независимость была завоевана благодаря инициативе простых крестьян. Движение индейцев проходило под знаменем Святой Девы Марии Гваделупской, и Мексика с тех пор пошла совсем другим и политически более передовым путем, чем остальные страны Латинской Америки. Тем не менее даже относительно того незначительного слоя политически развитых латиноамериканцев в данный период было бы анахронизмом говорить о зарождающемся национальном самосознании.

Нечто похожее на протонационализм, однако, существовало в различных странах Восточной Европы, парадоксально, но оно развивалось скорее в русле консерватизма, нежели в русле подготовки национального восстания. Славяне были повсюду угнетены, за исключением России и некоторых диких балканских местечек, но в ближайшем будущем угнетателями для них были не абсолютистские монархии, а германские и мадьярские землевладельцы и сельские эксплуататоры. Такой национализм не мог обеспечить славянам национального существования, даже такая

радикальная программа, как создание Германских соединенных штатов, предложенная республиканцами и демократами Бадена (юго-запад Германии), предполагала включение в их состав республики Иллирии (Хорватии и Словении) со столицей, итальянским городом Триестом, Моравии со столицей Оломокуц и Богемии со столицей Прагой[10*] Таким образом, в тот момент славянские националисты возлагали надежды на Австрийскую и Российскую империи. Россия, выражавшая свою солидарность со славянами разными способами, привлекала славянских бунтовщиков, даже поляков, настроенных против нее; особенно во времена поражений и безысходности после разгрома восстания 1846 г. в Хорватии и спокойной Чехии национализм тяготел к Австрии, и оба получили значительную поддержку от габсбургских властей, два ведущих министра которых — Коловрат и начальник полиции Зедльницкий — были чехами, и 1830-х гг. хорваты были поддержаны, а в 1840-х гг. Коловрат предложил то, что потом оказалось весьма кстати для революции 1848 г., — назначение хорватского военного министра главой Хорватии и осуществление военного контроля за границей с Венгрией как противовес буйным мадьярам[11*]. Поэтому революционеры 1848 г. находились в оппозиции по отношению к славянским национальным движениям, и тактический конфликт между прогрессивными и реакционными нациями сыграл большую роль в поражении революции 1848 г.

Нигде больше не существовало чего-либо похожего на национализм, так как для этого не существовало социальных условий; фактически, если и существовали силы, которые в дальнейшем могли бы стать источником национализма, то на этом этапе они находились в оппозиции к традициям, религии и нищим массам, которые оказывали наиболее грозное сопротивление вторжению западных завоевателей и эксплуататоров. Элементы местной буржуазии, которые начали появляться в странах Азии, оказались в таком положении, что будучи под прикрытием иностранных эксплуататоров, являлись их агентами, посредниками и подчиненными, примером тому стало общество Парси в Бомбее. Даже если образованный и просвещенный азиат не был компрадором

или служащим какой-либо иностранной фирмы (ситуация похожа на ту, что возникла в греческих диаспорах в Турции), его первой политической задачей была вестернизация, т. е. внедрение идей французской революции, научная и техническая модернизация своего народа и борьба с объединенным сопротивлением традиционных правителей и управляемых ими (ситуация, сходная с той, с которой столкнулись якобинцы Южной Италии). Такой человек, конечно, отрезан от своего народа. История национализма часто омрачена этим расхождением, частично из-за подавления любых связей между колонизаторами и ранним национальным средним классом, частично путем приписывания национальной окраски ранним восстаниям против иностранцев. Но в Азии и в исламских странах и еще больше в Африке связь между сторонниками прогресса и национализма и между ними и массами не возникала вплоть до XX в.

Национализм в Азии, таким образом, был естественным продуктом влияния Запада и результатом завоевания западных стран. Эта связь более всего наглядна в одной азиатской стране, где было положено начало образованию того, что должно было стать первым современным колониально-националистическим движением*, — Египте. Наполеоновские завоевания принесли западные идеи, методы и технологии, чью ценность, возможности и перспективы скоро осознал местный полководец Мехмет Али. Получив власть и независимость от Турции в смутное время, последовавшее за изгнанием французов, при поддержке французов Мехмет Али принялся устанавливать действенный деспотизм с западным уклоном и иностранной технической поддержкой (в основном французской). В 1820—1830 гг. сторонники левого крыла в Европе приветствовали просвещенного автократа и шли к нему на службу во времена самой мрачной реакции у себя в стране. Выдающаяся секта сен-симонистов временно прекратила пропаганду социализма и приняла участие в развитии промышленности через инвестиционные банки, осуществляя инженерную помощь и постоянно коллективно помогая ему в составлении пла-

* Движение, отличное от ирландского национального движения.

нов экономического развития. Таким образом, они внесли вклад и в начало строительства Суэцкого канала (построенного сен-симонистом де Лессепсом) и в появление роковой зависимости египетских властей от крупных займов, по поводу которых переговоры велись посредством соревнующихся групп европейских мошенников. Все это превратило Египет в центр империалистического соперничества и антиимпериалистического движения в дальнейшем. Но Мехмет Али был не бóльшим националистом, чем любой другой азиатский деспот. Его ориентация на Запад, а не его надежды или надежды его народа послужили основой будущего национализма. Если первое националистическое движение в исламском мире возникло в Египте, то в Марокко оно возникло в последнюю очередь и все потому, что Мехмет Али (по вполне понятным геополитическим причинам) находился под влиянием западных идей, а Шерифианская империя мусульман стояла на пути самоизоляции и не делала попыток сближения с Западом. Национализм, как и многие другие характерные черты современного мира, стал детищем двойственной революции.

Часть II

ИТОГИ

ГЛАВА 8

ЗЕМЛЯ

Я являюсь вашим господином, а моим господином является Царь. Царь имеет право отдавать мне приказы, а я должен повиноваться ему. В моих владениях Царем являюсь я, я ваш господин на земле, и я отвечаю за вас перед Богом на небесах... Сначала лошадь нужно десять раз чистить железной скребницей и только потом ее можно причесать мягкой щеткой. Мне придется очень грубо скоблить вас скребницей, и кто знает, поглажу ли я вас когда-нибудь щеткой. Бог очищает воздух громом и молнией, и в моем имении я буду метать гром и молнию, когда сочту нужным.

Русский помещик своим крепостным[1*]

Обладание одной или двумя коровами, баранами и несколькими гусями обычно возвышает крестьянина в своем собственном мнении над его братьями одного с ним круга... Пася свой скот, он приобретает привычку к лености... Процесс труда вызывает отвращение, отвращение, если его не преодолевать, растет, продажа неоткормленных телят или барашков дает возможность еще больше привыкать к безделью. За этим, как правило, следует продажа коровы, и ее жалкий растерянный обладатель, не желая регулярно трудиться и зарабатывать, как раньше, себе на пропитание, рассчитывает на помощь, чтобы вырваться из беднейшего класса, на что он не имеет никакого права.

Отчет сельскохозяйственного министерства
по графству Сомерсет, 1798[2*]

I

Что стало с землей, от которой зависели жизнь и смерть большинства людей, в период с 1789 по 1848 г. Под влиянием двойственной революции земельная собственность, владение землей и сельское хозяйство находились в этот период в бедственном состоянии. И поскольку ни политическая, ни экономическая революция не могли обойти решение земельного вопроса, который является ключевым для экономики, физиократы считали, что зем-

ля — это единственный источник благосостояния, а их революционные преобразования служили необходимой предпосылкой и следствием развития буржуазного общества, если не всего стремительного экономического роста. На плодородную почву экономического роста давил тяжелый мертвый груз традиционных аграрных систем и социальных отношений деревни. Любой ценой надо было расчистить почву, для того чтобы можно было вспахать землю при помощи частных предприятий, приносящих прибыль, было необходимо провести три изменения. Во-первых, земля должна была быть превращена в товар, находящийся в собственности частных владельцев и подлежать свободной купле-продаже. Во-вторых, она должна была поступить во владение того класса, который желал повысить ее производительность для рынков и побуждался к этому собственной заинтересованностью и соображениями выгоды. И в-третьих, большая масса сельского населения должна была быть превращена каким-то образом, хотя бы частично, в свободную подвижную наемную силу для растущего несельскохозяйственного сектора экономики. Некоторые вдумчивые экономисты-радикалы осознавали также необходимость четвертой желательной перемены, хотя и очень трудной, если не сказать невыполнимой, поскольку для экономики, которая предполагала хорошую мобильность всех факторов производительности земли, «естественная монополия» не подходила. Так как размер землевладения был ограничен и ее различные участки не равны по плодородию и доступности, те, кто владел более плодородными участками, должны были иметь специальные преимущества и облагаться платой. Как избежать или смягчить это бремя — установлением ли удобных налогов, законами ли против концентрации землевладения или даже национализацией, — стало предметом острых дебатов, особенно в промышленной Англии. (Подобные аргументы касались и других естественных монополий, таких как железная дорога, чья национализация по этой причине никогда не считалась несовместимой с частным предпринимательством и часто практиковалась на деле*.) Вот каковы были проблемы земли в буржуазном обществе и решить их

* Даже в Англии это было предложено в 1840-х гг.

надо было немедленно. Для установления налога на землю было два главных препятствия: некапиталистические землевладельцы и традиционное крестьянство, — и их устранение требовало комбинации политических и экономических действий. Эта задача могла быть решена разными путями. Наиболее радикальными были британский и американский, поскольку и там и тут ликвидировались и крестьяне и землевладельцы сразу. Классическое британское решение создало страну, где 4 тыс. собственников владели $^4/_7$ всей обрабатываемой земли[3*] — я привожу цифры 1851 г., — четверть миллиона фермеров ($^3/_4$ площади земли находились в хозяйствах от 50 до 500 акров), которые использовали труд около одного с четвертью миллиона наемных рабочих и слуг. Продолжали существовать множество малоземельных хозяйств; если не считать Шотландских плоскогорий и районов в Уэльсе, то сельское хозяйство в Британии нельзя и сравнивать с сельским хозяйством на континенте. Классическое американское решение состояло в том, что владелец, занимая купленную ферму, работал на ней, используя минимум наемного труда при интенсивной механизации. Механические жатки Обеда Хассея (1833) и Сайруса Маккормика (1834) работали у всех коммерчески мыслящих фермеров или торговцев землей, которые распространяли американский образ жизни к западу от штатов Новой Англии, захватывая земли или позже покупая ее у правительства по номинальной цене. Классическое решение в Пруссии в социальном отношении было наименее революционным. Оно заключалось в превращении землевладельцев в капиталистических фермеров, а крепостных — в наемных рабочих. Дворяне остались хозяевами своих бесплодных земель, которые они возделывали в течение долгого времени, используя крепостных, но теперь у них работали крестьяне, освобожденные от крепостничества и не имеющие земли. На примере Померании, где в том же веке, но немного позже 2 тыс. крупных владений располагали 61% земли, 60 тыс. средних и малых владений, а остальное население было безземельным[4*], но сельский рабочий класс был так невелик, что о нем еще и не упоминается в крюницевской Энциклопедии домашней и сельской экономики 1773 г., в то время как в 1849 г.

число безземельных и поэтому наемных сельских рабочих в Пруссии насчитывало почти 2 млн[5*] Только в Дании аграрные проблемы последовательно решались в капиталистическом духе, здесь также было создано множество малых и средних коммерческих ферм. Это происходило главным образом благодаря реформам, производившимся в 1780-е годы просвещенным абсолютизмом, и потому выходит за рамки рассматриваемого нами периода.

В Северной Америке этот вопрос решался благодаря уникальному фактору безграничного запаса свободных земель и отсутствию всех пережитков феодальных отношений или традиционного крестьянского коллективизма. По сути единственным незначительным препятствием развитию чисто индивидуальных фермерских хозяйств были племена индейцев, чьи земли обычно были гарантированы договорами с правительствами Британии, Франции и Америки и возделывались коллективно, часто используясь как охотничьи угодья. Тотальный конфликт между общественным мнением, считавшим, что индивидуальная хорошо организованная собственность является наиболее рациональным, а потому и единственным естественным видом хозяйственной собственности, и другим мнением о коллективном хозяйствовании, которое было вынуждено существовать в период конфронтации между «янки и индейцами». Среди самых злонамеренных и фатальных (из причин, которые мешали индейцам перенять достижения цивилизации), как доказывал член комиссии по делам индейцев[6*], «была их привычка общественного владения землей в стране с огромными пространствами, и право на крупную денежную ренту, которая давала им большие возможности, потворствовавшие таким их привычкам, как лень, бродяжничество и возможность не приобщаться к владению частной собственностью и преимуществу оседлого образа жизни, развивая в них склонность к безделью, отучая от потребности экономить и давая им средства для удовлетворения их развращенных вкусов и склонностей». Лишить их земель путем мошенничества, воровства и прочими подходящими методами, таким образом, было столь же морально, как и выгодно.

Кочевые и первобытные индейцы были людьми, которые не

только не понимали буржуазно-индивидуалистического рационализма на земле, но и не желали его понимать. Фактически за исключением просвещенного и восприимчивого меньшинства, а также «сильных и рассудительных» людей среди крестьян, подавляющее большинство сельского населения, начиная от крупных феодалов и заканчивая бедными крестьянами, испытывали к аборигенам чувство отвращения. Только политически легальная революция, направленная против землевладельцев и традиционного крестьянства, могла создать условия, в которых рациональное меньшинство могло стать рациональным большинством. История аграрных отношений в большинстве стран Западной Европы и их колониях в наш период — это история такой революции, хотя ее окончательные результаты стали видны только во второй половине века. Как мы видели, первой задачей было превратить землю в товар. Майораты и другие запрещения на продажу или раздел земель, которые оставались за дворянскими владениями, должны были быть отменены, а землевладельцы, таким образом, подвержены благотворному взысканию за экономическую некомпетентность, что позволяло экономически более компетентным владельцам принять хозяйствование в свои руки. Прежде всего в католических и мусульманских странах (протестантские страны давно это сделали) большая часть земель духовенства должна изыматься из владения внеэкономического и открываться для рынка и рационального использования. Эти земли подвергались секуляризации и продаже. Такие же большие и потому плохо используемые участки коллективного пользования — земли сельских и городских общин, общие поля, общие пастбища, лесные массивы и т. д. — должны были стать доступными для частных предпринимателей. Разделение на индивидуальные участки и огораживание предстояло произвести на этих землях. То, что новые владельцы будут предприимчивы, сильны и рассудительны, не вызывало сомнений, и, таким образом, будет достигнута вторая задача аграрной революции.

Только при условии, что крестьянство, из рядов которого выйдут многие из этих предпринимателей, могло само превратиться в класс, способный свободно пользоваться ресурсами; шаг, кото-

рый мог позволить достичь третьей задачи, заключался в создании большого рынка свободной рабочей силы из тех, кто не смог стать буржуа. Необходимо было освобождение крестьян от внеэкономических уз и обязанностей (крепостная зависимость, рабство, платежи господину, подневольный труд). Это давало дополнительные и решающие преимущества. Поскольку вольнонаемные рабочие или свободный фермер обладают стимулом работать лучше за вознаграждение, они считались лучшими работниками, чем подневольные. Но тут было необходимо выполнить одно условие. Масса тех, кто не получит работы в деревне, которых вся история человечества связывала с землей, теперь, при эффективном ее использовании, станут лишними* и будут вынуждены оторваться от своих корней и уехать в поисках работы. Только таким образом они будут мигрировать в города на фабрики, где все больше возрастет потребность в их рабочих руках. Другими словами, крестьяне вынуждены были оставить землю и все, что связывало их с ней.

По всей Европе это означало, что комплекс правовых и политических механизмов, называющийся «феодализмом», должен быть разрушен там, где он все еще существовал. Иначе говоря, в период с 1789 по 1848 г. это было достигнуто под прямым или косвенным воздействием французской революции — от Гибралтара до Восточной Пруссии и от Балтики до Сицилии. Подобные изменения в центре Европы произошли только в 1848 г., в России и в Румынии — в 1860-х гг. Вне Европы более скромные изменения имели место на американском континенте, но в Бразилии, на Кубе и в южных штатах США рабство сохранилось до 1862—1888 гг. В некоторых колониальных районах с прямым управлением европейских государств, а именно в некоторых частях Индии и Алжира, произошли кардинальные перемны в области права. Такие же перемены произошли в Турции и на короткий срок — в Египте[8*]

За исключением Британии и некоторых других стран, в кото-

* Таким образом, в начале 1830-х гг. было подсчитано, что свободными наемными рабочими из населения были один человек из шести в селах и городах Англии, один из 20 во Франции и Германии, один из 25 в Австрии и Италии, один из 30 в Испании и один из 100 в России[7*].

рых феодализм в этом смысле либо был уже отменен, либо никогда раньше там не существовал (но имелись традиционные коллективные крестьянские хозяйства), методы совершения такой революции были очень похожими. В Британии не было необходимости в создании законодательства для экспроприации крупной собственности, так как крупные землевладельцы и их фермеры уже «вписались» в буржуазное общество. Их сопротивление окончательному установлению буржуазных отношений в деревне с 1795 по 1846 г. было ожесточенным. Таким образом, хотя оно содержало в неясной форме обычный протест против распространения обычного принципа личной выгоды, наиболее часто причина их недовольства была очень простой: желание получить высокие цены и высокие ренты после революционных и наполеоновских войн во время послевоенной депрессии. Но это сопротивление было не феодальной реакцией, а имело характер аграрного лобби. Больнее всего закон затрагивал интересы крестьянства, батраков и наемных рабочих. После принятия Закона об огораживании общественных земель около 5 тыс. огораживаний частных и общественных земель разделили около 6 млн акров общественных земель и общественных полей у 1 760 владельцев и преобразовали их в частные владения, а бесчисленные менее официальные преобразования сопутствовали им. Закон о бедных в 1834 г. способствовал тому, что жизнь сельских бедняков стала такой невыносимой, что заставила их мигрировать в поисках какой-нибудь работы. И скоро они начали уезжать. В 1840-х гг. ряд графств оказался на грани абсолютной утечки населения, а с 1850-х гг. этот отток стал повсеместным.

Реформы 1780-х гг. упразднили феодализм в Дании, хотя от этого выгадали не землевладельцы, а крестьяне — арендаторы и владельцы, которым помогли после ликвидации общинных полей объединить их участки в частные владения, — процесс, аналогичный огораживанию, который в основном был завершен к 1800 г. Имения делились на части и продавались их бывшим арендаторам, хотя постнаполеоновская депрессия, в которой мелким владельцам было труднее выжить, чем арендаторам, замедлила этот процесс, с 1816 по 1830 г. Дания была в основном страной независимых крестьян-землевладельцев. В Швеции подобные, но

менее жесткие реформы принесли такие же результаты, так что во второй половине XIX столетия традиционное общинное землепользование, чересполосица исчезли. Бывшие феодальные районы этой страны ассимилировались с другими, в которых всегда преобладало свободное крестьянство, так же как это было в Норвегии (после 1815 г. часть Швеции, прежде принадлежавшая Дании). Тенденция разделять крупные владения и объединять арендованные участки сразу дала результаты, в сельском хозяйстве быстро выросла производительность — в Дании количество крупного рогатого скота удвоилось в последней четверти XVIII в.[9*], — но с быстрым ростом населения увеличивалось и число городской бедноты, не имеющей работы. Во второй половине XIX в. ее трудное положение привело к самому массовому оттоку эмигрантов (большей частью на американский Средний Запад) из бесплодной Норвегии и чуть позже из Швеции, в несколько меньшей степени из Дании.

II

Во Франции, как мы видели, революция уничтожила феодализм. Требования крестьянства и якобинцев двинули аграрную реформу дальше, чем этого хотелось бы ярым сторонникам капиталистического развития. Таким образом, Франция не превратилась в страну землевладельцев и сельскохозяйственных рабочих, или страну капиталистических фермеров, но стала страной большей частью разных типов аграрных собственников, явившихся главной опорой всех последующих режимов, которые не осмеливались забрать у них землю. И число владельцев крестьянской земли увеличилось более чем на 50% — с 4 до 6,5 млн. Все мы знаем наверняка, что число владельцев не уменьшилось, а в некоторых районах возросло более, чем в других; но является ли департамент Мозель, где их число возросло на 40% с 1789 по 1801 г., более типичным, чем нормандский Юр, где число хозяев не изменилось[10*], это еще нужно в дальнейшем изучить. Условия труда земледельца в основном были хорошими. Даже в 1847—1848 гг. не возникали серьезные трудности, разве что у

наемных рабочих[11*] Наплыв дополнительных рабочих из села в город поэтому был невелик: явление, затормозившее промышленное развитие Франции. Почти по всей латинской Европе, в Нидерландах, Швейцарии и Западной Германии, отмена феодализма производилась победившей французской армией, намеренной «провозгласить немедленно от имени французской нации... отмену церковной десятины, феодализма и сеньориальных прав»[12*], или же местными либералами, которые объединились французами и вдохновлялись ими. К 1799 г. правовая революция победила в странах, примыкающих к Восточной Франции, и в Северной и Центральной Италии, часто завершая эволюцию, уже продвинувшуюся далеко вперед. Возвращение Бурбонов после неудавшейся неаполитанской революции 1798—1799 гг. отодвинуло революцию в континентальной Южной Италии до 1808 г. Британская оккупация отделила Сицилию от Италии, но феодализм на острове был фактически отменен в период с 1812 по 1843 г. В Испании антифранцузские кортесы в Кадисе в 1811 г. отменили феодализм, а в 1813 г. упразднили определенные права майората, хотя обычно в районах, в которых произошли коренные изменения по причине их длительного объединения с Францией, возврат к старым порядкам отсрочивал практическое применение этих принципов. Французские реформы, таким образом, начинали или продолжали, а не прекращали правовую революцию в таких районах, как Северо-Западная Германия, земли к востоку от Рейна и в иллирийских провинциях (Истрии, Далмации, Рагузе, позже также в Словении и частично в Хорватии), которые не перешли под французское правление или господство до 1815 г.

Французская революция была не единственной силой, повлекшей за собой коренные перемены в аграрных отношениях. Чисто экономический аргумент в защиту рационального объединения земли произвел сильное впечатление на просвещенных деспотов предреволюционного периода, породил сходные отклики. В Габсбургской империи Иосифа II крепостничество фактически отменили и 1780-х гг. секуляризовали большую часть церковных земель. По сходным причинам и из-за продолжительных волнений крепостным в российской Ливонии был формально возвра-

щен статус крестьян-собственников, который они имели раньше при шведской администрации. Это им не помогло, поскольку жадность всемогущих землевладельцев вскоре превратила независимость в инструмент эксплуатации крестьян. После наполеоновских войн крестьянские правовые гарантии были уничтожены, и с 1819 по 1850 г. они потеряли по меньшей мере $^1/_5$ своей земли, в то время как дворянские поместья выросли на 60—180%[13*] Теперь их возделывал класс безземельных крестьян. Эти три фактора — влияние французской революции, экономическая выгода от использования государственных служащих, алчность дворянства — привели к освобождения крестьян в Пруссии в период между 1807 и 1816 гг. Конечно, решающим было влияние революции, поскольку ее армия наводнила Пруссию и таким образом ярко продемонстрировала беспомощность старого режима, который не принял новые методы, примененные во Франции. Как и в Ливонии, освобождение было сопряжено с отменой умеренной правовой защиты, которая до этого была у крестьян. Взамен отмененного подневольного труда и феодальных повинностей и ради их новых прав собственности крестьяне должны были вместе со всем прочим отдать своим бывшим господам $^1/_3$ или половину своего имения или заменяющую его сумму денег, что означало их полное разорение. Длительный и сложный правовой процесс перехода к 1848 г. был еще далек от завершения, но уже стало очевидно, что владельцы имений значительно разбогатели и небольшое число зажиточных крестьян тоже не оказались в убытке благодаря их новым имущественным правам, основная же масса крестьян обеднела, а безземельные крестьяне быстро разорялись*.

* Создание крупных поместий и появление безземельных рабочих было вызвано отсутствием местного промышленного развития и производством одной-двух культур на экспорт (в основном зерна). Подобная организация всегда приводит к такому положению. (В России в это время 90% зерна, предназначенного на продажу, поступало из поместий и только 10% — из крестьянских хозяйств). С другой стороны, там, где местное развитие промышленности создало растущий и разнообразный рынок продовольствия для города, крестьяне и мелкие фермеры находились в благоприятном положении. Поэтому в Пруссии освобождение крестьян привело к экспроприации крепостных, в Богемии после освобождения 1848 г. появились независимые крестьяне[14*].

Со временем можно было ощутить благотворность «экономических последствий», хотя сразу же обнаружились серьезные потери — как обычно происходит при изменениях в сельском хозяйстве. К 1830—1831 гг. Пруссия вновь достигла поголовья крупного рогатого скота и овец, которое имелось в начале века, у землевладельцев теперь была бо́льшая, а у крестьян меньшая доля поголовья. С другой стороны, пахотные земли увеличились более чем в 3 раза, а производительность возросла на 50% за первую половину века[15*] Прирост сельского населения быстро увеличивался, и поскольку условия в деревне были определенно плохие, в 1846—1848 гг. в Германии голод был страшнее, чем где-либо еще, за исключением Ирландии и Бельгии, и это стало причиной для миграции. И в самом деле, среди всех народов, не считая времен ирландского голода, немцам пришлось пережить самую большую миграцию.

Фактические правовые шаги по созданию буржуазной системы земельной собственности были предприняты в основным с 1789 по 1812 г. Их последствия вне Франции и ряда примыкающих к ней районов заставили себя ждать дольше в основном потому, что социальная и экономическая реакция после поражения Наполеона была очень сильной. В общем, каждое дальнейшее продвижение либерализма, вызванное революцией в области права, становилось шагом вперед от теории к практике, каждое возвращение старых режимов задерживало их, особенно в католических странах, где секуляризация и продажа церковных земель были одними из насущных требований освобождения. Таким образом, в Испании временная победа либеральной революции в 1820 г. принесла с собой новый закон «об освобождении», который разрешал дворянам свободно продавать свои земли; реставрация абсолютизма в 1823 г. аннулировала этот закон; новая победа либерализма вновь утвердила его в 1836 г.; и т. д. Фактический объем переданной земли в наш период, насколько мы можем измерить его, был небольшим, за исключением районов, где существовал активный слой покупателей среднего класса и земельных спекулянтов, готовых использовать свои возможности, на равнинах Болоньи (север Ита-

лии) земли дворян сократились с 78% общего объема в 1789 г. до 66% в 1804 г. и до 51% в 1835 г.[16*] С другой стороны, на Сицилии 90% всей земли продолжало находиться в руках дворян еще долгое время*[17*]

Но тут было одно исключение — земли церкви. Обширные, неизменно плохо возделываемые и разваливающиеся владения — $^{2}/_{3}$ земель в Неаполитанском королевстве в 1760 г. были церковными[19*] — на них почти никто не работал и только бродили стаи волков. Даже при абсолютистской реакции в католической Австрии после крушения просвещенного абсолютизма Иосифа II никто не предложил вернуть секуляризованные и проданные монастырские земли. Таким образом, в одной из общин Романье (Италия) церковные земли сократились с 42,5% всей территории в 1783 г. до 11,5% в 1812 г., но освобожденные земли перешли не только буржуазным владельцам (число которых выросло с 24 до 47%), но также дворянам (число которых выросло с 34 до 41%)[20*] И поэтому неудивительно, что даже в католической Испании сменявшие друг друга либеральные правительства постарались к 1845 г. распродать более половины церковных владений, большей частью в провинциях, где были сосредоточены церковные земли и где была наиболее развита промышленность (в 15 провинциях было продано более $^{3}/_{4}$ всех церковных земель)[21*]

К сожалению, для либеральной экономической теории, крупное рассредоточение земель не помогло, как ожидалось, создать класс предпринимателей и прогрессивных землевладельцев. Почему же владелец из среднего класса — городской адвокат, торговец или спекулянт на экономически неразвитых и недоступных территориях — путем инвестиций и забот о перешедших к нему земельных владениях не превратил их в отлично поставленное деловое предприятие, вместо того чтобы просто занять

* Правомерно предположить, что могущественные сельские буржуа, которые «теперь действительно находились в положении правящего социального класса, заправляли движением за объединение Италии»; по своей аграрной ориентации являлись приверженцами свободной торговли, выиграли от объединения Италии, которому способствовала и Британия, но также тормозили индустриализацию Италии[18*].

место того, кто был оттуда согнан, бывшего дворянина или священника, и чью власть они теперь получили, с большей заботой о доходах и не следуя традициям и привычкам? По всему югу Европы снова возродился класс баронов. Крупное сосредоточение латифундистов немного уменьшилось, как в континентальной Южной Италии, и осталось нетронутым, как на Сицилии, или даже усилилось, как в Испании. При таких режимах правовая революция только усилила старый феодализм, а мелкие владельцы и особенно крестьяне ничего не выиграли от земельной распродажи. Таким образом, почти по всей Европе старые социальные структуры остались достаточно сильными, что делало даже мысль о массовой миграции невозможной. Люди жили там же, где и их предки, и случалось голодали. Массовый отъезд из Южной Италии начался полвека спустя.

Но даже там, где крестьянство фактически получило землю или ему пообещали, что оно ее получит, как во Франции, и частично в Германии или в Скандинавии, оно не автоматически, как надеялись, превратилось в класс предпринимателей, мелких фермеров. И это по той простой причине, что пока крестьянство хотело получить земли, их реально хотела получить и буржуазная аграрная экономика.

III

Поскольку старая традиционная система была неэффективной и деспотичной, но все же она была системой относительной социальной уверенности, хотя на самом незначительном уровне, но и некоторой экономической безопасности, уже не говоря о том, что она почиталась по традиции и по привычке. Периодически наступавший голод, тяжелый труд, который превращал мужчин в стариков в сорок лет, а женщин в тридцать, — все было Божьим делом, но делом, за которое человек нес ответственность во времена тяжких испытаний и революций. Правовая революция, с точки зрения крестьян, ничего им не дала, кроме некоторых юридических прав, но отобрала много. Так, в Пруссии освобож-

дение дало крестьянину $^{2}/_{3}$ или половину той земли, которую он уже возделывал, но формально отняла у него право получать помощь от господина во время неурожая или падежа скота, лишила его права собирать или покупать дешевое топливо из лесов господина, права на помощь хозяина при починке или перестройке его дома, права при тяжкой нужде попросить помощи у господина на выплату налога, права пасти скот в лесах господина. Для бедного крестьянина это была очень тяжелая сделка. Собственность церкви могла быть неэффективной, но потому она и была рекомендована крестьянам, что на ней у них разовьются правильные привычки. Раздел и огораживание общинных полей, пастбищ и лесов отнимали у бедного крестьяна резервы, на которые, как он полагал, имеет право. Рынок свободной торговли землей означал, что ему придется продать свою землю: создание класса сельских предпринимателей привело к тому, что они со всей практичностью и жесткостью эксплуатировали его вместо его бывшего господина или вдобавок к старой эксплуатации. Так или иначе, провозглашение свободы на землю было чем-то вроде молчаливой бомбардировки, вдребезги разбившей общественную структуру, в которой он всегда обитал, и ничего не оставила на этом месте, кроме богачей; одиночество, называемое свободой.

В таком положении бедному крестьянину или всему сельскому населению ничего не остается делать, как восстать во имя идеала старого режима стабильности и справедливого общества, т. е. от имени церкви и законного короля. Если не принимать в расчет крестьянское восстание во Франции (даже в 1789 г. крестьяне выступали против церкви и против монархии), фактически все значительные крестьянские движения в этот период, которые не были направлены против иностранного короля или церкви, проводились за церковь и за короля. Южноитальянское крестьянство объединялось с городскими рабочими в 1799 г. против неаполитанских якобинцев и французов во имя святой веры и Бурбонов, такие же лозунги были у партизанских бригад Калабрии и Апулии, сражавшихся против французских оккупантов, а позже за объединение Италии. Епископы и герои-разбойники возглавляли испанских крестьян в их партизанской войне против

Наполеона. Церковь, король и традиционализм были так сильны, что даже в начале XIX в. воодушевляли карлистов—партизан в Стране Басков, Наварре, Кастилье, Леоне и Арагоне в их непримиримой войне против испанских либералов в 1830-х и 1840-х гг. Святая Дева Мария Гваделупская вела мексиканское крестьянство в 1810 г. От имени церкви и императора сражались баварцы и французы под предводительством трактирщика Андреаса Гофера в Тироле в 1809 г. Русские в 1812 г. сражались от имени царя и Святого православия. Польские революционеры в Галиции понимали, что единственной возможностью поднять украинское крестьянство была апелляция к греческому православию или униатским епископам; они потерпели поражение потому, что крестьянство предпочло дворянам императора. Вне Франции, где республиканцы или бонапартисты завоевали умы и сердца значительной части крестьянства с 1791 по 1815 г. и где влияние церкви ослабло во многих районах даже до революции, оставалось несколько районов там, где церковь была иностранная и давно не пользовалась поддержкой, как в папской Романье и Эмилии, — сегодня мы называем это крестьянскими волнениями левого толка. И даже французские Бретань и Вандея оставались оплотом Бурбонов. Нежелание европейского крестьянства восставать вместе с якобинцами или либералами, иначе говоря, с адвокатами, лавочниками, государственными служащими, чиновниками, обрекло на поражение революцию 1848 г. в странах, где французская революция не дала крестьянам землю и где были сильны консервативные опасения потерять ее и свое состояние, делавшие крестьян безучастными. Конечно, крестьяне поднимались не за короля, которого они вряд ли знали, но за идеал справедливого монарха, который если бы знал, то наказал бы своих провинившихся придворных и аристократов, но часто они восставали во имя реальной церкви. Поскольку сельский священник был одним из них, святые были тоже только их и больше ничьи, и даже владельцы полуразрушенных церковных владений были чем-то более терпимым, чем хваткие миряне. Там, где крестьянство имело землю и было свободно, как в Тироле, Наварре или (без короля) в католических кантонах Швейцарии Вильгельма Телля, их традиционализм защищал относительную свободу от

навязываемого освобождения. Там, где это обстояло не так, крестьянство было более революционно. Любой призыв отразить завоевание иностранцами и буржуазней, обращенный к ним священником, королем или еще кем-то, заканчивался не только разграблением дома помещика или юриста в городе, но и церемониальным маршем с барабанами и святыми знаменами, чтобы захватить и разделить землю, убийством господина и изнасилованием его женщин, сожжением его документов. И действительно, то, что крестьянин был беден и безземелен, было противно воле Бога и короля. И это составляло твердую основу социального революционного брожения, которое создавало крестьянские движения в районах, где существовали крепостничество и крупные земельные владения, или в районах слишком малой и разделенной собственности, такого нежелательного союзника реакции. Всем им было нужно изменить направление от законного революционизма к революционизму левого толка, осознав, что король и церковь перешли на сторону местных богачей, а таким людям, как они, остается только революционное движение. Популистский радикализм гарибальдийцев был первым таким движением, и неаполитанские разбойники поддержали его с энтузиазмом, в то же время продолжая поддерживать Святую Церковь и Бурбонов. Марксизм и учение Бакунина стали более эффективными. Но переход крестьянского восстания от политики правого крыла к политике левого до 1848 г. не произошел, потому что широкое развитие буржуазной экономики в деревне, которая должна была превратить эндемические крестьянские восстания в эпидемические, дало о себе знать во второй половине века, и особенно во время и после великой аграрной депрессии 1880-х годов.

IV

Для большей части Европы революция в сфере законодательства пришла как нечто привнесенное извне и сверху, как что-то вроде искусственного землетрясения. Это было более наглядно в таких местах, как Африка и Азия, где она была навязана, где

буржуазной экономики вообще не было и они были завоеваны государствами с буржуазной экономикой.

Так, в Алжире победившая Франция пришла туда, где было характерное средневековое общество с прочной и процветающей системой религиозных школ, финансируемых многочисленными религиозными организациями*, — поговаривали даже, что французские солдаты из крестьян были менее грамотны, чем люди, которых они завоевали[22]* Школы, рассматриваемые как рассадники религиозных предрассудков, были закрыты, церковные земли было разрешено покупать европейцам, которые не понимали ни их предназначения, ни их правовой неотчуждаемости; а школьные учителя, бывшие членами могущественных религиозных братств, эмигрировали на незавоеванные земли, чтобы там укрепить силы повстанцев под предводительством Абд-эль-Кадира. Начался систематический переход земли в простую отчуждаемую частную собственность, хотя окончательные результаты этого будут прочувствованы гораздо позже. И действительно, как мог европейский либерал понять сложное сплетение частного и коллективного права и обязанностей, которые предохраняли в таком регионе, как Кабилия, землю от опустошения и анархии на маленьких клочках и наделах частного собственника, владельца фиговых деревьев.

Алжир с трудом был завоеван в 1848 г. Огромные просторы Индии к тому времени более чем в течение жизни поколения находились под прямым управлением британцев. Поскольку никто из европейцев не желал осваивать индийскую землю, не возникало и проблем с ее экспроприацией. Воздействие либерализма на индийскую аграрную жизнь на первых порах было следствием политики британских властей, искавших удобных и эффективных методов налогообложения. Но сочетание у них алчности и правого индивидуализма привело к катастрофе. Землевладение в добританской Индии были таким же сложным, как в любом традиционном, но неизменном обществе, с периодически

* Эти земли подобны отданным церкви для благотворительности или ритуальных целей в средневековых христианских державах.

происходящими при помощи иностранных завоевателей переворотами, но покоящемся на двух прочных основах: земля принадлежала де-юре и де-факто самоуправляемым общинам (племенам, кланам, деревенским коммунам, братствам и т. д.) и правительство получало часть произведенной сельхозпродукции. Хотя часть земли в некотором смысле была объединена и отдельные аграрные отношения могли быть построены на основе аренды, а кое-какие отдельные сельские платежи являлись рентами, на самом деле не было ни землевладельцев, ни арендаторов, ни частной земельной собственности или ренты в английском смысле слова — положение для британской администрации и правителей неприятное и непонятное, почему они и постарались изобрести устройство села, с которым они были знакомы. В Бенгалии, первой большой территории, под британским правлением земельный налог собирался специальным агентом комиссии, заминдаром. Конечно, они должны были быть равны британским землевладельцам, платя назначенный налог (как в современной тогда Британии земельный налог) на все свое имение; класс, на который возлагался сбор налога, чей интерес к земле должен помочь увеличить налог и чья политическая поддержка иностранного режима должна обеспечить стабильность. «Я рассматриваю, — писал впоследствии лорд Тайнтус в протоколе от 18 июня 1789 г., — определявшем правила «постоянного устроения» земельного налога в Бенгалии, заминдаров как владельцев земли, хозяевами которой они становятся по праву наследства... привилегия выставлять землю на продажу или в заклад происходит из основного права...»[23*] Разновидности этой так называемой системы заминдаров применялись на 19% территории британской Индии.

Жадность более, чем выгода, подтолкнула к введению второго типа системы сбора налогов, которая применялась обычно на половине территории британской Индии — Райотвари. Тут британские правители, считавшие себя преемниками восточного деспотизма, который, на их взгляд, являлся главным владельцем всех земель, предприняли исполинскую задачу сбора индивидуального налога с каждого крестьянина, считая его малым вла-

дельцем или арендатором. За этим стоял самый обычный принцип аграрного либерализма, как выразился один способный руководитель. Он требовал, по словам Голдсмита и Вингейта, «ограничения объединенной ответственности в немногих случаях, когда поля обрабатываются общиной или разделены между наследниками, признание земли собственностью, настоящая свобода управления с учетом ренты с арендаторов, продажа обеспечивали ее владельцам: возможность выгодно продать или передать землю благодаря пропорциональному распределению обложений полей»[24*] Деревенская община была обойдена, несмотря на строгие возражения со стороны мадрасского органа налогового обложения (1808—1818 гг.), который считал более реальным установление коллективного налога с сельской общины, также отстаивая их как лучшую гарантию частной собственности. Доктринерство и алчность победили, и благодеяние частной собственности было даровано индийским крестьянам.

Его неудобства были очевидны, так что на территории оккупированных и завоеванных земель в Северной Индии позже (они занимали 30% позднее завоеванных территорий британской Индии) вновь стали применять систему заминдаров, но с некоторыми допусками существования общин, особенно в Пенджабе.

Либеральные взгляды, смешанные с неприкрытой жадностью, вели к усилению угнетения крестьян: налоги резко возросли (в Бомбее земельный налог был выше, чем на вновь завоеванных территориях в 1817—1818 гг., где он удвоился за 4 года). В основу теории о налоге в Индии легла доктринах Мальтуса[79] и Рикардо[80] о ренте, также оказал определенное влияние и вождь утилитаристов Джеймс Милль. Если исходить из этой доктрины, то налог на земельную собственность является обыкновенной прибавочной стоимостью, которая никак не связана со стоимостью. Она возрастала просто потому, что одни земли были более плодородными, чем другие, и присваивались крупными лендлордами, а результаты были гибельны для всей экономики. Забирая весь этот налог, они не укрепляли благосостояние страны, за исключением, возможно, земельной аристократии, которая была не в состоянии упрочить своего положения, превратив-

шись в крепких хозяев. В стране вроде Британии, решая аграрные проблемы в политических интересах, не могли бы принять таких радикальных решений, как национализация земли, а в Индии, деспотической державе, в которой британцы были победителями, они могли себе это позволить. По общему признанию, по этому вопросу имелось два мнения. Администрация вигов в XVIII в. и старые представители традиционных интересов бизнеса придерживались общей точки зрения о том, что невежественные мелкие владельцы, находящихся на грани нищеты, никогда не смогут накопить аграрный капитал и таким образом улучшить экономику. Исходя из этой точки зрения, они склонялись к «постоянному налогу» бенгальского типа, который бы позволил классу землевладельцев, имея всегда постоянный налог (в уменьшенном размере), делать накопления и благодаря им проводить усовершенствования. Администраторы-утилитаристы, возглавляемые грозным Миллем, предпочли бы национализацию земли и наличие массы мелких крестьян-арендаторов угрозе появления новой земельной аристократии. После индийского восстания 1857 г. партия вигов значительно усилила свой политический курс. Положение стало таким, что ни одна точка зрения теперь не годилась для индийского сельского хозяйства. Более того, с развитием промышленной революции в Британии секционные (групповые) интересы старой Ост-Индской компании (которые состояли в том, чтобы иметь достаточно процветающую колонию для эксплуатации) все больше подчинялись главным интересам британской промышленности (для которых Индия более всего была необходима как рынок, источник доходов, но не как соперник). В конце концов была выбрана утилитарная политика, при помощи которой усиливался строгий британский контроль и повышался налог. Традиционно и в добританский период лимит налогообложения составлял $^1/_3$ дохода; основным стандартом британского налогообложения стала половина дохода. Только после явного обнищания страны, приведшего к восстанию 1857 г., налог был несколько снижен.

Применение экономического либерализма к индийскому земледелию не способствовало ни созданию просвещенных земле-

владельцев, ни крепких фермеров, мелких землевладельцев. Все это стало новым поводом для недовольства новой сетью паразитов и эксплуататоров деревни (новых чиновников для осуществления британского господства)[25*] привело к значительным сдвигам и концентрации владений, росту крестьянского долга и нищете. Ко времени, когда начала действовать Ост-Индская компания, в штате Уттар Прадеш более 84% землевладельцев, передающих свою собственность по наследству. К 1840 г. 40% всех владений были куплены их владельцами, а к 1872 г. их число составило 62,6%. Кроме того, из более чем 3 тыс. хозяйств или деревень почти $^{3}/_{5}$ от общего числа превратились из обычных владельцев в трех районах северо-западных провинцией (Уттар Прадеш) в 1846—1847 гг. более 750 превратились в ростовщиков[26*]

Нужно остановиться на просвещенном и постоянном деспотизме утилитарной бюрократии, которая осуществляла британское господство в этот период. Ей удалось успокоить страсти, внести изменения в общественные службы, административные органы, создать надежную правовую систему и неподкупное правительство. Но в экономике она не смогла добиться никаких выдающихся достижений. Из всех территорий, находившихся под управлением европейских правительств или правительств европейского типа, включая даже царскую Россию, Индия продолжала оставаться жертвой самых масштабных и убийственных голодовок, которые к концу столетия все больше усиливались.

Единственной другой большой колониальной территорией, на которой пытались внедрить либеральные земельные законы, была Латинская Америка. Здесь старая феодальная колонизация испанцев никогда не препятствовала коллективному землепользованию индейцев до тех пор, пока белые колонисты захватывали те земли, которые хотели. Независимые правительства действовали в духе французской революции и доктрин утилитаризма. Так, Боливар в 1824 г. издал декрет о переходе общинных земель в Перу в частное владение, и в большинстве новых республик отменили законы о майорате[81], следуя примеру испанских либералов. Либерализация дворянских земель могла привести к

некоторому распылению владений, хотя обширные асьенды оставались основной формой землевладения в большинстве республик. Попытки ликвидировать общинную собственность не имели успеха. И до 1850 г. она оставалась почти нетронутой. Фактически либерализация экономики проходила неэффективно также как и либерализация политической системы. По существу же, на всем континенте, несмотря на это, были достигнуты успехи в развитии парламентской системы, в выборах и земельных законах и т. д.

V

Революция в землевладении являлась политическим аспектом разрушения традиционного аграрного общества, а ее вторжение в новую сельскую экономику мирового рынка — экономическим аспектом.

В период с 1787 по 1848 г. эта экономическая трансформация не была завершена, как можно заключить, вследствие умеренных темпов миграции. Железные дороги и пароходы еще не приступили к созданию единого сельскохозяйственного мирового рынка, оно началось только в конце XIX в. после великой депрессии в сельском хозяйстве. Местное сельское хозяйство было, таким образом, большей частью исключено из международной конкуренции и даже из конкуренции между провинциями. Промышленное соперничество также еще не коснулось бесчисленных сельских фабрик и домашних мануфактур, разве что заставило их производить для более широкого рынка. Новые методы сельского хозяйства, не считая районов успешного капиталистического сельского хозяйства, слабо проникали в село, хотя новые сельхозпродукты, предназначенные для промышленности, сахарная свекла, которая появилась из-за наполеоновской политики дискриминации, направленной против (британской) торговли сахарным тростником и новыми овощами — маисом и картофелем, имели небывалый успех. Для того чтобы, совершить кардинальный переворот в сельском хозяйстве чисто эко-

номическими методами, необходимо было невероятное стечение обстоятельств, таких как непосредственная близость высокоразвитой индустриальной экономики и сдерживание нормального развития.

Такие невероятные обстоятельства существовали, и такой переворот произошел в Ирландии, и в несколько меньшем масштабе в Индии. То, что произошло в Индии, было попросту фактическим уничтожением всего, что в течение нескольких десятилетий являлось процветающим домашним и сельскохозяйственным производством, которое дополняли доходы от деревни, иными словами, деиндустриализация Индии. В период с 1815 по 1832 г. объем произведенных в Индии хлопчатобумажных товаров, экспортируемых из страны, снизился с 1,3 млн фунтов до менее чем 100 тыс. фунтов, в то время как импорт британских хлопчатобумажных товаров увеличился в 19 раз. К 1840 г. обозреватели уже предупреждали о разрушительных последствиях превращения Индии «в сельскохозяйственную ферму Англии: Индия — страна мелких производств самых разнообразных видов, которые существовали в ней веками, — никогда не была способна конкурировать ни с одной нацией даже при честных правилах соревнования... И теперь довести ее до состояния аграрной страны было бы несправедливо»[27*]. Подобное описание вводило в заблуждение, поскольку производства в Индии стимулировались так же, как и в других странах, где во многих регионах производства были неотъемлимой частью сельской экономики. В конце концов деиндустриализация сделала крестьянскую деревню во многом зависимой от неустойчивой судьбы урожая.

Ситуация в Ирландии была более драматичной. Здесь население маленькой экономически отсталой страны, арендаторы на своих фермах, зарабатывающие себе на пропитание, платили максимальную ренту небольшой кучке иностранцев, не занимающихся возделыванием земли, и в основном живущим в других местах землевладельцам. За исключением северо-востока (Ольстера), страна была аграрной из-за политики меркантилизма[82], осуществляемой британским правительством, колонией которого она являлась, и совсем недавно стала соревноваться с британской про-

мышленностью. Единственным техническим нововведением явилась замена картофелем недавно преобладавших тут сельскохозяйственных культур, что позволило достигнуть значительного прироста населения, потому что акр земли под картофелем может прокормить гораздо больше людей, чем один акр лугов или большинства других культур. Землевладельцы требовали от арендаторов максимальной ренты, а позже также и за рабочих, обрабатывающих фермы, производившие продовольствие на растущий британский рынок, что позволяло увеличивать свои имения: к 1841 г. в Коннахте 64% всех крупных имений состояли из участков менее 5 акров, не считая бесчисленных карликовых имений размером менее одного акра. Таким образом, в XVIII и в начале XIX столетия население на этих участках выросло, живя исключительно на 10—12 фунтах картофеля в день на человека и по крайней мере до 1820-х гг. имея иногда немного молока и иногда селедки, население не имевшее себе равных в Западной Европе по такой нищете[28*]

Наступила безработица, и поскольку индустриализация не проводилась, то легко можно было предсказать конец эволюции почти с математической точностью. Поскольку население возросло настолько, что картофельными участками были покрыты все земли и даже обрабатываемые участки болот, все это могло закончиться только катастрофой. Вскоре по окончании французских войн она стала явственной. Нехватка продовольствия, эпидемии приводили к массовой гибели людей, и легко объяснить массовое недовольство в деревне. Плохие урожаи и болезни растений в середине 40-х гг. буквально косили и так уже обреченных людей. Никто не знает и никогда точно не узнает, сколько человеческих жизней унес Великий ирландский голод 1847 г., который явился одной из крупнейших катастроф человечества в истории Европы в рассматриваемый период. По самым грубым подсчетам, около миллиона людей умерли от голода и еще миллион эмигрировали с острова в период с 1846 по 1851 г. В 1820 г. в Ирландии проживали около 7 млн жителей. В 1846 г. там насчитывалось 8,5 млн. В 1851 г. население составляло 6,5 млн, и с этого времени уровень населения падал постоянно из-за эмигра-

ции. «Heu dira fames!» — писал священник, все это можно найти в бесчисленных хрониках тех мрачных лет. «Heu saeva hujus memorabilis anni pestilentia!»[29*] в те месяцы, когда детей не приносили крестить в приходах Галвей и Майо, потому что они не рождались.

Индия и Ирландия были наихудшими странами для крестьян с 1789 по 1848 г., но никто, у кого был выбор, не захотел бы быть также сельскохозяйственным рабочим в Англии. По общему мнению, положение этого класса ухудшилось с середины 1790-х частично по экономическим причинам, частично из-за доведшей его до нищеты «системы Спинхамлэнд» (1795 г.) — благонамеренной, но ошибочной попытки гарантировать рабочим минимальную зарплату, субсидируя ее по минимальным ставкам. Ее главная цель состояла в том, чтобы побудить фермеров понижать зарплату, а также деморализация рабочих. Революционные волнения были слабыми и ничтожными: в 1820-х имели место выступления против законов, в 1830-х и 1840-х гг. — поджоги и выступления против собственников и самое отчаянное и беспомощное «последнее восстание рабочих», эпидемия волнений, распространявшаяся спонтанно, начиная с Кента, по бесчисленным графствам в конце 1830 г., которая была жестоко подавлена. Экономический либерализм ставил решение проблемы рабочих в обычной жестокой и безжалостной манере, заставляя их искать работу в экономическом соревновании или мигрировать. Совершенно бессердечный закон о бедных 1834 г., по которому бедняки получали скудную помощь только в стенах работного дома (где они были обязаны находиться отдельно от жены и ребенка с тем, чтобы исключить возможность проявления чувств и легкомысленной привычки бездумного приумножения потомства), аннулировал существовавшее до этого пособие по безработице, которое обеспечивало прожиточный минимум. Результаты действия закона о бедных были такими: до конца нашего периода около миллиона британцев остались бедняками, а рабочие начали постепенно мигрировать. А поскольку сельское хозяйство находилось в упадке, положение рабочих оставалось тяжелым и до 1850-х гг. существенно не изменилось.

Сельскохозяйственные рабочие находились в затруднительном положении повсюду, хотя в наиболее отсталых и изолированных районах их положение было не хуже, чем всегда. Злосчастное открытие картофеля легко понизило их жизненный уровень во многих местах Северной Европы, и существенного улучшения в их положении, например, в Пруссии не произошло вплоть до 1850—1860-х гг. Положение независимых крестьян было лучше, хотя во времена голода мелкие арендаторы находились в отчаянном положении. Такая аграрная страна, как Франция, была, наверное, менее подвержена всеобщему застою в сельском хозяйстве после наполеоновских войн, чем какая-либо другая. В самом деле, французский крестьянин, оказавшись в 1840 г. в Британии и сравнивая свое житье и условия существования английского рабочего, положение которого не изменилось с 1788 г. не сомневался, что все происшедшее в его стране было не напрасно*. А в это время, пересекая Атлантику, американские фермеры, видя жизнь крестьянства Старого Света, поздравляли себя со своей счастливой судьбой, которая избавила их от такой жизни.

---

* «Часто встречаясь с крестьянами и рабочими и дома и за границей, я должен честно признать, что более воспитанных, опрятных, трудолюбивых, бережливых, рассудительных или лучше одетых людей, чем французские крестьяне, я никогда не встречал. В этом отношении они очень отличаются от шотландских сельскохозяйственных рабочих, грязных и убогих до предела, от многих английских: они раболепны, подавлены, в стесненных жизненных условиях; от бедных ирландских, полураздетых и живущих в первобытных условиях...». (*Х. Кольман* «Аграрная и сельская экономика Франции, Бельгии, Голландии и Нидерландов» (1848 г.), 25—26).

ГЛАВА 9

К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ МИРУ

Сейчас поистине великие времена для инженеров.

Джеймс Нэсмит, изобретатель парового молота[1*]

Devant de tels temoins, osette progressive,
Vantez-nous le pouvoir de la Locomotive,
Vantez-nous le vapeur et les chemins de fer.

A. Pommier[2*]

I

К 1848 г. только одна экономика имела эффективную промышленность — британская и поэтому была самой передовой в мире. Возможно, к 1840-м гг. США и большая часть Западной и Центральной Европы встали на путь промышленной революции. В середине 1830-х гг.[3*] Ричард Кобден считал, что уже можно с уверенностью сказать, что США могли считаться серьезным соперником британцев, а с 1840-х гг. немцев, у которых уже началось быстрое промышленное развитие в сельском хозяйстве. И некоторое время спустя все оставалось без изменений, к 1840-м гг. фактические изменения в промышленности неанглоязычного мира были скромными. К примеру, к 1850 г. во всей Испании, Португалии, Скандинавии, Швейцарии и на всем Балканском полуострове протяженность железнодорожных путей насчитывала немного более 100 миль — это меньше, чем во всех неевропейских странах вместе взятых. Если не считать Британии и еще некоторых мест, экономическая и общественная жизнь в 1840-х гг. не очень изменилась с 1788 г. Большинство населения мира, как и раньше, были крестьянами. В 1830-м г. все еще лишь один

город насчитывал более миллиона жителей (Лондон), один — население более полумиллиона человек (Париж) и, не считая Британии, лишь 19 европейских городов населяло более 100 тыс. жителей.

Эта замедленность изменений в небританском мире означала, что экономические подвижки продолжались до конца нашего периода, и все, как и прежде, зависело от извечных причин хорошего или плохого урожая, а не от новых явлений, таких как повторяющиеся время от времени промышленные подъемы и спады производства. Кризис 1857 г. стал первым событием, охватившим весь мир и вызванным чем-то иным, а не несчастьем в сельском хозяйстве. Фактически он имел далеко идущие политические последствия. С 1780 по 1848 г. скорость изменений в промышленной и непромышленной сферах сильно отличались друг от друга*.

Экономический кризис, разразившийся почти по всей Европе в 1846—1848 гг., являлся следствием депрессии в сельском хозяйстве. В экономике старых режимов это был последний и самый тяжелый упадок. А в Британии самый тяжелый кризис ранней индустриализации произошел с 1839 по 1842 г. по совершенно «современным» причинам, и на самом деле совпал с низкими ценами на зерно. Стихийные социальные волнения в Британии вылились в стихийную всеобщую стачку чартистов летом 1842 г. К 1848 г. они перекинулись на континент. Британия переживала первую депрессию за весь длительный период викторианской экспансии, которая постигла также и Бельгию, еще одну более или менее промышленно развитую экономику в Европе. Как и предвидел Маркс, мировая революция без участия в ней Британии была обречена. Но он не смог предвидеть того, что неравномерность развития Британии и Европы неизбежно приведет к тому, что в Европе и в Британии революции произойдут в разное время.

Однако если что и имеет значение для периода с 1789 по

* Мировая победа промышленного сектора снова привела к равной скорости промышленного развития, хотя и различными способами.

1848 г. так это не то, что произошедшие экономические изменения, по более поздним меркам, были невелики, а то, что эти изменения попросту произошли. Первым из таких изменений было демографическое. Население в мире — и особенно население стран, ощутивших влияние двойственной революции — значительно возросло. Поскольку перепись населения велась в немногих странах, да и та была далека от реальности*, мы точно не знаем, как быстро росло население в этот период, рост происходил неодинаково, и (за исключением тех стран, где и до этого было много незаселенных районов, таких как в России) быстрый рост происходил в основном в наиболее экономически развитых странах. Население США (выросшее из-за иммиграции и усилившее свой рост благодаря безграничности районов и ресурсов континента) увеличилось почти в 6 раз с 1790 по 1850 г. — с 4 до 23 млн. Население Соединенного Королевства почти удвоилось с 1800 по 1846 г., то же произошло и в европейской части России (не считая Финляндии). Население Норвегии, Дании, Швеции, Голландии и большей части Италии почти удвоилось с 1750 по 1850 г., но в течение нашего периода увеличивалось не так быстро, а население Испании и Португалии возросло в 3 раза.

Нам мало что известно об остальном мире, хотя в Китае население быстро увеличивалось в XVIII — начале XIX вв., пока не началось вторжение европейцев и циклическое развитие китайской политической истории привело к краху процветающей Маньчжурской династии, которая в этот период находилась в зените своей славы**. В Латинской Америке оно увеличилось примерно такими же темпами, как и в Испании[4*]. Никаких признаков бурного роста населения в других частях Азии не наблюдалось. Численность населения оставалась без изменений. Только некоторые пустые пространства заселялись белыми поселенцами, и там

* В Британии первая перепись была проведена в 1801 г., а первая отвечающая требованиям — только в 1831 г.

** Обычно цикл династий в Китае длился около 300 лет. Маньчжурская пришла к власти в середине XVII в.

население росло высокими темпами, так же как и в Австралии, где в 1790 г. не было белых обитателей, а к 1851 г. их уже было полмиллиона.

Это замечательное увеличение населения обычно стимулировало экономическое развитие, хотя нужно признать, что прирост населения — скорее последствие, чем причина экономической революции, так как без нее такой быстрый рост населения не мог быть достигнут быстрее, чем за этот ограниченный промежуток времени. (И в самом деле, в Ирландии, где оно не было связано с постоянной экономической революцией, этого не произошло.) Благодаря ему появляется много молодых рабочих рук и больше потребителей. Мир в изучаемый нами период времени был намного моложе, чем в другие периоды до этого, в нем было много детей, молодых супружеских пар и людей в расцвете жизненных сил.

Вторым существенным изменением были связи. Железные дороги только создавались в 1848 г., хотя в Британии, а также и в США, Бельгии, Франции и Германии уже имели большое практическое значение, но даже и до их введения в действие это было новшеством по тогдашним меркам, захватывающим дух. В Австрийской империи, к примеру (за исключением Венгрии), было построено более 30 тыс. миль железных дорог с 1830 по 1847 г., и их протяженность, таким образом, увеличилась на $^2/_3$[5*]. В Бельгии с 1830 по 1850 г. сеть железных дорог почти удвоилась, и даже в Испании, благодаря французской оккупации, почти удвоилась протяженность железной дороги. США, как всегда более значительные в своих предприятиях, чем любая другая страна, увеличили сеть своих дорог для почтовых карет более чем в 8 раз: с 21 тыс. миль в 1800 г. до 170 тыс. миль в 1850 г.[6*] В это время в Британии создавалась система каналов, во Франции было построено 2 тыс. миль каналов (1800—1847 гг.), в США были открыты также грандиозные водные пути по Эри, Чезапик и Огайо. Общий тоннаж перевозок по воде в западном мире увеличился более чем в 2 раза с 1800 до начала 1840-х гг. а в это время Британию и Францию уже соединяли пароходные линии (1822 г.) и по Дунаю вверх-вниз ходили пароходы.

(В 1840 г. около 370 тыс. тонн было перевезено на пароходах, а под парусами 9 млн, фактически это уже составляло $^1/_6$ всех перевозок.) Тут американцы опередили весь мир, соревнуясь даже с Британией за обладание самым крупным торговым флотом*.

Нам не удастся точно определить, насколько увеличилась скорость перевозок. Без сомнения, путешествие в карете, посредством которого царь Всея Руси добирался из Санкт-Петербурга до Берлина за четыре дня (1834 г.), было недоступно для простых людей, но новая почтовая связь, позаимствованная у французов и англичан, которая после 1824 г. проходила от Берлина до Магдебурга за 15 часов вместо двух с половиной дней, уже существовала. Железная дорога и замечательное изобретение Роланда Хила — службы стандартизации для почтовых нужд в 1839 г. (связанная с изобретением липких штемпелей в 1841 г.) — увеличили почтовые перевозки, но даже до них, и в странах менее развитых, чем Британия, они значительно возросли: с 1830 по 1840 г. количество писем, отправленных во Францию за год, выросло с 64 до 94 млн. Парусные суда были не только прочнее и надежнее, они были в общем и больше[7*]

Без сомнения, технически эти изобретения не так впечатляли, как железная дорога, хотя великолепные мосты, переметнувшиеся через реки, громадные искусственные водные пути и доки, великолепные клиперы, скользящие как лебеди под полными парусами, и элегантные новые почтовые кареты были и остаются наиболее совершенными произведениями промышленного дизайна. И как средства, облегчающие передвижение и транспортировку, соединяющие город и деревню, богатые и бедные регионы — они были замечательно эффективны. Рост населения во многом обязан им, ибо то, что сдерживало его до индустриализации, была не столько высокая смертность людей, сколько периодические катастрофы, часто локальные — голод и нехватка продовольствия. И если голод стал меньше угрожать западному

* В 1860 г. они почти догнали Британию, пока металлические суда опять не обеспечили первенство Британии.

миру в этот период (не считая почти всеобщего неурожая в 1816—1817 и 1846—1848 гг.), это произошло главным образом из-за изобретений на транспорте, а также из-за всеобщего улучшения работы правительств и администрации (см. гл. 10).

Третьим крупным изменением было изменение объема торговли и миграции. Конечно, не везде. К примеру, нет никаких признаков того, чтобы крестьяне Калабрии или Апулии собирались мигрировать; также количество товаров, привозимых каждый год на ярмарку в Нижний Новгород, не так уж сильно возросло[8*]. Но если рассматривать страны двойственной революции, движение людей и товаров резко усилилось.

С 1816 по 1850 г. около 5 млн европейцев покинули свои родные страны (почти $^4/_5$ из этого числа отправились в Америку), а внутри стран потоки миграции были еще многочисленнее. С 1780 по 1840 г. общий объем международной торговли в западном мире увеличился более, чем в 3 раза, а с 1780 по 1850 г. он увеличился более, чем в 4 раза. По современным меркам все эти цифры представляются очень скромными*, но по сравнению с предыдущими временами, с которыми их в свое время сравнивали современники нашего периода, эти изменения превосходили всякое воображение.

II

Более всего потрясает скорость перелома, который произошел в развитии экономики и в социальной жизни примерно с 1830 г. Вне Британии период французской революции и ее войны вызвали сравнительно небольшое движение, за исключением США, которые сделали скачок вперед после своей войны за независимость, удвоив обрабатываемые площади к 1810 г., увеличив количество судов в 7 раз и в общем демонстрируя свои будущие

* Таким образом, с 1850 по 1888 г. эмигрировал миллион европейцев, а с 1889 г. общий объем международной торговли насчитывал около 3 400 млн фунтов, тогда как в 1840 г. — менее чем 600 млн.

возможности. (Не только хлопкоочистительная машина, но и пароход, первое усовершенствование производства на сборочном конвейере, мукомольная мельница Оливера Эванса на конвейерной ленте — все это изобрели американцы в данный период.) Основы большинства изобретений для более поздней промышленности, особенно тяжелой индустрии, были заложены в Европе, но не многие из них дожили до конца войн, которые повсеместно вызвали кризис. В целом период с 1815 по 1830 г. был неким шагом назад, а в лучшем случае — медленным восстановлением. Государства вкладывали свои деньги в наведение порядка, что было нормально при строгой дефляции. (Русские в 1841 г. не делали этого.) Промышленность была охвачена кризисом и не выдерживала соревнования с иностранными государствами. Американская хлопкоперерабатывающая промышленность терпела убытки. Урбанизация шла медленно, до 1828 г. сельское население во Франции росло так же быстро, как и городское. Сельское хозяйство в Германии находилось в упадке. Никто из обозревателей экономического роста этого периода, даже не принимая в расчет значительный экономический рост Британии, не испытал бы пессимизма, но не многие из них могли утверждать, что какая-либо страна, кроме Британии и, возможно, еще США, находилась уже на пути к промышленной революции. Наглядным примером новой промышленности, не считая Британии, США и Франции, являлось наличие паровых двигателей, паровозов, но в 1820-х гг. их было ничтожно мало.

После 1830 г. ситуация стала резко меняться, так что к 1840 г. предметом серьезного обсуждения в Западной Европе и кошмаром политиков и администрации стали характерные социальные проблемы индустриализации: новый класс — пролетариат, бесконтрольная головокружительная урбанизация. Количество паровозов в Бельгии удвоилось, а их мощность утроилась, с 1830 и по 1838 г. с 354 (11 тыс. л. с.) до 712 (30 тыс. л. с.). К 1850 г. в маленькой, но теперь уже высокоиндустриальной стране насчитывалось около 2 300 паровозов мощностью 66 тыс. л. с.[9*], и было добыто 6 млн тонн угля (почти в 3 раза больше, чем в 1830 г.). В 1830 г. в бельгийской угледобывающей промышленности не было

ни одного акционерного общества, а к 1841 г. почти половина угледобычи производилась такими компаниями.

Не стоит пытаться определить точно, когда в таких странах, как Франция, германские государства, Австрия или какая-либо другая страна, в течение этих 20 лет зародилась современная индустрия: Круппы в Германии установили свой первый паровой двигатель в 1836 г., первая коксовая печь была установлена в знаменитом чешском сталеплавильном центре Витковичи в 1836 г. первые шахты великого Рурского угольного бассейна были прорыты в 1837 г., а в Ломбардии в 1839—1840 гг. был запущен первый прокатный стан Фалька. Всюду почти одновременно, исключая Бельгию и, пожалуй, Францию, — период настоящей всеобщей индустриализации наступил только после 1848 г. С 1830 по 1848 г. возникли промышленные районы, знаменитые промышленные центры и фирмы, чьи имена известны с тех пор и поныне. Оглядываясь на 1830-е гг., мы понимаем, что означала та атмосфера возбуждения, вызванного техническим экспериментом, неудовлетворенности, побуждавшей к введению новшеств на предприятиях. Это означало открытие американского Среднего Запада, но первая механическая жатка Сайруса Мак-Кормика (1834 г.) и первые 78 бушелей пшеницы, отправленных из Чикаго на восток в 1838 г., запомнились из-за того, что́ после этого началось в 1850 г. В 1846 г. фабрику, которая рискнула выпустить сотню жаток, можно было поздравить за смелость: «Трудно было найти группу людей с достаточной смелостью и энергией, чтобы начать предприятие по созданию жаток, и так же трудно убедить фермеров попробовать убирать зерно при помощи этих жаток или благосклонно относиться к этому нововведению»[10*] Это означало систематическое строительство железных дорог и предприятий тяжелой индустрии в Европе и революцию в процессе инвестиций; и если бы братья Перейра не стали великими авантюристами промышленного финансирования после 1851 г., тогда нам бы следовало уделить некоторое внимание изобретению контор ссуживания и одалживания, где промышленность будет одалживать у всех капиталистов на самых выгодных условиях через посредничество «богатейших банков, действующих как гаранты», и

такая ссуда была напрасно предоставлена новому французскому правительству в 1830-х гг.[11*] Так, в Британии производство товаров народного потребления — в основном текстиля, а также некоторых продуктов питания — привело к бурному росту индустриализации, а основные предметы производства — железо, сталь, уголь и т. д. — были уже более важны, чем в первые годы британской промышленной революции: в 1846 г. 17% бельгийского производства выпускало главные товары, тогда как в Британии — примерно 8—9%. К 1850 г. $^{3}/_{4}$ бельгийских промышленных паровых двигателей применялись в шахтах и металлургии[12*]. Если рассматривать Британию, общее число новых промышленных предприятий — фабрик, кузнечных цехов или шахт — было довольно невелико, а вокруг них множество дешевых домашних производств с отсталой технологией, с договорным трудом, и число их увеличивалось из-за того, что фабрики и рынки испытывали в них необходимость, а при последующем развитии фабрик и рынка в них отпала необходимость, и они перестали существовать. В Бельгии (1846) общее число рабочих на шерстяных, полотняных и хлопковых фабриках было соответственно 30, 35 и 43, в Швеции (1838) общее число рабочих на каждой текстильной фабрике было от 6 до 7 человек[13*] С другой стороны, имелись признаки того, что в Британии концентрация производство намного выше, чем там, где промышленность стала развиваться позже, иногда являясь промышленным центром, окруженным сельскохозяйственным производством. Там использовался опыт новичков индустриализации, основанный на более развитой технологии, и зачастую они получали более значительную поддержку от правительства. В Богемии (1841) $^{3}/_{4}$ всех хлопкопрядильных фабрик использовали труд 100 рабочих; и почти половина из 15 фабрик имела более 200 рабочих каждая[14*] (С другой стороны, все ткацкие предприятия до 1850-х гг. работали на разных станках.) Это явление было даже больше распространено в тяжелой индустрии, которая теперь выдвинулась вперед, в Бельгии на среднем литейном заводе (1838) работали 80 рабочих, на средней бельгийской угольной шахте (1846) — около 150 человек[15*], уже не говоря о

промышленных гигантах, как Кокериллы из Серейна, на которых работали 2 тыс. человек.

Промышленный пейзаж, таким образом, напоминал каскад озер, усеянных островами. Если мы представим, что страна — это озеро, промышленные центры будут островами на этих озерах, сельскохозяйственными комплексами (такими, как сеть деревень с мануфактурами, характерными для центра Германии и Богемских гор) или индустриальными районами; текстильными городами, такими как Мульхауз, Лиль или Руан во Франции, Эльберфельд-Бармен (родина Фридриха Энгельса, где жила его семья благочестивых фабрикантов) или Крефельд в Пруссии, в Южной Бельгии или в Саксонии. Если мы посмотрим на широкие массы независимых ремесленников, крестьян, везущих продукты своего труда зимой на продажу, рабочих-надомников, сезонных рабочих и представим их озером, то островами на этом озере покажутся рабочие фабрик, заводов, шахт и кузнечно-прессовых цехов. Весь пейзаж это будет почти одна вода; а если метафору приблизить немного к действительности, то островки тростника — это та продукция, которая вырабатывалась в торговых и промышленных центрах. Домашние и другие виды производства, зародившиеся ранее как некие придатки феодализма, все еще существовали. Большинство из них — Силезские полотняные производства — сокращались с потрясающей быстротой[16*] Большие города едва ли подвергались индустриализации, хотя в них проживало много рабочих, ремесленников, работавших в сфере услуг, транспорта и других государственных служб. Во всем мире в городах с населением более 100 тыс. человек, не считая Лиона, только британские и американские являлись настоящими промышленными центрами. В Милане, к примеру, в 1841 г. имелось буквально два маленьких паровых двигателя. Фактически типичный промышленный центр в Британии так же, как и в Европе, представлял собой маленький или средний провинциальный городок или комплекс деревень.

Индустриализация в Европе и до некоторой степени в Америке имела одно важное отличие от британской. Предварительные условия частного предпринимательства здесь были не столь бла-

гоприятны. Как мы видели в Британии, после 200 лет медленной подготовки производственный процесс не испытывал недостатка в стимулах производства и никаких препятствий для полного развития капитализма со стороны казенных органов. В других же местах все было по-иному. В Германии, к примеру, существовала определенная нехватка капитала. Это видно и по очень скромному уровню жизни среднего класса Германии (это замечательно передано в очаровательных в своем аскетизме декорациях интерьера Бидермайера). Часто забывается, что по стандартам того времени в Германии Гёте, чей дом в Веймаре можно было сравнить с домом скромного британского банкира, на самом деле был очень состоятельным человеком. В 1820-х гг. придворные дамы и даже принцессы в Берлине носили простые платья из перкали круглый год, а если у них было шелковое платье, они его берегли для особых случаев[17*] Традиционная система гильдий мастеров, квалифицированных рабочих по найму, подмастерьев продолжала препятствовать деловому предпринимательству, перемещению квалифицированного труда и всем изменениям в экономике, в 1811 г. в Пруссии было запрещено заводским рабочим вступать в гильдии, члены гильдии имели некоторую политическую поддержку от муниципального законодательства того времени. Положение с гильдиями оставалось неизменным до 1830—1840 гг. Только в 1850-х годах повсеместно появились свободные предприниматели.

Множество мелких государств, в каждом свое руководство и закрепленные законом имущественные права — все это сдерживало рациональное развитие. Победой бы явилось создание всеобщего таможенного союза (исключая Австрию), какой с успехом создала Пруссия в своих собственных интересах и под воздействием своего стратегического положения с 1818 по 1834 г. Каждое правительство из меркантильных и патерналистских побуждений обрушивало свои предписания и административный надзор на своих скромных подданных во имя обеспечения социальной стабильности, а также для возбуждения частного предпринимательства. Прусское государство контролировало качество и торговые цены продукции кустарного производства, деятель-

ность силезского кустарного производства тканого полотна и операции шахтовладельцев на правом берегу Рейна. Для того, чтобы кто-то мог открыть шахту, необходимо было получить разрешение правительства, и он мог быть лишен этого права, когда уже занимался бизнесом.

Естественно, при таких обстоятельствах (которые были одинаковы во многих странах) промышленное развитие должно было проходить по другому, отличному от британского, пути. Таким образом, по всей Европе правительство принимало большее участие в промышленном развитии не потому, что уже привыкло к этому, но потому, что было вынуждено.

Вильям I, король Соединенных Нидерландов, в 1822 г. основал Société Générale pour favoriser l'Industrie Nationale des Pays Bas[83], наделенное государственной землей, при этом 40% акций предназначалось королю и 5% другим участникам общества: прусское государство продолжало руководить большинством государственных шахт. Все без исключения новые системы железных дорог планировались правительством, и хотя обычно правительство не строило их, но поддерживало, предоставляя выгодные концессии с гарантированными вкладами. И в самом деле, даже по сей день Британия является единственной страной, чья железнодорожная система была построена исключительно благодаря риску и стремлению к прибыли частного предпринимательства при отсутствии премий и гарантий инвесторам и предпринимателям. Самые первые и великолепно спланированные сети железных дорог в Европе были бельгийские, спроектированные в начале 30-х гг. с целью отделения независимой страны от системы сообщения (главным образом водных), ориентированных на Голландию. Политические затруднения и незаинтересованность консервативной крупной буржуазии помещать деньги в спекулятивные инвестиции, таким образом, откладывало систематическое строительство железной дороги во Франции, решение о строительстве которой было принято парламентом в 1833 г.; в Австрии строительство было отложено из-за нехватки ресурсов, хотя государство решило строить железные дороги в 1842 г.; так же обстояло дело в Пруссии.

По сходным причинам предпринимательство на континенте гораздо больше, чем в Британии, зависело от современного бизнеса, торгового и банковского законодательств и финансовых инструментов. Французская революция создала все это: наполеоновский свод законов, где большое значение отводилось законным гарантиям свободы предпринимательства, в них признавались законы об обмене и других коммерческих сделках; организация предприятий с акционерным капиталом, которые были разрешены по всей Европе, за исключением Британии и Скандинавии, ставших основной моделью для всего мира. Более того, изобретения по финансированию промышленности, принадлежавшие умам молодых революционеров, сен-симонистов, братьев Перейра, были повсюду взяты на вооружение. Их величайшее достижение должно было подождать 1850-х гг., когда во всем мире начался подъем, но еще в 1830-х гг. бельгийское Société Générale начало применять банковские инвестиции таким образом, как придумали Перейра и финансисты Голландии (хотя еще в то время к этому не прислушались большинство бизнесменов), позаимствовавшие идеи сен-симонистов. В сущности, эти идеи были нацелены на привлечение разнообразных внутренних капитальных ресурсов, которые просто так не пошли бы на развитие промышленности, и чьи владельцы не знали бы, куда их вложить, если бы и хотели сделать это, через банки и инвестиционные кредиты. После 1850-х гг. это породило характерный европейский (особенно это было свойственно Германии) феномен большого банка, действующего как инвестор, а также и как банкир, и таким образом контролирующего промышленность и способствующего ее ранней концентрации.

III

Так или иначе экономическое развитие этого периода содержит один большой парадокс: Францию. На бумаге ни одна страна не развивалась более стремительно. У нее были, как мы видели, законы, идеально подходившие для капиталистического раз-

вития. Искусство и изобретательность ее предпринимателей не имели себе равных в Европе. Французы изобрели или первые усовершенствовали универсальный магазин, рекламу и, благодаря передовым позициям французской науки, самым разнообразным техническим новшеством и достижением — фотографию (Никифор Ньепс и Дагерр), процесс газирования (Леблана), отбеливания (Бертоле), гальванизацию. Французские финансисты были самыми изобретательными в мире. Государство обладало значительными резервами капитала, который оно экспортировало, пользуясь технической экспертизой по всей Европе, и даже после 1850 г. через Лондонскую главную компанию омнибусов — в Британию. К 1847 г. около 2250 млн франков было вложено за границей[18*] — по сумме эти капиталовложения вторые после британских и неизмеримо больше, чем вклады какой-либо другой страны. Париж был центром международного финансового мира, лишь немного отставая от Лондона; правда, во времена кризиса, как, например, в 1847 г. несколько сильнее. Французские предприниматели основали газовые компании в Европе — во Флоренции, в Венеции, Падуе, Вероне — и получили преимущественные права открывать такие же компании по всей Испании, в Алжире, в Каире и в Александрии. Французские предприниматели финансировали железные дороги почти по всей Европе (за исключением Скандинавии).

Все же, фактически экономическое развитие Франции шло заметно медленнее других стран. Ее население росло слабо. Ее города (не считая Парижа) росли умеренно, в начале 1830-х гг. некоторые даже уменьшались. Ее промышленная мощь в конце 1840-х гг. была значительнее любой другой страны на континенте — у нее было столько паровых двигателей, сколько у всех европейских государств вместе взятых, — но она уступала первенство Британии, да и Германия была близка к тому, чтобы обогнать ее. И в самом деле, несмотря на ее преимущества и ранний старт, Франция никогда не стала более мощной промышленной державой, чем Британия, Германия и США.

Объяснение этого парадокса состоит в том, что Французская революция сама по себе рукой Робеспьера отнимала то, что ру-

кой Учредительного собрания давала. Капиталистическая часть французской экономики являлась надстройкой, воздвигнутой над неподвижным фундаментом крестьянства и мелкой буржуазии. Безземельные свободные рабочие буквально струились в города, стандартно дешевые товары, способствовавшие успешному бизнесу прогрессивных промышленников во всех странах, во Франции не имели достаточно большого и широкого рынка. Было накоплено достаточно капитала, но зачем его было вкладывать в промышленность своей страны[19*]? Мудрые французские предприниматели производили предметы роскоши, а не товары широкого потребления, мудрые финансисты способствовали скорее иностранной промышленности, чем своей. Частное предпринимательство и рост экономики идут вместе лишь тогда, когда последняя может принести более высокие доходы, чем другие виды бизнеса. Во Франции этого не происходило, хотя сама Франция помогала экономическому росту других стран.

В США положение дел было совершенно иным. Страна испытывало недостаток капитала, но была готова импортировать его в любых количествах, а Британия как раз была готова экспортировать свой капитал. Страна испытывала недостаток рабочей силы, а Британские острова и Германия экспортировали свое излишнее население, после Великого голода середины 40-х гг. миллионы людей отправлялись в США. В стране не хватало специалистов, но даже те рабочие хлопкопрядильный фабрик из Ланкашира, шахтеры из Уэльса и сталеплавильщики могли быть получены из того региона мира, где уже было налажено промышленное производство, а характерная американская привычка изобретать технику для экономии рабочей силы и облегчения условий труда, уже проявилась во всю силу. В США не хватало ни населенных пунктов, ни транспорта для того, чтобы осваивать бескрайние территории и ресурсы. Самого процесса внутренней экспансии было достаточно, чтобы поддерживать экономику в состоянии беспрерывного роста, хотя американские поселенцы, власти, миссионеры и торговцы освоили всю сушу вплоть до Тихого океана и направили свою торговлю, поддерживаемую самым динамичным и вторым по величине торговым флотом в

мире, через океаны, от Занзибара до Гавайских островов. К этому времени американская империя обосновалась в Тихом океане и Карибском бассейне.

Каждый институт новой республики поддерживал накопительство, изобретательность и частное предпринимательство. Огромное вновь прибывшее население оседало в приморских городах и в недавно занятых внутренних штатах, нуждалось в одних и тех же личных предметах домашнего обихода, сельскохозяйственных товарах и технике и тем самым способствовало созданию идеального однородного рынка. Изобретательность и предприимчивость были вознаграждены с лихвой: изобретение парохода (1807—1813 гг.), консервированная пища для моряков (1807 г.), винторезный станок (1809 г.), зубное протезирование (1822 г.), изолированный провод (1827—1831 гг.), револьвер (1835 г.), идея создания пишущей и швейной машины (1846 г.) и множество технических приспособлений и устройств для фермерского хозяйства. Нигде, кроме Америки, экономика не развивалась с подобной скоростью, и несмотря на это, настоящий бурный подъем начался только после 1860 г.

На пути превращения США в мировую экономическую державу было одно важное препятствие—конфликт между промышленно-аграрным Севером и полуколониальным Югом. В то время как Север извлекал выгоду от получения из Европы и в значительной мере из Британии капитала, трудовых ресурсов и технологий, являясь экономически независимым государством, Юг (который мало чем пользовался из этих ресурсов) являлся типичным государством, зависимым от Британии. Юг Америки являлся главным поставщиком быстро растущих фабрик Ланкашира, чем и увековечил свою независимость, так же как Австралия, которая производила только шерсть, как Аргентина — только мясо. Юг выступал за свободную торговлю, которая позволила бы ему продавать свою продукцию Британии, а у нее покупать дешевые товары. Север почти с самого начала (1816 г.) защищал отечественных промышленников от иностранных, в первую очередь британских капиталистов, чей товар в то время был дешевле. Север и Юг соперничали за влияние на западных территори-

ях, выступая, одни за плантации, обрабатываемые рабами и отсталые, но экономически независимые районы на возвышенностях, занятых поселенцами, другие для применения на этих землях своих жаток и для устройства массовых скотобоен, но только до тех пор, пока не настала эра трансконтинентальной железной дороги; и благодаря железной дороге Средний Запад не получил здесь главный рынок сбыта и не обрел тут значительное экономическое преимущество. Преимущество капиталистической экономики в Америке стало очвидным после гражданской войны 1861—1865 гг., в результате которой произошло объединение Америки под руководством капиталистического Севера.

Другим будущим исполином мировой экономики была Россия, которая в это время была все еще экономически отсталой страной, хотя аналитики, заглядывающие в будущее, уже тогда предсказывали, что рано или поздно она догонит развитые державы благодаря своим огромным размерам, населению и ресурсам. Шахты и фабрики, созданные в XVIII в. царями, землевладельцами или купцами, которые являлись нанимателями, а крепостные были рабочими, медленно приходили в упадок. Новые отрасли промышленности — кустарное и малые текстильные производства — только начали развиваться действительно более или менее заметно лишь после 1860-х гг. Лишь экспорт зерна на Запад из плодородного украинского черноземья смог достичь некоторого прогресса. Входившая в Россию Польша была более развитой, но, как и во всей Восточной Европе, от Скандинавии на севере до Балканского полуострова на юге, эра всеобщего экономического перерождения тут еще не наступила. Так же обстояли дела в Южной Италии и Испании, не считая маленьких островков Каталонии и Страны Басков. И даже на севере Италии экономические изменения были намного существеннее, они были наиболее заметны в сельском хозяйстве (в этом районе всегда находился рынок вложения капиталов и капиталистических предприятий), а также в торговле и торговом флоте, а не в производстве. Развитие производства на юге Европы находилось в невыгодном положении из-за нехватки угля, который являлся единственным важным источником промышленной энергии.

Таким образом, одна часть мира быстро продвигалась по пути индустриализации, другая отставала. Но эти два явления были тесно связаны друг с другом, поскольку экономическое отставание и регрессия являются продуктами экономического развития. Как могли относительно отсталые экономики противостоять силе, или в некоторых случаях привлекательности, новых благополучных в промышленном или торговом отношении центров? Англичане и некоторые другие европейские государства могли легко победить своих соперников в торговле, продавая товары по более низким ценам. Их можно было назвать мастерской мирового значения. Ничего странного нет в том, что менее развитые страны должны были заниматься производством продуктов питания и добычей полезных ископаемых, обменивая свои неконкурентоспособные товары на промышленные товары Британии (или других европейских стран). Ричард Кобден говорил итальянцам: «Солнце — это ваш уголь!»[20*] Там, где местная власть находилась в руках крупных землевладельцев или даже прогрессивных фермеров, обмен производился с выгодой для обеих сторон. Кубинские владельцы плантаций преуспевали, получая барыши на продаже сахара и ввозе иностранных товаров, что позволяло иностранцам покупать сахар. Там же, где местные производители могли отстаивать свои интересы, или местные власти понимали выгоду от сбалансированного экономического развития или невыгодность зависимости, положение было менее радужным. Фридрих Лист, германский экономист, как всегда пользуясь методами абстрактной философии, отверг международную экономику, в результате которой Британия стала главной и единственной промышленной державой, настаивал на проведении политики протекционизма, и таким же образом, как мы видели, поступили американцы.

Это все явилось доказательством того, что экономика была политически независимой и достаточно сильной, чтобы принять или отвергнуть роль первенца индустриализации, являясь небольшой частицей мира. Там, где экономика не была независима, как, например, в колониях, у нее не было выбора. Индия, как мы видели, находилась на пути деиндустриализации, Египет являл-

ся еще более ярким примером этого процесса. Что касается последнего, то его правитель Мехмет-Али постоянно хотел направить свою страну на современный путь, т. е. путь промышленной экономики.

Он не только способствовал выращиванию хлопка для мирового рынка (с 1821 г.), но с 1838 г. вложил значительную сумму в 12 млн фунтов в промышленность, в которой было задействовано в то время от 30 до 40 тыс. рабочих. Что случилось бы, если бы Египет был предоставлен сам себе, мы не знаем. Но случилось так, что англо-турецкое соглашение 1838 г. помогло иностранным торговцам проникнуть в страну, таким образом подрывая иностранную торговую монополию внешней торговли, через которую действовал Мехмет Али, а поражение, которое в 1839—1841 гг. Запад нанес Египту, заставило его сократить армию и таким образом прекратить большинство своих начинаний на пути к индустриализации[21*]. Не в первый и не в последний раз в XIX в. канонерки западных стран открыли страну для торговли и обеспечили превосходство в соревновании промышленно развитой части мира. Кто, глядя на Египет во времена британского протектората в конце века, узнал бы в нем страну, которая полвека назад, и к негодованию Ричарда Кобдена*, была первой туземной страной, попытавшейся встать на путь индустриализации и вырваться из экономической отсталости?

Из всех экономических последствий периода двойственной революции это разделение на развитые и отсталые страны оказалось наиболее глубоким и наиболее длительным. Грубо говоря, к 1843 г. стало ясно, какие страны будут относиться к первой группе, а именно: Западная Европа (за исключением Пиренейского полуострова), Германия, Северная Италия и части Центральной Европы, Скандинавия, США и, возможно, колонии, заселенные англоязычными переселенцами. Но также было ясно и

---

* «Все это разорение продолжается при наличии великолепного хлопка-сырца, который они обязаны продавать нам... И это не все зло, поскольку рабочая сила, привлеченная в промышленность, оторвана от возделывания земли». (Морлей. «Жизнь Кобдена». Гл. 3).

то, что остальные страны, не считая небольших районов, отставали, не выдерживая бесцеремонного давления экспорта западных товаров и военных экспедиций, превращавших их в экономически зависимые от Запада страны. И если бы в 1930-х гг. Россия не развила промышленность для того, чтобы перепрыгнуть пропасть между отсталыми и развитыми странами, ей так и пришлось бы оставаться неподвижной, застывшей на полпути между большинством и меньшинством мирового сообщества. В истории XX в. нет лучшего примера того, как отсталая страна превратилась в передовую.

ГЛАВА 10

КАРЬЕРА, ДОСТУПНАЯ ТАЛАНТУ

Однажды я прогуливался с одним из этих господ, представителей среднего класса, по Манчестеру. Я говорил ему об этих позорных, вредных трущобах и обратил его внимание на безобразное состояние этой части города, в которой жили фабричные рабочие. Я воскликнул, что никогда в своей жизни не видел так плохо построенного города. Он спокойно все это выслушал и на углу улицы, где мы прощались заметил: «И все же здесь удалось заработать немалые деньги. С добрым утром, сэр!»

Ф. Энгельс. Положение рабочего класса в Англии[1*]

L'habitude prévalut parmi les nouveaux financiers de faire publier dans les journaux le menu des diners et les noms des convives.

M. Capefigue[2*]

I

Революция упразднила одни институты и создала другие, но никто в то время не мог предвидеть, к каким последствиям это приведет. Главным результатом французской революции было уничтожение аристократического общества. Не «аристократия» в смысле иерархии социальных различий, обозначаемых титулами или другими явными отличиями исключительности, а зачастую та, в основе которой лежит иерархия благородства по рождению. Общества, основанные на карьеризме личности, приветствовали столь видимые и очевидные знаки успеха. Наполеон даже восстановил официально родовое дворянство, которое после 1815 г. присоединилось к оставшимся в живых аристократам. Но конец аристократического общества не означал конца аристокра-

тического влияния. Растущие классы обычно склонны считать символами благополучия и власти комфорт, роскошь и помпезность, которые были присущи прежним правящим классам. Жены разбогатевших чеширских торговцев мануфактуры старались походить на леди, вычитывая инструкции из бесчисленных книг по этикету, которых выпускалось для этих целей с 1848 г. великое множество, а у нажившихся на наполеоновских войнах дельцов высоко котировались титулы баронов; буржуазные салоны покрылись бархатом и позолотой, зеркалами, стульями и другой мебелью в стиле Людовика XV... английский стиль со слугами и лошадьми, но все это без аристократического духа. Что могло быть предметом большей гордости для какого-нибудь банкира, неизвестно откуда выскочившего, чем слова: «Когда я появляюсь в моей театральной ложе, все лорнеты обращены на меня, и меня приветствуют почти королевскими овациями!»[3*] Французская культура, так основательно созданная двором и аристократией не могла бесследно уйти. Так, французская литературная проза XVII в. была отмечена тонким психологическим анализом человеческих отношений; существенной частью парижской буржуазной культуры XVIII в. стали сексуальные похождения, любовницы, найденные по объявлению. Прежние короли имели официальных любовниц, теперь это же позволяли себе преуспевающие биржевые маклеры. Куртизанки содержали своих возлюбленных, сами находясь на содержании преуспевающих банкиров, а те, оплачивая и тех и других, пускали по ветру целые состояния. Революция во многих отношениях сохранила аристократические черты французской культуры в исключительно чистой форме, точно так же, как и русская революция сохранила классический балет и характерное отношение буржуазии XIX в. к «хорошей литературе», к которой она была исключительно привержена. Они были захвачены ею, поглощены ею, как желанным наследием прошлого, и с тех пор хранили ее от последующих возможных искажений.

И все-таки старый режим был свергнут, а брестские рыбаки в 1832 г. считали, что вспыхнувшая холера являлась наказанием Господним за свержение законного короля. Официальная рес-

публиканская система правления медленно распространялась в якобинском центре страны и в некоторых давным-давно «дехристианизированных» областях, но уже на первых всеобщих выборах в мае 1848 г. легитимизм находил поддержку только на западе и в бедных центральных департаментах. Политическая география современной сельской Франции уже была в основном сформирована. Реставрация Бурбонов не смогла восстановить старый режим, более того, когда Карл X попытался это сделать, его свергли.

Общество эпохи Реставрации было уже таким, каким описывал его Бальзак: обществом капиталистов и карьеристов типа стендалевского Жюльена Сореля в куда большей степени, чем обществом вернувшихся из эмиграции герцогов. Целая геологическая эпоха отделяла это общество от той «сладкой жизни» в 1780-х гг., о которой так сожалел Талейран. Бальзаковский Растиньяк гораздо ближе к мопассановскому «Милому другу», типичному представителю 1880-х гг. или даже Сэмми Глику, типичному представителю Голливуда 1940-х гг. чем к Фигаро — не аристократу, снискавшему успех в 1780-х годах.

Короче говоря, общество постреволюционной Франции было буржуазным по своей структуре и содержанию. Это было общество выскочек, обязанных всем самим себе, хотя это было не всегда так уж заметно, а только тогда, когда само государство управлялось выскочками-республиканцами или бонапартистами. Нам покажется не слишком революционным, что половина французского сословия пэров в 1840 г. принадлежала к старым дворянским родам, а для современной буржуазии был замечателен тот факт, что другой половиной были в 1789 г. простолюдины, особенно, когда они сравнивали Францию с другими государствами Европы, где существовали исключительные общественные иерархии. Фраза: «Когда умирают добрые американцы, они отправляются в Париж» — означает, что Париж в XIX в. стал, хотя и не до конца, настоящим раем для выскочек, пока не наступила Вторая империя. Лондон или Вена, С.-Петербург, Берлин были столицами, в которых не все можно было купить за деньги, по крайней мере в первом поколении. В Париже мало чего осталось такого, что бы невозможно было купить.

Новое общество было присуще не только Франции, но если мы посмотрим на демократическое государство США, то во Франции это общество было более очевидным и более официальным, хотя и не таким законченным, как в Британии или в Нидерландах. В Британии великими поварами считались те, кто служил у дворян вроде Карема, служившего теперь герцогу Веллингтону (до этого он служил Талейрану), или в олигархических клубах, как Алексис Сойе в Клубе реформ. Во Франции существовал уже дорогой ресторан, в котором начали работать повара дворян, потерявшие во время революции свою работу. То, что мир изменился, становится понятно, когда смотришь на титульный лист руководства по классической французской кулинарии и читаешь: «A. Beauvilliers, ancien officier de Monsieur, Comte Provence... et actuellement Restaurateur, rue de Richelieu no. 26, la Grande Taverne de Londres[4*]».

Gourmands (гурманы) — своеобразные особы, появившиеся в эпоху Реставрации, число которых возросло с 1817 г., благодаря «Журналу для гурманов» Брийя-Саварена, приходили тогда в Café Anglais или Café de Paris съесть обед в отсутствие хозяйки дома. В Британии пресса оставалась средством наставления, обличения и политического давления. Во Франции в 1836 г. Эмиль Жирарден основал современную газету — «La Presse» — политическую, но дешевую, предназначенную для публикации рекламы, она привлекала своих читателей сплетнями, рассказами и разными другими фокусами*. (У Французов занятия в этих сомнительных сферах деятельности называлось словом «журнализм», у англичан — «паблисити», «реклама» и «анонс» — в Германии.) «Мода», «универсальный магазин», «витрина» — которые воспел Бальзак** — все эти слова были изобретены французами в 1820-х гг. Революция сделала карьеры открытыми для талантов, предоста-

---

* В 1835 г. «Journal des Débats» (около 10 тыс. экземпляров) зарабатывал около 20 тыс. франков в год, помещая объявления. В 1838 г. четвертая страница «Ля Пресс» сдавалась под объявления за 150 тыс. франков в год, а в 1845 г. за 300 тыс.[5*]

** «Le grand poème de l'étalage chante ses strophes de couleur depuis la Madeleine jusqu'á la Saint-Denis».

вив доступ в «приличное общество» актерам, в то время как их общественный статус в аристократической Британии оставался таким же, как статус боксеров и жокеев: в Мэзон Лаффит (названном в честь банкира, который благоустроил предместья) Лаблаш, Тальма и другие люди театра создали себя под боком от прекрасного дома князя московского.

Воздействие промышленной революции на структуру буржуазного общества, на первый взгляд, было невелико, но фактически оно оказалось более глубоким, чем представлялось. Поскольку она создала новые объединения буржуазии, которые сосуществовали с официальным обществом, слишком большие, чтобы их можно было поглотить, хотя на самом верху они слегка ассимилировались и были чересчур самоуверенны и динамичны, чтобы смириться с тем, чтобы их поглотили, разве что на их собственных условиях; в 1820 г. эти полчища солидных бизнесменов все еще не были видны из Вестминстера, где пэры и их родственники пока преобладали в нереформированном парламенте, или из Гайд-парка, где дамы вроде Гарриет Вильсон, полностью порвавшие с пуританизмом, ездили в своих фаэтонах в окружении армейских франтов-поклонников, дипломатов и пэров, включая самого «Железного герцога» Веллингтона, весьма далекого от буржуазии. Торговцев, банкиров и даже промышленников в XVIII в. было еще слишком мало, чтобы им свыкнуться с существующим официальным обществом: и в самом деле, первое поколение хлопковых миллионеров, возглавляемых Робертом Пилем Старшим, сына которого уже готовили к посту премьера, были добропорядочными, твердыми тори, хотя и умеренного толка. Тем не менее железный плуг индустриализации помог вырасти множеству суровых бизнесменов под дождевыми облаками севера. Манчестер уже не шел на соглашения с Лондоном.я Под боевой клич «О чем Манчестер думает сегодня, Лондон подумает завтра» они были готовы навязать свои условия капиталу.

Новые люди из провинции представляли грозную силу, и тем больше, чем увереннее они становились в себе как в классе более чем среднего ранга, являясь связующим звеном между высшими и низшими слоями населения. (Фактически термин «средний

класс» появляется приблизительно около 1812 г.) К 1834 г. Джон Стюарт Милль уже сожалел, что общественные комментаторы «вращались в своем неизменном кругу землевладельцев, капиталистов и рабочих еще до того, как они начали задумываться о разграничении общества на эти три класса, как будто это произошло по одному из повелений Господних»[6*] Более того, они представляли не просто класс, но сражающийся класс, находящийся на первых порах в союзе с рабочей беднотой (которая должна была, как они считали, идти вслед за ними*) против аристократического общества, а позже против обоих: и против пролетариата, и против землевладельцев, особенно в такой организации, как Лига по борьбе против хлебных законов. Они были людьми, рассчитывавшими только на себя, или людьми очень скромного происхождения, от рождения не слишком богатыми, получившими домашнее или официальное высшее образование. (Как и мистер Баундерби у Диккенса в «Тяжелых временах», они с неохотой говорили об этом.) Они были богаты и с каждым годом становились все богаче. И они были уверены, что их карьеры ниспосланы им божественным Провидением, а наука и история объединились, чтобы преподнести им землю на блюдечке. «Политическая экономия», выраженная в нескольких простых догматических утверждениях, сделанных некими журналистами-публицистами, добившимися успеха своими силами, воспевавшими добродетели капитализма (Эдвард Бэнз из «Лидс Меркури» (1774—1848 гг.), Джон Эдвард Тейлор из «Манчестер Гардиан» (1791—1844 гг.), Арчибальд Прентис из «Манчестер таймс» (1792—1857 гг.), Самуэль Смайлз (1812—1904 гг.), придала им уверенность мыслящих людей. Протестантская оппозиционность вроде оппозиционности независимых, унитаристов, баптистов и квакеров в большей мере, чем взгляды представителей методистов, вселяла в них стойкость духа и презрение к бесполезным аристократам. Ни страха, ни раздражения, ни даже сожаления не испы-

---

* У этого класса людей, находящихся ниже среднего уровня, сформировались представления и мысли, находящиеся под влиянием интеллигентных и добродетельных представителей среднего класса, которые в свою очередь сразу вступили с ними в контакт. (*Джеймс Милль*. «Очерк о правительстве», 1823).

тывали наниматели, говорившие своим рабочим: «Бог создал справедливый и беспристрастный закон, нарушать который человек не имеет права, если же он рискнет это сделать, он должен быть уверен, что рано или поздно его настигнет соответствующая кара... Таким образом, когда хозяева смело сочетают это с властью, они могут более эффективно угнетать своих слуг: поступая так, они оскорбляют могущество небес и навлекают на себя проклятие Господне, тогда как слуги, объединившиеся, чтобы вымогать у своих хозяев ту долю дохода, которая всецело принадлежит хозяину, также нарушают законы справедливости»[7*]

Порядок существовал во вселенной, но после этого его уже не стало. Теперь был один Бог, чье имя было пар и который говорил голосом Мальтуса, Мак-Куллоха и всех тех, кто использовал технику.

Интеллигенты, ученые и писатели XVIII в., так защищавшие новых буржуа, не скроют того факта, что те слишком были заняты денежной наживой, чтобы волноваться о чем-либо, не связанном с бизнесом. Они ценили своих интеллигентов, даже когда, как Ричард Кобден (1804—1865 гг.), — они не были слишком удачливыми бизнесменами только потому, что они придерживались практичных идей, поскольку они были практичными людьми, и если им недоставало образования, то это побуждало их с подозрением относиться ко всему, что выходило за рамки эмпиризма. Чарльз Бэббедж (1792—1871 гг.), ученый, предложил им использовать свои научные методы, но напрасно. Сэр Генри Коул, родоначальник промышленного дизайна, технического образования и рационализаторских идей на транспорте, оставил им (при неоценимой помощи германского принца-консорта) самый замечательный памятник их усилиям — Большую выставку 1851 г. Но он был вытеснен из общественной жизни как человек, всюду сующий свой нос, склонный к бюрократии, а все правительства, как известно, питают отвращение ко всему, что напрямую не приносит им выгоды. Джордж Стефенсон, механик-самоучка с угольных копий, занимался новыми железными дорогами; подгоняя их ширину под ширину лошади и коляски, он никогда не думал

о чем-либо еще, так же, как одаренный, искушенный, дерзкий, инженер Исамбард Кингдом Брюнель, которому не поставлен памятник в пантеоне инженеров, построенном Самуэлем Смайлзом, а осталась только фраза: «Изобретения Стефенсона принесли такую практическую пользу и выгоду, что сделали его человеком, достойным подражания»[8*] Философы радикального толка приложили все усилия для того, чтобы создать сеть технических учебных заведений, а действующие преподаватели настаивали на том, чтобы курс, прослушанный в них, был очищен, воспитывал новых инженеров базовых отраслей промышленности. К 1848 г. большинство из них были на грани смерти из-за отсутствия какого-либо всеобщего признания того, что подобное технологическое образование могло научить англичанина (столь непохожего на германца или француза) чему-либо полезному. Из стен этих заведений выходили интеллигентные и культурные производственники с пытливым умом, постоянно толпящиеся на собраниях Британской ассоциации за развитие науки, но было бы ошибкой полагать, что таковыми же были все представители этого класса.

Поколение этих людей выросло в промежуток времени между Трафальгарским сражением[84] и Большой выставкой[85]. Их предшественники воспитали культурных и рационально мыслящих провинциальных купцов и министров, интеллектуальную элиту либерального века и должны были испытать менее суровую судьбу: Джозайя Веджвуд (1730—1795 гг.) состоял в FRS, был членом Общества антикваров и членом Лунного общества, где также состоял и Мэтью Бултон, его партнер Джеймс Уатт, а также химик и революционер Пристли. (Его сын Томас проводил опыты с фотографией, издавал научные газеты и субсидировал поэта Кольриджа). Предприниматели XVIII в. обычно строили свои заводы по проектам книг георгианских строителей. Их наследники были если не более культурны, то по меньшей мере более щедры и к 1840 г. у них уже было достаточно денег, чтобы тратить их на псевдобаронские и псевдоготические резиденции и городские ратуши в стиле Ренессанса, перестраивать свои скромные утилитарные или классические церкви в готическом стиле.

Но между георгианской и викторианской эрой наступило время, которое по праву называется мрачным периодом в жизни буржуазии и рабочего класса, чьи очертания Чарльз Диккенс навсегда запечатлел в своем романе «Тяжелые времена».

Ханжеский протестантизм, суровость, самодовольство, невежество при всеобщем почитании пуританской морали, которой всегда сопутствовало лицемерие, — вот какой была эта несчастная эпоха. «Добродетель, — как сказал Дж. М. Янг, — продвигалась вперед широким непобедимым фронтом» (это о тех, кто никогда денег не делал и не контролировал ни свои эмоции, ни свои финансовые расходы), она ступала робкими шагами, слабая и грешная, прямо в грязь, из которой сама и происходила, получая по заслугам за то, что была более милосердна. В этом был некий смысл капиталистической экономики. Мелкие предприниматели должны были приложить немало усилий, чтобы получить большие прибыли от своего бизнеса и стать крупными предпринимателями. Массы новых пролетариев должны были либо влиться в промышленный ритм, где царила жестокая дисциплина труда, либо, если им это не подходит, идти грабить. И даже сегодня сердце сжимается при виде пейзажа, созданного этим поколением[9*]:

«Все в Коктауне было либо занято трудом, либо предназначено для того, чтобы там трудились. Если верующие какого-нибудь вероисповедания строили там церковь — а там находилось восемнадцать различных религиозных сект, — они строили нечто вроде склада из красного кирпича, иногда с колоколом в птичьей клетке на верхушке. Все надписи на общественных заведениях города выглядели одинаково, строгие, черно-белые. Тюрьма могла оказаться больницей, а больница могла оказаться тюрьмой, ратуша могла оказаться либо тем, либо другим, а то и тем и другим вместе, поскольку все они были построены так, что напоминали друг друга. Серая действительность повсюду и в каждом материальном аспекте этого города, серая действительность и в духовном состоянии... Все являлось серой действительностью, от лежания в больнице до места на кладбище, и существовало только то, что можно было выразить в цифрах или выставить на

продажу на дешевом рынке, или продать по самой высокой цене, все остальное не имело права на существование.

О, бесконечный мир, Аминь»*.

Таково мрачное описание буржуазного утилитаризма, которое составили агностики XVIII в., философы-радикалы, мнение которых разделяли и евангелисты и пуритане, но он, однако, создал и свою функциональную красоту, выраженную в железных дорогах, мостах и пакгаузах, а также и романтический ужас задымленных, бесконечных серо-черных или красноватых рядов маленьких домишек, выглядывающих из-за заводских стен. Вне этого мира жили новые буржуа (если средства позволяли им покинуть такие места), подчинившие все своей власти, моральному диктату и миссионерскому воздействию, распространявшемуся на черных язычников по всему свету. Представители этого класса олицетворяли деньги, которые давали им власть над миром, их жены не получали от своих мужей денег даже на то, чтобы нормально вести хозяйство, и олицетворяли добродетель своего класса: глупые, необразованные и непрактичные, неграмотные в сексуальном отношении, не имеющие собственности и находящиеся под властью своих мужей. Они были единственной роскошью, которую мог позволить себе этот экономный самостоятельный век. Британские буржуа являлись наиболее крайними представителями своего класса, а по всей Европе подобных им было не так уж много: католики в текстильных районах севера Франции или Каталонии, кальвинисты на Аляске, лютеране-пиетисты в Рейнской области, евреи по всей Центральной и Восточной Европе. Они редко были столь же усердны, как и британские, поскольку зачастую не могли расстаться со старыми традициями сельской жизни и опеки. Леон Фоше был потрясен до боли, несмотря на его доктринерский либерализм, увидев Манчестер 1840-х гг., да и могло ли это не потрясти заезжего наблю-

* *Леон Фоше*. «Манчестер в 1844 г.» (1844) С. 24—25: «Город показан, как это понимал утопист Бентам. Все оценивается по результатам, по мере полезности, а если красивое, величественное или благородное когда-либо появлялось в Манчестере, оно подлежало изменению в соответствии с этими стандартами».

дателя из Европы?[10*] Но так же как и английская буржуазия, буржуазия других стран становилась чем богаче, тем самоуверенней. С 1830 по 1856 г. свадебное приданое в семье Дансет из Лилля возросло с 15 тыс. до 50 тыс. франков[11*] — полное доверие экономическому либерализму и отказ от неэкономической деятельности. Прядильные династии Лилля презирали военную карьеру вплоть до первой мировой войны. Дольфусы из Мульхауза отговаривали юного Фредерика Энгеля от поступления в знаменитый Политехнический, потому что боялись, что обучение там приведет его скорее к военной службе, нежели к карьере бизнесмена. Аристократов же с их родословной военная служба особо не соблазняла; подобно наполеоновским маршалам, они были своими собственными предками.

II

Главным достижением двух революций было то, что они открыли путь к карьере для талантов или по крайней мере для энергии, проницательного ума, трудолюбия и алчности. Конечно, не все карьеры и не до высочайшей ступени, за исключением лишь США. И все же какие необычайные открывались возможности и как далеки были представления о неподвижном иерархическом идеале прошлого от возможностей XIX в.! Кабинет-министр фон Шеле королевства Ганновер отказался принять на государственный пост молодого юриста из-за того, что его отец был переплетчиком и он должен был заниматься этим ремеслом, грязным и смехотворным[12*] Хотя он всего лишь повторил вековую мудрость стабильного докапиталистического общества; в 1750 г. сын переплетчика должен был со всей вероятностью заниматься ремеслом своего отца. Теперь вовсе нет. Четыре дороги к вершинам были открыты перед ним: бизнес, образование (которое позволяло пойти по трем путям — правительственной службы, политики и свободной профессии), искусство и армия. Последняя, во Франции достаточно важная во время революционного и наполеоновского периода, утратила прежнее значение во время дли-

тельного мира, а потом и вовсе перестала быть привлекательной. Третья была новой только благодаря общественному признанию исключительных способностей развлекать или трогать публику, признанию более значительному, чем когда-либо прежде, вследствие того, что сценическое искусство было поднято на более высокую ступень; в эдвардианской Британии существовало даже такое явление, как рыцарское звание для актеров или женитьба дворянина на девушке-хористке. Даже в постнаполеоновский период уже существовало такое явление, как кумир-певец (Дженни Линд — «шведский соловей») или танцовщик (Фанни Эльслер) и обожествленные концертные исполнители (Паганини и Ференц Лист).

Не для всех были открыты дороги в бизнесе и образовании, даже из тех, кто был достаточно свободен от обычаев и традиций, чтобы поверить, что такие люди, как он, могут быть приняты в обществе, чтобы знать, как вести себя в обществе индивидуалистов, или осознать необходимость самоусовершенствования. Тому, кто намеревается отправиться в путешествие, необходимо заплатить некую плату: без некоторых личных способностей, хотя бы минимальных, трудно было выходить на широкую дорогу успеха. Такая плата за вступление на путь была, без сомнения, выше для тех, кто вступал на дорогу образования, нежели на путь бизнеса, поскольку даже в странах, которые приняли систему всеобщего образования, начальное образование находилось в величайшем небрежении, и даже там, где оно существовало, оно было ограниченным по политическим причинам и обеспечивало минимум грамотности, знание арифметики и моральное послушание. Тем не менее, как ни парадоксально на первый взгляд, но путь образования казался более привлекательным, чем путь бизнеса.

Это, без сомнения, происходило потому, что вступившему на него требовалось намного меньше революционных изменений в своих привычках и в образе жизни. Ценность обучения, если оно было клерикальным по форме, была признана в традиционном обществе, и образование занимало там гораздо более значительное место, чем в буржуазном обществе. Иметь в семье священника, министра или раввина было величайшей гордостью,

на которую только мог рассчитывать небогатый человек; титанические жертвы окупались с лихвой. Восхищение общества теперь было обращено на светского интеллектуала, служащих или учителей или в самых редких случаях на юристов и врачей. Более того, образование теперь не считалось антисоциальным, как им явно был бизнес. Образованному человеку не нужно было изменяться и порывать со своими влечениями, подобно бесстыдным и эгоистичным торговцам и предпринимателям. Зачастую, особенно учителя, просто помогали людям подняться из своего невежества и темноты, которые были причиной их невзгод. Всеобщая жажда обучения утолялась легче, чем всеобщая жажда начать частный бизнес, и наладить школьное обучение было гораздо легче, чем освоить странное искусство делать деньги. Общины почти полностью состояли из мелких крестьянских собственников, мелких торговцев и пролетариев, как в Уэльсе, но могли одновременно желать, чтобы их сыновья стали учителями и министрами, что объяснялось горьким чувством негодования общества по отношению к богатству и бизнесу как таковому.

Тем не менее в некотором смысле образование представляло собой соревнование индивидуумов, «карьера открылась для талантов» и заслуги ценились выше знатности происхождения. В образовании, так же как и в бизнесе, было придумано изобретение — соревновательные экзамены. Как обычно, французская революция создала свое самое логичное изобретение, экзамены параллельных иерархий, при помощи которых происходит прогрессивный отбор студентов из победителей, из интеллектуальной элиты для руководства и управления французским народом. Эрудиция и соревновательные экзамены являлись мечтой для большинства британских мыслителей скромной буржуазной школы; философы-радикалы, последователи Бентама, в начале нашего периода воплотили эту мечту в чрезвычайно простой форме в высшем Британском доме и индийской гражданской службе, несмотря на яростное сопротивление аристократии. Отбор по заслугам, которые определялись на экзаменах или на других образовательных тестах, стал общепринятым образцом, кроме наиболее архаичных европейских общественных служб (таких, как

папская или британское внешнеполитическое ведомство), или наиболее демократичных, которые отдавали (как в США) предпочтение выборам, а не экзаменам, как критерию годности на общественный пост. Поэтому, как и другие формы личного соревнования, сдача экзаменов была либеральной формой, но отнюдь не демократической или равноправной.

Главный социальный результат для общества в открытии образования для талантов был парадокс, именно он привел к созданию не «открытого общества» свободного соревнования в бизнесе, а «закрытого общества» бюрократии; но оба, каждое по-своему, они являлись характерными учреждениями либерально-буржуазной эры. Преобладающей чертой высших общественных служб XIX в. главным образом было то же, что и в XVIII в., веке Просвещения: масонское и постфенианское в Центральной и Восточной Европе, наполеоновское во Франции, либеральное и антиклерикальное в других латинских странах, в Британии — по Бентаму. По общему признанию, соревнование было заменено автоматическим продвижением, коль скоро человек с заслугами однажды завоевал свое место на службе; другое дело, насколько быстро и как далеко продвигался человек, все еще зависело (теоретически) от заслуг до тех пор, пока общее равноправие не стало причиной продвижения меньшинства. На первый взгляд, бюрократия совсем не соответствовала идеалам либерального общества. И все же общественные службы были связаны сознанием того, что они были выбраны по заслугам, в атмосфере, где преобладают неподкупность, практическая целесообразность и образование, а не аристократическое происхождение. Даже железная неизбежность автоматического продвижения (которое достигло абсурдных размеров в самой буржуазной организации среднего класса — в британском военно-морском флоте) по крайней мере имела преимущество в отсутствии типично аристократических или монархических привычек выдвижения фаворитов. В обществах, где экономическое развитие отставало, общественные службы тем не менее обеспечивали возможность роста среднего класса*. Не

* Все чиновники в бальзаковских романах происходили или ассоциировались с семьями мелких предпринимателей.

случайно в 1848 г. в парламенте Франкфурта 68% всех депутатов были гражданскими служащими или другими чиновниками (тогда как только 12% представителей «свободных профессий» и 2,5% бизнесменов имели депутатские мандаты)[13*]

Таким образом, к счастью для потенциального карьериста, постнаполеоновский период почти повсюду был отмечен увеличением государственного аппарата и объема деятельности правительств, хотя и далеко не достаточным, чтобы все желающие из возросшего числа грамотных граждан могли получить в них место. С 1830-х по 1850-е гг. общественные затраты per capita[86] возросли на 25% в Испании, на 40 — во Франции, на 44 — в России, на 50 — в Бельгии, на 70 — в Австрии, на 75 — в США и более чем на 90% в Нидерландах. (Только в Британии и в британских колониях, Скандинавии и некоторых отсталых странах расходы правительства на одного человека оставались на прежнем уровне или падали в этот период расцвета экономического либерализма[14*].) Все это происходило не только из-за того, что основные расходы государств шли на армии, которые оставались достаточно большими после наполеоновских войн, несмотря на отсутствие международной военной угрозы: из главных государств только Британия и Франция в 1851 г. имели армии, по численности гораздо меньшие, чем во время апогея власти Наполеона в 1810 г., а некоторые — такие как Россия, различные германские и итальянские государства и Испания — располагали очень большими армиями. Это было вызвано развитием старых и приобретением новых функций государствами. Ибо элементарной ошибкой являлась уверенность в том, что либерализм враждебен бюрократизму. Вульгарно-либеральные лозунги государства, отказавшегося от старинных функций часового, подтверждают тот факт, что государство, которое отказалось от неэффективных и препятствующих развитию функций было более сильным и властным государством, чем раньше. К примеру, к 1848 г. существовали государства, которые обзавелись современными, часто национальными полицейскими силами: так, во Франции они появились в 1798 г., в Ирландии в 1823 г., в Англии в 1829 г. и в Испании (гражданская гвар-

дия) в 1844 г. Вне Британии для государств стало нормой иметь общественную систему образования, а США было государством, которое имело или намеревалось заиметь общественную службу железных дорог, государством, которое имело большую и постоянно растущую почтовую службу, для удовлетворения быстро растущих потребностей буржуазии и частного сообщения. Рост населения сделал необходимым создание более сложной судебной системы, а рост городов и муниципальных общественных проблем привел к увеличению системы муниципальной администрации. Независимо от того, были ли функции правительства новыми или старыми, они все больше руководствовались единой национальной гражданской службой обеспечением служащих полным рабочим днем, высшие эшелоны которых свободно передвигались и повышались центральными властями во всех государствах. Тем не менее пока функционировала такая служба и могла сократить ряд служащих и общий расход на администрацию, борясь с коррупцией и сокращая служащих неполного рабочего дня, она создавала гораздо более грозную правительственную машину. Наиболее простые функции либерального государства — эффективное обложение и сбор налогов чиновниками, находящимися на жалованье, или создание регулярной национальной сельской полиции, обо всем этом дореволюционные абсолютистские режимы и мечтать не могли. Так же и с уровнем обложения налогами; иногда применялся прогрессивный подоходный налог*, допустимый в данном либеральном государстве: в 1840 г. в либеральной Британии расходы правительства были в 4 раза выше, чем у правительства автократичной России.

Не многие из этих бюрократических постов были тем маршальским жезлом, который легендарный наполеоновский солдат, носил у себя в ранце. Из 130 тыс. гражданских служащих во Франции 1839 г.[15*] большинство были почтовыми служащими, учителями, меньше было налоговых служащих, юристов и т. п.

* В Британии во времена наполеоновских войн это было введено на время, а после 1842 г. уже постоянно, ни в одной другой крупной стране этого не было до 1848 г.

и только 450 служащих министерства внутренних дел, 350 — министерства иностранных дел, состоявшем в основном из клерков; с человеческой точки зрения, их жизни, которая тоже хорошо прослеживается в литературе от Диккенса до Гоголя, не позавидуешь, их привилегии общественной службы и уверенности в завтрашнем дне, при которых им приходилось голодать на протяжении всей жизни. Должностей, которые действительно приравнивались бы к хорошей карьере выходца из среднего класса, было мало, в финансовом отношении ни один служащий благородного происхождения не мог когда-нибудь надеяться на большее, чем скромный комфорт. Даже сегодня класс управленцев британской гражданской службы, которая была создана благодаря реформам середины XIX в., приравниваемый к среднему классу в буржуазной иерархии, состоит из 3500 человек. Каким бы скромным в Британии ни было положение мелких служащих или белых воротничков, оно было несравнимо лучше положения рабочей бедноты. Они не занимались физическим трудом. Чистые руки и белые воротнички ставили их, пусть символически, на сторону богачей. И они являлись для рабочих публичной властью. Простые люди должны были выстраиваться к ним в очередь, чтобы получить документы, регулировавшие их жизнь, а они размахивали перед ними руками, выставляя за дверь и говоря о том, что им не положено делать. В наиболее отсталых странах (а также и в демократических США) такой служащий помогал найти работу братьям и племянникам, а во многих других странах его могли подкупить. Для множества крестьянских и рабочих семей, для которых все возможности подняться по общественной лестнице были маловероятными — мелкая администрация, учительство и духовенство, — таких мест теоретически можно было достигнуть, но для этого их сыновьям нужно было почти штурмовать Гималаи.

Свободные профессии едва ли были их сферой, поскольку, чтобы стать врачом, юристом, профессором (что в Европе означало преподавать в средней школе, а также в университете) или каким-нибудь другим образованным человеком, занимающимся разнообразной деятельностью[16*], человек должен был много лет

учиться, обладать исключительным талантом или способностями. В Британии в 1851 г. насчитывалось около 16 тыс. юристов (не считая судей) и около 1700 студентов-юристов*, около 17 тыс. врачей и хирургов и 3,5 тыс. студентов-медиков и ассистентов, менее 3 тыс. архитекторов, около 1300 издателей и писателей. (Французский термин «журналист» еще не вошел в официальное употребление). Юрист и врач были двумя наиболее традиционными профессиями. Третья — духовенство давала меньше возможностей, чем можно было бы ожидать, только разве что (исключая проповедников протестантской секты), число этих служителей росло медленнее, чем население. Благодаря антиклерикальному рвению правительства, — Иосиф II запретил 359 аббатств и монастырей. Испанцы в пору либерализма вообще упразднили все монастыри и аббатства, и только некоторые из духовных профессий остались на контрактной основе.

И лишь одна профессия была реально доступной — учитель школы светской или религиозной. Ряд учительских профессий, которые в основном поплнялись крестьянами, ремесленниками и выходцами из других скромных семей, не были такими уж ничтожными в западных странах, в Британии около 76 тыс. женщин и мужчин называли себя школьными педагогами, не считая 20 тыс. гувернанток, хорошо известный последний источник для бедных образованных девушек, не способных или не желающих зарабатывать менее респектабельными путями. Более того, учительство было немногочисленной, но растущей профессией. Она оплачивалась плохо, но в самых филистерских странах, вроде Британии и США, обыкновенный школьный учитель был по праву уважаемым человеком. Учитель представлял идеал века, когда впервые простые люди подняли головы и увидели, что с невежеством может быть покончено; конечно, это были мужчины и женщины, чья жизнь и призвание состояли в том, чтобы дать детям возможность, которой их родители никогда не имели, открыть для них мир, сделать их людьми правдивыми и высокооб-

---

* В Европе общее число юристов и их относительное количество в сравнении с другими специалистами, всегда было гораздо больше.

разованными. Бизнес, конечно, являлся наиболее доступной карьерой для талантов, и в быстро растущей экономике возможности были, разумеется, велики. В узкомасштабной природе большого числа предприятий преобладание субконтракта, скромных закупок и продажи делало их относительно доступными. Но ни материальные, ни социальные, ни культурные условия не являлись благоприятными для бедняков. Во-первых (и преуспевающие всегда это предусматривали), эволюция индустриальной экономики зависит от того, что наемные рабочие появляются быстрее, чем наниматели или ремесленники. На каждого пришедшего в верхние классы бизнеса необходимо намного больше пришедших в низшие классы. Во-вторых, экономическая независимость требовала технической квалификации, определенного мировоззрения, финансовых ресурсов, которых просто не было у большинства мужчин и женщин. А те счастливчики, у кого они были, к примеру, члены религиозных меньшинств и сект, чье отношение к подобной деятельности известно социологам, могли преуспеть: большинство крепостных из местечка Иваново — российского Манчестера, — ставшие производителями текстиля, относились к секте староверов[17*] Но было бы совершенно нереально ожидать от тех, кто не имел такой возможности — к примеру, большинство российских крестьян, — что они поступят подобным образом.

III

Ни одна группа населения не приветствовала доступ к открывшимся карьерам для талантов так страстно, как те меньшинства, которые до сих пор были лишены возможности достигать высокого положения не потому, что не были знатного происхождения, а потому что они страдали от официальной и социальной дискриминации. Энтузиазм, с которым французские протестанты ринулись в общественную жизни во время и после революции, превзошло лишь настоящее извержение вулкана талантов из числа евреев в западных государствах. До освобождения, ко-

торое подготовил рационализм XVIII в. и принесла французская революция, для еврея существовало только два пути, чтобы достичь высшего положения: коммерция или финансы и толкование святого закона — и оба ограничивали его узкой, напоминающей гетто общиной, из которой только несколько допущенных ко двору евреев, или других людей богатых и осторожных — даже в Британии и Голландии — старались не сделать лишнего шага в опасный и непопулярный свет известности. Грубые и подвыпившие скептики были категорически против освобождения евреев, да и общая масса населения была еще не готова к этому. Века социального угнетения заставили обитателей еврейских гетто самим закрыть перед собой двери, отказываясь от любого шага во внешний мир из-за своей ортодоксальности, расценивая этот поступок как вероотступничество и измену. В XVIII в. родоначальники еврейской либерализации в Германии и Австрии, такие как Мозес Мендельсон (1729—1786), были осуждены как перебежчики и атеисты. Большое число исповедующих иудаизм из быстро растущих гетто в восточных районах Польского и Литовского королевства продолжали жить замкнуто, с подозрением относясь к враждебно настроенным к ним крестьянам, будучи приверженными к ученым ортодоксальным литовским раввинам и к восторженным и нищим хасидам. Характерно, что из 46 революционеров Галиции, арестованных австрийскими властями в 1834 г. только один был евреем[18*] Но в небольших коммунах на Западе евреи оценили свои новые возможности, даже когда им пришлось заплатить за это, формально совершив обряд крещения, как это нередко бывало в полуосвобожденных странах, любой ценой получая официальные посты. Таких постов не достигли еще даже бизнесмены. Ротшильды, короли международного еврейства, были не только богаты. Богатства они смогли добиться и раньше, теперь же политические и военные изменения давали беспрецедентные возможности заниматься международным финансированием. Теперь можно было показать, что они богаты, занять общественное положение, приблизительно соответствующее их богатству, и даже возвыситься до дворянского статуса,

которым их начали жаловать в 1816 г. европейские короли (они стали в 1823 г. наследными габсбургскими баронами).

Более потрясающим, чем богатство евреев, был расцвет еврейских талантов в светских искусствах, науках и профессиях. К XX в. число их было все еще скромным, хотя к 1848 г. величайший еврейский мыслитель XIX столетия и наиболее успешный еврейский политик уже достигли зрелости: Карл Маркс (1818—1883) и Бенджамин Дизраэли (1804—1881). Среди евреев было немного ученых, только несколько еврейских математиков высокого, но не наивысшего ранга. Мейербер (1791—1864) и Мендельсон-Бартольди (1809—1847) не были композиторами высочайшего класса среди современников, а вот среди поэтов Генрих Гейне (1797—1856) своим творчеством пережил века. Из евреев не вышло выдающихся художников, не было и еврейских исполнителей-музыкантов, и только одна главная театральная фигура, актриса Рашель (1821—1858). Но фактически то, что создано гениями, не является показателем человеческого освобождения, которое скорее измеряется неожиданным изобилием менее знаменитых еврейских представителей в западноевропейской культуре и общественной жизни, особенно во Франции и более всего в германских государствах, которые дали язык и идеологию, при помощи которых был возведен мост через пропасть, отделявшую средневековье от XIX столетия, для эмигрировавших из Нидерландов евреев. Двойственная революция дала евреям то, что как никогда при христианстве приблизило их к равноправию. Те, кто осознал свои возможности, хотел более всего ассимилироваться в новом обществе, и их симпатии по вполне понятным причинам были на стороне либерализма. Хотя положение евреев было сомнительным и нелегким, и несмотря на то, что эксплуатируемые массы, находящиеся во власти эндемического антисемитизма, теперь с готовностью отождествляли еврея с буржуа*, — это положение серьезно не эксплуатировалось политиками-демаго-

* Германский разбойник Шиндерханнес (Йоханнес Бюклер, 1777—1803) снискал большую популярность, специализируясь на еврейских жертвах, а в Праге — промышленный бунт 1840-х гг. также имел антиеврейскую окраску: Vienna, Vrwaltungsarchiv, Polizeihofstelle, 1186—1845).

гами. Во Франции и Западной Германии (но больше нигде) некоторые молодые евреи мечтали о еще более совершенном обществе, во французском сен-симонизме заметен еврейский элемент (Олинде Родригес, братья Перейра, Леон Галеви, д'Эйхталь) и в меньшей степени в германском коммунизме (Мозес Гесс, поэт Гейне и, конечно, Маркс, который тем не менее с полным безразличием относился к своему еврейскому происхождению и связям).

Положение евреев заставляло их ассимилироваться в буржуазном обществе. Они составляли меньшинство. Они уже были в подавляющем большинстве городскими жителями до такой степени, что могли противостоять всем невзгодам урбанизации. В городах статистиками была отмечена более низкая заболеваемость и смертность среди евреев. Они были поголовно грамотными и не занимались сельским хозяйством. Многие из их числа уже занимались коммерцией или овладели какими-либо профессиями. Само положение постоянно заставляло их обдумывать новые ситуации и идеи; и еще следует упомянуть о скрытом страхе, который они постоянно испытывали. С другой стороны, подавляющее большинство людей в мире гораздо труднее приспосабливались к новому обществу.

Это происходило частично из-за того, что непробиваемые доспехи обычаев не давали им понять, что от них требуется делать: так молодые алжирцы благородного происхождения, привезенные в Париж, чтобы получить европейское образование в 1840-х гг. были потрясены, узнав, что приглашены в королевскую столицу для чего-то другого, а не с целью торговли с королем и дворянами. Более того, новое общество не давало легких путей приспособления. Те, кто принял законы буржуазного общества, кто перенял образ жизни среднего класса, оказался в выигрыше, те, кто не смог или не хотел этого сделать, оказался за бортом. Существовало нечто большее, чем простое политическое предубеждение, в требовании привилегий собственности, которое выдвигало правительство умеренных либералов в 1830-х гг.; человек, который оказался неспособным копить имущество, был неполноценным человеком и поэтому едва ли являлся полноцен-

ным гражданином. Крайности такого отношения проявились там, где европейский средний класс наладил контакт с необращенными язычниками, стараясь обратить их в христианскую веру при помощи образованных миссионеров, привлечь к торговле и убедить носить штаны (не делая больших различий между этими намерениями) или приобщая их к либеральному законодательству. Если они принимали все это, либерализм был готов даровать им полное гражданство со всеми его правами или надежду стать один день почти такими же хорошими, как англичанне хороши для британцев. Такое отношение прекрасно отражено в senatusconsulte[87] Наполеона III, который несколько лет спустя после нашего периода учредил гражданство для алжирцев: «Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas il est régi par les lois civiles et politiques de la France»[19*]

Все, от чего им следовало в действительности отказаться, был Ислам; если кто-то не хотел этого — а мало кто хотел, — тогда он оставался подданным, а не гражданином.

Всеобщее презрение «цивилизованных» к «варварам» (в число которых входили и подавляющее большинство бедных рабочих-надомников)[20*] основывалось на этом чувстве превосходства. Мир среднего класса был открыт для всех. Те, кто не смог войти в него, были людьми, которым не хватало образования, моральных сил или энергии, и оно автоматически проклинало их, или в лучшем случае историческое или расовое наследие постоянно вредило им, или они все-таки извлекали выгоду из своего положения. Период, который закончился почти в середине столетия, явил, таким образом, пример бессердечия не только потому, что нищета, окружавшая средний класс, была такой шокирующей, что богачи учились не замечать ее, чтобы ее ужасы потрясали только заезжих иностранцев (как сегодня поражают ужасы индийских трущоб), но потому, что беднота, как и иностранные «дикари», были и вовсе нелюди. Если ж судьбе было угодно сделать их промышленными рабочими, они были просто массой, которую нужно заставлять проходить правильную дисциплинированную формовку по принуждению, где драконовская фабричная дисциплина будет насаждаться при помощи государства. (Ха-

рактерно, что современный средний класс уверенно совместил принципы равноправия перед законом и умышленно пристрастные законы о труде, если рассматривать британский закон о хозяине и слуге от 1823 г., по которому рабочие подвергались наказанию заключением в тюрьму за нарушение контракта, а наниматели к мизерным штрафам, если они вообще с них взимались[21*].) Они должны были находиться в состоянии, близком к голоду, потому что иначе они просто не смогли бы работать не будучи подвержены чисто «человеческим» побуждениям. В конце 1830-х гг. наниматели сообщали Вилерме о том, что все делается в интересах самих рабочих и что рабочие должны постоянно проводить время в хлопотах, чтобы показывать своим детям хороший пример, а нищета служит гарантией их хорошего поведения[22*] Таким образом, бедняков было так много, что надо было надеяться, для их собственного блага, что, следуя законам Мальтуса, бедняки вымрут от голода в такой степени, что останется лишь жизнеспособный максимум рабочего населения, иначе per absurdum[88] бедняки создадут собственный контроль за ростом населения путем воздержания от чрезмерного приумножения своего потомства.

Это был хотя и маленький, но шаг к формальному признанию неравенства, как доказывал в своей вступительной лекции в Collège de France в 1853 г. Анри Бодрийар, и это неравенство являлось одним из трех столпов человеческого общества, другие два — собственность и наследование[23*]. Иерархическое общество, таким образом, было перестроено на основании формального равенства. Оно буквально утратило то, что делало его в прежние времена терпимым, всеобщее убеждение общества в том, что у людей есть обязанности и права, что достоинство измеряется не только деньгами и что низшие классы имеют право на свою скромную жизнь в том общественном положении, к которому их призвал Господь.

ГЛАВА 11

РАБОЧАЯ БЕДНОТА

Каждый производитель живет на своей фабрике как колониальный плантатор среди своих рабов, один против сотни, и свержение повелителя сродни восстанию в Сан-Доминго... Дикари, являющиеся грозой общества, живут не на Кавказе и не в татарских степях, они в трущобах наших промышленных городов... средний класс должен ясно понимать природу создавшейся ситуации, он должен знать, где он находится.

Сен-Марк Жирарден. Journal des Débats, 8 декабря 1931 г.[1*]

Pour gouverner il faut avoir
Manteaux ou rubans en sautoir (bis),
Nous en tissons pour vous, grands de la terre,
Et nous, pauvres canuts, sans drap on nous enterre.
C'est nous les canuts
Nous sommes tout nus (bis).
Mais quand votre règne arrive
Quand votre rè finira.
Alors nous tisserons le linceul du vieux monde
Car on entend dèjá la revolte qui gronde.
C'est nous les canuts
Nous n' irons plus tout nus.

Песня лионских ткачей

У бедняков буржуазного общества оставалось три возможности, и нельзя уже было укрыться в таком месте, где традиционное общество все еще существовало бы. Они могли стараться стать буржуа, они могли позволить себе на все махнуть рукой, или они могли восставать.

Первая возможность, как мы уже видели, была не просто трудной технически для тех, у кого не было минимума вступительной платы за собственность или образование, но просто глубоко

неприятной. Введение чисто утилитарной системы индивидуализма в общественное поведение, теоретически оправданные джунгли анархии буржуазного общества с его лозунгом «каждый за себя, а дьявол выбирает самого несчастного» — становился для людей, воспитанных в традиционном обществе, беспричинное зло. «В наше время, — говорил один несчастный силезский ткач, который в 1844 г. принимал участие в восстании[1*], — люди изобрели прекрасные уловки для того, чтобы испортить и разрушить друг другу жизнь. Но, увы, никто не вспоминает седьмую заповедь, которая внушает следующее: «Не укради». Не вспоминают они и о толковании этой заповеди Лютером, который говорил: мы будем любить и бояться Бога, так что мы не сможем забрать у ближнего ни собственность его, ни деньги, ни завладеть ими обманом и мошенничеством, но наоборот, мы должны помогать ему стеречь и приумножать его имущество». Так говорил человек всем тем, кто оказался вовлеченным в пучину, в которой действуют адские силы. Они не просили о многом. (Богатые привыкли относиться к бедным с милосердием, и бедные жили легко, потому что в те времена низшие классы нуждались в меньшем, чем сегодня».) Но даже это скромное место в общественной жизни сегодня у них отняли.

Отсюда их сопротивление даже самым рациональным нововведениям буржуазного общества, поскольку во всех них присутствовало антигуманное начало. Сельские помещики вводили спинхэмлендскую систему, а работники цеплялись за старую систему земельных отношений, хотя с экономической точки зрения она была проигрышной. Как средство, облегчающее нищету, христианское милосердие было более чем бесполезным, как видно на примере папских владений, в которых оно процветало. Но оно было популярно не только среди богатых, которые опирались на христианство как на защиту против зла равноправия (предложенного теми мыслителями, «которые утверждали, что природа создала людей с равными правами, и социальные различия появились исключительно потому, что это основано на общественной пользе»[2*]), и бедняки были поборниками христианства, будучи глубоко убеждены в том, что имеют право на

крохи со стола богачей. В Британии существовало глубокое расхождение во мнениях, разделившее средний класс, среди которого появились сторонники «братских обществ», рассматривавшие их только как форму личной самостоятельности и помощи бедным, и бедных, которые рассматривали их, в свою очередь, как общества с праздничными митингами, церемониями, ритуалами и фестивалями в ущерб экономическому состоянию общества.

Это сопротивление только усилилось противостоянием даже буржуазии, таким сторонам личной свободной конкуренции, которая не приносила пользы. Никто не был так привержен индивидуализму, как крепкий американский фермер и промышленник, ни одна конституция не противопоставляла так одного человека другому, и их юристы также верили в то, что федеральное законодательное запрещение детского труда — это посягательство на свободу. И никто, более чем американские предприниматели, не находились под такой надежной защитой в делах своего бизнеса. Новая техника была главным достижением, способным принести доход в частном предприятии при свободном соревновании. Но для того, чтобы уничтожить ее, поднялись не только рабочие-луддиты, их поддержали мелкие предприниматели и фермеры в своих районах, так как и они полагали, что те, кто использует технику, отнимает у человека средства к существованию. Фермеры обычно отдавали свои машины восставшим, а те крушили их; тогда правительству пришлось выпустить грозный циркуляр в 1830 г., в котором подчеркивалось, что техника находится под защитой закона, как и любая другая разновидность собственности[3*] Колебания и сомнения, с которым новый предприниматель начинал выполнять свою историческую задачу разрушения старого социального и морального порядка, укрепляло осуждение бедняков.

Конечно, находились рабочие, старавшиеся изо всех сил пробиться в ряды среднего класса или хотя бы следовать правилам бережливости, самостоятельности и самосовершенствования. Поучительная и дидактическая литература радикализма среднего класса, умеренные движения и старания протестантов являлись всем для тех людей, чьим Гомером был Са-

муэль Смайлз. Подобные органы привлекали и воодушевляли честолюбивых молодых людей. В 1843 г. была открыта Семинария Райтон Темперанс, предназначенная в основном для юношей — работников хлопкопрядильных заводов, которые давали обязательство не пить, не играть в азартные игры и обладали хорошим характером; за двадцать лет выпустили пять мастеров хлопкопрядильных станков, одного священника, двух российских предпринимателей с хлопкопрядильных предприятий, а многие другие заняли уважаемые посты предпринимателей, надзирателей, главных механиков, дипломированных школьных учителей или стали респектабельными владельцами магазинов[4*] Естественно, такое явление было менее характерным вне англосаксонских стран, где попасть из рабочего класса в более высокие слои общества было еще труднее. Нелегко было и в Британии, да и моральное и интеллектуальное влияние радикалов среднего класса на квалифицированных рабочих было слабее.

С другой стороны, гораздо больше было тех, кто, столкнувшись с социальной катастрофой, причин которой они не понимали, нищали, опускались в трущобы, представлявшие зрелище уныния и нищеты, или в растущие комплексы небольших промышленных деревень, погружаясь в бездну отчаяния. Лишенные традиционных учреждений, следящих за их поведением, большинство из них не могли не скатиться в пропасть, где царил мордобой, где семьи закладывали свои одеяла каждую неделю до получки* и где алкоголь был средством, чтобы забыться. Массовый алкоголизм всегда сопутствует безудержной и бесконтрольной индустриализации и урбанизации, по всей Европе распространилась эпидемия употребления крепких напитков[5*] Современники, наблюдавшие за ростом пьянства населения, проституции и других форм сексуальной распущенности, были взволнованы не на шутку. Тем не менее неожиданный рост систематической агитации за трез-

* В 1855 г. 60% всех закладов ростовщикам в Ливерпуле стоили 5 шиллингов или менее, 27% — 2 шиллинга 6 пенни или менее того.

вость как среди среднего класса, так и среди рабочих в Англии, Ирландии и Германии в 1840-х гг. говорит о том, что беспокойство относительно деморализации не касалось какого-то отдельного класса. Борьба эта имела краткосрочный успех, но до конца века сохранилась враждебность к употреблению крепких напитков, которые были распространены как среди просвещенных нанимателей, так и среди рабочих*.

Конечно, современники, сожалевшие о деморализации новой городской и промышленной бедноты, не преувеличивали. Соединение многих факторов усиливало деморализацию. Города и промышленные районы быстро росли, без планов и надзора, а развитие сети элементарных городских служб (уборка улиц, снабжение водой, канализация, не говоря о жилищном строительстве для рабочих) постоянно отставало от роста городов[6*] Наиболее очевидным последствием подобного ухудшения жизни городов было возвращение массовых эпидемий, инфекционных (в основном через воду) заболеваний, таких как холера, которая в 1831 г. снова распространилась в Европе от Марселя до Санкт-Петербурга в 1832 г. и еще раз позже. Взять один пример: тифу в Глазго как распространению эпидемии не придавалось значения до 1818 г.[7*] С этого времени он усилился. В 1830 г. в городе произошли две крупные эпидемии тифа и холеры, в 1840-х гг. три — тиф, холера и возвратный тиф, и в первой половине 1850-х гг. две эти эпидемии, до тех пор, пока не началось улучшение городских служб. Ужасные последствия запущенных городских служб становились все более явными, а средний и правящие классы не замечали этого. Рост городов в наш период явился гигантским процессом расслоения, благодаря чему новые рабочие попадали в безбрежную трясину нищеты, которая окружала правительственные центры, центры бизнеса и новые особые буржуазные районы городов. В этот период по всей Европе произошло разделение на благополучный Запад и на от-

* Все это не затрагивало употребление пива, вина и других напитков, составлявших часть обычного каждодневного рациона человека, только англосаксонские протестанты запрещали их.

сталый Восток, в больших городах* таверны и церкви были единственными общественными заведениями в рабочих конгломератах. Только после 1848 г., когда по трущобам распространились новые эпидемии и начали умирать также и богачи, были введены улучшения, и начались систематические перестройки города, когда власти испугались, что отчаявшиеся массы могут поднять социальную революцию.

Признаком деморализации было не только пьянство. Убийство новорожденных, проституция, самоубийства и психические расстройства — вот каковы последствия социального и экономического катаклизма, сегодня это все аспекты, над которыми работает социальная медицина**. Таким образом, рост преступности и беспричинного насилия были слепой самозащитой против сил, угрожавших поглотить пассивного человека. Распространение апокалиптических, мистических и других сект и культов в этот период подчеркивает неспособность справиться с потрясениями в обществе, которые разрушали человеческую жизнь. Эпидемии холеры способствовали возрождению католицизма в Марселе, а в Уэльсе — протестантизма.

Все эти формы нарушения социального поведения имели нечто общее. Это были попытки избежать судьбы бедного рабочего или по крайней мере принять как должное или забыть нищету

* «Обстоятельства, вынуждавшие рабочих выезжать из центра Парижа, обычно оказывали плохое влияние на их поведение и мораль. В прежние времена они обычно занимали верхние этажи зданий, где на нижних этажах жили дельцы и другие члены относительно благополучных классов. Между обитателями одного дома возникало нечто вроде солидарности. Соседи помогали друг другу в мелочах, заболев или потеряв место, рабочий всегда находил участие среди соседей, хотя, с другой стороны, у рабочего класса росло чувство самоуважения». Все это цитируется из благодушного отчета Торговой палаты и полицейской префектуры, но новизна размежевания уже хорошо видна[8*]

** Свидетельства целого ряда врачей, которым мы во многом обязаны нашими сегодняшними знаниями и последующими изменениями, сильно отличаются от в общем благодушного и самодовольного буржуазного общественного мнения. Куда большего признания, чем они имеют сегодня, заслуживают: Вилерме и все внесшие вклад в Annales d'Hygien Publique, которые им были основаны в 1829 г.; Кей, Такрах, Саймон, Гаскелл, Фарр в Британии, и целый ряд врачей в Германии.

и унижения. Верующий во второе пришествие пьяница, мелкий воришка, бродяга или мелкий предприниматель не обращали внимания на общественные условия и были безразличны к возможности коллективных действий. В истории нашего периода эта массовая апатия играет бо́льшую роль, чем ей принято отводить. Не случайно наиболее апатичными были самые неквалифицированные, самые необразованные, самые неорганизованные и потому самые отчаявшиеся люди: в 1848 г. в выборах в прусском городе Галле приняли участие 81% заводских мастеров, 71% каменщиков, плотников и других профессиональных рабочих, и только 46% фабричных и железнодорожных рабочих и работников надомного производства[9*]

II

Альтернативой бегству или поражению было восстание. Таково было положение рабочей бедноты и промышленного пролетариата, который стал ее ядром, что восстание стало не только возможным, но и необходимым. Самым неизбежным в начале XIX в. стало появление рабочих и социалистических движений и, конечно, массовых социальных революционных волнений. Революция 1848 г. стала их прямым следствием. Положение рабочих между 1815—1848 гг. было ужасным и все время ухудшалось, в Британии население следовало теории Мальтуса, которая гласила, что рост населения неизбежно опережает рост средств к существованию. Это утверждение было подкреплено аргументами экономистов школы Рикардо. Тех, кто видел будущее рабочего класса в розовом цвете, было меньше, чем тех, кто смотрел на него как на мрачное и беспросветное. В Германии в 1830-х гг. рост обнищания стал предметом обсуждения почти в 14 различных публикациях, по вопросам об обнищании и нехватке продовольствия были признанны достойными представления к академическим наградам (десять из шестнадцати участников полагали, что это справедливо и лишь двое не разделяли этого мнения.)[10*] Самое широкое распространение подобных мнений свидетельствует о всеобщей и безнадежной нищете бедноты.

Без сомнения, в деревне нищета переносилась тяжелей, осо-

бенно безземельными наемными рабочими, сельскими надомниками и крестьянами, имевшими неплодородные земли. Плохой урожай, как в 1789, 1795, 1817, 1832, 1847 гг. вызывал голод, даже без вмешательства такого дополнительного несчастья, как конкуренция британских хлопчатобумажных товаров, которая подорвала основы надомного полотняного производства Силезии. После того как погиб урожай в Ломбардии в 1813 г., многие остались в живых, употребляя в пищу навоз и сено, хлеб делали из листьев бобовых растений и диких ягод[11*] 1817 г. был настолько тяжелым, что даже в спокойной Швейцарии начался рост смертности новорожденных[12*]. Голод в Европе 1846—1848 гг. последовал за голодом в Ирландии. В Восточной и Западной Пруссии (1847 г.) одна треть населения не употребляла в пищу хлеб и ела только картофель[13*] В германских промышленных районах в пуританских обнищавших рабочих поселках мужчины и женщины сидели на бревнах и на скамейках, у них почти не было занавесок или домашнего белья, пили они из глиняной посуды и из оловянных кружек, за неимением стеклянных, населению иногда приходилось питаться картофелем и слабым кофе, а в голодные времена безработные научились есть горох и овсянку, которую им выдавали[14*] Голод и тиф опустошили деревни Фландрии и Силезии, где деревенские прядильщики холста вели безуспешную борьбу с современной промышленностью.

Собственно говоря, нищета, которая привлекла почти всеобщее внимание, была не такой уж катастрофой, как в Ирландии, где в городах и промышленных районах беднота голодала куда сильнее.

До сих пор историки спорят, явилось ли причиной этого падение доходов, хотя, как мы видели, общее состояние бедняков в городах ухудшалось. Разница между различными районами, между различными типами рабочих и разными экономическими периодами не позволяет с точностью ответить на этот вопрос, хотя до 1848 г. не отмечалось никакого всеобщего полного улучшения (а в Британии до 1844 г.), а пропасть между бедными и богатыми становилась все глубже. Во времена, когда баронесса Ротшильд носила брильянты стоимостью полтора миллиона франков на балу-маскараде, который устраивал герцог Орлеанский (1842 г.),

Джон Брайт описывал женщин Рочдейла: «2 000 женщин и девушек прошли по улицам с пением гимнов — зрелище в высшей степени странное и поразительное, — они были ужасно голодны, с жадностью поглощали ломоть хлеба, и даже если ломоть был покрыт грязью, его все равно ели»[15*]

Фактически было несколько ухудшений положения по всей Европе, поскольку не только городские учреждения и общественные службы не успевали за ростом городов, но и заработная плата после 1815 г. постоянно падала, производство и транспортировка продовольствия также сокращались во многих крупных городах вплоть до появления железных дорог[16*] Тогдашние последователи теории Мальтуса с пессимизмом отмечали, что производство продовольствия отставало от потребностей в нем. Но произошло совершенно не связанное с этим отставанием, по причине обнищания, изменение пищевого рациона городского и промышленного населения, которое привело к плохому питанию, а условия городской жизни вызвали ухудшение здоровья. Ясно, что из-за этого существовало традиционное различие в здоровье и физическом состоянии между промышленным и сельским населением и, конечно, между высшими, средними классами и рабочими, на что статистика Франции и Англии обращала внимание. Общая продолжительность жизни в 1840-х гг. была в 2 раза выше у рабочих и крестьян Уилтшира и Ратлэнда, чем у тех же рабочих Манчестера и Ливерпуля. Так, в Шеффилде едва ли знали болезнь точильщика в ремесле ножовщика до конца века, пока паровой двигатель не начал использоваться в этой профессии. Но в 1848 г. 50% всех резчиков-точильщиков тридцатилетнего возраста и 100% старше пятидесяти лет, 79% сорокалетнего возраста имели загубленные легкие от этой работы[17*]

Более того, изменения в экономике выталкивали и перемещали широкие слои рабочих, иногда и для их же пользы, но чаще на их беду. Большие массы населения оставались неиспользованными в новой промышленности или городах, являясь постоянным субстратом нищих и беспомощных, кроме того, большие массы периодически пополняли ряды безработных при наступлении происходивших время от времени кризисов. Две трети тек-

стильных рабочих в Болтоне (1842 г.) или Рубе (1847 г.) регулярно выбрасывались с работы во время кризиса[18*] 20% ноттингемцев, $^1/_3$ жителей в Пейсли обычно находились без средств к существованию[19*] Такое движение, как чартизм в Британии, терпело неудачу снова и снова из-за политической слабости. Снова и снова начинался голод, и непосильное бремя, обрушивавшееся на миллионы трудовой бедноты, снова приводило к волнениям. Вдобавок к этим основным несчастьям на головы простых трудящихся обрушивалось и другое. На первых порах, как мы видели, промышленная революция приводила на механизированные фабрики не всех рабочих. Наоборот, вокруг нескольких механизированных и крупных районов производства она создавала ряд предпромышленных ремесленных производств из различных квалифицированных рабочих и из множества надомных и сельских рабочих и часто улучшала их существование, особенно во время долгих лет нехватки рабочих во время войн. В 1820-х гг. и 1830-х гг. внедрение металлических безликих машин и рынок начали вытеснять рабочих. В лучшем случае они превращали их из независимых рабочих в зависимых людей, в рабочие руки. А в худшим появлялись массы деклассированных, нищих и голодных людей — ткачей на ручных станках, поденщиков и т. д., чьи условия жизни заставляли леденеть кровь самых стойких экономистов. Это были не какие-нибудь неквалифицированные и ничтожные отбросы общества. Такие общины, как в Норвиче и Дунфермлайне, где ткачи были разорены и выброшены в 1830-х гг., как лондонские мебельщики, чей старинный прейскурант превратился в клочки бумаги, так как они были превращены в работников предприятий с потогонной системой. Квалифицированные рабочие по найму превратились в странствующих пролетариев, ремесленники, потерявшие свою независимость, — все они были наиболее квалифицированными, наиболее образованными, наиболее самостоятельными людьми — цветом рабочего класса*. Они

* Из 195 взрослых ткачей Глоучестершира только 15 не могли ни читать, ни писать, но из арестованных бунтовщиков в промышленных районах Ланкашира, Чешира, Стаффордшира в 1842 г. только 13% могли читать и писать хорошо, 32% — с трудом[19a*].

не понимали, что с ними происходит. И естественно, что они искали выход, и еще более естественно, что им приходилось протестовать*. Материально новому фабричному пролетариату было немного легче. С другой стороны, он был не свободен, находясь под строгим контролем и еще более строгим надзором за дисциплиной со стороны мастеров или надзирателей, против которых рабочие располагали законными средствами защиты и имели лишь самую малую поддержку общества. Они должны были отрабатывать свои часы или смены, подвергаться наказаниям и штрафам, при помощи которых хозяин держал их под контролем либо повышал свои доходы. В изолированных промышленных районах они были обязаны покупать товары в его магазине так часто, что уже нечего был получать (таким образом позволяя нанимателю увеличивать свои доходы) или жить в домах, которые сдавал им их хозяин. И поэтому крестьянские юноши должны были искать такую жизнь, чтобы она была не более зависимой и не такой бедной, как у их родителей, а в европейских промышленных районах, где были сильны традиции отцовской опеки, деспотизм хозяина частично уравнновешивался защитой, образованием и культурно-бытовыми службами, которые он иногда содержал. Но для свободного человека поступить на фабрику было не лучшим, чем угодить в рабство, и все, кроме самых голодных, старались не попадать туда, и даже когда попадали туда, сопротивлялись драконовской дисциплине настойчивее, чем женщины и дети, которых по этой причине хозяева предпочитали нанимать. И, конечно, в 1830-х гг. и начале 1840-х гг. материальное положение заводского пролетариата постоянно ухудшалось.

Каким бы ни было положение рабочей бедноты, без сомнения, те из них, кто не воспринимал несчастья бедноты как пред-

---

* Около одной трети нашего рабочего населения... состоит из ткачей и рабочих, чья заработная плата недостаточна для того, чтобы создать и содержать семью без приходской поддержки. Эта часть сообщества в большинстве своем приличные и уважаемые люди, которые страдают больше всего от снижения заработной платы и от трудностей этого времени. Вот для этого класса моих бедных друзей-труженников я хочу порекомендовать систему кооперации (*Ф. Бейкер*. Первая лекция о кооперации. Болтон, 1830).

начертание судьбы и неизменный ход вещей, понимали, что рабочие будут нищать от эксплуатации богачей, которые становятся все богаче, а бедные — беднее. Бедняки страдали потому, что богачи богатели. Социальный механизм буржуазного общества был самым жестоким, несправедливым и бесчеловечным. «Богатства не бывает без труда», — писал «Кооператор из Ланкашира». «Рабочий человек является источником всех богатств. Кто вырастил все продукты питания? Полуголодный и нищий рабочий. Кто построил все здания и склады, дворцы, которыми владеют богачи, которые никогда не работают и ничего не производят? Рабочий человек. Кто прядет всю пряжу и делает всю одежду? Прядильщик и ткач». И несмотря на это, рабочий остается бедным и обездоленным, в то время как тот, кто не работает, богат и владеет богатством до пресыщения»[20*]
А сельские рабочие (перекликаясь почти буквально с негритянскими исполнителями госпелс) выражались менее четко, но зато более проникновенно:

Раз жизнь стала тем, что купишь за деньги,
Богачи будут жить, а бедняки умирать[21*]

III

Рабочее движение смогло найти ответ на то, что мучило бедняка. Его не должно смущать коллективное изменение чувств по отношению к невыносимым трудностям, оно всегда сопутствовало человеческой истории, оно выражается в забастовках и других формах воинственности, которая становится характерной чертой борьбы трудящихся. Все эти формы существовали и до промышленной революции. Новым в борьбе рабочего класса XIX в. было классовое сознание и классовые цели. Бедные больше не противостояли богатым. Особый класс, класс рабочих, или пролетариат, противостоял другому классу — нанимателям, или капиталистам. Французская революция дала этому новому классу уверенность, промышленная революция убедила его в необходи-

мости постоянно объединяться. Приличной жизни нельзя добиться случайными протестами, которые служили для восстановления постоянного, но временно нарушенного равновесия в обществе. Необходимы были постоянная бдительность, организация и активность борьбы — профсоюзы, совместные или кооперативные общества, организации рабочего класса, газета или агитация. Но сама новизна и скорость общественных изменений, которые поглотили их, помогли рабочим понять необходимость коренного изменения общества, основанного на их опыте и идеях, направленных против их угнетателей. Это будет общество кооперации, а не соревнования, общество коллективистское, а не индивидуалистическое. Это будет социалистическое общество. И оно будет олицетворять мечту о свободном обществе, о котором бедные люди уже хорошо знали, но думали лишь в редкие моменты всеобщих социальных революций, а явится практической альтернативой существующей системе.

В этом смысле сознательность рабочего класса в 1789 г. еще не сформировалась, как и во время французской революции. А за пределами Британии и Франции она и вовсе отсутствовала до 1848 г. Но в двух странах, которые явились воплощением двойственной революции, сознательность рабочих появилась где-то с 1815 по 1848 г., а точнее, около 1830 г. Само понятие «рабочий класс» появилось в английской литературе о рабочем движении сразу после Ватерлоо, а может, и чуть раньше, а во Франции в 1830 г.[22*] Попытки объединить всех рабочих людей вместе во всеобщие профсоюзы в Британии, а значит, пробиться сквозь секционную и локальную разрозненность особых групп рабочих и обрести национальную и, может быть, всеобщую солидарность рабочего класса начались в 1818 г. и продолжались с лихорадочной интенсивностью с 1829 по 1834 г. Дополнением к этому всеобщему объединению явилась всеобщая стачка, и оба эти действия стали концепцией и систематической тактикой рабочего класса этого периода, отраженной в работах Уильяма Бенбоу «Великий национальный праздник» и «Конгресс классов производителей» (1832 г.), которая серьезно обсуждалась чартистами как политический метод. А тем временем и в Британии, и во

Франции в 1820-х гг. в научных спорах родились и концепция, и слово «социализм». Оно сразу было принято рабочими в меньшей степени во Франции и широко распространилось в Британии, где вскоре выдвинулся Роберт Оуэн, лидер движения широких масс, на роль которого он однозначно не подходил. Короче, в начале 1830-х гг. самосознание пролетариев как класса и социальные цели уже существовало. Конечно же, оно было более слабым и менее эффективным, чем сознание среднего класса. Но оно существовало.

Пролетарское сознание было крепко связано и усилено якобинским сознанием — целями, опытом, методами и моральным отношением, которыми пропитала умы бедняков французская (и еще раньше американская) революция. Практическим выражением положения нового рабочего класса явилось рабочее движение и его идеология — общественная собственность, для простых людей, пролетариев или всех других, которых французская революция выдвинула на арену истории как действующих лиц, а не как просто страдальцев демократического движения. «Граждане, бедно одетые, которые в прежние времена не осмеливались показаться в тех местах, где находились более элегантные компании, теперь вместе прогуливались с высоко поднятыми головами там же, где прогуливались богачи»[23*] Они хотели уважения, признания и равноправия. Они знали, что могут достигнуть этого, потому что в 1793—1794 гг. они уже делали такую попытку. Не все из них были рабочими, но все сознательные рабочие думали так.

Пролетарское и якобинское сознание дополняли одно другое. Опыт рабочего класса давал рабочей бедноте главные организации каждодневной самообороны — профсоюзы и общества взаимопомощи, и главным оружием этой коллективной борьбы были солидарность и забастовка (которые в свою очередь требовали организации и дисциплины)*. Тем не менее даже там,

* Забастовка является таким стихийным и логичным следствием самого существования рабочего класса, что европейские языки имеют каждый свое слово для обозначения этого явления (grève, huelga, sciopero, забастовка), в то время как слова для других институтов всегда были заимствованы.

где они были слабы, неустойчивы и локальны, а таковыми они все еще были в Европе, их цель была строго ограничена. Попытка использовать профсоюзную модель взаимовыручки не только для того, чтобы добиться повышения зарплаты организованной части рабочего класса, но чтобы полностью ликвидировать существующее общество и создать новое, была предпринята в Британии с 1829 по 1834 г., а также под руководством чартистов. Она потерпела поражение, и ее поражение сломило довольно зрелое, раннепролетарское социалистическое движение на полвека. Попытки вернуть профсоюзы к национальным союзам кооперативных производителей провалились, так же как попытки учредить национальное кооперативное производство и справедливый рабочий обмен. Всеохватывающие генеральные союзы, далеко не такие сильные, как локальные и секционные союзы, оказались слабыми, хотя это произошло не из-за ошибок генерального союза, а из-за слабой дисциплины, организации и опыта в его руководстве. Всеобщая стачка под руководством чартистов не смогла добиться своих целей, за исключением (1842 г.), когда она вспыхнула как стихийный голодный бунт.

Наоборот, методы политической агитации, которые в основном принадлежат якобинству и радикализму, а не только рабочему классу, оказались и эффективными, и гибкими: политические кампании при помощи газет и памфлетов, народных манифестаций и демонстраций, а когда необходимо — бунтов и восстаний. Правда и то, что там, где подобные кампании заходили слишком далеко или слишком пугали правящие круги, они терпели неудачу. В 1810-х гг. существовала тенденция вызывать армию против любых демонстраций (как в Спа-Филдз в Лондоне в 1816 г. или в «Питерлоу» в Манчестере в 1819 г., когда были убиты 10 демонстрантов, несколько сот человек были ранены). В 1838—1848 гг. миллионы подписей на петициях не принесли народной хартии успеха. Тем не менее политические кампании на более узком фронте имели успех. Без них не наступило бы освобождение католиков в 1829 г. не был бы принят акт о реформе в 1832 г. и даже акт законодательного контроля за услови-

ями труда и рабочим временем на фабриках. Время шло, а мы снова наблюдаем слабую организацию рабочего класса, которая компенсировалась усилением методов политического радикализма. Волнения на фабриках в 1830-х гг. в Северной Англии прошли, несмотря на слабость местных союзов как массовый протест против изгнания «Мучеников Толпудла», старавшихся сохранить хоть что-нибудь от погрома, разрушившего «Всеобщие союзы» после 1834 г.

Тем не менее традиции якобинства, в свою очередь, набирали силу и беспрецедентную стойкость и массовость благодаря солидарности и преданности нового пролетариата. Их объединяли не их бедность и нахождение в одном и том же месте, но то, что они, работая вместе и в большом числе, объединялись в работе, опираясь друг на друга. Их оружием была их нерушимая солидарность, поскольку именно таким образом они демонстрировали свое единственное ценное качество — коллективную необходимость. В их моральном уставе была заповедь — никакого «штрейкбрехерства», нарушители солидарности были иудами их общества. И как только они приобрели хотя бы слабое политическое сознание, их демонстрации стали не случайными волнениями возмущенной толпы, которое легко переходит в апатию. Теперь они представляли собой армию. Таким образом в городе Шеффилд стартовавшие в начале 1840-х гг. классовые столкновения между средними слоями и рабочим классом стали главной темой местной политики, сразу появилось сильное и стабильное пролетарское объединение. К концу 1847 г. в городском совете было восемь чартистов, а национальный крах чартизма в 1848 г. не сломил рабочее движение в городе, где 10—12 тыс. рабочих приветствовали парижскую революцию: к 1849 г. чартисты занимали почти половину мест в совете[24*] Кроме традиций рабочего класса и якобинских традиций, существовал гораздо более старый субстрат, который повлиял на те и другие: это мятеж, или стихийный социальный протест отчаявшихся людей. Прямым действием восставших с незапамятных времен было разрушение машин, магазинов или домов богачей. В основном оно выражало чувства крайнего голода и настроения людей, доведенных до от-

чаяния, в периоды разрушения машин, сводивших в упадок ручное производство (в британской текстильной промышленности в 1810—1811 гг. и снова в 1826 г. в европейской текстильной промышленности в середине 1830-х гг. и в 1840-х гг.). Иногда, как, например, в Англии, это была признанная форма коллективного давления организованных рабочих, и она выражала не враждебность к машинам, как у шахтеров, у квалифицированных рабочих текстильной промышленности или ножовщиков, которые сочетали политическую терпимость с систематическим терроризмом в отношении не входящих в союз коллег. Еще они выражали недовольство безработных или голодающих. Во время созревания революции подобные прямые действия политически незрелых людей могли превратиться в решающую силу, особенно, если они проходили в столичном городе или других политически важных местах. Как в 1830-х так и в 1848-х гг., такие движения явились гигантскими отражениями недовольства, превращая протест в восстание.

IV

Рабочие движения этого периода ни по своему содержанию, ни по идеологии не являлись чисто пролетарскими движениями. Это скорее был общий фронт всех сил и тенденций, представляющих (в основном городскую) трудящуюся бедноту. Этот общий фронт существовал уже давно, но только со времен французской революции лидерами его стали либералы и радикалы из среднего класса. Как мы видели, якобинство и санкюлотизм (не учитывая стремлений пролетариата) создали такое единство, которым обладала парижская народная традиция. Новым в ситуации после 1815 г. было то, что общий фронт теперь все больше стал выступать против либералов среднего класса, против королей и аристократов, и теперь этот фронт объединяла программа и идеология пролетариата, даже несмотря на то, что промышленный рабочий класс еще только начал формироваться и в основном был политически немного менее зрелым, чем другие слои рабочей

бедноты. И богатые, и бедные старались приспособиться к существованию в городе со слоями населения, находившимися ниже среднего класса[25*], в политическом смысле — к «пролетариату», или к «рабочему классу». Все, кто был озабочен внутренней дисгармонией существовавшего положения вещей и тем, что это положение не могло продолжаться[26*], обращались к социализму как единственной продуманной и научной критике и альтернативе.

Руководство новым движением отражало существовавшее положение дел. Наиболее активными, воинственными и политически подкованными из рабочей бедноты были не новые пролетарии, а квалифицированные мастера, независимые ремесленники, работники маленьких домашних производств и многие другие, те, кто жил и работал так же, как и до промышленной революции, но теперь под более сильным давлением. Первые профсоюзы состояли почти целиком из типографских рабочих, шляпников, портных и т. д. Ядро руководства чартистского движения в городе Лидс — что было типичным — состояло из пары квалифицированных типографских рабочих, продавца книг, чесальщика шерсти. Люди, принявшие учение мистера Оуэна о кооперации, были в большинстве мастерами, механиками и рабочими ручного труда. Первые коммунисты в Германии были странствующими квалифицированными рабочими, ремесленниками — портными, столярами и печатниками. Люди, поднявшиеся против буржуазии в Париже в 1848 г., были обитателями старых мастерских Сент-Антуанского предместья, а не пролетарии, Бельвиля (как во время Коммуны 1871 г.). И с тех пор развитие промышленности разрушало эти крепости сознательности рабочего класса и эти ранние рабочие движения. С 1820 по 1850 г. движения в Британии создали плотную сеть организаций рабочего класса для повышения квалификации и политического образования, технические училища. К 1850-м гг. уже существовало (не считая наиболее политических из них) в Британии 700 таких школ, только в графстве Йоркшир — 151, и 400 читальных залов[27*] Но они уже приходили в упадок и через несколько десятилетий перестали существовать либо находились в упадке.

Хотя было одно исключение. В Британии новые пролетарии

уже начали выдвигать своих новых лидеров: Джон Дохерти, ирландский оуэнист-хлопкопрядильщик, Тони Хепберн и Мартин Джуд — шахтеры. Не только квалифицированные и надомные рабочие входили в батальоны чартизма, в них сражались и даже являлись их лидерами фабричные рабочие. Но вне Британии работники фабрик и шахтеры все еще страдали, а не боролись. До конца этого столетия они не приступили к борьбе за улучшение своей судьбы.

Рабочее движение было организацией самозащиты, протеста, революции. Но для рабочей бедноты оно было больше, чем орудием борьбы, оно было образом жизни. Либеральная буржуазия ничего не могла им предложить, история уводила их из обычной жизни, которую консерваторы предлагали создавать или восстанавливать. Нечего было менять и в том образе жизни, который они все больше усваивали. Но движение имело образ жизни, который они сами для себя выковали, коллективный, коммунальный, воинственный, следующий идее, посвященный борьбе, — вот что составляло его сущность. В свою очередь движение давало ему согласованность и цель — либеральный миф, предполагая, что эти союзы состояли из беспомощных рабочих, спровоцированных бессовестными агитаторами; но в жизни эти беспомощные рабочие были в основном наименее организованны, и чем образованнее и компетентнее были рабочие, тем тверже они поддерживали союзы.

Наиболее ярким примером трудового мифа того периода были старые домашние производства. Существовало сообщество рабочих шелкопрядения Лиона — вечно восстающие ткачи, которые восставали в 1831-м и снова в 1834 гг. и которые, по выражению Мишле, «из-за того, что этот мир им не подходил, создавали сами для себя другой мир в сырой тьме своих узких улиц, моральный рай сладких мечтаний и видений»[28*] Существовали сообщества, такие как общество шотландских ткачей полотна, с их республиканским и якобинским пуританством, с их ересями, с их библиотекой профсоюзных рабочих, банками сбережений, техническим институтом, библиотекой и научным клубом, академией рисования, собраниями миссионеров, детскими школами,

обществом цветоводов, либеральным журналом («Gasometer»)* и, конечно, с их чартизмом; классовое сознание, воинственность, ненависть к угнетателям — все это было в их жизни. Богатым они обязаны были только своей зарплатой. Все, что они имели в жизни, они создали своим коллективным трудом.

Но тихий процесс самоорганизации не был присущ рабочим старого типа. Это нашло отражение в союзе, часто основанном на местном сообществе примитивных методистских обществ, в шахтах Нортумберленда и Дархэма. Он отражен в обществах с большой концентрацией рабочих, где в новых промышленных районах царили дружба и взаимовыручка, особенно в Ланкашире**.

Более всего это воплощено в тысячах сплоченных рабочих — мужчин, женщин и детей, идущих с факелами по вересковым полям на чартистские демонстрации из маленьких городков Ланкашира, в той скорости, с которой в конце 1840-х гг. разрастались кооперативные магазины Рочдейла.

V

И все же, если оглянуться на этот период, существует огромное различие между силой рабочей бедноты, которой боялись богачи, «призраком коммунизма», который часто их навещал, и их обычной организованной силой. Публичным выражением их протеста в буквальном смысле была борьба, а не организация. Все, что связывало наиболее массовое и всеохватное из их политических выражений, — чартизм (1836—1848 гг.) с несколькими традиционными радикальными лозунгами, — это группа влиятельных ораторов и журналистов, ставших голосом

---

* *Пикок*. «Аббатство ночных кошмаров» (1818 г.): «Вы философ, — сказала леди, — и любите свободу. Вы являетесь автором трактата под названием „Философская болтовня, или Проект всеобщего просвещения человеческого ума"».

** В 1821 г. в Ланкашире проживало самое большое по численности общество друзей, относительно общего населения страны (17%), в 1845 почти половина домиков членов Тайного братства проживали в Ланкашире и Йоркшире[29*].

бедных, Фергюс О'Коннор (1794—1855 гг.), несколько газет, таких как «Северная звезда». Общая судьба была у тех, кто выступал против богатых и могущественных и кого призывали старые воинственные борцы: «У нас был пес по прозвищу Родни. Моя бабушка не любила этого прозвища, потому что у нее было странное представление, что адмирал Родни, будучи возвышен до звания пэра, был очень жесток к людям. Старая леди также старалась мне объяснить, что Коббет и Кобден были разными личностями, что Коббет был героем, а Кобден всего лишь адвокат среднего класса. На одной из картин, которую я отлично запомнил — она стояла отдельно от шаблонов и нарисованных через трафарет картинок недалеко от статуэтки Джорджа Вашингтона, — был портрет Джона Фроста*. Линия наверху картины подчеркивала, что она относится к серии под названием «Портретная галерея друзей народа». Над головой был лавровый венок, а ниже было изображение мистера Фроста, обращающегося к правосудию от лица несчастных и оборванных изгнанников. Самым постоянным посетителем у нас был хромой сапожник... (который) каждое воскресное утро появлялся в одно и то же время с номером «Северной звезды», с еще сырой печатью послушать кого-нибудь из наших домочадцев, кто прочтет ему и другим «письмо Фергюса». Сначала газета должна была просохнуть перед огнем, а затем аккуратно и ровно разрезана, так чтобы не повредить ни одну строку священной газеты. После этого Ларри, спокойно покуривая короткую трубку, которую он случайно втыкал в камин, усаживался послушать со всем восторгом рабочего человека в молельне сообщение о великом Фергюсе»[30*]

Существовало некоторое руководство или координация. Самая страстная попытка превратить движение в организацию, «Всеобщий союз», в 1834—1835 гг. окончились неудачей. В большинстве случаев в Британии и в Европе существовала стихийная солидарность местных трудовых обществ, люди, которые подобно лионским шелкопрядам, так же тяжело умирали, как и жили.

* Лидер потерпевшего крах чартистского восстания в Ньюпорте, 1839 г.

То, что сближало людей в этом движении, было голодом, убожеством, ненавистью и надеждой. И, что явилось причиной поражения в чартистской Британии, как и на революционном континенте в 1848 г., — бедняки были голодны, их было много, отчаявшихся людей, и они поднимали восстания, плохо организованные, политически незрелые — и поэтому их восстания являлись не более чем мимолетной опасностью социальному порядку. К 1848 г. движение рабочей бедноты еще должно было развиваться, чтобы достигнуть уровня якобинства революционного среднего класса 1789—1794 гг.

ГЛАВА 12

ИДЕОЛОГИЯ: РЕЛИГИОЗНАЯ

Дайте мне народ, в котором кипящие страсти и вселенскую алчность умиротворили вера, надежда и милосердие, народ, который видит свою землю как место временного пребывания, а другую жизнь как свою настоящую родину, народ, который научили обожать и почитать с христианским героизмом саму нищету и сами страдания, народ, любящий и поклоняющийся Иисусу, рожденному раньше всех угнетенных и на своем кресте принесшему всеобщее спасение. Дайте мне, говорю я, народ, сотворенный по этому образцу, и социализм будет не только легко победить, но о нем невозможно будет и думать...

Civiltà Cattolica[1*]

«И когда Наполеон начал свое наступление, они (молокане — крестьяне-еретики) поверили, что он был тот лев из долины Егошафат, который, как говорилось в их древних молитвах, должен был свергнуть неправедного Царя и вновь посадить на трон настоящего Белого Царя. И так молокане Тамбовской губернии выбрали депутатов из своих сектантов, которые должны были встречать его, приветствовать его, одевшись в белые одежды».

Хакстхаузен. Исследования о... России[2*]

I

То, что люди думали о мире, — это одно, то, как они думают о нем, — это другое. Почти вся история и весь мир (хотя Китай был, вероятно, главным исключением) — термины, в которых немногие образованные и свободные люди думали о мире, были терминами традиционной религии настолько, что были страны, в которых слово «христианин» являлось синонимом «крестьянин» или даже «человек». На каком-то этапе до 1848 г. положение изменилось в некоторых районах Европы, но это ис-

ключительно на территории стран, подверженных двойственной революции. Религия, бывшая чем-то вроде неба, от которого никто не может спастись и которое содержит все, что выше земли, стала чем-то вроде места хранения облаков, большая, ограниченная и меняющаяся особенность небесного свода. Из всех идеологических изменений это наиболее глубокое, хотя практические последствия были более двусмысленными и неопределенными, чем тогда полагали. Из всех событий это наиболее беспрецедентное.

Что явилось действительно беспрецедентным, так это секуляризация масс. Аристократическое безразличие, смешанное с педантичным исполнением обрядов, все это было характерно для эмансипированной знати[3*], хотя леди, как и все женщины, оставались куда более набожными. Вежливые и образованные мужчины могли практически верить в существование высшего начала, но такого, которое только существовало и, конечно, не вмешивалось в дела человека и не требовало никаких форм богослужения, кроме милосердного признания. Но их взгляды на традиционную религию были высокомерны и часто откровенно враждебны, и их взгляды не изменились бы, даже если бы они были готовы объявить себя откровенными атеистами. «Сир, — докладывал великий математик Лаплас, отвечая Наполеону, когда тот спросил у него, где в его небесной математике отводится место Богу, — я не вижу необходимости в подобных гипотезах». Откровенный атеизм все еще был редок, но среди просвещенных ученых, писателей и дворян, которые следовали моде образованных людей конца XVIII в., откровенное христианство было еще реже. Если религия и процветала в конце XVIII в. в кругах элиты, она была религией людей рациональных, просвещенных и антиклерикальных франкмасонов.

Подобное распространение дехристианизации среди мужчин вежливых и образованных классов произошло в конце XVII — начале XVIII в., и его последствия в обществе были и пугающие, и полезные: сам факт, что на смену ведьмовским процессам, подобно чуме опустошавшим в течение нескольких столетий Западную и Центральную Европу, пришли суды по поводу ересей,

и аутодафе были достаточны, чтобы подтвердить это. Тем не менее в начале XVIII в. дехристианизация едва ли воздействовала на низшие и даже средние классы. Крестьянство совершенно не воспринимало никакую идеологию, если она не говорила с ним на языке Богородицы, святых и Священного писания, не говоря уже о более древних богах и духах, все еще скрывавшихся за христианским фасадом. Нерелигиозное мышление было присуще ремесленникам, которых всегда притягивали ереси, сапожникам, наиболее стойким и образованным из рядов рабочего класса, откуда вышли мистики, подобные Якобу Бёме. При всем том в Вене они были единственной группой ремесленников, симпатизировавшей якобинству из-за того, как говорили, что они не верили в Бога. Тем не менее все это представляло лишь легкую зыбь. Огромные массы неквалифицированных и разнообразных нищих в городах оставались (за исключением нескольких городов Северной Европы подобных Парижу и Лондону) глубоко набожными или суеверными людьми.

Но даже и в средних классах не наблюдалось открытой враждебности по отношению к религии, хотя идеология рационализма прогрессивно мыслящих, нетрадиционного Просвещения хорошо вписывалась в систему координат растущего среднего класса. Он был связан с аристократией и безнравственностью, присущей знати. И в самом деле, первые действительно свободомыслящие люди, вольнодумцы середины XVII в., жили согласно дополнительному значению их имени: в Дон-Жуане Мольера изображены не только сочетание атеизма и сексуальной свободы, но и ужас, который от этого испытывали почтенные буржуа. Хотя и для парадокса были основания (особенно характерные для XVII в.) в том, что интеллектуально более дерзкие мыслители, которые таким образом опережали, ускоряли приход идеологии более позднего среднего класса, Бэкон[89] и Гоббс[90], как личности ассоциировались со старым и коррумпированным обществом. Армии растущего среднего класса нуждались в дисциплине и организации сильной и преданной морали. Теоретически агностицизм или атеизм отвечал их требованиям, а христианство им было не нужно, и философы XVIII в. не уставали

показывать, что естественная мораль (которую демонстрировали благородные дикари) и высокие качества личности, присущие свободным мыслителям, были лучше христианства. Но на практике испытанные преимущества старых религий и ужасный риск запрета каких-либо сверхъестественных санкций морали был огромен не только для рабочей бедноты, которая из-за своей ограниченности не могла обходиться без суеверий, но и для среднего класса.

Постреволюционные поколения во Франции прилагали немалые усилия для создания буржуазной нехристианской морали, которая могла бы заменить христианскую при помощи «культа верховного существа», исповедуемого Руссо, а также различных псевдорелигий, построенных на рациональной нехристианской основе, но все же, создавая инструмент ритуала и культов (сенсимонисты и «религия гуманности» Конта[91]). Обычно попытка создания внешних форм старых религиозных культов запрещалась, но не попытка создать формальную светскую мораль (основанную на различных моральных концепциях, таких как солидарность) и более всего — светскую копию духовенства, школьных учителей. Французский учитель, бедный, беспомощный, пичкающий учеников каждой деревни римской моралью революции и республики, официальный соперник сельского кюре, не был на высоте, пока не пришла Третья республика, которая разрешила политические проблемы создания буржуазной стабильности на основании социальной революции на целых 70 лет. Но о нем уже говорилось в Законе Кондорсе 1792 г., который устанавливал, что «лица, которым поручено обучение в первых классах, будут называться учителями, повторяя с Цицерона и Салюстия, которые говорили об «учреждении общественной собственности» и «учреждении морали общественной собственности»[4*]

Буржуазия, таким образом, была разделена на тех, кто придерживался взглядов меньшинства откровенных вольнодумцев, и тех, кто поддерживал большинство набожных протестантов, иудеев, католиков. Тем не менее новым в истории было то, что сектор свободомыслия был несравненно динамичнее и эффективнее. Хотя в некоторые периоды времени религия оставалась

очень сильной и мощь ее возрастала, она уже больше не доминировала, а отступала и осталась в таком положении в мире, измененном двойственной революцией. Нет сомнения в том, что подавляющее большинство граждан США были верующими той или иной религии, в основном они были протестантами, но конституция республики, несмотря на все усилия изменить ее, была построена по принципу агностицизма. Не сомневаемся мы и в том, что британский средний класс нашего периода — в основном благочестивые протестанты, но меньшинство агностиков-либералов среди них постоянно растет. Бентам создавал в свою эпоху больше современных институтов, чем Уилиберфорс[92].

Наиболее важным результатом явилась победа светской идеологии над религиозной. В результате американской и французской революций многие политические и социальные изменения были секуляризированы. Результаты нидерландской и английской революций XVI и XVII вв. до сих пор обсуждались на традиционном языке христианства, православия, раскольничества или еретичества. Язык, символика, обычаи 1789 г. не христианские, не считая некоторых народно-архаических попыток создать культы святых и мучеников погибших героев-санкюлотов. Фактически все они были римского образца. В то же время это секуляризм революционных демократов, замечательная политическая гегемония либерального среднего класса, который навязал свои особые идеологические формы более широкому движению масс. Если интеллектуальное лидерство французской революции шло в основном не от масс, совершавших ее, становится понятным, почему ее идеология не могла также нести на себе печать традиционализма*.

Победа буржуазии заставила французскую революцию принять агностическую идеологию, или идеологию светской морали просветителей XVIII в., и раз язык этой революции стал главным языком всех последующих социальных революционных дви-

---

* Фактически только народные песни этого периода типа «Ça Ira» перенимают иногда католическую терминологию.

жений, то ее секуляризм также передался им. Не считая некоторых незначительных исключений вроде просвещенцев типа Сен-Симона и некоторых архаичных христианских коммунистов-сектантов вроде портного Вейтлинга (1808—1871), идеология нового рабочего класса и социалистических движений XIX в. с самого начала была секуляристской.

Томас Пейн, чьи идеи выражали радикально-демократические взгляды мелких ремесленников, обнищавших рабочих, знаменит тем, что написал первую книгу на народном языке, показывая тем самым, что Библия не является словом Божиим («Эра разума», 1794, а также «Права человека», 1791). Мастеровые 1820-х гг. были последователями Роберта Оуэна не только из-за его анализа капитализма, но из-за его неверия и долго еще после крушения оуэнизма их залы науки (Halls of Science) распространяли в городах пропаганду рационализма. Существовали тогда, существуют и теперь религиозные социалисты, и очень много людей, которые, будучи верующими, также являются и социалистами. Но преобладающая идеология современных рабочих и социалистических движений, с тех пор как в ней появилась необходимость, основана на рационализме XVIII в.

Это вызывает удивление, когда мы смотрим на массы, которые в основном остались религиозными, и поскольку обычный язык революционных масс, выдержанный в традициях христианского общества, является языком восстания, то и Библия должна считаться подстрекательским документом. Таким образом, преобладание секуляризма в новых рабочих и социалистических движениях основывается на преобладании религиозного безразличия нового пролетариата. По современным меркам, рабочий класс и сельские массы, выросшие в период промышленной революции, были довольно религиозными, а по стандартам первой половины XIX в. их отдаленность, безразличие к официальной религии были беспрецедентны. Наблюдатели всех политических тенденций были согласны с этим утверждением. Британская религиозная «Перепись» 1851 г. подтвердила это к ужасу современников. В основном эта отдаленность возникла из-за полной неспособности традиционных церквей справиться с многолюдьем

больших городов и новых промышленных поселений и с общественными классами — пролетариатом, например, которые были пришлыми для их заведенного порядка и образа жизни. К 1851 г. в Шеффилде мест в церкви хватало только для 34% жителей, а в Ливерпуле и Манчестере — 31,2, лишь 29% — в Бирмингеме. Проблемы священника сельского прихода не шли ни в какое сравнение с теми, что были у пастырей душ промышленных городов и городских трущоб.

Существовавшие церкви, таким образом, не обращали внимания на новые сообщества и классы и тем самым оставляли их (особенно в католических и лютеранских странах) полностью в распоряжении новых рабочих движений, которые в результате до конца XIX в. привлекали их в свои ряды (где до 1848 г. у них это не слишком получалось, поскольку инициатива антиатеистической пропагадны была не слишком сильна). Протестантские секты были более успешны в этом отношении во время всех происходящих событий в стране, где сектантство было явлением религиозно-политическим. Тем не менее есть много свидетельств того, что и секты действовали успешнее там, где общественное окружение было более приближено к традиционным малым городкам или деревенским общинам, как, например, среди сельских рабочих, шахтеров и рыбаков.

Кроме того, среди промышленного рабочего класса сектанты всегда были в меньшинстве. Рабочий класс как сообщество был менее затронут официальной религией, чем любые предыдущие сообщества бедноты в мировой истории.

Основной тенденцией периода с 1789 до 1848 г. была эмоциональная секуляризация. У науки, занявшейся проблемой эволюции, возник открытый конфликт со Священным писанием. Историческая наука обращалась к Библии в неограниченных дозах, особенно с 1830-х гг. профессорами Тюбингена, которые в тех случаях, если это не написано в Священном писании, рассматривали один и тот же текст как набор исторических документов, принадлежащих различным периодам, со всеми неточностями, присущими человеческой документации. В работе Лахмана «Novum Testamentum»[93] (1842—1852) отрицается то, что евангели-

сты были свидетелями событий, и высказывается сомнение в том, намеревался ли Иисус Христос основать новую религию. Давид Штраус в дискуссионной работе «Жизнь Иисуса» (1835 г.) исключает сверхъестественный элемент из его личной биографии. К 1848 г. вся образованная Европа почти созрела для открытия Чарльза Дарвина. Эта тенденция была усилена прямой атакой бесчисленных политических режимов на собственность и законные привилегии существующих церквей и духовенства и других священнослужителей и усилившейся у правительств склонностью все больше присваивать себе функции, до этого принадлежавшие религиозным организациям, особенно в римско-католических странах — образование и общественное благосостояние. С 1789 по 1848 г. монастыри были запрещены, их имущество продавалось от Неаполя до Никарагуа. Вне Европы белые поработители развернули прямые атаки на религии покоренных народов или своих жертв, или, как британские администраторы в Индии, запретившие ритуал самосожжения вдов и ритуальные убийства секты thugs в 1830-х гг., как безусловные лидеры просвещения, боровшиеся против суеверий, или просто потому, что они едва ли знали, к каким последствиям приведут их меры.

II

Во все времена является очевидным то, что все религии, какими бы они ни были разными, имеют тенденцию распространяться по мере роста населения. Хотя две разновидности проявили особые способности к распространению в наш период: ислам и протестантское сектантство. Этот экспансионизм был потрясающим в сравнении с тем упадком, который переживала христианская религия. Как католицизм, так и протестантизм не способны были распространяться, несмотря на резкое увеличение миссионерской активности вне Европы, опиравшейся на военную, политическую и экономическую силу Европы. Фактически в те десятилетия революции и наполеоновских войн наблюдалось систематическое протестантское миссионерство в основном англо-

саксов. За Баптистским миссионерским обществом (1792 г.), международным Лондонским миссионерским обществом (1795 г.), Миссионерским обществом евангелической церкви (1799 г.), Библейским британским и иностранным обществом (1804 г.) последовали Американское правление комиссионеров для иностранных миссий (1810 г.), Американские баптисты (1814 г.), Веслианцы (1813—1818 гг.), Американское библейское общество (1816 г.), Церковь Шотландии (1824 г.), Объединенные пресвитерианцы (1835 г.), Американские методисты-епископалианцы (1819 г.) и др. Европейские протестанты, несмотря на некоторое опережение Нидерландского общества миссионеров (1797 г.) и миссионеров Базеля (1815 г.), развернулись несколько позже: Берлинское и Рейнское общества в 1820-х гг. Шведское, Лейпцигское и Бременское — в 30-х гг., Норвежское — в 1842 г. Римский католицизм, чьи миссии приходили в упадок, возобновил свои действия позже. Причинами такого нашествия миссионеров и торговцев на язычников явилась религиозная, социальная и экономическая история Европы и Америки. Тут необходимо заметить, что к 1848 г. результаты были еще ничтожными, исключая некоторые тихоокеанские острова, такие как Гавайи. На небольших территориях, завоеванных на побережье в Сьерра-Леоне (куда в 1790-х гг. обратила свое внимание антирабовладельческая агитация), и в Либерии, созданной как государство освобожденных американских рабов в 1820-х гг., по окраинам европейских поселений на юге Африки иностранные миссионеры (но не созданная местная церковь) начали обращать некоторых африканцев в свою веру. Но когда Дэвид Ливингстон, известный миссионер и исследователь, приплыл в 1840 г. в Африку, обитатели этого континента были совсем не знакомы с христианством.

Напротив, ислам продолжал тихо, постепенно и необратимо распространяться в противовес организованным миссиям и насильственному обращению. Он распространился и на восток — в Индонезию, в Северо-Западный Китай, и на запад от Судана до Сенегала, и в меньшей степени от берегов Индийского океана внутрь полуострова. Когда традиционные общества изменяют что-либо фундаментальное, как, например, религию, ясно, что они

встретятся с множеством новых проблем. Торговцы мусульманских государств, которые фактически монополизировали торговлю с внешним миром во внутренней Африке, богатели от этого и помогали доводить учение ислама до новых народов. Торговля рабами, разрушившая общественную жизнь, помогла приобщению к исламу как могущественному средству восстановления социальных структур. В то же время магометанская религия, обращаясь к псевдофеодальному и воинственному обществу Судана, его чувствам независимости и превосходства, явилась серьезным противовесом рабству. Негры-мусульмане были плохими рабами: племя хаусса (и другие суданцы), которых вывезли в Бахию (Бразилия), девять раз поднимали восстание с 1807 г. вплоть до крупнейшего мятежа 1835 г., в результате почти все были убиты или возвращены в Африку. Рабы научились не покупать товары, ввозимые из тех районов, которые недавно были открыты для торговли[5*] В то время как в исламской Африке сопротивление было незначительным, в Юго-Восточной Азии оно было чрезвычайно ожесточенным. Ислам в этих странах, также проникший через торговлю, долгое время преодолевал местные культы и находившийся в упадке индуизм на Островах пряностей, чаще всего как средство более эффективного сопротивления португальцам и голландцам, как подготовка к национализму, хотя еще больше как противовес индусским правителям[6*] Поскольку эти правители все больше попадали в тесную зависимость от агентов Голландии, ислам пустил свои корни более глубоко в народные массы. В свою очередь голландцы узнали, что индонезийские правители могли при согласии религиозных учителей поднять всеобщее народное восстание, как в войне на Яве принца Джогджакарта (1825—1830). Через некоторое время они опять вернулись к политике тесного союза с местными властями или к непрямому правлению мусульманской Юго-Восточной Азией и Меккой, что способствовало увеличению числа паломников, сделав индонезийский ислам более ортодоксальным, и даже открыло его воинственному влиянию арабского ваххабизма.

Внутри исламского мира движения за реформы и возрождение, которые в этот период придали религии немалую проникаю-

щую силу, также подверглись европейской экспансии и кризису старых магометанских обществ (Турецкой и Персидской империй) и, возможно, воздействию нарастающего кризиса в Китайской империи. Пуританские ваххабиты появились на Аравийском полуострове в середине XVIII в. К 1814 г. они распространились по Аравии и уже готовы были перекинуться в Сирию, но были остановлены объединенными силами сторонника сближения с Западом Мехмета-Али, египетского правителя, и западных армий, хотя их проповедники бродили по Персии, Афганистану и Индии, обратили в ваххабизм алжирского святого Сиди Мохаммеда бен Али эль-Сенусси, организовали такое же движение, которое с 1840-х гг. распространилось от Триполи в Сахару. В Алжире Абд эль-Кадир, на Кавказе Шамиль организовали религиозно-политические движения сопротивления французам и русским соответственно, предвосхищая появление панисламизма, который стремился вернуть общество к первоначальной чистоте времен Пророка, но также и усвоить западные нововведения.

В Персии в 1840-х гг. возникло еще более националистическое и революционное иноверие — движение бабитов Али-Мохаммеда. Оно стремилось, кроме прочего, вернуться к определенной древней практике — персидскому зороастризму и настаивало на том, чтобы женщины сняли паранджу.

Брожение и распространение ислама было таким, что, касаясь чисто истории религии, нам было бы лучше описать период с 1789 по 1848 г. как период возрождения ислама. Он не имел равных себе движений, возникших в других нехристианских религиях, хотя к концу периода мы сталкиваемся с великим китайским восстанием тайпинов, которое по своим характеристикам было таким же движением. Движение Брахма Самаж под лозунгом малых религиозных реформ возникло в британской Индии; им руководил Рам Мохан Рой (1772—1833). В США побежденные индейские племена начали организовывать движения религиозно-общественного сопротивления белым. Равнинными индейцами, под предводительством Текумсе, была начата война с самой большой конфедерацией в первом десятилетии века, и в 1799 г. возникла религия Красивых Озер, для того чтобы защи-

тить образ жизни племени ирокезов от белого американского общества. К чести Томаса Джефферсона, человека редкой образованности, он официально признал этого пророка, который воспринял некоторые христианские и особенно квакерские положения. Тем не менее прямой контакт развитой капиталистической цивилизации и анимистических народов был редок, и поэтому подобных движений возникало немало, и они были типичны также и в XX в.

Распространение движений протестантского сектантства отличается от исламских тем, что оно ограничивалось странами с развитым капитализмом. Степень распространения нельзя измерить, поскольку некоторые движения этого вида (к примеру, германские пиетисты или английские евангелисты) оставались внутри своих государственных церквей. Тем не менее ее масштабы известны. В 1851 г. почти половина протестантских прихожан Англии и Уэльса посещали религиозные службы других церквей. Такой небывалый триумф сект стал результатом роста числа религий с 1790 или, точнее, с последних годов наполеоновских войн. Таким образом, в 1790 г. веслианские методисты насчитывали только 59 тыс. членов-причастников. В Британии в 1850 г. у них были различные ответвления, а членов в десять раз больше[7*] В Соединенных Штатах подобный процесс массового приобщения увеличил число баптистов, методистов и, меньшей степени пресвитериан за счет преобладания основной церкви К 1850 г. почти $^{3}/_{4}$ всех церквей США принадлежали к этим наименованиям[8*] Распад традиционных церквей, раскол верующих и рост сект — вот что отличает историю религии этого периода в Шотландии, Нидерландах, Норвегии и других странах.

Причины географических и социальных ограничений протестантского сектантства очевидны. Римско-католические страны не предоставляли простора и традиций для народных сект. Развал в традиционной церкви, в преобладающей религии скорее принимал форму массового безверия (особенно среди мужчин), чем раскола* (наоборот, протестантский антиклерикализм анг-

* Секты и раскольники в протестантизме, если и появились, остались немногочисленными.

лосаксонских стран часто был совершенным повторением атеистического антиклерикализма европейских стран). Религиозное возрождение скорее принимало форму некого нового национального культа какого-нибудь святого или паломничества в рамках римско-католической религии. Один или двое таких святых нашего периода стали широко известны Кюре де'Арс (1786—1859) во Франции. Православное христианство Восточной Европы оказалось сильно подвержено сектантству. В России распад отсталого общества с конца XVII в. привел к созданию ряда сект. Некоторые, в особенности самоистязатели-скопцы, духоборы на Украине и молокане, появились в конце XVIII в. и в наполеоновский период, староверы — в XVII в. Таким образом, классы, к которым обращались эти секты или крестьянские революционеры — мелкие мастера, торговцы, зажиточные крестьяне и другие предшественники буржуазии, — все-таки были недостаточно многочисленны, чтобы создать движение сектантства широкого масштаба.

В протестантских странах положение было иным. Тут воздействие коммерческого и индивидуалистического общества было сильнее, а сектантская традиция уже хорошо прижилась. Ее исключительность и требование индивидуальных отношений между человеком и Богом, а также ее моральный аскетизм делал ее привлекательной, или школой для растущих предпринимателей и мелких бизнесменов. Ее мрачное и неумолимое учение об аде и вечных мучениях и о личном спасении привлекало людей, живущих тяжелой жизнью в жестоких условиях: пограничников, моряков, мелких фермеров и шахтеров, мастеров-поденщиков. Секта легко могла превратиться в демократическое общество поборников равноправия без социальной и религиозной иерархии и таким образом апеллировать к простым людям. Их неприятие хорошо спланированных ритуалов и ученых доктрин создавало дилетантские пророчества, а проповедь милленаризма[94] привела к примитивному выражению социального недовольства. В конечном итоге ее связь с эмоционально неотразимым личным «обращением» открывала путь к массовому религиозному возрождению неистовой силы, в котором женщины и мужчины могли найти убежище от обще-

ственных катаклизмов, которое не находило выхода и разрушило тех, кто не располагал такой возможностью.

Возрождение способствовало размножению сект. Таким образом, они были очень эмоциональны, иррационалистичны, личная Армия спасения Джона Весли (1703—1791) и его методисты давали импульс возрождению и распространению разногласий среди протестантов, по крайней мере в Британии. По этой причине новые секты и направления были с самого начала аполитичны или даже консервативны, поскольку они отворачивались от несчастий внешнего мира к личному спасению или к жизни самодостаточных групп, что часто означало, что они отрицают возможность какого-либо изменения в мирской жизни. Их политическая энергия в основном расходовалась на моральные и религиозные кампании, как-то: увеличение числа миссий за границей, антирабовладельческую агитацию и призывы к умеренности в жизни. Политически активные и радикальные сектанты в период американской и французской революций были сторонниками более старых, более сдержанных и более спокойных диссидентских и пуританских сообществ, которые выжили со времен XVII в., находящихся в стагнации или даже превращающиеся в интеллектуальный деизм[95] под влиянием рационализма XVIII в.: пресветериане, конгрегационалисты, унитаристы, квакеры. Новый тип методистов-сектантов был антиреволюционным, и невосприимчивость Британии к революции в наш период даже приписывается, хотя и ошибочно, их возросшему влиянию.

Тем не менее социальный характер новых сект боролся против теологического «бегства» из реального мира. Они с большой готовностью распространялись среди тех, кто находился между богатыми и могущественными, с одной стороны, и массами традиционного общества, с другой: среди тех, кто был готов подняться до уровня среднего класса, тех, кто примыкал к новым пролетариям и независимой массе маленьких и свободных людей. Основная политическая ориентация склоняла их всех к якобинскому или джефферсонскому радикализму или по крайней мере к умеренному либерализму среднего класса. «Нонконформизм» в Британии, преобладающие протестантские церкви в США,

таким образом, тяготели больше к левому флангу в политике, хотя среди британских методистов торизм их основателя был преодолен только в течение полувека раскола и внутреннего кризиса, который окончился в 1848 г. Только среди очень бедных или очень сильно затронутых происходящими переменами продолжалось отрицание существующего мира. Но это часто было примитивное революционное отрицание, принимающее форму милленаристского предсказания конца света, которому предшествовали несчастья постнаполеоновского периода. В Британии ирвиниты предрекали его наступление в 1835 и в 1838 гг., Уильям Миллер, основатель секты адвентистов седьмого дня в США, предрекал его на 1843 и 1844 гг. К тому времени его секта насчитывала 50 тыс. человек, и к нему вернулись еще 3 тыс. ранее ушедших от него. В тех местах, где малые устойчивые личные хозяйства и мелкие торговцы испытывали удары динамично развивающегося капиталистического хозяйства, таких как северная часть Нью-Йорка, это милленаристское брожение было особенно сильным. Наиболее сильной сектой стала секта святых последнего дня (мормоны), основанная пророком Джозефом Смитом, который получил свое откровение близ Пальмиры, Нью-Йорк, в 1820-х гг. и повел своих людей к массовому отходу в пустыни Юты.

Это были также группы, среди которых на митинге в состоянии массовой истерии по поводу коллективного возрождения было оглашено воззвание; то ли потому, что подобная истерия облегчала жестокость и тяжесть жизни («когда нет никаких иных занятий, их место занимает иногда религиозное возрождение», как заметила некая леди, наблюдавшая за девушками на заводах Эссекса)[9*], то ли потому, что религия помогает создать некую общность отчаявшихся личностей. В своей современной форме возрождение явилось результатом американских границ. «Великое пробуждение» началось около 1800 г. в Аппалачах с гигантских «палаточных митингов» — один в каньоне Ридж, Кентукки (1801 г.) объединивший около 10—12 тыс. людей под руководством сорока проповедников: степень непрерывной истерии трудно постигнуть, мужчины и женщины дергались, танцевали до изнеможения, впадали в транс тысячами и лаяли, как собаки. От-

даленность, жестокость природного или социального окружения или сочетание того и другого делали возможным подобное возрождение, которое странствующие проповедники перенесли и в Европу, таким образом создавая пролетарско-демократический раскол с веслианцами (так называемыми примитивными методистами) после 1808 г., которые распространились частично среди британских шахтеров на севере страны и мелких фермеров, среди рыбаков Северного моря, батраков в потогонных отраслях, среди отчаявшихся надомных рабочих в Мидленде. Такие припадки религиозной истерии периодически возникали в наш период — на юге Уэльса они разразились в 1807—1809, 1828—1830, 1839—1842, 1849 и 1859 гг.[10*] и содействовали росту и усилению сект. Причина ускорения тут не одна. Некоторое совпадение с периодами высокого напряжения и беспокойства (кроме одного, все периоды ультрабыстрого распространения веслианства в наш период совпадали), но иногда также наряду с быстрым восстановлением после депрессии, и возможно, они были ускорены социальными потрясениями, такими как эпидемия холеры, которая создала аналогичный религиозный феномен в других христианских странах...

III

В чисто религиозном отношении мы должны рассматривать наш период как время, когда выросла секуляризация и (в Европе) религиозное безразличие сталкивалось с возрождением религии в ее наиболее бескомпромиссных, иррациональных и эмоционально обязательных формах. Если Том Пейн настаивает на одной крайности, Уильям Миллер, адвентист, настаивает на другой. Чистый атеист, механистический материалист и германский философ Фейербах (1804—1872 гг.) в 1830-х гг. уверял в отсутствии интеллекта у молодых людей из «Оксфордского движения», которое отстаивало достоверность жизнеописания святых, живших в эпоху раннего средневековья.

Но это возвращение к воинственной, строгой, старомодной

религии имело три аспекта. Для масс это было в основном средством, чтобы справиться с суровым и враждебным либерализмом среднего класса. По выражению Маркса (хотя это говорил не только Маркс), это было «сердце бессердечного мира, душа бездушных условий жизни... опиум для народа»[11*] Более того, религия старалась создать общественные, а иногда образовательные и политические институты в окружении, которое ничего не давало, и среди политически неразвитых людей она давала примитивное выражение их недовольства и желаний. Их эмоциональность и суеверие протестовали против всего общества, в котором на первом месте стоял рациональный расчет, и против высших классов, изменивших религию по своему подобию.

Для среднего класса, происходящего из этих масс, религия могла быть могущественной моральной опорой, оправданием их социального существования против объединенного недовольства и ненависти традиционного общества и двигателем их экспансии. Она освобождала их от оков этого общества, если они становились сектантами. Это давало их доходам моральное оправдание, и они уже не выглядели как просто расчетливые нувориши; она узаконивала их жестокость по отношению к угнетенным, она объединяла их с торговлей в деле распространения цивилизации на язычников. И торговлю с бизнесом.

Для монархий и аристократии, да и для всех, кто находился на вершине социальной пирамиды, она обеспечивала социальную стабильность. Они узнали со времен французской революции, что церковь являлась сильнейшей опорой трона. Набожные и безграмотные люди Южной Италии, Испании, Тироля и России брались за оружие, чтобы защитить свою церковь и правителей от иностранцев, неверующих, революционеров, благословляемые, а иногда и возглавляемые своими священниками. Набожные и безграмотные люди будут жить в нищете, в которую их призвал Бог, под правлением царей, посланных им Провидением, просто, честно, послушно и независимо от разрушительных последствий просвещения. Для консервативных правительств после 1815 г. (а какое правительство в Европе не было консервативным?) поощрение религиозных чувств и церквей было неотъем-

лемой частью политики, так же как и организация политических служб, цензура, поскольку полиция, цензура и священники являлись тремя оплотами реакции против революции.

Для большинства законных правительств довольно было того, что якобинство угрожало тронам, а церкви оберегали их. Тем не менее для некоторых интеллектуалов-романтиков и идеологов союз трона и алтаря имел более глубокое значение: он охранял старое правильно живущее общество от коррозии разума и либерализма, и человек находил, что это старое общество более соответствует его трагическим предчувствиям, чем то, которое построят рационалисты. Во Франции и Англии такое оправдание союза между троном и алтарем не имело слишком большого политического значения. Равным образом не имела значения и романтическая попытка людей найти трагическую и личную религию. (Самый знаменитый исследователь этих глубин человеческой души датчанин Сёрен Кьеркегор (1813—1855) пришел из маленькой страны, на него не обращали внимания современники, его слава пришла к нему посмертно.) Тем не менее в германских государствах и в России, оплотах монархической реакции там, где монархи сами были подвержены психической неустойчивости (как Александр I в России и Фридрих-Вильгельм IV в Пруссии), реакционные интеллигенты-романтики играли некоторую роль в политике как гражданские служащие, составители манифестов и программ как личные советники. Но в целом Фридрих Гентц и Адам Мюллер были мелкими фигурами, и их средневековая религия (которой сам Меттерних не доверял) была лишь слабым рецидивом традиционализма, а полиция и цензура — это тоже проявление традиционализма. Мощь Священного союза России, Австрии и Пруссии, необходимого, чтобы поддерживать порядок в Европе после 1815 г., основывалась не на его крестоносном мистицизме, а на простом решении сокрушать все разрушительные движения руками России, Австрии и Пруссии. Более того, искренне консервативные правительства были склонны не доверять всем интеллигентам и идеалистам, даже реакционным, поскольку если уж они придерживаются принципа сначала думать, а потом подчиняться, то в результате все равно придут к

одному — к революции. Вот что писал в 1819 г. Фридрих Гентц (секретарь Меттерниха) Адаму Мюллеру: «Я продолжаю отстаивать предложение ничего не печатать в следующие годы... Поставим точку. Если придерживаться этого принципа как главного правила, за малыми исключениями, санкционировать которые будет верховный трибунал, мы скоро вернемся опять на путь, ведущий к Богу и Истине»[12*] И хотя антилиберальные идеологи не имели большого политического значения, их бегство от ужасов либерализма к настоящему благочестию и традициям прошлого вызвал значительный интерес к религии, так как с этого началось возрождение римского католицизма среди сентиментальной молодежи высших классов. А разве не протестантизм является единственным предшественником индивидуализма, рационализма или либерализма? Если настоящее религиозное общество само излечит болезни XIX в., то разве это не христианское общество католического средневековья?* Как всегда, Гентц выразил привлекательность католицизма с ясностью, не подходящей для предмета.

«Протестантизм является первым истинным и единственным источником всего зла, которое мы сегодня пожинаем. Если бы он хотя бы сдерживался в своих рассуждениях, мы тогда смогли бы и должны были бы терпеть его, поскольку склонность спорить присуща человеческой натуре. Таким образом, поскольку правительства согласились принять протестантизм как дозволенную форму религии, одно из выражений христианства, право человека, поскольку они... выделили ей место в государстве, или даже на его руинах, единственная верная церковь, религия, мораль и политический порядок в мире сразу исчезает... Французская революция, самая ужасная, которая чуть не обрушилась на Германию, произошла из этого самого источника»[13*]. Группы экзальтированных молодых людей, таким образом, уходили от ужасов умствования в объятия Рима, давая обет безбрачия, само-

---

* В России, где все еще процветало истинно христианское общество и православная церковь, подобные тенденции возврата к незапятнанной благочестивости прошлого почти не наблюдались, а скорее наблюдалось отступление в бездонную пропасть мистицизма, допустимого теперь в православии.

истязаясь, исповедуя аскетизм, читая писания или просто пылко и с энтузиазмом довольствуясь церковными ритуалами. Они приходили, надо сказать, в основном из протестантских стран. Германские романтики были в основном пруссаками. Оксфордское движение 1830-х гг. наиболее известно англосаксонскому чиателю, хотя это характерно для Британии, так как только некоторые молодые фанатики, которые так выражали дух наивысшего мракобесия и реакционности в университетах, только они и вошли в римскую церковь, а именно талантливый Дж. Х. Ньюман (1801—1890). Остальные находили компромиссное положение как «ритуалисты» внутри англиканской церкви, которые настаивали, чтобы она была настоящей католической церковью, и пытались, к ужасу церковников, ввести украшения, одеяния, фимиам и другие папистские мерзости. Новообращенцы приводили в недоумение традиционных католиков-дворян и благородные семьи, которые хранили свою религию как фамильный символ, и массы ирландских эмигрантов-рабочих, которые составляли большинство британских католиков. Осторожные и реалистичные власти Ватикана также не оценили их благородное рвение. Но поскольку они происходили из хороших семей и обращение высших классов могло стать успешным предвестником обращения низших классов, их рвение все же было одобрено церковной властью.

Хотя даже внутри организованной религии, внутри римско-католической, протестантской и иудейской церквей уже действовали саперы и минеры либерализма. В римской церкви их главным полем действия была Франция, а наиболее важной фигурой — Гюг Феличите-Робер де Ламенне (1782—1854), который последовательно перешел от романского консерватизма к революционной идеализации народа, что подвело его близко к социализму. «Paroles d'un Croyant» Ламенне (1834 г.) произвела переполох среди правительств, которые не ожидали получить предательский удар в спину таким надежным оружием защиты, каким был католицизм, и Ламенне скоро был проклят Римом. Либеральный католицизм тем не менее выжил во Франции, всегда допустимый как ветвь церкви, немного отличавшаяся от римской. В Италии могучее революционное движение 1830-х гг. и 1840-х гг. толкнуло в его водово-

рот некоторых католических мыслителей, таких как Росмини и Джоберти (1801—1852), первых борцов за освобождение Италии, объединенной папой. Итак, в основном церковь была воинствующей и антилиберальной.

Протестантские меньшинства и секты, естественно, стояли гораздо ближе к либерализму в политике: быть французом-гугенотом фактически означало быть менее всего умеренным либералом. (Гизо, премьер-министр Луи-Филиппа, был таким человеком). Церкви в протестантских государствах — англиканская и лютеранская — политически были более консервативны, но их теологи были неустойчивы против коррозии библейской науки и рационалистических изысканий. Евреи, конечно, были вне либерального движения. Так или иначе, они связывали свои надежды на политическое и социальное освобождение с этим движением. Задачей полного освобождения евреев была культурная ассимиляция. Наиболее крайние среди образованных отказывались от своей старой религии и становились христианами, конформистами или агностиками, как отец Карла Маркса или поэт Генрих Гейне (который обнаружил, что евреи не перестают быть евреями даже на том свете, когда перестают посещать синагогу). Менее крайние изобрели разбавленную либеральную форму иудаизма. И только в маленьких городах в гетто неизменно продолжалась жизнь, посвященная торе и талмуду.

ГЛАВА 13

ИДЕОЛОГИЯ: СВЕТСКАЯ

(Мистер Бентам) ради удовольствия вытачивает на токарном станке деревянную утварь, о чудеса, он так же может вытачивать и людей. Он не очень-то любит поэзию и едва ли способен извлечь мораль из Шекспира. Его дом обогревается и освещается паром. Он один из тех, кто предпочитает искусственное натуральным вещам и полагает, что человеческий ум всемогущ. У него глубокое отвращение к тому, что происходит у него за дверью, к зеленым полям и деревьям, он всегда и все измеряет выгодой.

В. Хэзлитт. Дух Времени, 1825 г.

Коммунисты считают ниже своего достоинства скрывать свои взгляды и цели. Они открыто заявляют, что их цели можно достигнуть только путем насильственного ниспровержения всех существующих условий жизни. Заставьте правящие классы дрожать от коммунистической революции. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Завоюют же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К. Маркс и Ф. Энгельс
Манифест Коммунистической партии, 1848 г.

I

Количество религиозных идеологий заставляет нас испытывать гордость за то место в мире, которое религия занимает в событиях 1789—1848 гг. а светская идеология удивляет качеством. За небольшим исключением все значительные мыслители нашего периода говорили на светском языке, невзирая на то, какую религию они исповедовали. Многое из того, о чем они думали (и то, что простые люди воспринимали как должное, не слишком об этом задумываясь), будет обсуждаться ниже под более подходящими заглавиями — наука и искусство, некоторые мы уже обсудили. Сейчас мы остановимся на том, что стало глав-

ной темой после двойственной революции: природа общества и путь, которым оно шло или должно было идти. По этой ключевой проблеме существовало два разных мнения: одни придерживались того пути, которым мир шел, а другие считали иначе, другими словами, одни верили в прогресс, другие нет. В известном смысле существовало только одно мнение (Weltanschauung[96]), имевшее значение, и ряд других мнений, которые, несмотря на их заслуги, по сути являлись негативной критикой главного, победоносного, рационалистического, мнение гуманистов-просветителей XVIII в. Его передовые представители твердо (и справедливо) считали, что человеческая история — это подъем, а не спуск и не медленное сползание по наклонной плоскости. Они могли наблюдать, как научные знания человека, его способность управлять техникой и природой возрастают с каждым днем.

Они верили, что человеческое общество и каждый человек может становиться лучше благодаря разуму, и им суждено стать лучше в процессе истории. По данным пунктам мнения буржуазных либералов и революционных пролетарских социалистов сходились.

До 1789 г. наиболее сильные и передовые формулировки этой идеологии прогресса принадлежали классическому буржуазному либерализму. Ее основная система была настолько основательно разработана в XVII и XVIII вв., что обсуждать ее здесь не стоит. Она была узкой, ясной и четко ограниченной философией, которая находила свои простейшие объяснения, как и следовало ожидать, в Британии и Франции.

Она была строго рационалистичной и светской, придерживалась убеждения, что люди способны в принципе понимать и подчинять все вопросы своему разуму, и склонной к иррациональному поведению и институтам (среди которых традиционализм и все религии, которые скорее склонны все затемнять, чем просвещать). С философской точки зрения она была ближе к материализму или эмпиризму, так как придерживалась идеологии, которая черпала силу и методы из науки, в этом случае — в основном из математики и физики XVII в., в которых произошли революционные перевороты. Ее основные положения о мире и человеке

были отмечены крайним индивидуализмом, который был обязан скорее самоанализу представителей среднего класса или наблюдению за их поведением, чем априорным принципам, на которых должны основываться и которые должны быть выражены в психологии (хотя в 1789 г. это слово еще не существовало) так называемой ассоциативной школы.

Короче, для классического либерализма человеческий мир состоял из независимых индивидуальных частиц с определенными внутренними желаниями и побуждениями, каждая из которых больше всего стремится максимально удовлетворить свои желания и максимально уменьшить число неудовлетворенных, действуя так же, как и все другие*, и, естественно, не признает никаких ограничений и прав на вмешательство в его побуждения. Другими словами, каждый человек, естественно, владеет жизнью, свободой и ищет счастья, как сказано в американской Декларации независимости, хотя наиболее либерально мыслящие просветители предпочитали не зачислять этого в естественные права. В процессе поиска этого личного интереса каждый человек по своей воле в равном соревновании находит полезным или неизбежным вступать в определенные отношения с другими людьми, и это сплетение полезных соглашений, которые часто выражались при помощи откровенно коммерческой терминологии словом «контракт», формировали общество и общественные и политические группы. Конечно, такие соглашения и ассоциации предусматривали некоторое сокращение неограниченной свободы делать то, что он желает; одной из задач политики является задача сократить такое вмешательство до минимума. За исключением таких неразрывных возрастных групп, как родители и дети, человек, следуя классическому либерализму (чьим литературным символом был Робинзон Крузо), являлся общественным животным только потому, что он сосуществовал большими группами. Социальные задачи поэтому являются арифметической суммой индивидуальных задач. Счастье (термин, который принес

---

* Великий Томас Гоббс был твердо убежден в полном равноправии всех людей по всем вопросам, кроме «науки» с практической целью.

его последователям столько же неприятностей, сколько и гонителям) было главным объектом для каждого индивидуума, наивысшее счастье наибольшего числа людей и являлось целью общества.

Фактически чистый утилитаризм, который подгонял все человеческие отношения до образца, только что нарисованного, и относился к таким бестактным философам, как великий Томас Гоббс в XVII в., или ограниченным вождям среднего класса школы британских мыслителей и публицистов, к числу которых принадлежали и Иеремия Бентам (1748—1832), Джеймс Милль (1773—1836), и более всего к классическим, политическим экономистам по двум причинам: на первом месте находилась идеология, которая совершенно отрицает все, кроме рациональных подсчетов личной выгоды, до «нелепости ходьбы на ходулях» (используя выражение Бентама), вступая в конфликт с некоторыми сильными инстинктами поведения среднего класса, которые он намеревался развивать*. Таким образом, из этого следовало, что рациональная и личная выгода должна легко оправдывать большее вмешательство в личную свободу делать все, что пожелает и хранить то, что он имел, что было для всех приемлемо. (Томас Гоббс, чьи книги британские утилитаристы коллекционировали, и публиковали, считал, что утилитаризм предотвращал любые ограничения государственной власти, и последователи Бентама сами первые шли с готовностью на бюрократическую службу государства, думая, что оно обеспечит наибольшее счастье наибольшему числу людей.) В итоге те, кто надеялся, что частная собственность, а также предпринимательство и личная свобода бу-

---

* Это не должно быть понято так, что личный интерес обязательно означал антиобщественный эгоизм. Гуманные и социально мыслящие утилитаристы придерживались мнения, что максимальное удовлетворение потребностей означает или, при правильном воспитании, может означать благотворительность, т. е. способность помогать ближнему. Дело в том, что это был не моральный долг или пример общественного поведения, но нечто такое, что делает человека счастливым. «Интерес, — утверждал Гольбах в своих «Système de la nature» (I, с. 268,) — это не что иное, как то, что каждый из нас считает необходимым для своего счастья».

дут охраняться, часто предпочитали метафизическую поддержку естественного права ненадежной полезности. Более того, философия, которая полностью запрещала мораль и долг, сводя их к рациональному подсчету, могла легко ослабить то чувство внутренней гармонии среди несчастной бедноты, на которой держалась социальная стабильность.

Утилитаризм по этим причинам никогда не становился главной либеральной идеологией среднего класса. Он предусматривал резкое сокращение и изменение всех традиционных институтов, которые не могли ответить на главные вопросы: рационально ли это? полезно ли это? поможет ли это создать наибольшее счастье наибольшему числу людей? Но он не годился ни для воодушевления на революцию, ни на то, чтобы защитить от нее. Слабый философ Джон Локк более, чем величественный Томас Гоббс, остался любимым мыслителем вульгарных либералистов, поскольку он по крайней мере ставил частную собственность выше вмешательства, как наиболее естественное право. А французские революционеры были в восторге от требования свободы для предпринимательства («tout citoyen est libre d'employer ses bras, son industrie et ses capitaux comme il juge bon et utile á lui-même... Il peut fabriquer ce qui lui plaît et il lui plait»)[1*] в форме главного естественного права на свободу («L'exercise des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits»)[2*]

Таким образом, классический либерализм в своей политической мысли отклонялся от смелости и суровости, которые делали его такой могучей и революционной силой. В экономической мысли у него было меньше запретов частично потому, что уверенность среднего класса в победе капитализма была намного сильнее, чем уверенность в политическом превосходстве буржуазии над абсолютизмом или невежественной толпой, а частично потому, что классические предположения о том, что природа и естественное положение человека, без сомнения, подходило для специфической ситуации рынка гораздо больше, чем положение о гуманности вообще. В конечном итоге классическая политическая экономия и Томас Гоббс составляют наиболее впечатляю-

щий интеллектуальный монумент либеральной идеологии. Ее великий период начинается немного раньше, чем тот, с которым знакомит эта книга. Публикация в 1776 г. книги Адама Смита (1723—1790) «Богатство народов» отмечает начало этого периода, «Принципы политической экономии» Давида Рикардо (1817) — ее пик, а 1830 г. — начало ее заката или трансформации. Тем не менее ее упрощенные версии продолжали завоевывать последователей среди бизнесменов на протяжении нашего периода.

Социальным аргументом политической экономии Адама Смита были красота и удобства. Это правда, что гуманизм был представлен по существу, свободными личностями, обладающими определенной психологией, преследующими свои личные интересы, соревнующимися друг с другом. Но эти действия, если им позволить функционировать, по мере возможности беспрепятственно создают не только естественный социальный порядок (что ясно из тех искусственных порядков, как наделение аристократов наследственными имущественными правами, обскурантизм, традиция или невежественное вмешательство), но и скорейшее увеличение благосостояния наций — удобства и благополучие и, таким образом, счастье всех людей. Основой этого естественного порядка являлось общественное разделение труда. Можно научно доказать, что существование класса капиталистов, владеющих средствами производства, приносило пользу всем, включая класс рабочих, которые сдают себя внаем членам класса капиталистов, а также можно было научно доказать, что интересы Британии и Ямайки соблюдаются наилучшим образом, когда одно государство производит мануфактурные товары, а другое — сахарное сырье. Потому что увеличение богатства наций произошло благодаря действиям владельцев собственности, частных предпринимателей и благодаря накоплению капитала и могло быть доказано, что любой другой метод достижения благосостояния общества должен замедлить его или остановить совсем. Более того, общество, в котором царит экономическое неравенство, является результатом деятельности человеческой природы, что совместимо с естественным неравенством людей и справедливо. Поскольку совершенно отдельно от предоставления наиболее бедным лю-

дям лучших условий жизни, чем они имели, оно основывалось на наиболее равноправном из всех отношений, обмене эквивалентов на рынке. Как считает современный ученый, «никто не зависел от благотворительности других, потому что за все, что один получил от другого, взамен он отдавал соответствующий эквивалент. Более того, свободная игра природных сил станет разрушительной во всех случаях, когда отношения не построены на содействии общественному благу»[3*]

Прогресс, таким образом, был так же естественен, как и капитализм. Убери искусственные препятствия с его пути, которые воздвигло прошлое, и он должен обязательно произойти; было очевидно, что прогресс производства шел рука об руку с искусствами, наукой и цивилизацией в целом. Не подумайте, что люди, придерживавшиеся таких взглядов, были специальными адвокатами имущественных прав бизнесменов. Это были люди, которые верили, что значительное историческое оправдание буржуазного строя в этот период было в том, что для человечества путь вперед шел через капитализм. Сила этого «панглоссианства» заключалась не только в бесспорной способности доказать ее экономические теоремы дедуктивными аргументами на факте очевидного прогресса капитализма и цивилизации XVIII в. Наоборот, капитализм начал спотыкаться не потому, что Рикардо обнаружил противоречия внутри системы, которые предвидел Смит, но потому, что действительные экономические и социальные результаты капитализма оказались не такими успешными, как их предсказывали. Политическая экономия в первой половине XIX столетия стала более мрачной, чем процветающая наука. Естественно, можно было все еще считать, что несчастье бедных, которые были обречены влачить жалкое существование на грани голода или которые (как утверждал Рикардо) страдали от введения машин*, которое все еще должно было составить величайшее счастье большинства людей, которых просто оказалось гораздо меньше,

* «Мнение, которое поддерживалось рабочим классом, что использование машин зачастую идет в ущерб его интересам, основано не на предрассудках и ошибках, но оно соответствует верным принципам политической экономии.» «Принципы...», с. 383.

чем можно было рассчитывать. Но такие факты, а также заметные трудности капиталистической экспансии в период с 1810 по 1840-е гг. охладили оптимизм и подхлестнули критические исследования, особенно в сфере распределения являющейся противовесом производству, рассмотрением которого главным образом поколение Смита и занималось. Политическая экономия Давида Рикардо, шедевр дедуктивной строгости, внесла значительные элементы разногласия в естественную гармонию, на которой ранние экономисты заработали деньги. Он даже подчеркивал сильнее, чем это делал Смит, определенные факторы, которые могли привести двигатель экономического прогресса к остановке, ослабив снабжение его необходимым горючим, таким как тенденция к снижению скорости роста прибыли. Более того, он создал всеобщую теорию стоимости труда, которой нужно было дать ход, чтобы она превратилась в мощный аргумент против капитализма. Тем не менее его замечательное мышление и его страстная поддержка тех практических объектов, сторонниками которых являлось большинство британских бизнесменов — свободную торговлю и враждебность к землевладельцам, — помогли завоевать классической политической экономии более прочное место, чем раньше, в либеральной идеологии. Для практических целей инициативные группы проводников реформ среднего класса в Британии в постнаполеоновский период были вооружены сочетанием утилитаризма Бентама и экономикой Рикардо. В свою очередь значительные достижения Смита и Рикардо, подкрепленные достижениями британской промышленности и торговли, повернули политическую экономию в основном к британской науке, оттеснили французских экономистов (которые совсем недолго делили с ней лидерство в XVIII в.) на менее значительную роль предшественников или помощников, экономистов-неклассиков для рассеивания нападающих. Более того, они сделали политэкономию неотъемлемым символом либерального прогресса. Бразилия учредила кафедру по этому предмету в 1808 г. — задолго до Франции, — которую возглавил популяризатор Адама Смита Ж.-Б. Сэй (ведущий французский экономист) и утилитарист-анархист Уильям Годвин. Аргентина едва полу-

чила независимость, когда в 1823 г. в новом университете Буэнос-Айреса начали обучать политической экономии на основе только что переведенного Рикардо и Джеймса Милля, но не раньше, чем на Кубе, где была открыта кафедра еще в 1818 г. Тот факт, что обычное экономическое поведение правителей Латинской Америки страшно напугало европейских финансистов и экономистов, не повлиял на их привязанность к ортодоксальной экономике.

В политике, как мы видели, либеральная идеология была непоследовательной. Теоретически она осталась разделенной между утилитаризмом и адаптациями старых доктрин естественного права и естественного закона, из которых последние превалировали. В своей практической программе она разрывалась между верой в народное правительство, т. е. в правление большинства, что было логично и отражало факт, что те, кто в действительности совершал революции и стоял за спиной реформ, настаивая на их осуществлении, не относились к среднему классу, но представляли мобилизованные массы*, а более распространенная вера в правительство имущей элиты была проявлением борьбы между радикализмом и виггизмом, пользуясь британской терминологией. Поскольку их правительства действительно были народными, и если большинство действительно правило (если интересы меньшинства были принесены в жертву, что логически было неизбежно), могло ли фактическое большинство — наиболее многочисленный и беднейший класс[4*] — быть уверено в том, что смогут гарантировать свободу и довести до конца веления разума, которые совпадали, что было очевидно, с программой либералов среднего класса?

До французской революции главной причиной тревоги в этом отношении было невежество и суеверие рабочей бедноты, которая часто находилась под влиянием короля и священника. Революция сама ввела дополнительную опасность в левое крыло, антикапиталистическую программу, такую, которая подразумева-

* Кондорсе (1743—1794), чья мысль является фактически кратким руководством просвещенной буржуазии, после взятия Бастилии отошел от веры в ограниченное право голоса, уверовал в демократию, хотя с сильными гарантиями прав личности и меньшинства.

лась в некоторых аспектах якобинской диктатуры. Умеренные виги за границей увидели эту опасность раньше: Эдмунд Бёрк[97], чья экономическая идеология была идеологией Адама Смита[5*] переработанной в откровенно иррациональную веру в добродетель традиций, последовательность и медленный органический рост, которая с тех пор осуществляла теоретическую поддержку консерватизму. Практические либералы на континенте отстранились от политической демократии, отдавая предпочтение конституционной монархии с правом собственности или в крайнем случае любому старому абсолютизму, который обещал им гарантировать их интересы. После 1793—1794 гг. только чрезмерно недовольные или слишком самонадеянные буржуа, к примеру в Британии, были готовы с Джеймсом Миллем полагаться на свою способность сохранить поддержку трудящейся бедноты всегда, даже в условиях демократической республики.

Социальное недовольство, революционные движения и социалистические теории постнаполеоновского периода усилили эту дилемму, революция 1830 г. сделала ее еще острее. Либерализм и демократия стали противниками: лозунг французской революции — свобода, равенство и братство — выражал скорее противоречие, чем примирение. Естественно, что это проявилось в доме революции, во Франции. Алексис Токвиль (1805—1859), который посвятил свой замечательно острый интеллект анализу тенденций, присущих американской демократии (1835 г.), а позже тенденциям французской революции, прекрасно выжил во время умеренного либерального кризиса демократии этого периода, или скорее он оказался особенно близким по духу умеренным либералам западного мира с 1945 г. Возможно, это естественно в духе его афоризма: «С XVIII в. там текли как из одного источника две реки. Одна несет человека к свободным учреждениям, другая к абсолютной власти»[6*] В Британии Джеймс Милль, стойкий и уверенный приверженец буржуазной демократии, тоже заметно отличался от своего сына Джона Стюарта Милля (1806—1873), странно желавшего защищать права меньшинства от большинства, и это желание благородного и беспокойного человека преобладало в его книге «О свободе» (1859 г.).

II

В то время, как либеральная идеология утратила свой прежний наступательный порыв — либералы стали сомневаться в неизбежности и желательности прогресса, — и появилась новая идеология, переиначившая старые истины XVIII в. — социализм. Разум, наука и прогресс лежали в ее твердом основании. Что отличало социалистов нашего периода от приверженцев идеального общества с общественной собственностью, периодически заглядывающих в историческую литературу, так это безоговорочное одобрение промышленной революции, которая создала саму возможность современного социализма. Граф Клод де Сен-Симон (1760—1825), традиционно считавшийся родоначальником утопического социализма, хотя его учение занимает гораздо более сомнительное положение, был первым и передовым апостолом «индустриализации» и «индустриалистов» (оба слова были его собственным изобретением). Его последователи стали социалистами, смелыми технологами, финансистами и работниками индустрии или и тем и другим сразу. Сен-Симонизм, таким образом, занимает особое место в истории как капиталистического, так и антикапиталистического развития. Роберт Оуэн (1771—1858) в Британии сам был преуспевающим бизнесменом в хлопковой промышленности и был уверен в том, что лучшее общество возможно не в силу его твердой уверенности в способности человека к совершенствованию в обществе, но также благодаря наглядным творениям общества потенциального изобилия индустриальной революции. Фридрих Энгельс, хотя и неохотно, также работал в хлопковом бизнесе. Никто из новых социалистов не хотел повернуть стрелки часов социальной эволюции назад, хотя многие из их последователей этого желали. Даже Шарль Фурье (1772—1837), последний оптимист из числа отцов-основателей социализма, говоря об индустриализации, считал, что решение скорее находится в будущем, чем в прошлом.

Более того, сами аргументы классического либерализма могли и были с готовностью использованы против капиталистичес-

кого общества, которое они помогали строить. Счастье было в самом деле, как сказал Сен-Жюст, «новой мечтой Европы»[7*], без труда можно было наблюдать за великим счастьем великого множества людей и ясно было, что достигнуть его для бедных рабочих невозможно. И было нетрудно отделить поиски счастья от представлений эгоистичного человека, как поступали обожатели Бентама — Уильям Годвин, Роберт Оуэн, Томас Ходжкин.

Основной необходимой целью всего сущего является состояние счастья, писал Оуэн[8*], «но счастья нельзя достигнуть в одиночку, бесполезно ожидать изолированного счастья, все должны принимать участие в его достижении, так как немногие никогда не достигнут его».

Кроме того, классическая политическая экономия Рикардо могла работать и против капитализма, то, что преисполнило после 1830 г. экономистов среднего класса в учении Рикардо тревогой и уважением к нему, являлось источником вдохновения для агитаторов и разрушителей общества. Если, как утверждает политическая экономия, труд был источником всех богатств, тогда почему большинство его производителей живет на грани нищеты? Потому что, как показывал Рикардо, хотя он чувствовал свою вину за то, что написал заключение своей теории, капиталист присваивает в форме дохода излишек, который произвел рабочий более и сверх того, что он получил в виде зарплаты. (Утверждение о том, что землевладельцы также присваивали часть излишков, не повлияло особенно на предмет.) Фактически капиталист эксплуатировал рабочего. Оставалось только убрать капиталиста и таким образом уничтожить эксплуатацию. Группа Рикардо, экономистов-трудовиков, вскоре появилась и в Британии, чтобы изучить вопрос и подвести итог.

Если бы капитализм фактически достиг того, чего от него ожидали в дни подъема политической экономии, подобный критицизм не получил бы резонанса. В противоположность тому, что часто допускается, бедным удавалось совершать революцию, благодаря которой улучшились бы их жизненные условия. В период создания теории социализма между публикацией книги

Роберта Оуэна «Новый взгляд на общество» (1813—1814 гг.)[9]* и «Коммунистическим Манифестом» (1848 г.) имели место депрессия, снижение заработной платы, тяжелые времена безработицы из-за внедрения машинной техники и сомнения в будущем экспансии экономики, все это было более, чем очевидным*. Критики тем не менее могли заметить не только несправедливость экономики, но и нарушения в производстве, ее внутренние противоречия. Были обнаружены присущие этой экономике циклические колебания — кризисы капитализма (Сисмонди, Бэйд, Энгельс), которые предвидели ее сторонники, а возможности этих кризисов отрицал закон, автором которого являлся Ж.-Б. Сэй (1767—1823). Вряд ли они могли не заметить, что в этот период происходило все более несправедливое распределение национального дохода (богатые богатели, а бедные беднели), и это было не случайно, а являлось результатом действия системы. Короче, они могли заметить, что капитализм не только несправедлив, но также и то, что он работает плохо, а поскольку он работал, то производил обратные результаты, обратные тем, что ему и предрекали его защитники. Поскольку новые социалисты почти доказали свою правоту, опережая события при помощи классического франко-британского либерализма, оставляя позади буржуазных либералов, новое общество, которое они защищали, не обязательно развивалось пренебрегая традиционным классическим гуманизмом и либеральными идеями. Мир, в котором все счастливы и каждый человек полно и свободно реализовывал себя или свой потенциал, общество, в котором царила свобода, а правительство, осуществлявшее насилие, исчезло, такое общество являлось основной целью и либералов, и социалистов. То, что отличало различных членов идеологического содружества, происходило от гуманизма и просвещения. По этому вопросу тем не менее социализм расходился с классической либеральной традицией.

На первое место ставится его разрыв с положением либералов о том, что общество — это совокупность или комбинация его

* Слово «социализм» было изобретением 1820-х годов.

индивидуальных составляющих и что его мотивирующей силой были их личные интересы и соревнование. Пойдя таким путем, социализм вернулся к старейшим традициям идеологии гуманизма и к понятию, что человек — существо общественное. Люди обычно живут вместе и помогают друг другу. Общество являлось прискорбным сокращением неограниченного естественного права человека делать то, что он хочет, но устанавливает регулирование его жизни, счастья и нивелирует его индивидуальность. Идея Смита о том, что обмен эквивалентами на рынке обеспечивал социальную справедливость, шокировал их как непостижимый и аморальный факт. Большинство простых людей придерживались того же взгляда, даже когда не могли его выразить. Многие критики капитализма выступали против антигуманизма буржуазного общества (технический термин «отчуждение», который использовали гегельянцы и ранний Маркс, отражает древнюю концепцию общества как дома человека в большей степени, чем местоположение человека с неприкрепленной деятельностью), порицая сам путь цивилизации, рационализма науки и технологии. Новые социалисты в отличие от революционеров типа старых ремесленников поэт Уильям Блейк и Жан-Жак Руссо поступали совсем иначе. Они разделяли не только традиционную идею общества как дома для человека, но и старую концепцию о том, что прежде чем были установлены классовое общество и собственность, человек жил более или менее гармонично; концепцию, которую выдвинули Руссо, идеализируя примитивного человека, и неискушенные радикальные памфлетисты в легендах о том, как однажды свободные и живущие по-братски люди были завоеваны чужестранными правителями — саксов завоевали норманны, а галлов — тевтоны. «Гений, — говорил Фурье, — должен вновь отыскать тропы примитивного счастья и приспособить его к условиям современной промышленности»[10*]. Примитивный коммунизм прошел через века и через океаны, чтобы создать модель коммунизма будущего. Во-вторых, социализм принял форму аргументации, которая если и не выходила за рамки классической либеральной традиции, то и не очень с ней совпадала эволюционно и исторически. Для классических либералов и ранних со-

временных социалистов их планы были естественны и рациональны и отличались от искусственного и иррационального общества, чьи невежество и тирания выплеснулись в мир. Теперь, когда прогресс просвещения показал человечеству то, что было рациональным, все, что оставалось сделать, это убрать препятствия, которые мешали простому чувству выбрать этот путь. Социалисты-утописты (Сен-Симон, Оуэн, Фурье и др.) были настолько твердо убеждены, что нужно только твердо провозгласить истину, а все люди с образованием и чувством справедливости должны немедленно принять ее, что первоначально они ограничивали свои усилия по реализации социализма простой пропагандой, адресованной в первую очередь зависимым классам — рабочим, хотя, без сомнения, это приносило им пользу, так как они, к несчастью, были неграмотные и отсталые, а также на строительство лоцманов социализма — коммунистических колоний и кооперативных предприятий, большей частью находившихся на открытых пространствах Америки, где традиции исторической отсталости не стояли на пути передовых людей. «Новая Гармония» Оуэна была основана в Индиане; в США насчитывалось около 34 завезенных туда или основанных там — «фаланстеров» Фурье и бесчисленных колоний, возникших при содействии христианских коммунистов, — Кобетта и др. Сен-симонисты менее придерживались практики коммун, но никогда не переставали искать просвещенных самодержцев, готовых принять и осуществить их предложения и планы, и нашли такого в лице невероятного Мехмета-Али, правителя Египта.

Элемент исторической эволюции присутствовал в этом случае классического рационализма при строительстве лучшего общества, поскольку идеология прогресса подразумевает, что эволюция может развиваться, минуя некоторые ступени исторического развития. А Карл Маркс (1818—1883) перенес центр тяжести этого аргумента на социализм, с его рациональности или желательности на его историческую неизбежность; таким образом, социализм получил свое наиболее грозное интеллектуальное оружие, от которого до сих пор пытаются защититься спорящие с этим учением. Маркс вывел эту линию аргументации из сочета-

ния франко-британских и германских идеологических традиций (английской политической экономии, французского социализма и германской философии). По Марксу, человеческое общество неизбежно должно было разрушить примитивный коммунизм, разделив общество на классы, неизбежно развиваясь через последующие классовые общества; каждое, невзирая на свою несправедливость, в то же время являлось и прогрессивным; каждое содержит в себе внутренние противоречия, которые на определенном этапе развития становятся препятствием для дальнейшего прогресса и генерирует силы для их преодоления. Капитализм явился последним из таких обществ, и Маркс с тех пор, атакуя его, использовал все свое потрясающее мир красноречие, чтобы возвещать о его исторических достижениях. Но капитализм может быть показан при помощи политической экономии, как обладающий внутренними противоречиями, которые неизбежно делают его на определенном этапе преградой для дальнейшего прогресса и ввергнут его в кризис, из которого он не сможет выйти. Капитализм, более того, неизбежно создавал своего собственного могильщика — пролетариат, численность которого и недовольство которого должны расти, в то время как экономическая власть все больше и больше концентрируется, так что станет уязвима для переворота. Пролетарская революция, таким образом, неизбежно должна опрокинуть эту власть. Но также говорится о том, что социальная система, которая соответствует интересам рабочего класса, является социализмом или коммунизмом. Как капитализм превалировал не просто потому, что был более рационален, чем феодализм, так же и социализм победит из-за неизбежности победы рабочих. Глупо было бы считать, что он был вечным идеалом, который люди могли бы реализовать, будь они более образованны во времена Людовика XIV. Социализм был дитя капиталистического общества. Оно даже не было еще сформировано должным образом, прежде чем перемены в обществе создали для этого условия. Но раз условия были созданы, победа была неизбежна, «поскольку человечество всегда ставит перед собой такие задачи, какие может решить»[11*].

III

По сравнению с этими относительно связными идеологиями прогресса те, что сопротивлялись ему, едва ли заслуживают названия идеологий. Это были позиции, скорее нуждавшиеся в общем интеллектуальном методе и полагавшиеся на силу своего внутреннего отношения к слабостям буржуазного общества и непоколебимую уверенность в том, что слабостей было больше, чем можно иметь либерализму в жизни.

Главной темой их критики был этот либерализм, разрушивший социальный порядок, или сообщество, которое до этих пор человек считал необходимым для жизни, и поместивший на его место невыносимую анархию борьбы всех против всех (каждый человек за себя и дьявол выберет самого слабого) и бесчеловечность рынка. По этому вопросу консерваторы и революционные антипрогрессисты, или представители богачей и бедноты, соглашались даже с социализмом; конвергенция, которая была очень характерна в среде романтиков и создавала такое странное резюме, как демократия тори или федеральный социализм. Консерваторы были склонны отождествлять идеальный социальный порядок, или настолько близкий к идеальному, насколько он был осуществим, поскольку социальные амбиции предпочитающих комфорт всегда более скромны, чем у бедняков, с любым режимом, которому угрожала двойственная революция, или с некотором особым типом государства в прошлом — средневековым феодализмом. Они также подчеркивали элемент порядка в обществе, поскольку это он охранял тех, кто находился на высших ступенях социальной иерархии, от тех, кто внизу. Революционеры, как мы видели, думали скорее о некоторых отдаленных золотых временах в прошлом, когда дела у людей шли хорошо, поскольку никакое существующее общество никогда не устраивало бедных. Они также подчеркивали взаимопомощь и общие чувства того времени больше, чем его «порядок».

Тем не менее и те и другие соглашались, что старый режим должен был быть лучше или был лучше нового. При том режиме Бог сделал их высокопоставленными или скромными и уста-

новил их сословие, которое благоволило консерваторам, но он также возложил и обязанности (как бы легко или плохо они ни исполнялись) на тех, кто находился наверху. Люди были не равны, но они не были предметами потребления, годными для продажи на рынке. Кроме всего прочего, они жили вместе в плотной структуре социальных и личностных отношений, построенных на основании обычаев, общественных институтов и обязательств. Без сомнения, секретарь Меттерниха Гентц и британский радикальный демагог и журналист Уильям Коббет (1762—1835) имели совсем разные идеи в голове, но оба одинаково нападали на Реформацию, которая вводила принципы буржуазного общества. И даже Фридрих Энгельс, самый стойкий приверженец прогресса, нарисовал довольно идиллическую картину старого общества XVIII в., которое сокрушила промышленная революция.

Не имея основательной теории эволюции, консервативные мыслители затруднялись определить, в чем состояла «причина зла». В первую очередь был виноват разум или более конкретно — рационализм XVIII в., который глупо и нечестиво пытался вмешаться в дела, слишком сложные для человеческого понимания и организации: общество нельзя планировать так же как машины. Берк писал: «Лучше было бы забыть все — энциклопедию и все, что создано экономистами, и вернуться к тем старым правилам и принципам, благодаря которым до сих пор правители становились великими, а нации счастливыми»[12*] Инстинкт традиции, религиозная вера, человеческая натура, правда как понятие, противоположное фальши, были выстроены в порядке, зависящем от интеллектуальных склонностей мыслителя, в противовес систематическому рационализму. Но всех в конце концов рассудила история.

Ибо если у консервативных мыслителей отсутствовало чувство исторического прогресса, то у них было обостренное чувство различия между обществами, сформированными и прошедшими естественную поэтапную стабилизацию, которые в процессе истории противопоставлялись тем, что были созданы сразу и искусственно. Если они не могли объяснить, как были скроены ис-

торические одежды, и отрицали, что они были скроены, зато любили объяснять, как они были удобно сшиты для длительной носки.

Наиболее серьезное интеллектуальное усилие консервативной идеологии было осуществлено относительно исторического анализа и реабилитации прошлого, изучения преемственности как противоположности революции. Ее наиболее важными представителями были не те странные французы-эмигранты де Бональд (1753—1840) и Жозеф де Местр (1753—1821), которые пытались реабилитировать мертвое прошлое, зачастую при помощи рационалистических аргументов склоняясь к лунатизму, даже если их задачей было создание добродетелей иррационализма, а такие люди, как Эдмунд Берк в Англии и германская историческая школа права, которые узаконили все еще существовавший старый режим на основании его исторической преемственности.

IV

Остается упомянуть группу идеологов, свободно балансировавших между прогрессистами и консерваторами, или, выражаясь социальной терминологией, между промышленной буржуазией и пролетариатом на стороне аристократов, торговцев и представителей феодализма. Главными носителями этих идей были радикальные «маленькие люди» Западной Европы и Соединенных Штатов и наиболее умеренные представители среднего класса Центральной и Южной Европы, сносно, но не совсем удобно устроившиеся в рамках аристократического или монархического общества. Они тем не менее верили в прогресс. Никто из них не был готов участвовать в прогрессе до обретения его логических либеральных или социалистических результатов, первые — потому что это означало для них, мелких ремесленников, лавочников, фермеров и бизнесменов, становиться либо капиталистом, либо рабочими, последние — потому что они были слишком слабы и после опыта якобинской диктатуры слишком напуганы, чтобы отстаивать власть своих королей,

чьими служащими они часто были. Взгляды обеих этих групп тем не менее сочетали либеральные компоненты (и в первую очередь безоговорочно социалистические) с антилиберальными, прогрессивные — с консервативными. Более того, эта сложность и противоречивость позволяла им смотреть глубже в природу общества, чем прогрессивным либералам или консерваторам. Они стали диалектиками.

Наиболее заметным мыслителем (или скорее интуитивным гением) первой из этих групп мелкобуржуазных радикалов был уже умерший к тому времени Жан-Жак Руссо. Колебавшийся между чистым индивидуализмом и убеждением, что человек в сообществе отвечает только за себя, между идеалом государства, основанного на разуме, и понятием разума как противоположности чувству, между признанием того, что прогресс был неизбежен, и уверенностью, что он разрушил гармонию естественного первобытного человека; он выражал свою личную дилемму так же, как и дилемму тех классов, которые не могли ни принять уверенность либералов во владельцах фабрик, ни веру социалистов в пролетариев. Взгляды этого скандального и нервного, но все же великого человека в деталях нас не интересуют, поскольку не существовало и особой школы учения Руссо, хотя во II году Робеспьер и якобинцы обращались к его учению. Влияние его интеллекта было сильным и проникающим, особенно среди романтиков Германии, но это было не влияние системы, а влияние позиции и чувства. Его влияние на мелкобуржуазных радикалов и плебеев было безмерно, хотя среди наиболее тупоголовых, у которых почитался такой националист, как Мадзини, не находило последователей. В основном его учение растворилось в более ортодоксальных адаптациях рационализма XVIII столетия, таких как учения Томаса Джефферсона (1743—1826) и Томаса Пейна (1737—1809).

Недавние академические моды были замечены в глубоком непонимании его учения. Они высмеивали традиции, по которым он ставится в ряд с Вольтером и энциклопедистами как первопроходец Просвещения и революции, потому что был их критиком. Но те, кто находился под его влиянием, считали его частью

Просвещения, а те кто переиздавал его работы в маленьких типографиях радикалов в начале XIX в., автоматически издавали его вместе с Вольтером, Гольбахом и др. Недавние критики либерализма нападали на него как на прародителя левого тоталитаризма. Но фактически он не оказал никакого влияния на современное учение коммунизма и марксизма*. Его типичными последователями в течение всего нашего периода были мелкие буржуазные радикалы-якобинцы джефферсоновского и мадзиниевского типа: верившие в демократию, национализм и государство мелких собственников, с равным разделением собственности и должностей. В наш период он более других считался борцом за равноправие, за свободу, против тирании и эксплуатации («человек рожден свободным, но повсюду он в оковах»), за демократию против олигархии, за простого естественного человека, не испорченного искушениями богатства и образования, за чувства и против холодной расчетливости.

Вторая группа, которую, наверное, лучше всего назвать германскими философами, была гораздо сложнее. Более того, поскольку ее члены не имели ни власти, чтобы разрушить общества, ни экономических ресурсов, чтобы провести промышленную революцию, они были склонны сосредоточивать внимание на создании тщательно разработанных теорий. В Германии классических либералов было немного. Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835), брат великого ученого, наиболее среди них знаменит. Среди интеллигентов высших и средних классов Германии вера в неизбежность прогресса и пользу научного и экономического развития соединялась с верой в добродетели просвещенных «отеческих» или бюрократических администраций, и чувство ответственности у высших должностных лиц являлось, возможно, наиболее общим отношением, очень подходящим классу, к которому принадлежит столько гражданских чиновников, а также профессоров на государственной службе. Великий Гёте, сам

* Почти за 40 лет переписки Маркс и Энгельс упомянули о нем только три раза и скорее негативно. Тем не менее они высоко ценили его диалектический подход, который опередил подход Гегеля.

министр и тайный советник малого государства, хорошо иллюстрирует это отношение[13]* Средний класс нуждается — часто формулируя это с философской точки зрения как неизбежную работу, вытекающую из исторических тенденций — в том, чтобы им управляло просвещенное государство, оно лучше всего представляло интересы германского умеренного либерализма. Тот факт, что германские государства всегда наилучшим образом проявляли живую и действенную инициативу в организации экономического и образовательного прогресса и что политика полного невмешательства была не только политикой, предпочтительной для германского бизнеса, не уменьшало стремления к созданию такого просвещенного государства.

Таким образом, хотя мы и можем понять практический взгляд мыслителей среднего класса (исходя из особенностей их исторического положения) по сравнению с теми, что были у мыслителей других стран, но в таком случае нам трудно объяснить ту особую холодность по отношению к классическому либерализму в его чистой форме, которая исходит почти ото всех германских мыслителей. Банальности либерализма — философский материализм или эмпиризм, Ньютон, картезианские анализы и все остальное — делают большинство германских мыслителей крайне неудобными: мистицизм, символизм и крупные обобщения об органических мирах привлекали их. Возможно, националистическая реакция против французской культуры, которая преобладала в начале XVIII в., помогла усилить тевтонизацию германской мысли. Предпосылкой к этому было усиление экономической, интеллектуальной и политической жизни, поскольку время, упадок между Реформацией и концом XVIII в., способствовало архаизации германской мысли — философской, научной или в сфере искусства, — значительно отличаясь от основной традиции XVIII в. в Западной Европе*. И в то время, когда классичес-

* Это не относится к Австрии, которая имела совсем другой, отличный ход исторического развития. Главной характеристикой австрийской мысли являлось то, что ничего заслуживающего внимания там не было, хотя в искусстве (особенно в музыке, архитектуре и театре) и некоторых областях науки австрийцы значительно продвинулись.

кое мировоззрение XVIII в. не находило в себе силы для дальнейшего развития, германская философская мысль оказалась в преимущественном положении и это объясняет ее возросшее влияние на интеллектуальную жизнь в XIX в

Наиболее впечатляющим выражением этого явилась германская классическая философия, основные учения которой были созданы в период с 1760 по 1830 г. вместе с классической немецкой литературой и в тесной связи с ней. (Не следует забывать, что поэт Гёте был ученым и крупным философом-натуралистом, а поэт Шиллер был не только профессором истории*, но и автором выдающихся трактатов по философии.) Иммануил Кант (1724—1804) и Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831) являются ее светилами. После 1830 г. процесс дезинтеграции, начавшийся в политической экономии (интеллектуальный расцвет рационализма XVIII в.), охватил германскую философию. Из нее вышли «младогегельянцы» и, естественно, марксизм.

Германская классическая философия была, и это всегда нужно помнить, глубоко буржуазным феноменом. Все ее ведущие фигуры (Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг) приветствовали французскую революцию и долгое время оставались ее сторонниками — Гегель оставался сторонником Наполеона до самого сражения при Йене (1806 г.). Просвещение было основным содержанием мысли Канта, что типично для XVIII в., и отправной точкой для Гегеля. Философия этих мыслителей была глубоко пронизана идеей прогресса: первым великим достижением Канта было выдвижение гипотезы происхождения и развития солнечной системы, в то время как вся философия Гегеля является доказательством необходимости эволюции (или, выражаясь социальным термином, историзма) и прогресса. Хотя Гегель с самого начала был противником крайне левого крыла французской революции и сам придерживался глубоко консервативных взглядов, он ни на мгновение не сомневался в исторической необходимости этой революции, основавшей буржуазное общество. Более

* Его исторические драмы — особенно трилогия о Валленштейне — содержат столько поэтических неточностей, что в это трудно поверить.

того, в противовес большинству последующих академических философов Кант, Фихте, и особенно Гегель изучили некоторые экономические учения (физиократов, как Фихте, британских экономистов, как Кант и Гегель), и есть основание полагать, что Кант и молодой Гегель считали себя последователями учения Адама Смита[14*]

Этот буржуазный уклон германской философии был особенно нагляден в учении Канта, который всегда оставался сторонником левых либералов: в его последних работах (1795 г.) благородно доказывается положение о необходимости всеобщего мира через всемирную федерацию республик, которые откажутся от войны, но в других он высказывался более мрачно, чем Гегель. Тогда как в учении Канта, жившего аскетом в простом, строгом профессорском жилище в отдаленном прусском Кенигсберге, общественное содержание, которое так характерно для британских и французских мыслителей, было уменьшено до аскетизма, возвышенной абстракции, особенно моральной абстракции воли*. Учение Гегеля, как все читатели знают, достаточно абстрактно. Хотя по крайней мере в начальной стадии понятнее, чем его абстракции, были его попытки прийти к согласию с обществом — обществом буржуазным, и действительно в его изучении труда как основного фактора человечности (человек изготавливает орудия, потому что он сознательное существо, и это первое выражение его воли — как он сказал в своей лекции в 1805—1806 гг.)[15*]

Гегель владел острым пером в абстрактной манере, тем же орудием, которым владели классические либеральные экономисты, и случайно явился одним из источников марксизма.

Тем не менее с самого начала германская философия по важным позициям отличалась от классического либерализма, причем в гораздо большей степени гегелевская, чем философия Канта. В первую очередь она была, исключительно идеалистичес-

---

* Хотя Лукас показывает, что совершенно конкретный парадокс Смита «о спрятанной руке», который создает социально полезные последствия эгоистичного антагонизма индивидуума, у Канта становится чистой абстракцией — «антиобщественной общительностью». Der junge Hegel. S. 409.

кой, отрицая материализм или эмпиризм классической традиции. Во-вторых, поскольку основным элементом философии Канта является индивидуум — даже в форме индивидуальной совести, — отправной точкой у Гегеля является коллектив (сообщность), на который он смотрит как на разделяющийся на индивидуумов под воздействием исторического развития. Знаменитая диалектика Гегеля — теория прогресса (во всех сферах) через непрекращающееся решение противоречий — получила первоначальный стимул в силу глубокого понимания противоречий между индивидуальным и коллективным. Более того, с самого начала их позиция на границах пространства последовательного буржуазно-либерального прогресса и, возможно, неспособность для них участвовать в нем позволяла германским мыслителям лучше осознавать его границы и противоречия. Без сомнения, это было неизбежно, но разве наряду с тяжелыми потерями не было и больших выгод? И разве, в свою очередь, ему на смену не прийдет что-то новое?

Таким образом, мы считаем, что классическая, и особенно гегелевская, философия идет параллельно с двойственной философией Руссо относительно ее взгляда на мир, хотя в отличие от него философы предприняли титанические усилия, чтобы заключить свои противоречия в одну всеобъемлющую научно обоснованную систему. (Руссо невольно оказал огромное эмоциональное влияние на Канта, о котором известно, что он нарушил свою неизменную привычку послеобеденного моциона только два раза: раз, когда узнал о падении Бастилии, и второй — на несколько дней, — когда читал «Эмиля»[98]). В жизни разочарованные философы-революционеры смотрели на проблему примирения реально, что в случае с Гегелем, после нескольких лет сомнений вылилось в определенную форму — он остался двух мнений о положении Пруссии вплоть до падения Наполеона и, как Гёте, не проявлял интереса к освободительным войнам — идеализиации прусского государства. Теоретически мимолетность исторически обреченных обществ была построена на их философиях. Абсолютной истины нет. Развитие самого исторического процесса, который проходил через диалектику противоречий и был

познан через диалектический метод или по крайней мере так считали младогегельянцы, готовые следовать логике немецкой классической философии, не считая того положения, в котором их великий учитель сам хотел сомневаться (поскольку он страстно желал, хотя и несколько нелогично, положить предел истории, познав Абсолютную истину); как после 1830 г., они уже были готовы вновь стать на путь революции, который их учителя либо отвергали, либо, как Гёте, никогда не выбирали. Но исход революций 1830—1848 гг. был не просто победой либерализма среднего класса. А революция в умах, возникшая на основе распада классической немецкой философии, была ни философией Жиронды, ни философией радикалов, а философией Карла Маркса.

Таким образом, период двойственной революции явился и триумфом наиболее тщательно разработанной идеологии мелкой буржуазии и либералов среднего класса, и их расхождения под влиянием государств и обществ, которые они сами создали или приветствовали. 1830 г., ознаменовавшийся возрождением крупного западноевропейского революционного движения после застоя эпохи Ватерлоо, также явился началом кризиса. Им было суждено пережить его, хотя и утратив прежнее значение: никто из экономистов классического либерализма позднего периода не обрел авторитета Смита и Рикардо (конечно, и Миллъ в том числе, который представлял британских либеральных экономистов-философов с 1840-х гг.), никто из классических германских философов не оказал такого влияния, как Кант и Гегель, а французские жирондисты и якобинцы в 1830, 1848 гг. и после были пигмеями по сравнению с их предшественниками 1789—1794 гг. В этом отношении Мадзини середины XIX в. не может сравниться с Жан-Жаком Руссо XVIII в. Но великая традиция, главное течение интеллектуального развития со времен Ренессанса, не умерла — она превратилась в свою противоположность. Маркс был по своему положению и по подходу наследником классических экономистов и философов. Но общество, чьим пророком и архитектором он надеялся стать, было совсем не тем, о котором он думал.

ГЛАВА 14

ИСКУССТВА

Всегда существует светский вкус: вкус в ведении переписки, вкус в исполнении Гамлета, вкус в чтении философских лекций, вкус к чудесам. вкус к простоте, вкус к бриллиантам, вкус к мрачному, вкус к нежному, вкус к жестокому, вкус к бандитам, вкус к привидениям, вкус на лукавого, вкус на французских танцовщиков и итальянских певцов, немецкие бакенбарды и традиции, вкус в наслаждении деревней в ноябре и Лондоном зимой до наступления жарких дней, вкус в шитье туфель, вкус на живописные прогулки, вкус иметь сам вкус или вкус писать очерки о вкусе.

Достопочтенная Мисс Пинмони в «Мелинкурте»
Т. Л. Пикока, 1816 г.

В отношении здоровья страны, как мало в Великобритании хоть немного привлекательных зданий, как мало тратится средств на музеи, картины, геммы, диковинные вещи, дворцы, театры и другие не приносящие прибыль предметы! На то, что является основой величия страны и что всегда посещается иностранными туристами и некоторыми нашими писателями, как доказательство нашего более низкого положения.

С. Лэйн. Заметки путешественника о социальном и политическом положении Франции, Пруссии, Швейцарии, Италии и других частей Европы, 1842 г.[1*]

I

Первое, что поражает каждого, кто старается изучить развитие искусств в период двойственной революции, это необычайный их расцвет. Полвека деятельности Бетховена, Щуберта, зрелость старого Гёте, молодой Диккенс, Достоевский, Верди и Вагнер, последние годы Моцарта и почти вся жизнь Гойи, Пушкин и Бальзак, не говоря уже о множестве людей, которые были бы гигантами в любой стране, если сравнивать с любым другим пе-

риодом такой же протяженности в человеческой истории. Большинство деятелей замечательного перечня состоялись благодаря возрождению и развитию искусств, особенно литературы, практически во всех европейских странах*.

Чем утомлять читателя длинным каталогом имен, лучше будет показать глубину и широту этого культурного возрождения, взяв произвольный срез нашего периода. Таким образом, в 1798—1801 гг. гражданин, имеющий склонность к новому в искусстве, мог наслаждаться «Лирическими балладами» Вордсворта и Кольриджа в Англии, несколькими трудами Гёте, Шиллера, Жан Поля и Новалиса в Германии, в это же время они могли послушать «Сотворение мира» и «Времена года» Гайдна, Первую симфонию и первые струнные квартеты Бетховена. В эти годы Ж.-Л. Давид закончил портрет мадам Рекамье, а Гойя портрет семьи короля Карла IV. В 1824—1826 гг. читатель мог прочитать ряд романов Вальтера Скотта в Англии, стихи Леопарди и «Обрученных» Мандзони в Италии. Стихи Виктора Гюго и Альфреда де Виньи во Франции, первые главы пушкинского «Евгения Онегина» в России, вновь изданные «Северные саги», «Хоральная симфония» Бетховена, «Смерть и Девушка» Шуберта, первые сочинения Шопена, «Оберон» Вебера; в эти годы Делакруа пишет картину «Хиосская резня», а Констебль «Телегу сена». Десять лет спустя (1834—1836) Гоголь написал «Ревизора», а Пушкин «Пиковую даму», во Франции Бальзак — «Отец Горио», произведения Мюссе, Гюго, Теофиля Готье, Виньи, Ламартина и Александра Дюма-отца; в Германии — Бюхнер, Граббе и Гейне; в Австрии — Грильпарцер и Нестрой; в Дании — Ганс Христиан Андерсен; в Польше — «Пан Тадеуш» Мицкевича; в Финляндии — фундаментальное издание национального эпоса «Калевала»; в Британии — поэзия Браунинга и Вордсворта. Были написаны оперы Беллини и Доницетти в Италии, музыкальные произведения Шопена в Польше, Глинки — в России, Констебль писал картины в Англии, Каспар

* Неевропейские цивилизации здесь не рассматриваются, кроме того, неизвестно, какое влияние на них оказала двойственная революция, если она вообще оказывала его.

Давид Фридрих — в Германии. В эти три года Диккенс написал «Записки Пиквикского клуба», Карлейль — «Французскую революцию», Гёте — вторую часть «Фауста»; поэмы Платена, Эйхендорфа и Мёрике в Германии, значительный вклад был внесен фламандской и венгерской литературой, кроме того, более поздние публикации крупных французских, польских и русских писателей; в музыке Шуман создал «Танцы давидсбюндлеров», а Берлиоз «Реквием».

Две вещи очевидны в этих произвольных примерах. Первое — беспримерно широкое распространение художественных достижений народов. Это было новым. В первой половине XIX в. русская литература и музыка возникли неожиданно как мировая сила, гораздо скромнее литература США с Фенимором Купером (1787—1851), Эдгаром Аланом По (1809—1849) и Германом Мелвилом (1819—1891). Также польская и венгерская литература и музыка, и в фольклорной форме волшебных сказок и эпоса литература Севера и Балкан. Более того, в некоторых из этих новых литератур достижения были внезапными и непревзойденными: Пушкин (1799—1837) остается классическим русским поэтом, Мицкевич (1798—1855) — великим польским, Петефи (1823—1849) — венгерским национальным поэтом.

Вторым очевидным фактом является исключительное развитие определенных видов искусств и жанров. Одним таким видом является литература, а в литературе — роман. Наверное, никакое другое пятидесятилетие не характеризуется столь большим числом бессмертных романистов: Стендаль и Бальзак во Франции, Джейн Остин и Диккенс, Теккерей и обе Бронте в Англии; Гоголь, молодой Достоевский и Тургенев в России. (Толстой свои первые произведения опубликовал в 1850-х гг.) Музыка, наверное, еще более ошеломляет. Обычный концертный репертуар состоит из произведений композиторов, творивших в это время: Моцарт и Гайдн (хотя они принадлежат к более раннему периоду), Бетховен и Шуберт, Мендельсон, Шуман, Шопен и Лист. Период классической инструментальной музыки известен больше именами немецких и австрийских композиторов, но один жанр — опера — процветал более других и более успешно: тут

блистали Россини, Доницетти, Беллини и молодой Верди в Италии, Вебер и молодой Вагнер (не говоря о двух последних операх Моцарта) в Германии; Глинка в России и ряд менее ярких фигур во Франции. Список представителей изобразительных искусств менее блистателен, разве что в живописи. В Испании появился Франсиско Гойя (1746—1828) — один из ее великих художников и один из немногих замечательных художников всех времен. Можно спорить о том, что британская живопись (с Тёрнером (1775—1851) и Дж. Констеблем (1776—1837)) достигла высоты и оригинальности большей, чем в XVIII в., и оказывала в этот период наивысшее международное влияние; также необходимо отметить французскую живопись с Давидом (1748—1825), Жерико (1791—1824), Энгром (1780—1867), Делакруа (1790—1863), Оноре Домье (1808—1879) и молодым Гюставом Курбе (1819—1877), которая была такой же замечательной, как и во все годы нашего периода. С другой стороны, в итальянской живописи фактически закончился столетний период процветания. Германская живопись подошла теперь к своему триумфу, равному германской литературе и музыке, или уровню ее XVI в. Скульптура во всех странах куда менее значительна, чем в XVIII в., и так же, несмотря на некоторые значительные достижения в Германии и России, архитектура. И действительно, в этот период великие достижения архитектуры принадлежали промышленности.

Что же именно определяет процветание или упадок искусств в любой период, до сих пор не очень ясно. Но, без сомнения, с 1789 по 1848 г. импульс был получен от двойственной революции. Французская революция вдохновляла художников своим примером, промышленная революция — своим ужасом, а буржуазное общество, которое возникло из обеих, изменило самое их существование и способы творения. Без сомнения, художники в этот период были вовлечены в общественные дела и находились под впечатлением происходящего: Моцарт писал пропагандистскую оперу для высокополитичного Свободного масонства («Волшебная флейта», 1790), Бетховен посвятил Наполеону, как наследнику французской революции, «Героическую симфонию», Гёте находился на государственной службе. Диккенс писал ро-

маны, обличая социальную несправедливость. Достоевский был приговорен к смертной казни в 1849 г. за революционную деятельность. Вагнер и Гойя были отправлены в политическую ссылку, Пушкин был наказан за связь с декабристами, а бальзаковская «Человеческая комедия» стала памятником человеческой несправедливости. Трудно вообразить себе художника, который бы в своем творчестве остался безучастным к происходящим событиям. А те, кто были тихими декораторами дворцов рококо и будуаров, или те, кто работал на пополнение коллекций английских милордов, — это были люди, чье искусство увядало: кто из нас помнит, что Фрагонар пережил революцию на семнадцать лет? Даже сравнительно менее политичное из всех искусств — музыка — находилось под сильнейшим политическим воздействием. Это был единственный период в истории, когда бы опера была написана или воспринята так, как если бы она представляла собой политический манифест и спустила курок революции*.

Связь между общественными делами и искусством оказалась особенно сильна в странах, где было развито национальное самосознание и движение за национальное освобождение. Не случайно, что возрождение или рождение национальной литературной культуры в Германии, России, Польше, Венгрии, Скандинавских странах и еще кое-где совпадало и всегда являлось предвестником, утверждением культурного превосходства родного языка для местного народа, вопреки космополитичности аристократической культуры, часто говорящей на иностранном языке. Естественно, такой национализм находил свое культурное выражение в литературе и музыке, как в народном искусстве, которое опиралось на могучее социальное наследство простого народа — язык и народные песни. Понятно и то, что искусства традиционно зави-

---

* Кроме «Волшебной флейты» надо упомянуть ранние оперы Верди, которые были восприняты как выражение итальянского национализма. Бельгийскую революцию 1830 г. встретила опера Обера «Немая из Портичи», «Жизнь за царя» Глинки, многие национальные оперы, такие как венгерская «Ласло Хуньяди» (1844), которые до сих пор стоят в репертуаре местных театров как их выражение раннего национализма.

сели от поддержки правящих классов, двора и правительств; архитектура и скульптура и еще менее живопись оказывали влияние на национальное возрождение*. Итальянская опера расцвела, как никогда до этого, и стала более популярной, чем придворное искусство. Итальянские живопись и архитектура умирали. Конечно, нельзя забывать, что эти новые национальные культуры ограничивались меньшинством грамотных, средними или высшими классами. За исключением итальянской оперы, репродуктивных форм графического искусства и немногих небольших стихов и песен, ни одно из великих художественных достижений этого периода не было доступно безграмотным и бедным, и большинство населения Европы не были с ними знакомы, пока массовое или национальное, или политическое движение не сделали их общественным достоянием. Литература, конечно, имела самое широкое хождение, хотя в основном среди нового среднего класса, который создал особенно благодарный рынок (преимущественно неработающие женщины) для романов и поэзии. Авторы, имевшие успех, зачастую зарабатывали крупные состояния: Байрон получил 2 600 фунтов за первые три части «Чайльд Гарольда». Сцена, хотя социально более ограниченная, также стала привлекать многотысячную публику. Инструментальная музыка получила меньшее распространение, за исключением буржуазных стран — Англии и Франции, а также тянущихся к искусству Америк, в которых были хорошо налажены большие публичные концерты. (Поскольку целый ряд европейских композиторов и виртуозов-исполнителей были заинтересованы в общении и стремились на английский рынок, где для всех существовали равные условия). В других местах придворная служба, подписные кон-

* Отсутствие достаточно серьезной литературы и политически сознательного населения почти по всей Европе ограничивало использование такого нового, только что изобретенного дешевого репродуктивного вида искусства, как литография. Но замечательные достижения великих революционных художников в этом и других видах: «Бедствия войны» и «Каприччос» Гойи, фантастические иллюстрации Уильяма Блейка, литографии и карикатуры для газет Домье, — показывают, как сильна привлекательность этих пропагандистских техник.

церты, устраиваемые избранными местными аристократами или частными любительскими театрами, все еще составляли большинство. Живопись, конечно, была предназначена для индивидуального покупателя и исчезала из поля зрения после первоначального показа на публичных выставках для продажи, хотя такие публичные выставки теперь были хорошо организованы. Музеи и художественные галереи, которые были основаны или открыты для публики в этот период (Лувр и Британская Национальная галерея, основанная в 1826 г.), выставляли искусство прошлого чаще, чем настоящего. С другой стороны, гравюры, эстампы и литографии получили широкое распространение, потому что были дешевы и начали проникать в газетную печать. Архитектура продолжала работать в основном (за исключением определенного количества зданий на продажу или частного владения) на частном или общественном финансировании.

II

Но даже искусство меньшинства в обществе может вызвать такое потрясение, что отразится на всем человечестве. Так было с литературой и искусством в наш период. Это течение получило название — романтизм. Нет ничего труднее, чем давать ему характеристику или описывать путем обычного анализа как стиль, как шкалу, как период в искусстве, даже по сравнению с классицизмом, в отношении которого романтизм явился лозунгом революции. Сами представители романтизма едва ли помогут нам, поскольку их собственные описания были определенными и бескомпромиссными, они также часто лишены рационального чувства. Для Виктора Гюго романтизм предназначен делать то же, что и природа, сочетаться с творениями природы и в то же время не смешиваться с ней совершенно: тень и свет, гротескный и величественный, другими словами, тело и душа, сочетание животного с одухотворенным[2*] Для Шарля Нодье «это последнее прибежище души, уставшей от обыкновенных чувств — вот чем для него был романтизм: странная поэзия, вполне соответствовавшая моральным условиям общества, потребностям пресыщен-

ных поколений, которым нужны были сенсации любой ценой...»[3*] Новалис считал, что романтизм «придавал возвышенное значение тому., что является обычным, неопределенный взгляд на то, что определено»[4*] Гегель считал, что суть романтического искусства заключается в художественных образах, свободных, конкретных, и его сущностью является его духовная идея — и обращен он скорее ко внутреннему миру человека, чем к внешнему[5*] Немного пользы можно получить от подобных утверждений, поскольку романтики предпочитали тусклый и мигающий свет, или скорее, рассеянные огни ясному свету.

И все же, хотя романтизм не поддается классификации, невозможно определить его конец, и его критерий превращается в бесформенную неопределенность как только вы пытаетесь определить его, нельзя сомневаться в существовании романтизма из-за нашей способности узнать его. В узком смысле он появился как воинственное направление в искусстве в Британии, Франции, Германии около 1800 г. (в последней декаде французской революции) и на более обширной территории Европы и Северной Америки после Ватерлоо. Он появился раньше революций (в основном во Франции и в Германии), за что был назван преромантизмом Жан-Жака Руссо, и периодом «бури и натиска» для молодых германских поэтов. Наибольшей популярностью пользовался он в период революций 1830—1848 гг. В более широком смысле он преобладал в нескольких видах искусства Европы начиная с французской революции. В этом смысле романтические элементы были у композитора Бетховена, художника Гойи, поэта Гёте, писателя Бальзака и являлись главными составляющими их величия, но этого нет в творчестве Гайдна и Моцарта, Фрагонара и Рейнольдса, Матиаса Клаудиуса или Шодерло де Лакло (все они пережили наш период), поэтому никто из перечисленных художников не может быть всецело отнесен к романтизму, да и сами они так не считали*. В более широком смысле слова подход к искусству и художникам, характерный для романтиз-

* Поскольку романтизм часто становился лозунгом и манифестом ограниченного круга художников, то мы пытаемся дать ему неисторическое, ограниченное значение, когда ограничиваем его только этим кругом или полностью исключаем тех, кто был не согласен с ними.

ма, стал стандартным определением буржуазного общества XIX в. и до сих пор находится под ее влиянием. Тем не менее, хотя и не совсем ясно, за что выступал романтизм, зато очевидно, против чего он выступал: всего, что посередине, чего бы это ни касалось. Это было крайнее убеждение. Романтические художники или мыслители в узком смысле слова находились на крайне левом фланге, как поэт Шелли; на крайне правом, как Шатобриан и Новалис; переходили то на одну, то на другую сторону, как Вордсворт, Кольридж и бесчисленные незначительные художники, поддерживавшие французскую революцию, переходя от роялизма на крайне левый фланг, как Виктор Гюго, но этого не происходило среди умеренных или вигов-либералов в рационалистском центре, который поистине являлся оплотом классицизма: «Я не имею отношения к вигам, — сказал старый тори Вордсворт, — но во мне много и от чартистов»[6*] Было бы преувеличением называть его антибуржуазным течением, хотя революционные и экспансионистские черты молодых классов, готовых штурмовать небеса, очаровывали романтиков. Наполеон стал одним из их героев, как и Шекспир, Вечный Жид и другие грешники, преступившие границы дозволенного. Демонический элемент капиталистического накопления, безграничные и непрерывные поиски «большего» сверх рационального расчета или сверхнамерений, необходимости или чрезмерности, или роскоши преследовали их. Некоторые из их характерных героев — Фауст и Дон-Жуан — разделяли эту неутолимую алчность, так же как пираты бизнеса в бальзаковских романах. И все же романтический элемент оставался второстепенным даже в период буржуазной революции. Руссо предвидел некоторые черты французской революции, но они преобладали только однажды, когда пошли дальше буржуазного либерализма, при Робеспьере. И даже тогда его основной характеристикой был римский, рационалистический и неоклассический стиль. Его художником был Давид; разум был его высшим смыслом.

Таким образом, романтизм не может быть отнесен к антибуржуазным движениям. В преромантизме десятилетий, предшествовавших французской революции, многие его характерные

лозунги были использованы для прославления среднего класса, чьи искренние и простые, но не сентиментальные чувства выгодно контрастировали с выпяченной верхней губой развращенного общества и чья непроизвольная опора на природу была предопределена, предполагалось уничтожить хитрости двора и клерикализма. Таким образом, поскольку буржуазное общество и промышленная революция фактически победили во Франции, романтизм безоговорочно стал инстинктивным врагом капитализма и может быть справедливо назван таковым.

Без сомнения, многие из их горячих, спутанных, но глубоких, всплесков эмоций относительно буржуазного общества были следствием деятельности двух групп, которые составляли его основную массу: вытесненные из общества молодые люди и профессиональные художники. Не было еще периода в истории, когда молодым художникам приходилось либо жить, либо умирать, как романтикам: «Лирические баллады» (1798) были написаны двадцатилетним молодым человеком, Байрон стал знаменитым в двадцать четыре, возраст, когда Шелли был знаменит, а Китс был почти так же прославлен. Поэтическая карьера Гюго началась, когда ему было двадцать, Мюссе — двадцать три, Шуберт написал «Лесного царя» в восемнадцать, а умер в тридцать один. Делакруа создал «Хиосскую резню» в двадцать пять. Петефи опубликовал свои стихи в двадцать один. Мастерство и известность приходили к романтикам до двадцати лет. Молодежь, особенно интеллигенция и студенты, были его естественной средой. В это время Латинский квартал Парижа стал впервые со средних веков не только местом, где находилась Сорбонна, но и местом культурной и политической жизни. Контраст между миром, теоретически широко открытым для талантов, а на практике чудовищно несправедливым, монополизированным бездушными бюрократами и пузатыми обывателями, взывал к небесам. Свадьбу, респектабельную карьеру, погружение в мещанство не многое отличало от тюрьмы, и все это окружало их, и ночные птицы в образе их предков предсказывали им неизбежный приговор, как регистратор Геербранд в гофмановском «Золотом горшке» предсказывал (улыбаясь коварно и загадочно) ужасное будущее придворно-

го советника студенту-поэту Ансельмусу. У Байрона была светлая голова, и он предвидел, что ранняя смерть избавит его от респектабельной старости, а Шлегель подтвердил его предсказания. Конечно, нет ничего необычного в протесте молодости против старости. Это был ответ общества, созданного двойственной революцией. Хотя некоторая историческая форма такого отчуждения придавала особую окраску романтизму.

Так же, даже в большей степени, влияло отчуждение на художника, и он отвечал на него, обращаясь к «духу», одному из наиболее характерных изобретений эры романтизма. Там, где социальная функция художника ясна, его отношение с народом прямое, вопрос о том, что он должен говорить и как говорить это, находит ответ в традициях, морали, разуме или другой принятой форме; художник может быть гением, но редко ведет себя как гений. Те немногие, кто предвидел характер XIX в. — Микеланджело, Караваджо или Сальватор Роза, — резко выделяются среди профессиональных ремесленников и людей искусства, Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Гайдн и Моцарт, Фрагонар, Гейнсборо — среди художников предреволюционной эпохи. Там, где иногда продолжала существовать старая общественная ситуация после двойственной революции, художники продолжали подражать гениям, не являясь ими. Архитекторы и инженеры в особых условиях продолжали создавать сооружения обычного назначения, облеченные в ясные и понятные формы. Примечательно, что великое множество характерных — практически все наиболее знаменитые здания периода с 1790 по 1848 г. являются нео-классическими, как Ля Маделен, Британский музей, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, Нэш в Лондоне, Шинкель в Берлине, или функциональными, как величественные мосты, каналы, железнодорожные конструкции, заводы и оранжереи этой эры технической красоты.

Тем не менее совершенно независимо от этих стилей, архитекторы и инженеры данного периода творили как профессиональные гении. Вновь в простых и искренних формах искусства, таких как опера в Италии (на более высоком общественном уровне) или роман в Англии, композиторы и писатели продолжали работать на потребу вкусов публики, считая первостепенность те-

атральной кассы естественным условием своего искусства в куда большей степени, чем заговор против их музы. Россини теперь уже не мог сочинить некоммерческую оперу, а молодой Диккенс — роман без продолжения, или современный либреттист модного мюзикла написать неоригинальный текст. (Это может как-то объяснить, почему итальянская опера в это время стала совсем не романтичной, несмотря на ее естественную, неподдельную нежность, громы и «драматические» ситуации.)

Действительной проблемой было то, что художник, оторванный от привычной деятельности, наставника, публики, был вынужден бросить свою душу как предмет продажи на слепой рынок, и быть проданным или нет, либо работать в системе патронажа, когда он был экономически незащищен, даже если бы французская революция не способствовала так человеческому унижению. Поэтому художник остался один, восклицая в ночи и не доверяя даже своему эху. И было естественно, что он должен был обратиться к духу, который создавал только то, что было внутри него, безучастный к миру, пренебрегая обществом, чье единственное право было принять его на его собственных условиях или совсем не принимать. В лучшем случае он мог быть понят, как Стендаль, немногими избранными или неведомыми потомками, в худшем случае создать драмы, которые никто не станет исполнять, как пьесы Граббе или даже вторую часть Фауста Гёте, или композиции для непомерно больших оркестров, как Берлиоз; или сойти с ума, как Гельдерлин, Граббе, де Нерваль и некоторые другие. Фактически непонятые гении порой были с лихвой обласканы королями, имевшими привычку исполнять причуды своих фаворитов, или из-за пристрастия к престижным расходам, или разбогатевшими буржуа, старавшихся установить связь с возвышенным в жизни. Ференцу Листу (1811—1886) не пришлось голодать на романтическом чердаке. Не многим удалось осуществить свою манию величия так, как Рихарду Вагнеру. Тем не менее с 1787 по 1848 г. революционные вожди были очень озабочены, только неоперными искусствами*: бур-

* Отвратительный Фердинанд Испанский, невзирая ни на что, покровительствовал революционному Гойе.

жуазия же занята была больше накоплениями, а не расходами. И гении поэтому были не только не поняты, но и бедны. Большинство из них были революционерами.

Молодые и гениальные, непонятые творцы создавали романтические произведения, пронизанные ненавистью к мещанству, эпатировали буржуа любовными связями полусвета и богемы (обе темы, принесшие им дополнительное значение в романтический период), своим пристрастием к сумасшествию или к вещам, обычно подвергающимся осуждению со стороны уважаемых институтов и правил поведения. Но это была только малая часть романтизма. В энциклопедии Марио Праза об эротическом экстремизме говорилось, что больше не существует романтической агонии[7*] а только обсуждение черепов и призраков в елизаветинском символизме, которое являлось критикой Гамлета. За сектантской неудовлетворенностью романтических молодых людей (и даже чаще молодых женщин — это было впервые, когда европейские женщины-художницы появились во множестве в этом качестве*) и художников, скрывалась большая неудовлетворенность тем обществом, которое появилось благодаря двойственной революции.

Тщательный анализ общества не являлся предметом романтизма. Романтики с недоверием относились к самонадеянным материалистическим рассуждениям XVIII в. (их символом являлся Ньютон, служивший пугалом для Уильяма Блейка и Гёте), которые они совершенно верно расценивали как главное орудие, при помощи которого было построено буржуазное общество. В конце концов мы не станем ожидать от них разумной критики буржуазного общества, хотя что-то вроде критики, окутанной в мистический покров натурфилософии и блуждающей среди водоворота облаков метафизики, развивалось внутри широкой ро-

* Мадам де Сталь, Жорж Санд, художница мадам Виже Лебрен, Анжелика Кауфман во Франции, Бетина фон Арним, Аннет фон Дрост-Хюльсхоф в Германии. Женщины-романтики, конечно, давно были известны английскому среднему классу, где эта форма искусства являлась высокооплачиваемой для образованных девушек: Фанни Берней, Анна Рэдклиф, Джейн Остин, Элизабет Гаскелл, сестры Бронте — все сочиняли в этот период, а также поэтесса Элизабет Баррет Броунинг.

мантической структуры и вносило свой вклад, вместе с другими достижениями, в философию Гегеля. Нечто вроде этого развилось в виде фантастических вспышек, постоянно скрытых за эксцентричностью и даже безумием ранних утопических социалистов Франции. Ранние сен-симонисты (правда, не их лидер) и особенно Фурье являлись романтиками. Наиболее длительное последствие критики этих романтиков — концепция человеческого отчуждения, которая должна была сыграть решающую роль в теории Маркса и указание на то, что представляет собой совершенное общество будущего. Наиболее действенная и могучая критика буржуазного общества должна была прийти не от тех, кто отрицал его (и вместе с ним классические научные традиции рационализма XVII в.), а от тех, кто отбросил традиции его классической мысли и заменил их на антибуржуазные учения. Социализм Роберта Оуэна не имел ни малейшего намека на романтизм, он состоял полностью из рационализма XVIII в. и наиболее буржуазной науки, политической экономии. Сам Сен-Симон считается продолжателем Просвещения. Примечательно, что молодой Маркс, получивший образование в германских традициях, стал марксистом только после того, как воспринял французскую социалистическую критику и совсем не романтическую теорию английской политической экономии. И политическая экономия явилась основой его зрелого учения.

III

Было бы неумно пренебрегать доводами сердца, о которых разуму ничего неизвестно. Как мыслители, экономисты и физиократы оставили поэтов далеко позади, но поэты видели явления не только глубже, но иногда и яснее. Не многие люди предвидели потрясения, вызванные машинами и фабриками раньше, чем это сделал Уильям Блейк в 1790-х гг., во времена, когда в Лондоне и было-то всего-навсего несколько паровых мельниц и печей для обжига кирпича. За небольшим исключением, наши лучшие примеры по проблеме урбанизации исходят от писателей с

богатым воображением, чьи рассуждения, часто довольно далекие от реальности, становились необходимым определителем фактической городской эволюции Парижа[8*] Карлейль являлся более противоречивым, но и более глубоким знатоком Англии в 1840 гг. чем старательный статистик Мак-Куллох, и если С. Милль был лучше, чем другие утилитаристы, то лишь потому, что личный кризис противопоставил его всем тем, кто знал цену критике романтизма Гёте и Кольриджа. Критика мира романтиками, хотя и слабая, не была незаметной.

Страсть, которая сжигала их, возникла из-за утраты связи между человеком и природой. Буржуазный мир был асоциален. Буржуазия безжалостно разорвала феодальные связи, которые поддерживали человека в его природном превосходстве, и не оставила никаких других связей между людьми, кроме неприкрытых интересов личной выгоды, кроме денежных расчетов. Она утопила наиболее стойкую приверженность к религии, рыцарский энтузиазм, обывательский сентиментализм в холодной воде эгоцентрических расчетов. Она превратила личные достоинства в обменную монету и вместо неотъемлимой свободы установила свободу торговли. Звучит голос Коммунистического Манифеста, но он слышен только романтикам. Такой мир может сделать человека здоровым и довольным, хотя очевидно, что он сделал других — гораздо большее число — голодными и несчастными, и он сделал их души обнаженными и одинокими.

Он сделал их бездомными и бросил в мире отчуждения. Он оставил их отрезанными революционной бездной в историческом мире без самого ответа на это отчуждение — решения никогда не покидать старый дом. Поэты немецкого романтизма думали, что они знали лучше, чем кто-либо еще, что спасение только в простом скромном труде, который существовал в тех идиллических доиндустриальных маленьких городках, что усеивали пейзажи, которые они описывали так неотразимо, как никто.

А их молодежь должна отправиться на бесплодные поиски голубого цветка или странствовать без конца, скучая по дому и распевая песни Шуберта. Песня странника — их отличительная

мелодия, им сопутствует ностальгия. Романисты даже создали философию на эту тему[9*]

Тоску по потерянной гармонии человека в мире утоляет три источника: средние века, первобытный человек и французская революция.

Первый привлекал в основном реакционных романтиков. Стабильное организованное общество феодальной эпохи, конечный результат этой эпохи окрашен геральдикой, окутан загадкой лесов из волшебных сказок, под безответными христианскими небесами, он был фактически потерянным раем консервативной оппозиции буржуазному обществу, чьи склонности к набожности, подчиненности и полуграмотности среди низших классов французская революция только обострила. С местными отклонениями это был идеал, который Берк швырнул в лицо рациональным участникам штурма Бастилии в своих «Рассуждениях о французской революции» (1790 г.). Так или иначе, в Германии нашла свое воплощение эта идея, в стране, которая в этот период получила нечто вроде монополии на средневековую мечту, возможно, потому, что аккуратная уютность, которая царила над рейнскими замками и черными лесами, больше подходила для идеализации, чем мерзость и жестокость других средневековых стран*. При всем том средневековье было более сильным компонентом германского романтизма, чем что-либо другое, и исходило во все стороны из Германии либо в форме романтической оперы или балета («Вольный стрелок» или «Гизелла» Вебера), сказок братьев Гримм, либо в форме исторических теорий, либо преисполненных патриотизма прогермански настроенных писателей типа Кольриджа и Карлейля. Так или иначе, в наиболее общей форме готического возрождения средневековье было символом консерватизма и особенно религиозной антибуржуазности. Шатобриан возвеличил готику в своем «Гении христианства» (1802 г.), а революцию отвергал; сторонники англиканской церкви поддерживали ее и отвергали рационализм и нонконформисты, чьи по-

* «О, Герман! О, Доротея! Уют!» — писал Готье, обожавший Германию, как все французские романтики «Ne semble-t-il pas que l'on entend du loin le cor du postillon?»[10*]

стройки были выполнены в стиле классицизма, архитектор Пугин и ультрареакционное и католическое оксфордское движение 1830-х гг. были в сущности поклонниками готики. Кроме того, из туманного уединения в Шотландии, страны, в которой витали древние мечты, как выдуманные поэмы Оссиана, консервативный Вальтер Скотт снабжал Европу еще одним набором образов средневековья в своих исторических романах. Лучшие его романы, отображавшие сравнительно недавние времена, получили широкое признание.

Наряду с этим преобладание консервативного средневековья, которое реакционные правительства после 1815 г. приписывали абсолютизму средневековье левого крыла, не имеет значения. В Англии оно существовало главным образом как течение популярного радикализма, которое было склонно рассматривать период перед революцией как золотой век трудящихся и реформация, как первый большой шаг к капитализму. Во Франции это было еще важнее, поскольку там акцент делали не на феодальную иерархию и католический порядок, а на постоянно страдающий, беспокойный трудящийся народ: французская нация всегда заставляет верить в свою уникальность и миссию. Жюль Мишле, поэт, воспевающий исторические события, был самым знаменитым почитателем революционно-демократического средневековья, Виктор Гюго написал «Собор Парижской Богоматери» — великолепный результат приверженности средним векам.

Тесно связан со средневековьем, особенно из-за своей озабоченности традициями мистической религиозности, был поиск более древней и глубокой тайны и источников иррациональной мудрости на Востоке: в романтических, но также и консервативных государствах Кубла-хана или брахманов. Примечательно, что открыватель санскрита сэр Уильям Джон был непреклонным вигом-радикалом, который приветствовал американскую и французскую революцию, как подобает просвещенному джентльмену, но большинство поклонников Востока и создателей псевдоперсидских поэм, без чьего энтузиазма большая часть современного востоковедения не возникла бы, принадлежала к антиякобинской тенденции. Характерно, что индийский брахман был их

духовной целью более, чем нерелигиозная и рациональная Китайская империя, которая занимала экзотическое воображение просветителей XVIII в.

IV

Мечта о потерянной гармонии первобытного человека была более древней и имела более сложную историю. Это была непреодолимая реакционная мечта о золотом веке коммунизма, когда англосаксы со времен Адама и Евы еще не были покорены норманнами и когда общество благородных дикарей еще не было подвержено коррупции. В конце концов романтический примитивизм стал охотно склоняться к мятежному левому крылу в тех случаях, когда оно выступало за освобождение от буржуазного общества (как в экзотизмах Готье и Мериме, которые в наблюдениях путешественника изобразили в своих произведениях в 1830-х гг. дворянскую дикость Испании), или там, где при замедленном ходе истории чей-то примитивизм они пытались представить как консерватизм. Таким примером являлся народ. Среди романтиков всех мастей народ — обычный крестьянин или ремесленник допромышленного периода — воплощал нетронутую добродетель, и его язык, песни сказки и обычаи являлись правдивым выражением души народа. Возврат к этой простоте и добродетели стал целью Вордсворта в его «Лирических балладах» и у многих художников появилось большое желание творить в стиле народных песен и сказок. Началось широкое движение собирания народных песен, публикаций древнего эпоса, лексикографии живого языка — все это было тесно связано с романтизмом, само слово «фольклор» (1846 г.) — изобретение этого периода. «Песни шотландской границы» Скотта (1803 г.), Арним и Брентано издали «Волшебный рог мальчика» (1806 г.), «Сказки братьев Гримм» (1812 г.), «Ирландские мелодии» Мура (1807—1834 гг.); Добровский выпустил «Историю богемского языка» (1818 г.), Вук Караджич — «Сербский словарь» (1818 г.) и «Сербские народные песни» (1822—1823 гг.), Ленрот издал эпос «Калевала» в Финляндии

(1835 г.), братья Гримм — «Германскую мифологию» (1835 г.), Асбьернсон и Моэ — «Норвежские народные сказки» (1842—1871 гг.) — все эти произведения стали памятниками народной души.

Народ мог иметь революционную направленность, только угнетенные народы приходят к необходимости восстанавливать свою национальную самобытность, особенно в тех обществах, где не образовался национальный средний класс или аристократия. Тогда первый словарь, грамматика и собрание народных песен становилась событием огромной политической важности, первым шагом к независимости. С другой стороны, для тех, кто был сильнее потрясен простыми народными добродетелями, — невежество и набожность, — глубокая мудрость и вера в церковь, короля или царя, преклонение перед примитивизмом выдавалось за консерватизм. Это являлось примером чистоты, мифологических и древних традиций, которые каждый день разрушались буржуазией*. Капиталист и рационалист являлись врагами тем, для кого король, помещик и крестьянин представляли священный союз.

Примитивизм существовал в каждой деревне, но в нем присутствовало гораздо больше революционного в виде веры в золотое коммунистическое прошлое и в свободного благородного дикаря; особенно вроде краснокожего индейца. Начиная с Руссо, который выдвинул идею человека свободного общества, и заканчивая социалистами, она стала моделью утопии о социалистическом примитивном обществе. Разделение Марксом истории на три периода — примитивный коммунизм, классовое общество, коммунизм на более высоком уровне — повторяет, а также изменяет эту традицию. Идея примитивизма была не полностью романтической.

Ее самые горячие приверженцы являлись представителями идеи Просвещения XVIII в. Романтические поиски вели иссле-

* Как нам объяснить популярность народных танцев в танцзалах в этот период, таких как вальс, мазурка и шотландский танец. Это, конечно, была романтическая мода.

дователей в великие пустыни Аравии и Северной Африки, к бойцам и одалискам Делакруа и Фромантэна, с Байроном — через страны Средиземноморья, с Лермонтовым на Кавказ, где простые казаки воевали с местными горцами среди глубоких ущелий. Они также ехали в Америку, где примитивные люди сражались, обреченные на смерть, ситуация, которая создала у них настроение, близкое к романтическому. В Австро-Венгрии Ленау гневно выступал против изгнания индейцев; если бы племя могикан не было бы последним, разве ему пришлось бы стать таким могучим символом европейской культуры? Действительно, благородный дикарь играл неизмеримо бóльшую роль в американском романтизме, чем в европейском: в 1815 г. Мелвилл написал «Моби Дика», который является его величайшим произведением: Фенимор Купер романом «Кожаный Чулок» увлек старый мир, как никогда не удавалось Шатобриану.

Средние века, народ, дворянство являлись идеалами, прочно связанными с прошлым. Только революция, весна человечества, указывала исключительно в будущее, а утописты утешались, обращаясь в прошлое за тем, чего там никогда не было. Очень трудно было романтикам найти последователей среди молодых людей, пока не появилось второе поколение после французской революции и наполеоновских войн, для которых они были фактами истории, а не болезненными главами их биографии. 1789 г. приветствовали все художники и интеллектуалы Европы, но хотя некоторые смогли не потерять энтузиазм после войны, террора, коррупции буржуазии и создания империи, многих все это оттолкнуло. Даже в Британии, где первое поколение романтиков — Блейк, Вордсворт, Кольридж, Саути, Кэмпбелл и Хэзлит — полностью разделяли якобинские взгляды, к 1805 г. многие утратили иллюзии и стали неоконсерваторами. Во Франции и Германии слово «романтик» было изобретено как антиреволюционный лозунг консерваторами антибуржуазного толка конца 1790-х гг. (очень часто бывшими левыми, утратившими свои иллюзии), это указывает на факт, что число мыслителей и художников в этих странах, которые по

современным меркам могли быть признаны романтиками, в те времена таковыми не считались. В конце наполеоновских войн начало появляться новое поколение молодых людей, кому сквозь года было видно только освободительное пламя революции, пепел ее крайностей и коррупция уже выпали из поля зрения, а после ссылки Наполеона, даже при его отталкивающем характере, он стал полумистическим фениксом, возродившимся из пепла и героем-освободителем. А поскольку Европа год за годом все глубже погружалась в безликую почину реакции, цензурного произвола и посредственность, скатывалась в пагубное болото нищеты, несчастья и угнетения, образ освободительной революции становился все более привлекательным.

Второе поколение британских романтиков — Байрон (1788—1824), его аполитичный предшественник Китс (1795—1821) и более других Шелли (1792—1822) — были первыми, кто объединил романтизм и активную революцию: разочарования французской революции, не забытые большинством представителей старшего поколения, на фоне видимых ужасов капиталистической трансформации в их собственной стране. В Европе союз между романтиками-художниками и революцией возник в 1820-х гг., но полного единения они достигли после французской революции 1830 г. Правда и то, что можно назвать романтическим видением революции и романтическим стилем быть революционером, наиболее известным выражением этого была картина Делакруа «Свобода на баррикадах» (1831), где мрачные молодые люди с бородами и в цилиндрах, рабочие без пиджаков, народные трибуны с развевающимися волосами, со знаменами и во фригийских шапках вновь совершают революцию 1793 г. — не современная форма 1789 г., а величие II года — ведущее на баррикады в каждом городе Европы.

По общему признанию, революционный романтик не был совсем новым явлением. Его ближайшим предшественником был член итальянской революционной масонской ложи — карбонарий или филэллин, которого вдохновляли уцелевшие старые якобинца или бабувисты, как Буонарроти. Это типичная ре-

волюционная борьба периода Реставрации, все энергичные молодые люди в гвардейской или гусарской форме, покинув оперы, вечеринки, приемы с герцогинями, совершали военные перевороты или возглавляли национальную борьбу по примеру Байрона. Но не только на революционный путь борьбы вдохновляли теории XVIII в. Им все-таки недоставало разрушительного элемента революционного романтического предвидения 1830—1848 гг.: баррикад, масс, новых отчаявшихся пролетариев, но этот элемент как раз присутствует на литографиях Домье «Резня на улице Транснонен» (1834) с убитыми неописуемого вида рабочими, изображавших то, на что не хватало воображения романтикам.

Самым потрясающим последствием этого союза романтизма с видением новой и высокой французской революции — была сокрушительная победа политического искусства с 1830 по 1848 г. В течение всего периода даже самые неидеологизированные художники становились в большинстве своем ярыми сторонниками чего-либо, часто считая политическую деятельность своей главнейшей задачей. «Романтизм, — восклицал Виктор Гюго в предисловии к «Эрнани», этому манифесту восстания (1830 г.), — это либерализм в литературе»[11*] «Писатели, — по мнению поэта де Мюссе (1810—1857), чей природный талант (как у композитора Шопена (1810—1849) или австрийского поэта Ленау (1802—1850)) был предназначен для выражения личных страстей, а не общественных настроений, имели склонность говорить в своих предисловиях о будущем, о социальном прогрессе, гуманности и цивилизации»[12*] «Ряд художников стали политическими фигурами не только в странах, где боролись за национальное освобождение, а где все художники становились апостолами или национальными символами: Шопен и Лист и даже молодой Верди среди музыкантов, Мицкевич (который отводил себе роль мессии), Петефи и Мадзини среди поэтов Польши, Венгрии и Италии соответственно. Художник Домье творил в основном как политический карикатурист. Поэт Уланд, братья Гримм были либеральными политиками, вулканический мальчик-гений Георг Бюхнер (1810—1837) — активный револю-

ционер, Генрих Гейне (1797—1856), близкий личный друг Карла Маркса, величественный голос крайне левых*. Литература и журналистика слились в основном во Франции, Германии и Италии. В другие времена Ламенне или Мишле во Франции, Карлейль и Рёскин в Британии были бы поэтами или романтиками, имеющими какие-то взгляды на общественные дела, но в эту эпоху они были публицистами, пророками, философами или историками, занимающимися делами поэзии. В связи с этим масса политических образов наводнила взрывоподобный молодой интеллект Маркса более, чем необходимо философу или экономисту. Даже спокойный Теннисон и его друзья по Кембриджу отправились в Испанию воевать в интернациональной бригаде в поддержку либералов против клерикалов.

Развитие новых эстетических теорий и рост их влияния позволили искусствам объединиться с общественной жизнью. Сенсимонисты во Франции и великолепные революционные интеллигенты в России 40-х годов также развили взгляды, которые позже стали основой в марксистских движениях под названием «социалистический реализм»[13*], благородный, но недостижимый идеал, рожденный из сурового якобинства и из романтической мечты, находящейся во власти духа, которых Шелли называет поэтами — «непризнанными избранниками мира». «Искусство для искусства» — уже сформулированная фраза, подходящая для консерваторов и дилетантов, не подходила для искусства, для служения целям гуманизма, или для развития национального духа, или для пролетарского самосознания. С 1848 г. революции разрушили надежды романтиков о великом возрождении человека, на его место пришел самостоятельный эстетизм. Эволюция таких людей «сорок восьмого года», как Бодлер и Флобер, иллюст-

* Необходимо отметить, что это был один из редких периодов, когда поэты не только симпатизировали крайне левым, но и писали стихи, которые одновременно были и хороши и носили агитационный характер. Одна из таких групп социалистических поэтов Германии 1840-х гг., куда входили Гервег, Веерт, Фрейлиграт и, конечно, Гейне — заслуживает внимания, хотя «Карнавал Анархии» Шелли (1820), который стал своевременным ответом на Петерлоо, вероятно, явился наиболее значительной поэмой.

рирует это политическое и эстетическое изменение, а наивысшим литературным рекордом Флобера считается «Воспитание чувств». Только в России, где после 1848 г. не наступило разочарование, искусства продолжали жить жизнью общества.

V

Романтизм как направление в искусстве наиболее свойствен периоду двойственной революции, но, безусловно, не ему одному. Поскольку он господствовал в искусстве аристократии и среднего класса и менее всего трудящихся, то нельзя сказать, что он повлиял на широкие массы. Искусства, зависящие от мещанства или от массовой поддержки со стороны состоятельных классов, допускали романтизм тогда, когда идеологические характеристики были менее заметны, как, например, в музыке. Искусства, которые зависели от поддержки бедноты, не представляли интереса для романтических художников, хотя фактически развлечения для бедноты — романы ужасов и плакаты, цирки, интермедии, странствующие театры и т. п. — служили источником вдохновения для романтиков, и в свою очередь балаганщики пополняли свой эмоциональный потенциал перевоплощения волшебниками, последними словами убийц, разбойниками — всем, что подходило им в романтизме.

Основным стилем аристократической жизни и искусства оставался исходящий из XVIII в., хотя значительно упрощенный примесью неблагородных нуворишей, как, к примеру, в стиле наполеоновской империи, с совершенно замечательным безобразием и претенциозностью, а также британский стиль регентства. Сравнение униформ XVIII в. и постнаполеоновских — искусства, которое наиболее прямо выражало инстинкты офицеров и джентльменов, ответственных за свой внешний вид — прояснит это. Превосходство Британии превратило английского дворянина в эталон своего рода международной аристократической культуры или скорее бескультурья; ибо интересы «денди» — чисто выбритого, бесстрастного, сияющего, по всей видимости

ограничивались пристрастием к лошадям, собакам, каретам, профессиональным боксерам, игрокам, благородному беспутству и собственной персоне. Такое геройское превосходство качеств способно было разжечь воображение романтиков, которые сами приветствовали дендизм, но, вероятно, оно еще больше распаляло воображение молоденьких девушек из низших слоев и заставляло их мечтать (по словам Готье): «Сэр Эдвард был этаким блестящим англичанином из ее грез. Гладко выбритый англичанин, розовый, сияющий, холеный и начищенный, на лице его как бы играют первые лучи утреннего солнца, в безупречно белом галстуке, англичанин в водонепроницаемом плаще или макинтоше. Не он ли являлся венцом цивилизации?... У меня будет английское столовое серебро, думала она, китайский фарфор. Весь дом будет устлан коврами и набит напудренными лакеями, а я рядом со своим мужем еду в экипаже, запряженном четверкой по Гайд-парку...

Ручной пятнистый олень будет играть на зеленой лужайке моего загородного дома, и возможно также несколько белокурых розовых детей. Дети так хорошо смотрятся на передних сиденьях ландо, а рядом породистые спаниели...»[14*]

Возможно, это была и возвышенная мечта, но не романтическая, нечто вроде картины, на которой изображены Их Королевские или Императорские Высочества, милостиво посещающие оперу или бал, увешанные драгоценностями, родовитые, изысканные и прекрасные.

В культуре средних и ниже средних классов романтики вообще не было. В ней преобладали трезвость и умеренность. Только крупные банкиры и дельцы или промышленники-миллионеры первого поколения, которые иногда или никогда больше не должны были вкладывать большую часть своих доходов обратно в бизнес, возводили пышные, в стиле псевдобарокко конца XIX в. особняки, начинали показывать себя; романтизм появлялся только в тех странах, где старые монархии и аристократия более не возглавляли общества. Ротшильды, настоящие монархи, уже являлись некоронованными королями[15*]. Но обычная буржуазия жила другой жизнью. Пуританство, евангелическая или католическая

набожность учили умеренности, бережливости, аскетичному спартанству и беспримерному моральному самодовольству в таких странах, как Британия, США и Германия. Гугенотская Франция, моральная традиция XVIII в. и вольное масонство оказывали такое же влияние на тех, кто был более или полностью свободным от религиозных предрассудков. Если не считать поиска дохода и логики, жизнь среднего класса была жизнью сдержанных эмоций и ограниченного кругозора. Большая часть представителей среднего класса Европы не занималась бизнесом, а находилась на государственной службе, такой как чиновники, учителя, профессора и иногда пасторы, лишенные возможности накопить капитал, а также скромные провинциальные буржуа, понимавшие, что богатство в маленьком городке — предел их возможностей, не слишком стремились к достижению настоящего богатства и власти.

Фактически жизнь среднего класса не была романтичной, и ее образцом все еще оставалась та жизнь, которую он вел в XVIII в. Это очень наглядно видно на примере дома представителя среднего класса. На улице и в доме преобладал постнаполеоновский стиль, происходивший и зачастую прямо продолжавший традиции классицизма или рококо XVIII в. В Британии до 1840-х годов продолжали строить здания в позднегеоргианском стиле, и повсюду прорыв в архитектуре произошел гораздо позже (и представлен в основном ужасающим возвратом к Ренессансу). Преобладающим стилем в интерьере и домашнем обиходе был так называемый «бидермейер», который замечательно отображал германский стиль, был разновидностью домашнего классицизма, согретого чувственной интимностью и добродетельными мечтами (Innerlichkeit, Gemuethlichkeit), который кое-чем обязан романтизму — или больше предромантизму конца XVIII в., но уменьшенный до размеров, необходимых скромным буржуа, чтобы играть квартет по воскресным вечерам в гостиной. «Бидермейер» создал один из красивейших стилей меблировки, когда-либо появлявшихся повсюду: простые белые занавески на фоне массивных стен, неприкрытые полы, массивные, но достаточно элегантные стулья и бюро, пианино, шкатулки и вазы из минералов,

полные цветов, но это был позднеклассический стиль, наиболее полно представленный в доме Гёте в Веймаре. Такой или почти такой была обстановка героинь романов Джейн Остин (1775—1817), для евангелической суровости и для развлечений секты Клафам для благородных бостонских буржуа или провинциальных французских читателей Journal des Débats.

Романтизм вошел в культуру среднего класса, возможно, главным образом благодаря романтическим мечтаниям женщин, принадлежавших к буржуазным семьям. Продемонстрировать возможности глав семейств, содержать их в праздном времяпрепровождении было одной из их главных общественных функций, благодетельное рабство — их идеальная мечта. При всем этом буржуазные девушки, подобные одалискам и нимфам, которых изображали неромантические художники вроде Энгра (1780—1867), вводя романтизм в буржуазный контекст, все больше поддаваясь образу хрупкой, с продолговатым лицом, с локонами вокруг гладко причесанной головки, с нежным цветком в шали или чепце — столь характерных для образа девушки 1840-х гг. Это было очень далеко от неистовой львицы Гойи — герцогини Альба или эмансипированных греческих девушек в белых муслиновых платьях, которых французская революция разбросала по салонам, или самостоятельных леди периода регентства, или куртизанок вроде леди Ливен или Гарриет Уилсон, столь же неромантичных, сколь и небуржуазных. Буржуазные девушки могли исполнять домашнюю музыку Шопена или Шумана (1810—1856). Стиль «бидермейер» мог вдохновить на своеобразный романтический лиризм, как, например, у Эйхендорфа (1788—1857) или у Эдуарда Мёрике (1804—1875), у которых космическое чувство было заменено на ностальгию или пассивную тоску. Деятельный предприниматель во время деловых поездок наслаждается видом горного ущелья как наиболее романтическим пейзажем, который он когда-либо видел, отдыхает дома, рисуя эскизы «Замка Удольфо», даже как Джон Крэг из Ливерпуля, «будучи человеком, наделенным художественным вкусом», подобно тому, как сталеплавильщик «использует чугун в готической архитектуре»[16*] Но в целом буржуазная культура была неромантичной. Само ра-

достное настроение технического прогресса устраняет ортодоксальный романтизм по крайней мере в центрах промышленного развития. Такой человек, как Джеймс Нэсмит, изобретатель парового молота (1808—1890), не был варваром только потому, что он был сыном якобинского художника (основателя пейзажной живописи Шотландии), воспитанным среди художников и интеллектуалов, любителей живописи и античности, при всей шотландской основательности и широком образовании. Но что было более естественным, так это то, что сын художника мог стать инженером или что на прогулке с отцом в молодости в Девоне на сталеплавильных заводах был заинтересован ими более всего другого. Для него, как для изысканного гражданина Эдинбурга XVIII в., среди которых он вырос, вещи были величественны и неиррациональны. В Руане находились простые и величественные соборы и церковь Сент-Уэна, такая изысканная в своей простоте, вместе с утонченной готической архитектурой, разбросанной по этому интересному и живописному городу. «Живописность была необыкновенной, но он не мог не заметить во время своего захватывающего путешествия, что это было скорее результатом небрежности. Красота была замечательным состоянием, но на самом деле то, что было неверным в современной архитектуре, так это «предназначение здания», о котором начинаешь думать при тщательном рассмотрении». «Было бы жаль уезжать мне из Пизы, — писал он, — но что более всего заинтересовало меня в соборе, так это две бронзовые лампы, подвешенные в конце нефа, которые подсказали Галилео изобретение маятника»[17*] Такие люди не были ни варварами ни мещанами, но их мир был гораздо ближе к тому, который идеализировал Вольтер или Джо Веджвуд, а не Джон Рёскин. Великий производитель станков Генри Модслей больше чувствовал себя в своей тарелке, находясь в Берлине, когда встречался со своими друзьями Гумбольдтом — королем либеральной науки и неоклассическим архитектором Шинкелем, чем с великим, но угрюмым Гегелем.

В любом случае в центре развивающегося буржуазного общества искусство стояло на втором месте после науки. Образованный британский и американский заводчик или инженер

мог наслаждаться искусствами во время отдыха с семьей на каникулах, но его реальные культурные усилия были направлены на поглощение и развитие знаний — его собственных в таких учреждениях, как Британская ассоциация за развитие науки, или образования народа в Обществе за распространение полезных знаний, и подобных организациях. Характерно, что типичный продукт просвещения XVIII в. — энциклопедия процветала как никогда, все так же сохраняя воинствующий политический либерализм. Байрон заработал большую часть своих денег написанием стихов, а издатель Констебль в 1812 г. заплатил Дугласу Стюарту тысячу фунтов за предисловие к «Прогрессу философии» для приложения к Британской энциклопедии[18*] Но даже когда буржуазия была романтической, ее мысли всегда были направлены на технологии: молодые люди, воодушевленные Сен-Симоном, стали строителями Суэцкого канала; титанической железнодорожной сети, связывающей все части света; финансистами, людьми дерзновенных помыслов; рационалистичными Ротшильдами, которые знали, что много денег нужно делать при минимальном превышении уровня спекуляции консервативными методами[19*] Музами буржуазии были наука и технология, и они праздновали их победу, создав железную дорогу на величественном (и, увы, сегодня уже разрушенном) портике станции Истон в стиле неоклассицизма.

VI

Между тем там, где еще царила безграмотность, у простых людей существовала культура. В негородской и неиндустриальной среде она почти не изменилась. Песни и праздничные обряды 1840-х гг., обычаи, узоры и краски народных декоративных искусств, образцы их привычек остались в основном такими же, как в 1789 г. Промышленность и растущие города начали их разрушать. Никто не мог жить так же в заводском городке, как он жил в деревне, и цельный культурный комплекс обязательно рассыпался на куски с крушением социаль-

ной структуры, которая создавала его форму. Если существует песня пахаря, то ее некому петь, раз человек не пашет, но если ее и поют, то это уже не народная песня, а что-то другое. Ностальгия изгнанников, пытавшихся воссоздать старые обычаи и песни в городской ссылке, наверное, сделала их еще более привлекательными, поскольку они облегчали боль человека, лишившегося своих корней. Но вне городов и заводов двойственная революция изменила или скорее опустошила только отдельные участки старой сельской жизни, частично в Ирландии и Британии, по той причине, что старый образ жизни там стал уже невозможен.

Но даже в промышленности изменения общества не зашли столь далеко к 1840-м гг., чтобы окончательно разрушить старую культуру, более того, в Западной Европе цеха и мануфактуры просуществовали несколько столетий и развилось искусство полупромышленного типа. На окраинах шахтеры и ткачи выражали свои надежды и протест в традиционных народных песнях, а промышленная революция просто добавила к этим песням новые, и они уже отражали более тяжелую жизнь. На фабриках рабочие песни не должны звучать, но в других видах деятельности, относящихся к развитию экономики, они все же использовались и развивались, как и раньше; к этому жанру народной рабочей песни относятся хоровая песня рыбаков с кораблей дальнего плавания в первой половине XIX в., а также и баллады голландских китобоев, баллада угольщика, жены углекопа, жалобная песнь ткача[20*] В допромышленных городах, общинах ремесленников и надомных рабочих развивалась культура грамотных сильных людей, в которой есть примесь протестантского сектантства, якобинских традиций как стимул к самообразованию, а также влияние учений Жана Кальвина, Томаса Пейна и Роберта Оуэна. Библиотеки, церкви, институты, сады и оранжереи, в которых мастеровые-любители выращивали свои чудесные диковинные цветы, голубей, собак, наполняли эти самоуверенные и воинственные общины искусными людьми; Норвич в Англии был известен не только своим атеистическим и республиканским духом, но до сих пор

славен своими канарейками*. Но приспособление старой народной песни к промышленной жизни (за исключением США) не пережило ударов времен железной дороги и металла, также и в общинах старых мастеровых людей, как в Данфермлайне — городке старых ткачей полотна, не пережили развитие фабрик и машин. После 1840-х гг. все они превратились в руины.

Ничего не пришло на смену старой культуре. В Британии, в частности, новый пример вполне промышленной жизни окончательно сформировался не прежде 1870—1880-х гг. В период с начала разрушения старого традиционного образа жизни для рабочей бедноты наступила самая мрачная полоса их жизни, которую он принес. Большие города не помогли развитию культуры народа — культура стала скорее коммерческой, в отличие от самобытной в маленьких общинах.

Правда, что большие города, особенно столичные, уже обладали важными институтами, которые удовлетворяли культурные потребности бедноты или маленьких людей, хотя чаще аристократии. Основные направления развития XVIII в. внесли свой вклад в эволюцию народных искусств. Популярные театры пригородов Вены, в итальянских городах диалектальные театры, народная опера (наряду с королевской), театры комедии и странствующие клоуны, гуляния, состязания по боксу и гонки, или более демократичные варианты испанского боя быков** — все это виды искусства XVIII в.; иллюстрированные листы широкого формата, дешевые издания народных сказок — продукты еще более раннего периода. Новые формы городских представлений в больших городах происходили в тавернах или питейных заведениях, которые стали источником мирского комфорта для рабо-

---

* Фрэнсис Хонер писал в 1879 г.: «Там все еще стояло много старых домиков, глубоко осевших, вокруг которых сады, которые разводили садоводы. Там, к примеру, окно — странно длинное и светлое, перед которым ткач работал на своем станке, и ему были видны его цветы, растущие перед ним; и он, таким образом, совмещал приятное с полезным... Но фабрика вытеснила его ручную машину, а кирпичная стена проглотила его садик»[21]*

** Его первоначальная версия была рыцарская — главный боец находился верхом на лошади; нововведение в процессе убивания быка, стоящего на ногах, традиционно приписывалось плотнику из Ронды XVIII в.

чей бедноты в ее социальной неустроенности и последним городским оплотом обычаев и традиций, выживших и усиленных наемными рабочими, профсоюзами, ритуальными обществами друзей. Из таверн возникли мюзик-холлы и дансинги, но к 1848 г. они еще не получили широкого распространения, даже в Британии, хотя их появление отмечено в 1830-х гг. Другие новые формы городских развлечений в крупных городах вырастали из ярмарок, часто сопровождаемых странствующими увеселителями. В больших городах они становились постоянными, и даже в 1840-х гг. смесь привозных представлений, театров, лоточников, воров-карманников и мальчишек с тележками на бульварах одаряла романтиков-интеллектуалов, посетивших Париж, вдохновением, а простой народ — удовольствием.

Простые вкусы определяли форму и тех относительно немногих личных предметов потребления, которые производила промышленность специально для бедных: кувшины, которые служат напоминанием о триумфе Билля о реформе, большой стальной мост через реку Веар, или те трое мастеров, что отправились переплыть Атлантику, популярные гравюры, запечатлевшие революционные чувства, патриотизм или известных преступников, и немногие элементы обстановки и одежды, которые могли себе позволить городские бедняки. Но в общем город, и особенно новый промышленный город, оставался гигантским местом, чьи немногие удобства — открытые площади и праздники — постепенно уменьшались из-за подползающей душной атмосферы домов, дыма, который отравлял жизнь, принуждения к бесконечному труду, строгой дисциплины на предприятиях, вводимой представителями среднего класса. Лишь новые газовые фонари и выставки-продажи на главных улицах то там, то здесь напоминали яркие огни рекламы по ночам в современном городе. Но создание современного большого города и современных городских дорог происходило во второй половине XIX в., в первой в основном происходило разрушение.

ГЛАВА 15

НАУКИ

Давайте никогда не забывать, что задолго до того, как мы начали бороться против тиранов, науки и философия уже боролись. Их постоянными усилиями совершена революция. Как свободные и благородные люди мы должны их принять и хранить всегда. Потому что науки и философия создадут свободу, которую мы завоевали.

Член Конвента[1*]

«Вопросы науки, — отмечал Гёте, — часто являются вопросами карьеры. Единственное открытие может сделать человека знаменитым и заложить основу его судьбы как гражданина... Каждое новое изученное явление является открытием, каждое открытие является собственностью. Дотронься до собственности человека, и сразу пробуждаются его чувства.»

Разговоры с Эккерманом, 21 декабря 1823 г.

I

Всегда опасно проводить параллели между искусствами и науками, поскольку отношения между ними и общество, в котором они процветают, совершенно разные. Науки также по-своему отражали двойственную революцию, частично потому, что она поставила перед ними новые специфические требования; частично потому, что она открыла новые возможности для них, заставила их столкнуться с новыми проблемами; частично потому, что ее наличие предложило новый образ мышления. Я не хочу утверждать, что эволюция наук с 1789 по 1848 г. может рассматриваться исключительно относительно движений в обществе вокруг них. Человеческая деятельность в основном имеет свою внутреннюю логику, которая частично определяется этими движениями. Планета Нептун была открыта в 1846 г. не потому, что

нечтото вне астрономии заставило ее открыть, а потому что таблицы Бувара в 1821 г. доказали, что орбита планеты Уран, открытая в 1781 г., являла неожиданные отклонения от расчетной, потому что к концу 1830-х гг. эти отклонения стали значительнее и были опытным путем приписаны нарушениям, производимым каким-то неизвестным небесным телом. Тем не менее даже самые страстные приверженцы незапятнанной чистоты чистой науки понимают, что на научную жизнь могут воздействовать причины, находящиеся вне поля определенной дисциплины, если только ученые, даже самые не от мира сего математики, живут в огромном мире. Прогресс науки не является простым линейным движением, на каждом этапе разрешения проблем, до того неясных, или на этом этапе неразрешенных и в свою очередь ставящих новые проблемы. Это происходит также из-за возникновения новых проблем, из-за новых путей рассмотрения старых проблем, появления совершенно новых сфер исследования или новых теоретических и практических орудий исследования. И тут существует огромная сфера для стимуляции или появления мысли, являющейся внешним фактором. Если фактически большинство ученых в наш период продвигались по простому линейному пути, как в примере с астрономией, которая оставалась в основном внутри ньютоновской системы, это не могло быть очень важным. Но, как мы увидим, наш период был одним из моментов с радикально новыми отправными точками в некоторых областях мысли (как в математике), из-за пробуждения доминирующих наук (как в химии), возникновения новых наук (геология) и введения новых революционных идей в уже существующие науки (социологию и биологию).

Случилось так, что из всех внешних сил, воздействующих на развитие науки, правительство и промышленность были не единственными. Французская революция призвала к себе на службу, например, геометра и инженера Лазара Карно в якобинские вооруженные силы, математика и физика Монжа (министра военно-морского флота 1792—1793 гг.) и отряд математиков и химиков — в военную промышленность, а еще раньше химика и экономиста Лавуазье привлекли к работе по определению национального дохода. И, пожалуй, во всей истории это было в первый раз,

когда ученый вошел в правительство, и это было очень важно для правительства, более, чем для науки. В Британии главными отраслями промышленности в наш период были хлопкотекстильная, угольная, сталелитейная, железнодорожная и флот. Специалисты, участвовавшие в революционизировании этих отраслей, все были практиками. Героем британской революции в железнодорожном строительстве был Джордж Стеффенсон, безграмотный ученый, но этот человек по запаху определял, что заставит двигаться машину, гениальный ремесленник, а не инженер. Попытки таких ученых, как Бэббедж, послужить делу строительства железной дороги или ученых-инженеров, как Брюнель, заниматься рационализацией, а не простым практическим строительством, не увенчались успехом.

С другой стороны, наука получила большой толчок от введения научного и технического обучения, вклад в науку также внесли научные исследования, которые стали проводиться в наш период. Понятно, что двойственная революция оказала влияние на науку. Французская революция изменила научное и техническое обучение в нашей стране, главным образом учредив Политехническую школу (1795 г.), выпускавшую техников по всем отраслям, и первую ступень высшей школы (1794 г.), которая была создана как часть всеобщей наполеоновской реформы среднего и высшего образования

Была возрождена приходившая в упадок Королевская академия (1795 г.) и создан в Национальном музее истории природы (1794 г.) первый центр исследований нефизических наук. Мировое превосходство французской науки во время нашего периода стало возможным благодаря тому, что был создан политехнический центр якобинства и либерализма в постнаполеоновский период и несравненный воспитатель великих математиков и физиков-теоретиков. Такие же политехнические школы были открыты в Праге, Вене и Стокгольме, в С.-Петербурге и Копенгагене, по всей Германии и Бельгии, в Цюрихе и Массачусетсе, но не в Англии. Французская революция дала толчок прусскому образованию, был создан новый университет в Берлине (1806—1810 гг.) как часть прусского возрождения, послуживший моде-

лью для всех германских университетов, которые, в свою очередь, должны были служить образцом для академических институтов во всем мире. Опять же такие реформы не были проведены в Британии, где политическая революция не произошла. Хотя некоторые результаты в научном и техническом образовании были достигнуты: частные лаборатории, такие как лаборатория Генри Кавендиша и Джеймса Джоуля, а также созданные стараниями образованных представителей среднего класса — граф Румфорд, странствующий просветитель, основал в 1799 г. Королевский институт. Он прославился среди юристов главным образом своими знаменитыми публичными лекциями, но настоящую известность ему принесли уникальные экспериментальные исследования, которые в нем вели Хамфри Дэви и Майкл Фарадей. Это фактически были первые исследовательские лаборатории. Такие учреждения, как бирмингемское Лунное общество и Манчестерское литературное и философское общество, организовали поддержку промышленности в провинции: Джон Далтон, впоследствии основатель атомной теории, вышел оттуда. В Лондоне радикалы, последователи Бентама, основали Лондонский механический институт, теперешний Бирбек-колледж, который стал школой для техников, Лондонский университет как альтернативу университетам Кембриджа и Оксфорда, и Британскую ассоциацию развития наук (1831 г.) как альтернативу Королевскому обществу. Но все они были основаны не для того, чтобы воспитывать кадры для самой науки, и этим объяснялось, почему так медленно появлялись исследовательские учреждения. Даже в Германии первые университетские исследовательские лаборатории по химии были открыты после 1825 г. (они были открыты вслед за французской). Это были заведения, выпускавшие технических специалистов, как во Франции и Британии, учителей — как во Франции и Германии, их задачей было заразить молодежь духом служения своей стране. Революционная эра послужила росту числа ученых. За два года развилась такая наука, как география. Во-первых, сам процесс торговли и исследований открыл новые границы мира для научного изучения и этим стимулировал науки. Один из величайших научных умов нашего периода

Александр фон Гумбольдт (1769—1859) внес свой вклад как неутомимый путешественник, исследователь и теоретик в таких отраслях науки, как география, этнография, история, а его благородный синтез всех знаний «Космос» (1845—1859), нельзя рассматривать как совокупность каких-то определенных дисциплин.

Во-вторых, мир науки настолько расширился, что охватил и те страны и народы, которые до этого внесли совсем незначительный вклад в ее развитие. Список великих ученых в 1750 г. составляли только французы, британцы, немцы, итальянцы и шведы. Но самый краткий список крупных математиков первой половины XIX в. включает Хенрика Абеля из Норвегии, Яноша Больяи из Венгрии и Николая Лобачевского из совсем далекого и отсталого города — Казани. В свою очередь науки оказывают влияние на развитие национальных культур за пределами Западной Европы, что является результатом революционной эры. Этот национальный элемент в росте наук в свою очередь повлиял на снижение космополитизма в малых научных сообществах, которым он был присущ в XVII—XVIII вв. Тот век, когда международная знаменитость Эйлер переехал из Базеля в С. -Петербург, затем в Берлин и обратно ко двору Екатерины Великой, прошел вместе со старыми режимами. До тех пор ученый оставался в своей языковой среде и, не считая коротких поездок, общался со своими коллегами через научные журналы, которые также явились типичным продуктом этого периода: Труды Королевского общества (1831 г.), «Comptes Rendus de l'Academie des Sciences» (1837 г.), «Труды Американского философского общества» (1838 г.) или новый журнал «Journal für Reine und Angewandte Mathematik», или «Annales de Chimie et de Physique» (1797 г.).

II

Прежде чем мы сможем изучать природу влияния двойственной революции на науки, нам необходимо сделать краткий обзор того, что с ними произошло. В целом в классической физической науке не произошло революционных перемен. Она осталась

в пределах отношений, установившихся при Ньютоне, либо продолжая линии исследований, уже шедших в XVIII в., или расширяя ранее сделанные открытия и координируя их в более широкие теоретические системы. Наиболее значительным из новых направлений, таким образом открытых, было электричество — магнетизм. Пять главных дат, четыре из которых приходятся на наш период, и являются вехами прогресса: 1786 г. — Гальвани обнаружил течение электрического тока; 1799-й — Вольта построил свою батарею; 1800-й — был открыт электролиз; 1820-й — Эрстед наткнулся на связь между электричеством и магнетизмом; и в 1831 г. Фарадей установил связь между всеми этими силами и случайно обнаружил, что он первый нашел подход к физике (в отношении «полей», а не чисто механического движения вследствие толчка или рывка), который ускорил наступление новой эры. Наиболее важным из новых теоретических синтезов было открытие законов термодинамики, т. е. взаимосвязь между теплом и энергией.

Революция, которая превратила астрономию и физику в современные науки, началась в XVII в., а в наш период химия обрела полную силу благодаря революции. Из всех наук эта более тесно и мгновенно оказалась связана с промышленным производством. Более того, ее создатели были не только практичными людьми (такими как Дальтон из Манчестерского литературного и философского общества, а также Пристли из Бирмингемского лунного общества), но иногда и политическими революционерами, хотя и умеренного крыла. Двое стали жертвами французской революции: Пристли от рук тори за чрезмерную симпатию к французской революции, а великий Лавуазье очутился на гильотине за недостаточную симпатию, а скорее за то, что был крупным бизнесменом.

Химия, как и физика, была преимущественно французской наукой. Ее основатель Лавуазье (1743—1794) опубликовал свои фундаментальные «Traité Elementaire de Chimie» в тот самый год, когда свершилась революция; эта работа вдохновила развитие химической науки и особенно организацию химических исследований в других странах — даже в тех, которые должны были стать

главными центрами химических исследований позже, такие как Германия, главным образом Франция. До 1789 г. главным в развитии было внесение элементарного порядка в неразбериху практических экспериментов путем разъяснения определенных основных химических процессов, таких как горение и некоторых основных элементов, таких как кислород. Это позволило производить точные качественные измерения и дало программу дальнейших исследований по теме. Новая концепция теории атома (разработка начата Дальтоном в 1803—1810 гг.) позволила изобрести химическую формулу и с ее помощью начать изучение химической структуры. Последовало множество новых результатов экспериментов. В XIX в. химия должна была стать наиболее быстро развивающейся наукой и в конце концов наукой, которая привлекала массу способных людей. Тем не менее атмосфера и методы химической науки остались в основном те же, что и в XVII в.

В химической науке произошло и революционное открытие — открытие того, что жизнь можно рассматривать с точки зрения неорганических наук. Лавуазье открыл, что дыхание является формой сгорания кислорода. Эйлер, открыв (1828 г.), что соединение, до этого встречавшееся только в живых существах — мочевина, — может быть синтезировано в лаборатории, таким образом открыл новую широкую область органической химии. Существовало огромное препятствие для прогресса — уверенность, что живое вещество подчиняется другим природным законам, отличным от тех, которые управляют неживым, и это наносило серьезный вред; ни механический, ни химический методы не позволяли биологам продвинуться в своих исследованиях. Фундаментальным для этого периода стало открытие Шлейденом и Шванном то, что все живые вещества состоят из множества клеток (1838—1839 гг.), создав таким образом подобие атомной теории для биологов, но развитая биофизика и биохимия были еще впереди.

Более глубокие революционные изменения, хотя менее очевидные, чем в химии, произошли в математике. Если физика стала развиваться в XVII в., а химия вышла на широкую дорогу в

XVIII в., в наш период математика вступила в новую полосу развития, далеко опередив греков, которые все еще господствовали в математике и линейной геометрии, а в XVII в. были первыми в анализе. Только математики могут оценить глубину нововведений в науке при помощи теории функций сложных переменных (Гаусс, Коши, Абель, Якоби), теории групп (Коши, Галлуа) или теории векторов (Гамильтон). Но даже неспециалист может понять, каково было влияние революции, которое помогло Лобачевскому в России (1826—1829 гг.) и Больяи в Венгрии (1831 г.) отвергнуть одну из самых древних аксиом, евклидову геометрию. Величественная и несокрушимая структура евклидовой логики основывается на определенных положениях, одно из которых — аксиома о том, что параллельные прямые никогда не пересекаются — ни доказана, ни опровергнута. Сегодня может показаться элементарным создать подобную логическую геометрию на некоторых других предположениях (как у Лобачевского и Больяи), что бесконечность параллельных до какой-либо прямой L может проходить через точку P, или (как у Римана) что никакие параллельные, идущие до прямой L, не проходят через точку P, таким образом, если бы мы могли построить поверхность реальной жизни, в которой можно было бы использовать эти правила (т. е. Земля, поскольку она круглая, подчиняется положениям геометрии Римана, а не Евклида). Но выдвинуть подобные положения в начале XIX в. было актом интеллектуальной дерзости, аналогичным заявлению, что Солнце, а не Земля находится в центре планетарной системы.

III

Революция в математике прошла незаметно, не считая некоторых специалистов по предметам, не имеющим связи с реальной жизнью. Революция в общественных науках, с другой стороны, не могла пройти незаметно для неспециалиста, потому что происходила у него на глазах, в основном считалось, что изменения происходили к худшему. Маститые ученые в романах Пико-

ка изнемогали от симпатий и признания, а если и удостаивались насмешек, то добродушных; по-другому обстояло дело с экономистами и пропагандистами Общества изучения паровых двигателей.

Чтобы быть точным, то происходили две революции, чьи курсы сходились в одной точке, чтобы создать марксизм, как наиболее всесторонний синтез общественных наук. Во-первых, он продолжал блестящие изыскания рационалистов XVII и XVIII вв. создал аналоги физических законов для человеческого общества. Самым первым его достижением было создание систематической дедуктивной теории политической экономии, которая уже была к 1789 г. достаточно развита. Во-вторых, она по существу относится к нашему периоду и тесно связана с романтизмом, ее достижением является открытие исторической эволюции.

Смелость этого изобретения классического рационализма состояла в том, чтобы показать, как законы логики могут применяться к человеческому сознанию и свободному решению. Таковы были законы политической экономии. Убеждение в том, что они должны относиться к этим законам как к законам притяжения, придало капиталистам начала XIX в. уверенность и позволила внушить их романтичным оппонентам, что антирационализм также безнравственен. В принципе экономисты были, конечно, правы, хотя они сильно преувеличивали универсальность постулатов, на которых основывали свою дедукцию, способность некоторых вещей оставаться одинаковыми (равносильными), а также иногда их собственные интеллектуальные способности. Если население города удваивается, а число жилья в нем не увеличивается, тогда при всех прочих равных условиях должна повыситься квартирная плата, хочется этого кому-нибудь или нет. Утверждения такого характера служили укреплению этих систем дедуктивного мышления, созданных политической экономией в основном в Британии, и, хотя, конечно, в меньшей степени в XVIII в. в старых центрах науки Франции, Италии и Швейцарии. В период с 1776 по 1830 г. наблюдался расцвет политической экономии. Он дополнялся первой систематической теорией демографии, имев-

шей целью создать механизм отношений между математически описанными системами роста населения и средств существования, в «Очерке о населении» Мальтуса (1798 г.), который не был ни оригинальным, ни приковывающим внимание в своем открытии, что некто доказал, будто бедные должны всегда оставаться бедными и почему великодушие и благожелательность должны сделать их еще бедней. Значение ее заключается не в ее интеллектуальных заслугах, которые были скромными, а в тех требованиях, которые оно поставило перед наукой; среди них даже сексуальные, являющиеся социальным явлением. Применение математических методов к анализу общественных явлений позволило еще продвинуться вперед в этот период. Тут лидировали ученые-французы, благодаря существовавшему в то время во Франции прекрасному математическому образованию. Таким образом, Адольф Кётеле из Бельгии в его эпохальном труде «Sur l'Homme» (1835 г.) показал, что статистическое распределение человеческих характеристик подчиняется известным математическим законам, из чего он заключил, что социальные науки можно приравнять к физическим. Возможность обобщения статистики народонаселения и, основываясь на этих обобщениях, делать твердые прогнозы, явилась шагом к открытию теории вероятности использовалась практиками, которым надо было опираться на данные этой науки — в интересах страховых компаний. Но Кётеле и современная ему группа статистиков, антропометристов и социальных исследователей применяли эти методы в гораздо более широких областях и создали то, что и до сих пор является главным математическим инструментом для исследования социальных явлений.

Эти новшества в социальных науках были такими же революционными, как и в химии: используя уже сделанные достижения теоретических наук. Но социальные науки уже обладали новыми и оригинальными достижениями, которые в свою очередь явились толчком для биологических наук и даже физических, таких как геология. Это было открытием, что история является процессом логической эволюции, а не просто хронологией

последовательных событий. Все эти открытия тесно связаны с двойственной революцией, это настолько очевидно, что не требует доказательств. Итак, то, что стало называться социологией (слово было изобретено О. Контом около 1830 г.), выросло из критики капитализма. Сам Конт, которого принято считать ее основателем, начинал свою карьеру как личный секретарь основоположника утопического социализма Сен-Симона*, а ее наиболее значительный современник теоретик Карл Маркс считал свою теорию первоначально руководством для изменения мира.

Создание истории как академического предмета является не слишком значительным аспектом в общественных науках. Это правда, что в первой половине XIX столетия Европу охватила эпидемия написания историй. Редко случается, чтобы сразу столько людей сели и попытались осмыслить происходящее в мире и написали бы многотомные отчеты о прошлом: Карамзин в России (1818—1824 гг.), Гейер в Швеции (1832—1836 гг.), Палацки в Богемии (1836—1867 гг.) — стали основателями историографии в своих странах. Во Франции побуждение понять настоящее через осмысление прошлого было особенно сильным, и там сама революция скоро стала предметом интенсивного изучения Тьера (1823, 1843 гг.), Минье (1824 г.), Буонарроти (1828 г.), Ламартина (1847 г.) и великого Жюля Мишле (1847—1853 гг.). Это был героический период историографии с работами Гизо, Огюстена Тьерри и Мишле во Франции, в Дании с работами Нибура и сочинениями швейцарца Сисмонди, Холлама, Лингарда и Карлейля в Британии, бесчисленные германские профессора, их работы теперь известны как исторические документы, как литература.

Наиболее длительные последствия этого пробуждения интереса к истории имело то, что являлось документацией или историческими техническими приемами. Собрать реликвии прошлого, написанные или ненаписанные, стало всеобщим пристрастием. Возможно, частично это было попыткой защитить их от

* Хотя идеи Сен-Симона нелегко классифицировать, было бы нелепо отказываться от установившейся практики называть его социалистом-утопистом.

натиска настоящего, хотя национализм был самым важным стимулом: историки, лексикографы и фольклористы не возродившихся до сих пор наций были основоположниками национального самосознания. Таким образом французы открыли Ecole des Chartes (1821 г.), англичане — Государственный архив (1838 г.), немцы начали публиковать «Монументальную историю Германии», в это время Леопольд фон Ранке сформулировал доктрину о том, что история должна основываться на скрупулезной оценке первоначальных летописей (1795—1886 гг.). А в это время лингвисты и фольклористы создавали фундаментальные словари своих языков и изучали устные традиции своего народа. Включение в общественные науки сразу же оказало влияние на юриспруденцию (в это время Фредерик Карл фон Савиньи основал историческую школу права (1815 г.)), на изучение теологии, где применение исторических критериев — а именно у Штрауса в «Leben Jesu» («Жизнь Иисуса») (1835 г.) ужаснули фундаменталистов, но особенно в совершенно новой науке — филологии. Она также получила развитие в основном в Германии, которая являлась наиболее бурно развивающимся центром распространения исторического метода. Не случайно, что Карл Маркс был немцем. Для филологии очевидным стимулом явилось завоевание Европой неевропейских обществ. Сэр Уильям Джонс, первый из исследователей санскрита (1786 г.), стал заниматься им в результате завоевании Бенгалии Британией, Шампольон расшифровал иероглифы (его главная работа по предмету была опубликована в 1824 г.) после экспедиции Наполеона в Египет, Ролинсон разгадал клинописное письмо (1835 г.) благодаря вездесущим британским колониальным офицерам. Но фактически филология не ограничивалась открытием, описанием и классификацией. В руках великих немецких ученых, таких как Франц Бопп (1791—1867 гг.) и братья Гримм, она стала второй социальной наукой, второй, в которой были открыты общие законы, применимые к столь непостоянным областям, как общение людей. (Первой была политическая экономия.) Но законы филологии отличались от законов политической эконо-

мии тем, что они были глубоко историческими или даже эволюционными*.

В основе их было открытие того, что широкий спектр индоевропейских языков взаимосвязан, и к этому добавляется еще факт, что каждый существующий письменный европейский язык в течение столетий претерпел изменения и до сих пор находится в этом процессе. Проблема состояла не в том, чтобы подтвердить или классифицировать эти взаимоотношения средствами научного сравнения, задача тогда стояла более широко (к примеру, в сравнительной анатомии Кювье). Главным образом было необходимо пролить свет на их историческую эволюцию, на то, какой язык являлся общим прародителем. Филология была первой наукой, которая считала эволюцию своей сутью. Хорошо, что появилась такая наука, потому что в Библии почти ничего не говорится об истории языка, хотя довольно ясно сказано о сотворении и ранней истории Земли. Библия утверждает: «И на всей земле был один язык, и одна речь». Но филологам все-таки повезло, потому что из всех общественных наук эта не имела прямого контакта с людьми. В конце концов этот вопрос остался нерешенным, и до сих пор не решена фундаментальная проблема исторической науки: как установить происхождение великого множества индивидуумов в реальной жизни, используя основные законы. Ученые-лингвисты не продвинулись в своих попытках объяснить изменение в лингвистике, хотя сам Бопп уже выдвинул идею происхождения грамматических изменений. Но ученым удалось построить нечто вроде генеалогической таблицы для индоевропейских языков. Они составили ряд обобщений об относительных классах изменения для различных лингвистических элементов и несколько исторических обобщений для очень широкого охвата, так называемый «закон Гримма» (который показывает что все тевтонские языки претерпели определенный сдвиг согласных). Таким образом, благодаря этим первым ис-

* Парадоксально, но попытка применить физико-математический метод для лингвистики, рассматриваемой как часть более общей теории коммуникации, была предпринята только в наше время.

следованиям, ученые уже не сомневались в том, что эволюция языка явилась не только предметом установления хронологической последовательности или регистрацией изменений, но должна была быть объяснена общими лингвистическими законами, аналогичными научным.

IV

Биологам и геологам повезло меньше. Для них история является также главным источником, хотя изучение Земли (посредством разработок недр) было тесно связано с химией и изучением жизни (посредством медицины), с физиологией и (через открытие того, что химические элементы живых существ были теми же, что и в неорганической природе) с химией. Но для геологов в истории заключались наиболее явные проблемы — к примеру, как объяснить разделение земли и воды, гор и, более всего, строго обозначенных пластов.

Если исторической проблемой геологии было объяснение эволюции земли, то для биологии их было две: как объяснить рост жизни индивидуума из яйца, зерна или споры и как объяснить эволюцию видов. Обе были связаны очевидным свидетельством ископаемых, определенный набор которых был обнаружен в каждом окаменелом пласте и ни в каком другом. Английский инженер-дренажник Уильям Смит обнаружил в 1790-х гг., что историческая последовательность пластов может быть наиболее адекватно датирована по их характерным ископаемым.

Были предприняты попытки создать теории эволюции для мира животных, модным, но иногда поспешным в своих выводах зоологом графом де Бюффоном («Les Epoques de la Nature», 1778 г.). В десятилетие французской революции эти теории быстро получили подтверждения. Джеймс Хуттон из Эдинбурга («Теория Земли», 1795 г.) и эксцентрик Эразмус Дарвин, блиставший в Бирмингемском лунном обществе и написавший некоторые свои труды в стихах («Зоономия», 1794 г.), выдвинули законченную теорию эволюции Земли и видов растений и животных. Лап-

лас (1796 г.) даже выдвинул теорию эволюции солнечной системы, предвосхищенную философом Иммануилом Кантом и Пьером Кабанисом, почти в то же самое время предвидевшим, что умственные способности человека являются продуктом его эволюционной истории. В 1809 г. Ламарк во Франции выдвинул первую систематическую сверхсовременную теорию эволюции, основанную на наследственности приобретенных свойств.

Ни одна из этих теорий не победила. И в самом деле, вскоре они встретили бурное сопротивление тех, кто подобно представителям тори в их «Quarterly Review», «известны своей приверженностью божественному Откровению»[2*] Что должно было произойти со всемирным потопом? Что должно было разделить живые существа на виды, уже не говоря о человеке? И что прежде всего влияет на социальную стабильность? Не только простые священники и политики были озабочены подобными мыслями. Великий Кювье — основатель систематического изучения ископаемых («Recherches sur les ossements fossiles», 1812 г.) отвергал эволюцию именем Провидения. Лучше вообразить серию катастроф в геологической истории, следовавших за серией божественных воссозданий; было едва возможно отрицать геологическое отдельно от биологического изменения, чем разбираться в том, о чем говорится в Библии, или в том, что говорил Аристотель. Этот несчастный доктор Лоренс, ответивший Ламарку подобно Дарвину предложением теории эволюции путем естественной селекции, вынужден был по требованию консерваторов изъять из хождения свою работу «Естественная история человека» (1819 г.). С его стороны было совсем неумно не только обсуждать эволюцию человека, но также обращать внимание на применимость его идей к современному обществу. За его отречение от этой работы ему сохранили работу, его будущая карьера была вне опасности, но совесть постоянно не давала ему покоя, и он успокаивал ее, заискивая перед дерзкими радикальными издателями, которые все же время от времени печатали его поджигательскую работу.

И только в 1830-х гг., когда политика сдвинулась резко влево, теории эволюции пробились и в геологию вместе с публика-

цией знаменитой работы Лайелла «Принципы геологии» (1830—1833 гг.) — так было покончено с противостоянием нептунистов, которые утверждали в соответствии с Библией, что все минералы выпали в осадок из водных растворов, которые покрывали землю, а также спорили со сторонниками теории катастроф, следовавшим теории Кювье.

В это же десятилетие Шмерлинг, проводя исследования в Бельгии, и Буше де Перт, который, к счастью, предпочел свое хобби — археологию посту директора таможенной службы в Абвиле, предсказали еще более ошеломляющее открытие: обнаружение ископаемых останков доисторического человека, такая возможность до этого категорически отрицалась*. Но научный консерватизм все еще был способен отклонить подобные потрясающие изыскания на основании взаимоисключающих доказательств, пока в 1856 г. не был обнаружен неандертальский человек[99].

Теперь все признали, что: а) все настоящие исследования мотивируются тем, что Земля в течение времени изменилась по сравнению с первоначальным состоянием, б) что этот процесс проходил гораздо дольше, чем можно исчислить по Библии, в) что последовательность геологических пластов указывает на последовательность развития форм животной жизни, таким образом заключая в себе биологическую эволюцию. Существенным являлось то, что те, кто с готовностью восприняли эти положения и на самом деле выразили большой интерес к проблеме эволюции, являлись радикалами-непрофессионалами, представителями среднего класса Британии (всегда отвергавшими возмутительного доктора Эндрю Юра, лучше известного по его хвалебным высказываниям в адрес фабричной системы). Ученые уже не слишком торопились поддержать новые открытия. Это и неудивительно, если вспомнить, что геология была единственной наукой в тот период, которой занимались исключительно господа непрофес-

* До 1846 г. не была опубликована работа «Antiquités seltiques et antidiluvienne». Фактически были открыты несколько человеческих ископаемых останков, но они оставались либо неизученными, либо просто забытыми в провинциальных музеях.

сионалы-любители (возможно, потому, что обычно исследования велись за границей, по большей части в дорогостоящих геологических путешествиях), которые не могли быть серьезно восприняты в университетах Оксфорда и Кембриджа.

Таким образом, исследования по биологической эволюции все еще отставали. И лишь после поражения революций 1848 г. начались усиленные исследования, и только тогда Чарльз Дарвин взялся за эти исследования с величайшей осторожностью и неуверенностью. Даже параллельные исследования эволюции в эмбриологии временно прекратились. В это время первые немецкие натуралисты-философы, такие как Иоганн Меккель из Галле (1781—1833 гг.), выдвинули предположение о том, что во время роста эмбриона в организме повторяется эволюция вида. Но этот закон биогенетики, хотя сначала и был поддержан такими учеными, как Ратке, который открыл, что эмбрион птиц проходит через стадию земноводных, которыми они когда-то были (1829 г.), это было отвергнуто грозным фон Бэром из Кенигсберга и С.-Петербурга; экспериментальная физиология, казалось, обратила усиленное внимание на рабочих в районах Славонии и Балтики* — и это направление было забыто, пока Дарвин не сделал свое открытие. А тем временем эволюционные теории достигли значительного прогресса в изучении общества. Хотя этот прогресс не следует преувеличивать. Период двойственной революции относится к предыстории всех общественных наук, за исключением политической экономии, лингвистики и, возможно, статистики. Даже наиболее значительное открытие, последовательная теория Маркса и Энгельса об эволюции общества, в то время была не более чем предположением выдающимся, выдвинутым в великолепной брошюре-очерке или служившим основой для исторического повествования. Основательная научная база для изучения человеческого общества была создана только во второй половине века.

---

* Ратке преподавал в Дерпте (Тарту), Эстония, Пандер — в Риге, а великий чешский физиолог Пуркинье открыл новую лабораторию физиологических исследований в Бреслау в 1830 г.

Так же обстояли дела с социальной антропологией или этнографией, которые находились у истоков социологии и психологии. Факт тот, что эти области исследования получили в наш период название и заявили права на то, чтобы считать каждую самостоятельной наукой со своими социальными системами, был отмечен Джоном Стюартом Миллем в 1843 г., пожалуй, первым подчеркнувшим значение физиологии. Важно и то, что во Франции и Англии (1839, 1843 гг.) были образованы специальные этнологические общества для изучения человеческих рас, а также с 1830 по 1848 г. увеличилось число исследований статистических методов и статистических обществ. «Общие инструкции для исследователей Французского этнографического общества» побуждали их изучать то, какую память люди сохранили с начального периода, какие изменения она претерпела в языке и в поведении (moeurs), в искусствах, науках и вещах, во власти и правительстве, во внутренних делах и в период иноземных нашествий[3*], явились чем-то большим, нежели программа, хотя в основном исторической. То, что в наш период важно в социальных науках (хотя значительное количество описательного материала было накоплено), их приверженность к материализму, было выражено в желании объяснить человеческие общественные различия с точки зрения окружающий среды, и их приверженность к теории эволюции; поскольку разве что Шаванэ в 1787 г., находясь в начале научной деятельности, дал определение этнологии как «истории прогресса человечества на пути к цивилизации»?[4*]

Необходимо хотя бы вкратце упомянуть о мрачном побочном продукте этих первых открытий в социальных науках: теории рас. В XVIII в. много обсуждалось существование различных рас людей (или цвета кожи), когда проблема единого или множественного создания человека также беспокоила человеческие умы. Моногенисты и полигенисты расходились по многим положениям. Первых объединяла вера в эволюцию и равенство людей, что уже легче, поскольку в этой точке наука по крайней мере не расходилась с Библией; такие ученые, как Причард, Лоуренс и Кювье, занимались этой проблемой до Дарвина. Во-вторых, по общему признанию, она объединяла не только bona fide[100] уче-

ных, но также и ученых с рабовладельческого Юга Америки — расистов. Споры о расах привели к взрыву в антропометрии, а в основном сосредоточились на коллекционировании, классифицировании и измерении черепов, эта практика позволила развиться такому странному хобби, как френология, определяющая характер по конфигурации черепа. В Британии и Франции были основаны (1823, 1832 гг.) френологические общества, хотя вопрос вскоре вышел из научного поля зрения.

В это время из объединения национализма, радикализма, истории возникло новое поле наблюдения, такая же опасная тема постоянных национальных или расовых характеристик общества. В 1820-х гг. братья Тьерри, передовые французские историки и революционеры, принялись изучать завоевания норманнов и галлов. И как подобает хорошим радикалам, они считали, что французский народ произошел от галлов, аристократы же произошли от тевтонов, завоевавших их, — доказательство, которое позже использовалось для консервативных целей высшими классами радикалов, такими как граф Гобино. Вера в то, что сохранилась специфическая расовая порода, — подобная идея была воспринята с понятным рвением уэльским натуралистом В. Эдвардсом для кельтов, ибо хорошо подходила к этой эпохе, когда люди имели целью обнаружить романтическую и мистическую индивидуальность своей нации, чтобы объяснить ее миссионерскую судьбу, идея сама по себе революционная, или приписывать свое благополучие и власть природному превосходству (они не приписывали природной неполноценности нищету и угнетение). Но в извинение нужно отметить, что худшие заблуждения радикальных теорий появились по окончании нашего периода.

V

Как объяснить такие достижения науки? И как мы можем связать эти достижения с другими историческими изменениями в период двойственной революции? Очевидно, что такая связь существовала. Теоретические проблемы парового двигателя при-

вели замечательного Сади Карно в 1824 г. к наиболее фундаментальному физическому открытию XIX в. — он открыл два закона термодинамики (Reflexions sur la puissance motrice du feu*), хотя это был не единственный подход к проблеме. Прогресс в геологии сыграл большую роль тем, что заставлял промышленных инженеров и строителей рыться в земле, и сыграл большую роль в развитии горного дела. Не напрасно Британия стала геологической страной, в которой в 1836 г. было организовано национальное геологическое инспектирование. Обследование минеральных ресурсов дало химикам для изучения бесчисленные органические соединения, способствовало развитию щахт, металлургии, текстильной промыщленности, производству керамики, появлению новых отраслей промышленности, таким, как газовое и химическое освещение; стимулировало работы в сельском хозяйстве. А энтузиазм солидной британской радикальной буржуазии и аристократов-вигов не только направлял исследования, но и способствовал развитию образования, благодаря чему были основаны науки; все это достаточное подтверждение тому, что научный прогресс нашего периода не может быть отделен от влияния промышленной революции.

Подобным образом влияние науки на французскую революцию видно в открытой или скрытой враждебности к науке, с которой политические консерваторы или умеренные встречали то, что они считали естественными последствиями свержения монархии, которое совершили материалисты и рационалисты XVIII в. Поражение Наполеона принесло волну упадничества. «Математика — это цепи на мышлении человека», — кричал скользкий Ламартин, — я дышу, а они разбиты». Борьба между воинственными сторонниками науки и левыми антиклерикалами, которые смогли в короткие моменты победы создать большинство французских институтов, позволившим французским ученым созидать, и между враждебными науке правыми, которые из кожи вон лезли, чтобы заставить их голодать[5*], продолжалась постоянно. Это не означает, что ученые во Франции или

* Его открытие первого закона было опубликовано гораздо позже.

еще где-либо в этот период были особыми сторонниками революции. Некоторые были, как золотой мальчик Эварист Галуа[101], который бросился в 1830 г. на баррикады, подвергся преследованиям как повстанец и был убит на дуэли политическим задирой в возрасте двадцати одного года в 1832 г. Поколения математиков пользовались его глубокими мыслями, которые он лихорадочно записывал, потому что чувствовал, что это его последняя ночь на земле. Некоторые были откровенными реакционерами, как легитимист Коши, хотя по понятным причинам традиция Политехнической школы, украшением которой он являлся, была воинственно антироялистской. Возможно, большинство ученых считали себя левее центра в постнаполеоновский период, а другие, особенно в новых нациях или в неполитических объединениях, были вынуждены занять позиции политических лидеров, а именно: историки, лингвисты и другие, имевшие явные связи с национальными движениями. Палацки стал главным спикером чехов в 1848 г., семь профессоров Геттингена, подписавших письмо с протестом, в 1837 г. стали фигурами национального значения*, а Франкфуртский парламент в революционной Германии 1848 г. стал известной ассамблеей профессоров и других гражданских служащих. С другой стороны, по сравнению с художниками и философами ученые и особенно натуралисты проявляли низкий уровень политической зрелости, если того не требовал их предмет. В некатолических странах, к примеру, они проявили способность к сочетанию науки со спокойной религиозной ортодоксией, которая удивляет студента в эпоху Дарвина. Такое положение объясняет некоторые явления в развитии науки, по крайней мере с 1789 по 1848 г. Понятно, что косвенное влияние современных событий было более важно. Невозможно было не заметить, что мир в эту эпоху изменился столь радикально, как никогда. Ни один мыслящий человек не мог не осознавать, не быть потрясенным и не вдохновиться от этих взрывов и изменений. Неудивительно, что

* В их число входили и братья Гримм.

благодаря стремительности социальных изменений, глубоким революционным преобразованиям, систематическим изменениям в традиционных теориях, радикальным рационалистическим нововведениям, смогли возникнуть образцы прогрессивной мысли. Легко объединить эти видимые проявления революции с готовностью нелюдимых математиков прорваться сквозь существовавшие до этих пор барьеры мышления. Мы знаем, что принятию новых революционных направлений мышления мешали не внутренние трудности, а непонимание того, что естественно и что нет. Сами термины «иррациональное число» (для таких чисел, как V^{-2}) или «воображаемое число» (для чисел вида V^{-1}) означают природу трудности. Если мы решим, что они не более рациональны, чем другие, все пойдет как по маслу. Но может наступить эра глубоких изменений в мышлении, и такие решения будут приняты, воображаемые или сложные переменные, с которыми в XVIII в. обращались с затруднением и осторожностью, а после революции получили должное.

Оставляя в стороне математику, предполагалось, что модели, возникшие благодаря изменениям в обществе, заставят ученых в областях, где такие аналогии применимы, к примеру, выдвинуть динамичные эволюционные концепции там, где до сих пор был застой. Это могло произойти либо прямо, либо посредством воздействия какой-либо другой науки. Таким образом, концепция промышленной революции, которая является основополагающей для современной экономики, была представлена в 1820-х гг. как аналог французской революции. Чарльз Дарвин позаимствовал механизм «естественного отбора» по аналогии с моделью капиталистического соревнования, который он перенял у Мальтуса (борьба за существование). В геологии эти теории стали широко применяться в 1790—1830 гг. из-за того, что ее ученые были близко знакомы с жестокими законами общества. Тем не менее в несоциальных науках было бы неуместным придавать такое уж значение подобным внешним влияниям. Мир мышления является до некоторой степени автономным: его движения находятся, как и находились, на том же историческом уровне,

что и в других областях науки, но он не является отражением других. Хотя такие революционные теории в геологии кое-что взяли из протестантизма и особенно кальвинизма — убежденность во всемогуществе Бога. Подобные теории были по большей части монополией протестантизма, как отличного от католицизма. Если открытия в какой-либо области науки совершаются еще где-либо параллельно, это происходит не потому, что каждое открытие может быть легко пристегнуто к соответственному явлению экономики или политической жизни.

Хотя наличие связей отрицать нелегко. Основные течения мышления в наш период имеют аналогии в специализированных отраслях науки, и это позволяет нам провести параллели между науками и искусствами или между теми и другими и политико-социальными отношениями. Так, классицизм и романтизм существовали в науках, и, как мы видели, каждый имел особый подход к человеческому обществу. Уравнивание классицизма (или на интеллектуальном языке рационального, механического мира Ньютона — мира Просвещения) с буржуазным либерализмом или романтизмом (или так называемой натурфилософией) с его оппонентами, очевидно, является чрезмерным упрощением и после 1830 г. потерпело неудачу. Хотя в этом есть определенный смысл. Пока не начался расцвет теорий современного социализма, который прочно скрепил революционную мысль рационалистического прошлого, такие науки, как физика, химия и астрономия, находились под влиянием англо-французского либерализма буржуазии. К примеру, плебейские революции II года были инсценированы скорее Руссо, чем Вольтером, и подозревали Лавуазье (которого они казнили) и Лапласа не из-за связей их со старым режимом, а по причинам, сходным с теми, что заставили поэта Уильяма Блейка подвергать жестокой критике Ньютона*. Наоборот, «естественная история» была близкой по духу, поскольку она указывала путь самопроизвольности истинной и девственной при-

* Это подозрение ньютоновской науки не распространялось на прикладные работы, чья экономическая и военная ценность была очевидна.

роды. Якобинская диктатура, распустившая Французскую академию, основала не менее двенадцати исследовательских кафедр при Jardin des Plantes[102]. Так же обстояли дела и в Германии, где классический либерализм был слаб настолько, что враждебная к классической научная идеология стала наиболее популярной. Это была «натурфилософия».

Натурфилософию легко недооценить, потому что она так часто вступает в конфликт с тем, что мы по праву считаем наукой. Она часто связана с риском и интуицией. Она искала выражения мирового духа или жизни, или мистического органического объединения всех вещей друг с другом, и многое другое, что препятствовало точному количественному измерению, картезианской ясности. Она находилась в решительной оппозиции к механическому материализму и была против Ньютона, иногда вопреки самому смыслу. Великий Гёте потратил значительную часть своего олимпийского времени, пытаясь доказать ложность ньютоновской оптики по той только причине, что он не испытывал удовлетворения от теории, которая не смогла объяснить цвета через взаимодействие законов света и тьмы. Подобное заблуждение не могло вызвать ничего, кроме удивления, в Политехнической школе, где постоянное предпочтение германцам непонятному Кеплеру с его мистицизмом казалось непостижимым ясной и совершенной Principia. И действительно, казалось, что́ может человек почерпнуть у Лоренца Окена: «Деятельность или жизнь Бога состоит из вечных проявлений вечных размышлений с самим собой или еще с кем-либо, внешне раздваиваясь и при этом оставаясь в одном лице... Первая сила, которая появляется в мире, это полярность... Закон причинной связи является законом полярности. Причинная связь — это акт зарождения. С сексом связано первое движение в мире... Во всем, таким образом, заключается сразу два процесса, первый — индивидуализация, оживление и тут же универсализация — разрушение»[6*] Что в самом деле? Полное непонимание Гегеля Бертраном Расселом, пользовавшимся подобными терминами, является хорошей иллюстрацией ответа рационалистов XVIII в. на это риторический вопрос. С другой стороны, долг, который

Маркс и Энгельс чистосердечно признавали перед натурфилософией*, предупреждает нас о том, что она работала. Лоренц Окен основал германский либерализм и явился вдохновителем Британской ассоциации содействия научному прогрессу — продуктивные результаты. Клеточная теория в биологии, много открытий в морфологии, эмбриологии, филологии и большой вклад в исторический и эволюционный элемент во всех науках — все это было достигнуто главным образом благодаря вдохновению романтизма. По всеобщему признанию, даже в этой облюбованной им области биологии романтизм должен был быть в конце концов дополнен холодным классицизмом Клода Бернара (1813—1878), основателя современной физиологии. С другой стороны, даже в физико-химических науках, которые оставались оплотом классицизма, размышления натурфилософов о таких мистических предметах, как электричество и магнетизм, приносили положительные результаты. Ганс Христиан Эрстед из Копенгагена, последователь Шеллинга, искал и нашел связь между обоими, когда он демонстрировал действие магнетизма на электрический ток в 1820 г. Оба подхода к науке в конце концов объединились. Они никогда полностью не сливались, даже у Маркса, который более ясно, чем большинство вместе взятых интеллектуальных источников, из которых выросли его теории, сознавал это. В целом романтический подход послужил стимулом для новых идей и открытий и затем вновь не был востребован науками. Но в наш период его нельзя обойти вниманием.

Если его нельзя учитывать как чисто научный стимул, его тем более нельзя игнорировать историку идей и мнений, для которого даже абсурдные и фальшивые идеи и факты являются историческими силами. Мы не можем списывать со счета движение, которое привлекало или влияло на людей высочайшего интеллектуального уровня, таких как Гёте, Гегель и молодой Маркс. Мы можем просто попытаться понять глубокую неудовлетворен-

* У Энгельса в «Анти-Дюринге» и «Фейербахе» содержится квалифицированная защита классицизма и романтизма, а также и Кеплера, когда он выступает против Ньютона.

ность мировоззрением англо-французского классицизма XVIII в. чьи титанические достижения в науке и обществе были неоспоримы, но чья узость и ограниченность были столь же очевидны в период двойственной революции. Осознавать эту ограниченность и искать, опираясь скорее на интуицию, чем на анализ, условия, при которых могло быть построено лучшее общество, это совсем другое, чем фактически построить это общество. Натурфилософы предвидели эволюционное развитие мира, тесную взаимосвязь всех явлений и их диалектику. Они откликались на реальные проблемы даже в физических науках, они также предвидели изменения и расширение научных областей, из которых вырос наш современный мир науки, по-своему они реагировали на влияние двойственной революции, которая не оставляла ни одного явления без своего влияния.

ГЛАВА 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТНОСИТЕЛЬНО 1848 г

Нищета и пролетариат это те гноящиеся язвы, которые высыпали на организме современных государств. Можно ли их излечить? Коммунистические доктора считают, что необходимо полное разрушение и уничтожение этого организма... Одно бесспорно, если власть действовать окажется в руках этих господ, произойдет не политическая а социальная революция, война против всех видов собственности, полная анархия. Поможет ли это появлению новых национальных государств, и на каких моральных и социальных основаниях? Кто приподнимет покров будущего? И какая роль в этом отведена России? А пока что нам остается, как гласит русская пословица «ждать у моря погоды».

Хакстхаузен. Исследования... России, 1847 г.[1*]

I

Мы начали с обзора положения в мире в 1789 г. И взглянув на него через 50 лет, в конце наиболее революционного пятидесятилетия в истории к этому времени, попытаемся сделать заключение.

Это была эра кульминаций. Бесчисленные статистические справочники, в которых эта эра учета и подсчета пыталась отобразить все аспекты тогдашнего мира*, могли справедливо заключить, что все поддающиеся количественному счету стало больше (или меньше), чем до этого периода. Известное нанесенное

* В период с 1800 по 1848 г. было издано около 50 подобных справочников, не считая правительственных отчетов (переписи, официальные исследования и т. д.), а также многочисленные новые специальные или экономические журналы со множеством статистических таблиц.

на карту и связанное между собой мировое пространство, стало больше, чем раньше, а средства связи быстрее. Население стало намного больше, некоторые классы общества возросли по численности сверх всяких ожиданий. Большие города стали расти быстрее, чем до этого. Промышленная продукция стала выражаться астрономическими цифрами: в 1848 г. из недр земли было добыто около 640 млн тонн угля. Эти цифры превзошли только более экстраординарные цифры, выражавшие международную торговлю, которая возросла вчетверо с 1780 г. и достигла около 800 млн фунтов стерлингов, а в валютах менее надежного значения и стабильности намного больше этого.

Наука еще никогда не достигала такого уровня успеха, знания еще так широко не распространялись. Более 4 тыс. газет информировали граждан мира и ряд книг ежегодно публиковались в Британии, Франции, Германии, и только в одних США их издание выражалось пятизначной цифрой. Человеческие изобретения каждый год достигали все более сияющих высот. Лампа Арганда (1782—1784) совершила революцию в искусственном освещении — это было первым крупным достижением со времен масляных ламп и свечей — когда гигантские лаборатории под названием газовые заводы направляли свою продукцию сквозь бесконечные подземные трубы, начав освещать заводы* и вскоре после того города Европы: с 1807 г. — Лондон, с 1818-го — Дублин, Париж — с 1819-го, даже далекий Сидней с 1841 г. И уже была известна электрическая осветительная дуга. Лондонский профессор Витстон уже планировал соединить Англию с Францией посредством подводного электрического телеграфа. 48 млн пассажиров уже проехали по железной дороге Британии за один 1845 г. В 1846 г. в Великобритании женщины и мужчины могли промчаться по 3 тыс. миль железнодорожных путей, а к 1850-му г. уже по 6 тыс. миль, а в США по 9 тыс. миль. Регулярные пароходные линии уже соединяли Европу и Америку, Европу и Индию.

---

* Боултон и Уатт в 1798 г. применили такое освещение, на хлопкопрядильных фабриках Филипса и Ли в Манчестере с 1805 г. постоянно применялась тысяча осветительных горелок.

Без сомнения, эти победы имели и темную сторону, хотя это уже не с таким энтузиазмом отражалось в статистических отчетах. Как можно было количественно выразить тот факт, который немногие сегодня стали бы отрицать, что промышленная революция создала такой безобразнейший мир, в котором когда-либо жил человек, как страшные, вонючие, задымленные окраины Манчестера. Или что вырывая с корнем великое множество людей и лишая их уверенности, этот век стал одним из самых несчастных. И тем не менее мы можем простить первопроходцев прогресса 1840-х гг., их решительность и уверенность в том, что торговля может свободно развиваться, ведя цивилизацию и мир, делая человечество счастливее, умнее и лучше. «Сэр, — сказал лорд Пальмерстон, продолжая свою восторженную речь в одином из самых мрачных 1842 г., — это ниспослание Небес»[2*] Никто не мог отрицать существования нищеты в самом безобразном проявлении. Многие считали, что она все растет. И хотя по меркам всех времен, измерявшим успехи промышленности и науки, только самые пессимистичные из рационалистов заявляют, что с материальной точки зрения оно было хуже, чем до этого, и даже хуже, чем в непромышленных странах нашего периода. Лорд Пальмерстон так не считал. Это тяжкое обвинение, поскольку материально положение рабочей бедноты всегда было не лучше, чем в тяжелом прошлом, а иногда хуже, чем в периоды, живые в памяти людей. Первопроходцы прогресса старались убедить в том, что такое положение складывалось не из-за нового буржуазного общества, а наоборот, из-за тех препятствий, которые чинили старый феодализм, монархия и аристократия на пути замечательного свободного предпринимательства. Новые специалисты, наоборот, считали, что все происходит из-за действия этой новой системы. Но и те и другие были согласны, что положение ухудшалось. Первые считали, что им удастся в рамках капиталистического общества справиться с тяжелым положением рабочей бедноты, вторые были уверены, что им не удастся справиться с тяжелым положением рабочей бедноты, но и те и другие справедливо считали, что существовала возможность улучшения материального поло-

жения трудящихся благодаря тому, что человек все больше осуществляет контроль над природой.

Если мы проанализируем общественно-политическую систему в мире 1840-х гг., нам придется оставить крайности и перейти к умеренным формулировкам. Подавляющее большинство населения составляли крестьяне, как и раньше, хотя в некоторых странах, а именно в Британии, в сельском хозяйстве уже было занято меньшинство, а городское население почти сравнялось с сельским, как стало известно из переписи 1851 г., и это произошло впервые. Рабов было относительно немного, поскольку международная работорговля была запрещена в 1815 г., в британских колониях — в 1834 г., а в освобожденных испанских и французских колониях — во время и после французской революции. В то время как Вест-Индия в этот период, за исключением небританских территорий, была зоной свободного сельского хозяйства, в двух ее великих оплотах — Бразилии и на юге Соединенных Штатов — продолжало существовать рабство, и сам прогресс в промышленности и торговле, который отменил все ограничения на товары и людей, способствовал рабству, а государственные запрещения сделали работорговлю особо выгодной. Приблизительная цена на сельскохозяйственного работника на юге Америки составляла 300 долларов в 1795 г., а в 1860-м — уже от 1200 до 1800 долларов[3*] число рабов в США выросло с 700 тыс. в 1790 г. до 2 500 тыс. в 1840 г. и 3 200 тыс. в 1850 г. Они все так же поступали из Африки, но и все больше поступали на продажу из районов, где уже использовался рабский труд, т. е. из соседних с США стран, для быстрорастущего хлопкового пояса. Кроме того, уже развивалась система полурабской рабочей силы; из Индии на сахарные острова Индийского океана и в Вест-Индию.

Рабство или легальное закрепощение крестьян было запрещено в большинстве стран Европы, хотя общая обстановка в сельских бедных районах с традиционным латифундистским возделыванием земли в Сицилии и Андалузии не изменилась. Таким образом, рабство сохранилось в главных европейских цитаделях, хотя после начального роста численности она осталась постоянной

в России и составляла от 10 до 11 млн душ после 1811 г., но в общем по Европе уменьшилась*. Тем не менее сельское хозяйство, в котором применялся труд крепостных (в отличие от рабского сельского хозяйства), было в упадке из-за его экономической отсталости, что становилось все очевиднее, и особенно после 1840-х гг. среди крестьянства нарастали и волнения. Крупнейшее восстание крепостных крестьян произошло в австрийской Галиции в 1846 г. — прелюдия ко всеобщему освобождению после революции 1848 г. И даже в России в 1826—1834 гг. произошло 148 бунтов, в 1835—1844 гг. — 216 и в 1844—1854 гг. — 348, а за последние годы перед окончательным освобождением в 1861 г. — 474 бунта[5*]. На другом конце общественной пирамиды положение земельной аристократии также изменилось, хотя не так, как можно было ожидать, особенно в странах, где произошли непосредственно крестьянские революции, как во Франции. Без сомнения, теперь уже были страны — Франция и США, — где богатейшие люди не являлись землевладельцами (не считая тех, кто сам купил землевладения, как признак их вступления в высшие классы, как, например, Ротшильды). Тем не менее даже в Британии 1840-х гг. наибольшая концентрация богатств все-таки оставалась в руках знатного сословия, а на юге США хлопковые плантаторы даже сами создали провинциальное подобие аристократического общества, вдохновленные Вальтером Скоттом, рыцарством, романтикой и другими понятиями, которые ничего общего не имели с рабством чернокожих, за счет которых они богатели, а с ними вместе и красношеие пуритане-фермеры, под свой маис с жирной свининой. Конечно, за твердостью аристократов скрывалась премена: доходы дворянства все больше зависели от промышленности, от акций и налогов, реальных изменений имущества презренной буржуазии.

Средний класс, конечно, быстро увеличивался, но все же его численность была невелика. В 1801 г. было около 100 тыс. налогоплательщиков, зарабатывающих около 150 фунтов в год в Бри-

* Численность крепостных крестьян со времен Екатерины II до Павла I (1762–1801) увеличилась с 3,8 млн душ до 10,4 млн в 1811 г.[4*]

тании, к концу нашего периода их уже было около 340 тыс.[6], из общего населения в 1851 г., насчитывавшего 21 млн человек, их было 1,5 млн*. Естественно, число тех, кто стремился жить по стандартам среднего класса и вести его образ жизни, было намного больше. Не все из них были очень богаты, по грубым подсчетам**, число тех, кто зарабатывал более 5 тыс. фунтов в год, составляло 4 тыс., куда входили и аристократы, число, несовместимое с 7 579, тем, сколько ими было нанято домашних кучеров, украшавших британские улицы. Мы сможем заключить, что относительное число представителей среднего класса в других странах было не выше, чем здесь, а гораздо ниже.

Рабочий класс (включая новый пролетариат фабрик, шахт, железных дорог и т. д.) вырос быстрее всех остальных. Тем не менее, не считая Британии, он в лучшем случае насчитывал сотни тысяч, а не миллионы. Если сравнивать с общим населением в мире, он все еще составлял незначительную часть, и опять же не считая Британии и немногих центров в других местах, был еще не организован. Хотя, как мы видели, его политическое значение было уже велико, гораздо больше его численности и его достижений.

Политическая структура мира была значительно изменена к 1840-м гг., но ненамного больше, чем в 1800 г. (по самым пессимистическим подсчетам). Монархии все еще оставались самым распространенным типом государственного правления, не считая американского континента, и даже там самая большая из стран, Бразилия, была империей, а другая, Мексика, по крайней мере попробовала с 1822 по 1833 г. имперское правление Итурбайда (Августина I). Правда, некоторые европейские королевства, включая Францию, теперь стали конституционными мо-

* Эти подсчеты приблизительны, но если предположить, что каждый относящийся к среднему классу владел по крайней мере одним слугой, то в 1851 г. 67 400 женщин составляли основную домашнюю прислугу среднего класса, и приблизительно 50 тыс. поваров (число экономок и горничных примерно такое же).

** Взято у выдающегося статистика Уильяма Фарра в «Статистическом журнале». 1857. С. 102.

нархиями, но по восточному побережью Атлантики преобладали монархии. Это правда, что там к 1840-м гг. благодаря революции возникло несколько новых государств: Бельгия, Сербия, Греция и масса латиноамериканских. Хотя Бельгия являлась государством промышленным (в большей степени благодаря великому французскому соседу*), наиболее важным из революционных государств было то, которое уже существовало к 1789 г. — США. На его долю выпало значительное преимущество: отсутствие какого-либо сильного соседа-противника, который мог или хотел бы препятствовать его расширению по всему континенту до Тихого океана. Французы продали им территорию Луизианы в 1803 г., и еще одно — сверхвысокая скорость развития экономики. Преимущество также получила и Бразилия, которая мирно отделилась от Португалии, избежала распада, который постиг все те государства испанской Америки, где прошли революционные войны, хотя ее богатые ресурсы остались неиспользованными.

И все же произошли большие изменения. Более того, с 1830-х гг. изменения приобрели большую наглядность. Революция 1830 г. дала конституцию умеренных либералов среднего класса — антидемократическую, но столь же и антиаристократическую — в главных государствах Западной Европы. Без сомнения, умеренный средний класс испытывал страх перед революцией и шел на компромиссы. Они оставили класс землевладельцев чрезвычайно хорошо представленным в правительстве, как в Британии, а во Франции средний класс из самых передовых отраслей промышленности не был представлен вообще. Но правительство шло с этим классом на компромиссы, которые помогали установлению баланса сил. По всем вопросам, которые имели большое значение для британского класса промышленников, после 1832 г. принимались решения в их пользу, способность запретить хлебные законы стала возможной при отсутствии наиболее крайних республиканцев и утилитаристов с их антиклерикальными предложениями. Нет сомнения, что либерализм среднего клас-

* Около трети выпускаемого в Бельгии угля и чугуна в чушках экспортировалось почти целиком во Францию.

са Западной Европы преобладал. Его главные оппоненты — консерваторы в Британии, блок, в основном опирающийся на католическую церковь, постоянно находились в обороне.

Тем не менее даже радикальные демократы достигли значительного прогресса. После 50 лет сомнений и вражды, под воздействием поселенцев и фермеров, США во время президентства Эндрю Джексона (1829—1837, примерно время европейской революции) воспользовались ситуацией. В самом конце нашего периода (1847) гражданская война между радикалами и католиками в Швейцарии принесла демократию и в эту страну. Но немногие умеренные либералы среднего класса в то время думали, что эта система правления, получающая поддержку в основном от левых революционеров, более всего служившая грубым мелким производителям и торговцам в горах и прериях, когда-нибудь станет характерной политической системой капитализма, которая будет защищаться от нападок тех самых людей, которые в 1840-х гг. защищали ее.

Только в международной политике произошла полномасштабная, хотя и не далекая от совершенства революция. Мир в 1840-х гг. был почти весь под влиянием, политическим и экономическим, европейских государств, к которым теперь присоединились растущие США. Опиумная война 1839—1842 гг. показала, что единственная уцелевшая неевропейская великая держава — Китайская империя — была беспомощна перед лицом западной военной и экономической агрессии. С этих пор ничто, казалось, не могло устоять на пути западных канонерок или полков, несущих с собой торговлю своими товарами и свою религию. И в этом всеобщем господстве западных стран — первое место принадлежало Британии благодаря тому, что у нее было больше всех канонерок, самая широкораспространенная торговля и крепкая религия. Превосходство Британии было абсолютным, и поэтому политический контроль вряд ли был необходим. Больше не осталось колониальных держав, кроме Британии, и соответственно не было соперников. Французская империя сократилась до нескольких разбросанных островов и торговых постов, хотя она старалась восстановить свое влияние через Средиземное море в Алжире. Дания восстановила свои владения в Индонезии под неусыпным надзором нового

британского депо в Сингапуре, но уже не была конкурентом; Испания сохранила Кубу, Филиппины и немногочисенные районы Африки, португальские колонии были забыты. Британская торговля доминировала в независимой Аргентине, Бразилии и на юге США, да и повсюду, где начинала развиваться экономика. Никогда во всей мировой истории мировое господство не было в руках одной державы, а Британия была такой державой в середине XIX в., потому что даже великие империи или гегемоны в прошлом имели всего лишь региональное господство — Китайская, Оттоманская и Римская империи. С тех пор никогда ни одной державе не удавалось удерживать относительную гегемонию, и ни одной державе это не удастся в обозримом будущем, поскольку ни одна держава не была способна претендовать на исключительный статус — «мировая мастерская».

Тем не менее будущее падение Британии можно было предвидеть. Уже в 1830-х и 1840-х гг. умные исследователи, такие как Токвиль и Хакстхаузен, предсказали, что размеры и потенциальные ресурсы США и России рано или поздно сделают их двумя мировыми державами, в Европе — Германия (как предсказал в 1844 г. Фридрих Энгельс) вскоре будет претендовать на равные права. Только Франция решительно выпадала из соревнования за международную гегемонию, хотя это было еще не очевидно, как уверяли британские и иные государственные деятели.

Короче, в мире 1840-х уже не было равновесия. Экономические, технические и социальные изменения привели в движение в последней половине столетия непреодолимые силы. С другой стороны, они очень скромно отразились на государственных институтах. Например, было очевидно, что рано или поздно законное рабство и крепостничество (не считая пережитков в отдаленных районах, где еще не развилась новая экономика) закончатся, так же, как было очевидно, что Британия не сможет бесконечно оставаться единственной индустриальной страной. Ясно было, что аристократы-землевладельцы и абсолютные монархии должны уйти во всех странах, где развивается сильная буржуазия, какие бы политические компромиссы или формулы ни были найдены для восстановления статуса, влияния или политической власти. Более того, было очевидным появление политического

сознания и постоянной политической активности масс, которые после французской революции получили большие свободы, и что рано или поздно этим массам будет позволено играть реальную роль в политике. И получив значительную свободу в виде социальных изменений с 1830-х гг. и возрождение мирового революционного движения, стала очевидной неизбежность перемен, каково бы ни было устройство институтов государства, то, что они не могут более откладываться*.

Всего этого было довольно, чтобы убедить людей 1840-х гг., что изменения необходимы. Но этого было недостаточно, чтобы объяснить то, что чувствовалось по всей Европе, сознание надвигающейся социальной революции. Существенно не только то, что революционеры ждали ее и к ней готовились или что правящие классы боялись обездоленных масс. Сами же бедняки ощущали это. Образованные слои населения говорили об этом. «Все информированные люди, — писал американский консул из Амстердама во время голода 1847 г., сообщая о настроениях германских эмигрантов, проезжавших через Голландию, — выражают уверенность, что нынешний кризис настолько глубоко переплетается с событиями нынешнего периода, что это не что иное, как начало великой революции, которая рано или поздно аннулирует существующий порядок вещей»[7*]

Причиной было то, что кризис того, что осталось от старого общества, совпал с кризисом новых сил. Оглядываясь назад, в 1840-е гг., легко подумать, что социалисты, которые предвещали неминуемый заключительный кризис капитализма, были мечтателями, путающими свои надежды с реальными перспективами. Поскольку фактически то, что потом произошло, было не крушением капитализма, а периодом его стремительной и бесспорной экспансии и триумфа. Хотя в 1830-х и 1840-х гг. было еще не очевидно, что новая экономика сможет преодолеть свои трудности, которые, казалось, возрастали вместе с ее желанием произ-

* Это, конечно, не означает, что все изменения, которые тогда считались неизбежными, происходили: к примеру, всеобщая победа свободной торговли, мира на земле, ассамблеи представителей независимых государств, или исчезновение монархий, или римской католической церкви.

водить все больше и больше товаров все более и более революционными способами. Сами теоретики этого нового общества питали надежды на стабильное государство, которое возникает из побуждений власти, заинтересованной в развитии экономики, и которые (в противовес теоретикам XVIII в.) верили, что такое государство появится скорее, чем можно ожидать теоретически. Авангард данного общества находился в двух шагах от этого будущего. Во Франции люди, которые должны были стать руководителями в решении главных финансовых вопросов и проблем тяжелой индустрии (сен-симонисты), в 1830-х гг. все еще не решили, социализму или капитализму предстоит лучшим путем достичь победы промышленного общества. В США такие люди, как Хорас Грили (бессмертный пророк личного обогащения; «Иди на Запад, юноша» — его поговорка), в 1840-х гг. стали последователями социалистов-утопистов, находивших и растолковывавших выгоды жизни «фурьеристских фалангстеров» — коммун типа кибуцев, которые не слишком хорошо подходили для того, что теперь принято называть «американизмом». Сами бизнесмены были доведены до отчаяния. Когда обозреваешь прошлое, может показаться невероятным, что такие бизнесмены-квакеры, как Джон Брайт, и процветающие хлопкопрядильщики из Ланкашира в разгар наиболее динамичного периода экспансии были готовы ввергнуть свою страну в хаос, голод и восстание всеобщим политическим нокаутом, для того чтобы добиться отмены тарифов[8*]. И вот когда в тяжелые 1841—1842 гг. думающему капиталисту могло показаться, что промышленность начала испытывать не только затруднения и потери, но всеобщее ухудшение положения, если бы препятствия для ее дальнейшей экспансии не были бы немедленно устранены.

Для массы простых людей проблема была еще проще. Как мы видели, условия в больших городах и в промышленных районах Западной и Центральной Европы неизменно толкали их к социальной революции. Их ненависть к богачам и этому огромному миру, в котором они жили, и их мечта о новом и лучшем мире давали им цель, хотя только некоторые из них, в основном в Британии и Франции, были уверены в своей цели. Их организация и готовность к коллективным действиям давала им силы,

великое пробуждение французской революции, которая научила их, что простые люди не должны терпеть несправедливость безропотно: «Раньше нации ничего не знали, а люди думали, что короли всегда были на земле и были обязаны говорить, что что бы те ни сделали, было хорошо. А из-за теперешнего изменения стало труднее управлять людьми»[9*]

Это был призрак коммунизма, который бродил по Европе. Страх перед пролетариатом испытывали не только владельцы заводов в Ланкашире или Северной Франции, но и государственные служащие в сельской Германии, священники в Риме и профессора повсюду. И справедливо, поскольку революция разразившаяся в первые месяцы 1848 г., не была социальной революцией только лишь потому, что она вовлекла и мобилизовала все социальные классы. Это было в буквальном смысле восстание рабочей бедноты в городах Западной и Центральной Европы. Они и только они представляли силу, которая сбросила старые режимы от Палермо до границ России. Когда пыль осела на руины, рабочие — во Франции социалисты-рабочие — стояли на обломках, требуя не только хлеба и работы, но нового государства и общества.

Пока рабочие волновались, слабость и старение старых режимов усилили кризис внутри богатых и влиятельных кругов. Плохие времена настали для них. Окажись они в другой эпохе или в других государственных системах, которые разрешили бы различным частям правящих классов уладить их разногласия мирным путем, это больше не привело бы к революции, как вечные перебранки между дворцовыми партиями в России привели к падению царизма. В Британии и Бельгии, к примеру, просто произошел конфликт между аграриями и промышленниками и разными их секциями. Но было совершенно понятно, что изменения 1830—1832 гг. решили судьбу власти в пользу промышленников и тем не менее политический статус-кво было решено заморозить, чтобы избежать революции, потому что ее надо было избежать любой ценой. Впоследствии могла быть начата жестокая борьба между свободными профсоюзами британских промышленников и аграрными протекционистами по

поводу хлебного закона. Она началась, и была одержана победа (1846 г.) в разгар чартистских волнений, без хотя бы минутного риска для единства всех правящих классов перед лицом угрозы всеобщего избирательного права. В Бельгии победа либералов над католиками на выборах 1847 г. отделила промышленников от общей массы потенциальных революционеров и тщательно обсуждалась избирательная программа реформы в 1848 г., благодаря которой число принимающих участие в выборах удвоилось* и удалось избежать недовольства низших слоев среднего класса. В 1848 г. тут не произошло революции, хотя в Бельгии (или, как ее тогда называли, Фландрии) в это время положение было тяжелее, чем в какой-либо другой части Западной Европы, да еще, пожалуй, в Ирландии было столь же тяжело.

Но в абсолютистской Европе в 1815 г. политические режимы были настолько непреклонны, что отвергали все изменения либерального и национального характера, и оппозиция, даже самая умеренная, либо должна была смириться со статус-кво, либо затевать революции. Возможно, они не были готовы сами восставать, если не произойдет необратимая социальная революция, но тогда они ничего не выиграют, если ее будут проводить другие. Режимы 1815 г. должны были рано или поздно смениться. Они и сами это понимали. Понимание того, что ход истории был не в их пользу, заставляло их отчаянно сопротивляться. В 1848 г. первый робкий дымок революции, зачастую революции в другой стране, сдувал эти режимы. Но если бы этот дымок не появлялся, они бы не ушли. И наоборот, относительно незначительные разногласия внутри таких государств: хлопоты правительств с парламентом в Пруссии и Венгрии, выборы либерального папы римского в 1846 г., возмущение королевой в Баварии и т. д., — все это обернулось значительными политическими потрясениями.

Теоретически Франции Луи-Филиппа надо было бы перенять политическую гибкость у Британии, Бельгии, Дании и Скандинавии. На практике этого не произошло. Хотя и было ясно, что

* Оно все еще составляло 80 тыс. из 4 млн.

правящий класс Франции — банкиры, финансисты и один-два крупных промышленника — представляли интересы только части среднего класса, более того, тех, чья экономическая политика шла вразрез с интересами более динамичных промышленных элементов, а также с наследственными имущественными интересами, память о революции 1789 г. стояла на пути проведения реформ. Поскольку оппозиция состояла не только из недовольной буржуазии, но и из политически решительных представителей низшего слоя среднего класса, особенно в Париже (где они голосовали против правительства, несмотря на расширенное избирательное право в 1846 г.), то если расширить привилегии, это может превратить потенциальных якобинцев-радикалов в республиканцев, невзирая на запрет властей. Премьер Луи-Филиппа, историк Гизо (1840—1848 гг.), таким образом, предпочел экономическому развитию расширение социальной базы режима, которое автоматически увеличит численность граждан, обладающих собственностью, которые вступят в политическую жизнь. Фактически так и вышло. Электорат вырос со 166 тыс. в 1831 г. до 241 тыс. в 1846 г. Но этого было недостаточно. Страх перед возможностью возврата якобинской республики заставлял французские политические структуры вести непреклонную политику, поэтому французская политическая обстановка накалялась. В британских условиях общественно-политическая кампания в виде послеобеденных речей, вроде тех, что французская оппозиция стала устраивать в 1847 г., была бы совершенно безвредной. Во французских условиях это было прелюдией и революции.

Как и другие кризисы в политике европейских правящих классов, он совпал с социальной катастрофой: великой депрессией разразившейся по всей Европе с середины 1840-х. Неурожай, особенно картофеля. Все население такой страны, как Ирландия, и в меньшей степени Силезии и Фландрии, голодало*. Росли цены на продовольствие. Промышленная депрессия множила безработных, и массы рабочей городской бедноты лишились своих

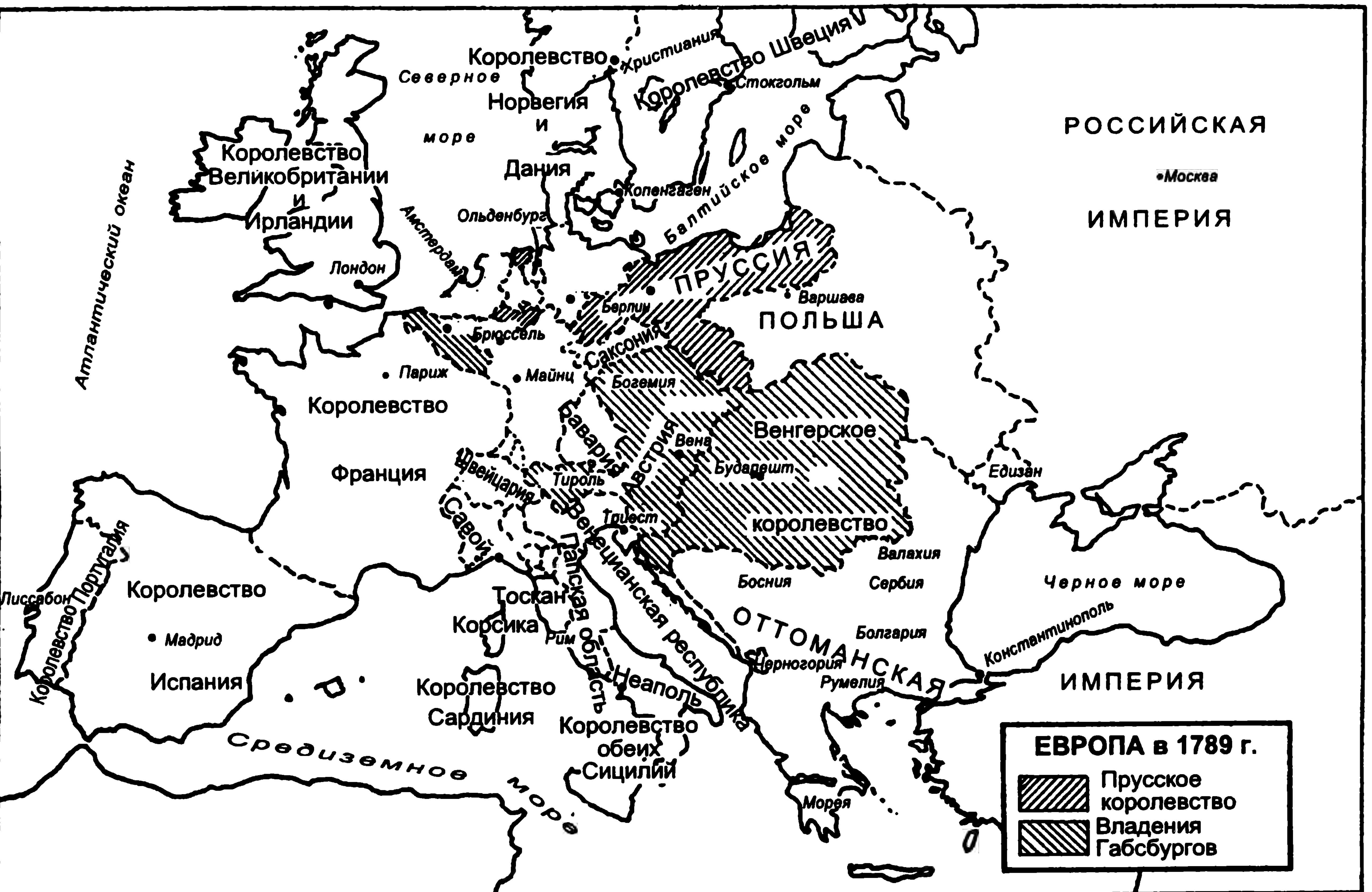
* В растущих районах по переработке льна во Фландрии население уменьшилось на 5% с 1846 по 1848 г.

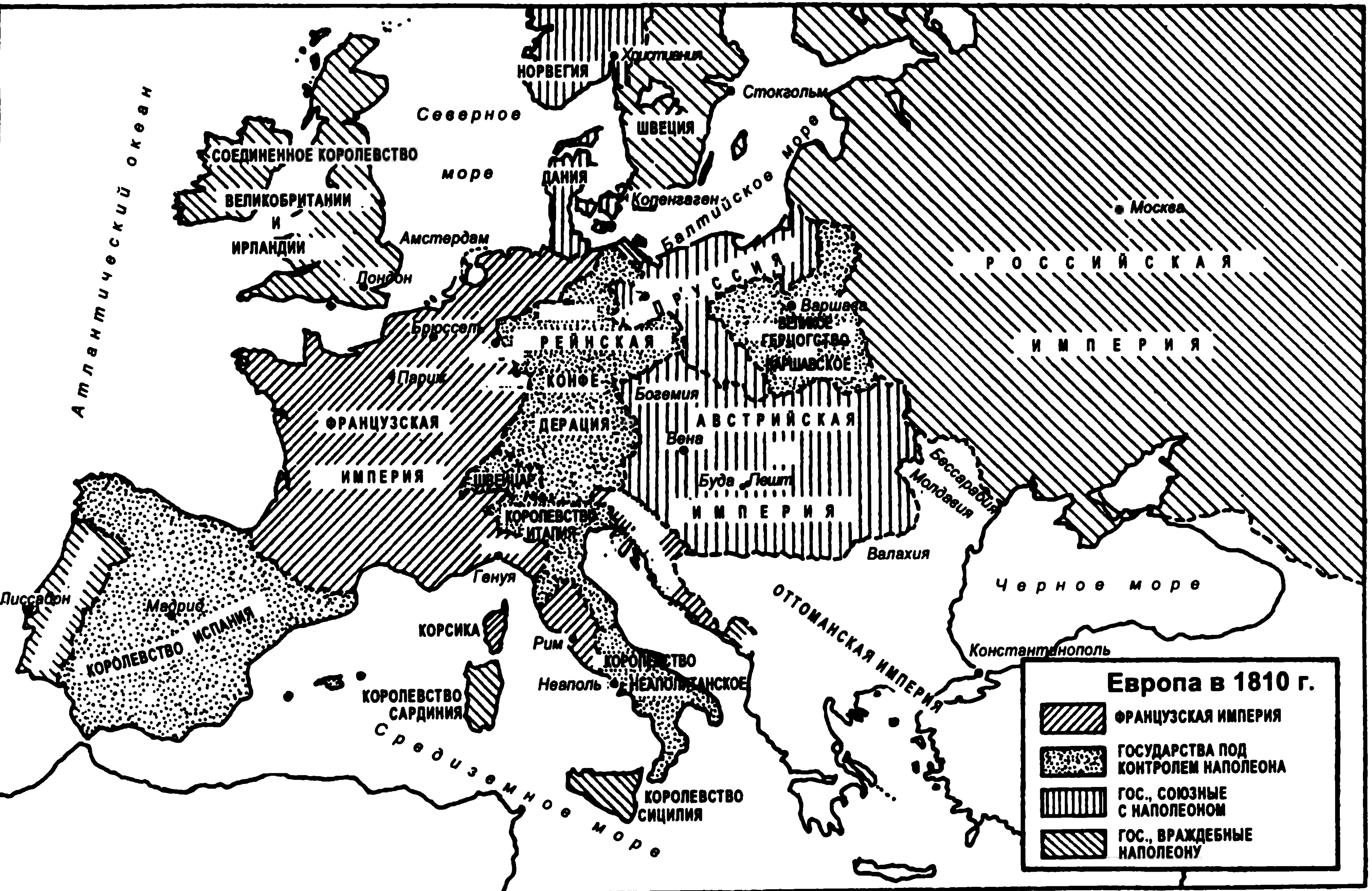
27 Зак. 82

скромных доходов в тот самый момент, когда подскочила квартирная плата. Ситуация была неодинаковая в различных странах и даже внутри одной страны, и, к счастью для существовавших режимов, наиболее обездоленное население в таких странах, как Ирландия и Фландрия, или рабочие некоторых провинциальных фабрик были политически незрелыми: работники хлопкопрядильного производства на севере Франции, к примеру, вымещали свое отчаяние на таких же отчаявшихся бельгийских эмигрантах, которые наводнили север Франции, вместо того, чтобы на правительстве или хотя бы на своих работодателях. Более того, в большинстве промышленных стран острейший период недовольства уже прошел благодаря подъему в промышленности и железнодорожном строительстве с середины 1840-х. 1846—1848-е были плохими годами, но не настолько, как 1841—1842 гг., более того, тогда это было резкое падение, а теперь незначительное снижение экономического процветания; в Западной и Центральной Европе в целом катастрофа 1846—1848 гг. была всеобщей, и настроение масс, как всегда, напряженное в такие времена.

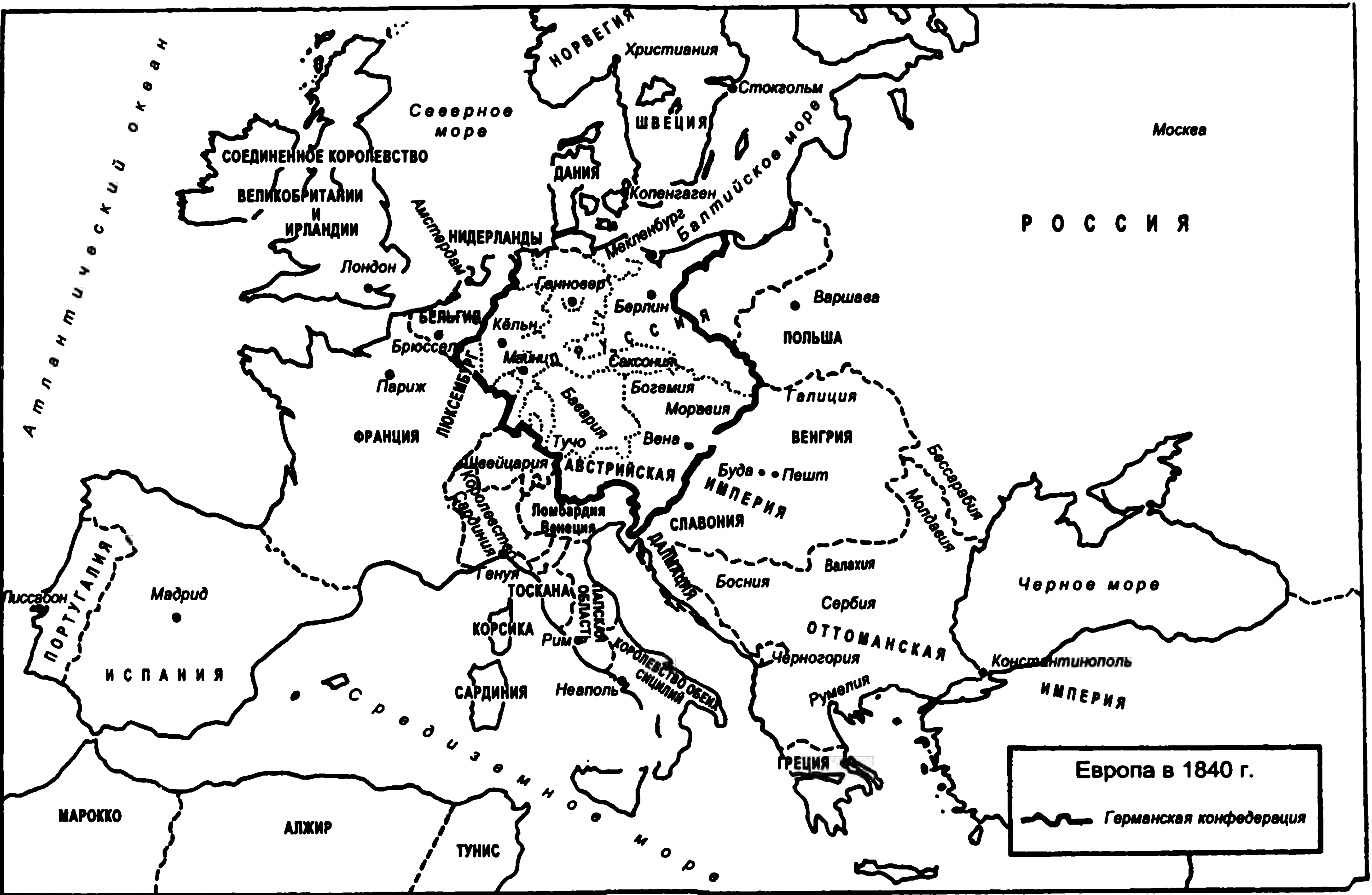
Экономические катаклизмы в Европе совпали с разрушением старого режима. Крестьянское восстание в Галиции в 1846 г., выборы либерального папы римского в тот же год, гражданская война между радикалами и католиками в Швейцарии в конце 1847 г., в которой победили радикалы, в начале 1848 г. восстание в Палермо за сицилийскую автономию — это уже не были порывы ветра. Это была уже буря. Всем это было ясно. Не частый случай, чтобы революцию предрекали так единогласно, и совсем не обязательно, чтобы страна и время совпали с предсказаниями. Вся Европа была в ожидании, готовая передать новости о революции из города в город по телеграфу. В 1831 г. Виктор Гюго написал, что он уже слышал «глухой звук революции, доносящийся из недр земли, выпуская ростки в каждом королевстве Европы через свои подземные штольни, центральным стволом шахты которой является Париж». В 1847 г. звук был громким и отчетливым. В 1848 г. этот взрыв прогремел.

КАРТЫ


РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Москва
Королевство
Христиания
Королевство Швеция
Стокгольм
Северное море
Норвегия и Дания
Копенгаген
Балтийское море
Королевство Великобритании и Ирландии
Лондон
Атлантический океан
Амстердам
Ольденбург
ПРУССИЯ
Берлин
Варшава
ПОЛЬША
Брюссель
Саксония
Париж
Майнц
Богемия
Королевство
Франция
Бавария
Австрия
Вена
Венгерское
Будапешт
королевство
Едизан
Швейцария
Тироль
Триест
Савой
Венецианская республика
Валахия
Босния
Сербия
Черное море
Королевство Португалия
Лиссабон
Королевство
Мадрид
Испания
Тоскан
Корсика
Рим
Папская область
ОТТОМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Болгария
Константинополь
Черногория
Румелия
Королевство Сардиния
Неаполь
Королевство обеих Сицилий
Средиземное море
Морея
ЕВРОПА в 1789 г.
Прусское королевство
Владения Габсбургов

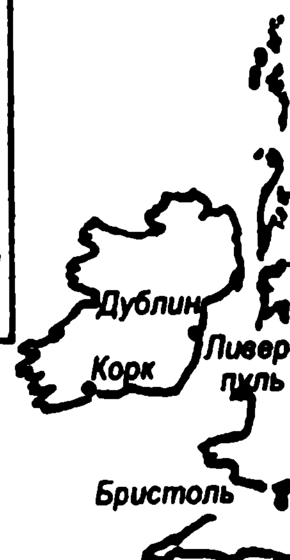


Европа в 1810 г.
ФРАНЦУЗСКАЯ ИМПЕРИЯ
ГОСУДАРСТВА ПОД КОНТРОЛЕМ НАПОЛЕОНА
ГОС., СОЮЗНЫЕ С НАПОЛЕОНОМ
ГОС., ВРАЖДЕБНЫЕ НАПОЛЕОНУ
Атлантический океан
Северное море
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ
Лондон
Амстердам
НОРВЕГИЯ
Христиания
ШВЕЦИЯ
Стокгольм
ДАНИЯ
Копенгаген
Балтийское море
Москва
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
ПРУССИЯ
Варшава
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ВАРШАВСКОЕ
Брюссель
Париж
ФРАНЦУЗСКАЯ ИМПЕРИЯ
РЕЙНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
Богемия
АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Вена
Буда Пешт
ШВЕЙЦАРИЯ
КОРОЛЕВСТВО ИТАЛИЯ
Бессарабия
Молдавия
Валахия
Черное море
Генуя
Лиссабон
Мадрид
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ
КОРСИКА
Рим
КОРОЛЕВСТВО НЕАПОЛИТАНСКОЕ
Неаполь
ОТТОМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Константинополь
КОРОЛЕВСТВО САРДИНИЯ
Средиземное море
КОРОЛЕВСТВО СИЦИЛИЯ


Европа в 1840 г.
Германская конфедерация
Атлантический океан
Северное море
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ
Лондон
НОРВЕГИЯ
Христиания
Стокгольм
ШВЕЦИЯ
ДАНИЯ
Копенгаген
Балтийское море
Мекленбург
Москва
РОССИЯ
Амстердам
НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
Брюссель
ЛЮКСЕМБУРГ
Париж
ФРАНЦИЯ
Ганновер
Берлин
Кёльн
Майнц
Саксония
Богемия
Моравия
Бавария
Вена
Варшава
ПОЛЬША
Галиция
ВЕНГРИЯ
Буда
Пешт
АВСТРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
СЛАВОНИЯ
ДАЛМАЦИЯ
Бессарабия
Молдавия
Валахия
Босния
Сербия
Черногория
ОТТОМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Румелия
Константинополь
Черное море
ГРЕЦИЯ
Швейцария
Королевство Сардиния
Ломбардия
Венеция
Генуя
ТОСКАНА
ПАПСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рим
КОРОЛЕВСТВО ОБЕИХ СИЦИЛИЙ
Неаполь
КОРСИКА
САРДИНИЯ
Средиземное море
Лиссабон
ПОРТУГАЛИЯ
Мадрид
ИСПАНИЯ
МАРОККО
АЛЖИР
ТУНИС











Население мира в крупных городах, 1800—1850 гг.

1800 г.

ЭДИНБУРГ — свыше 100 000
СТАМБУЛ — свыше 500 000
ЛОНДОН — свыше 1 000 000

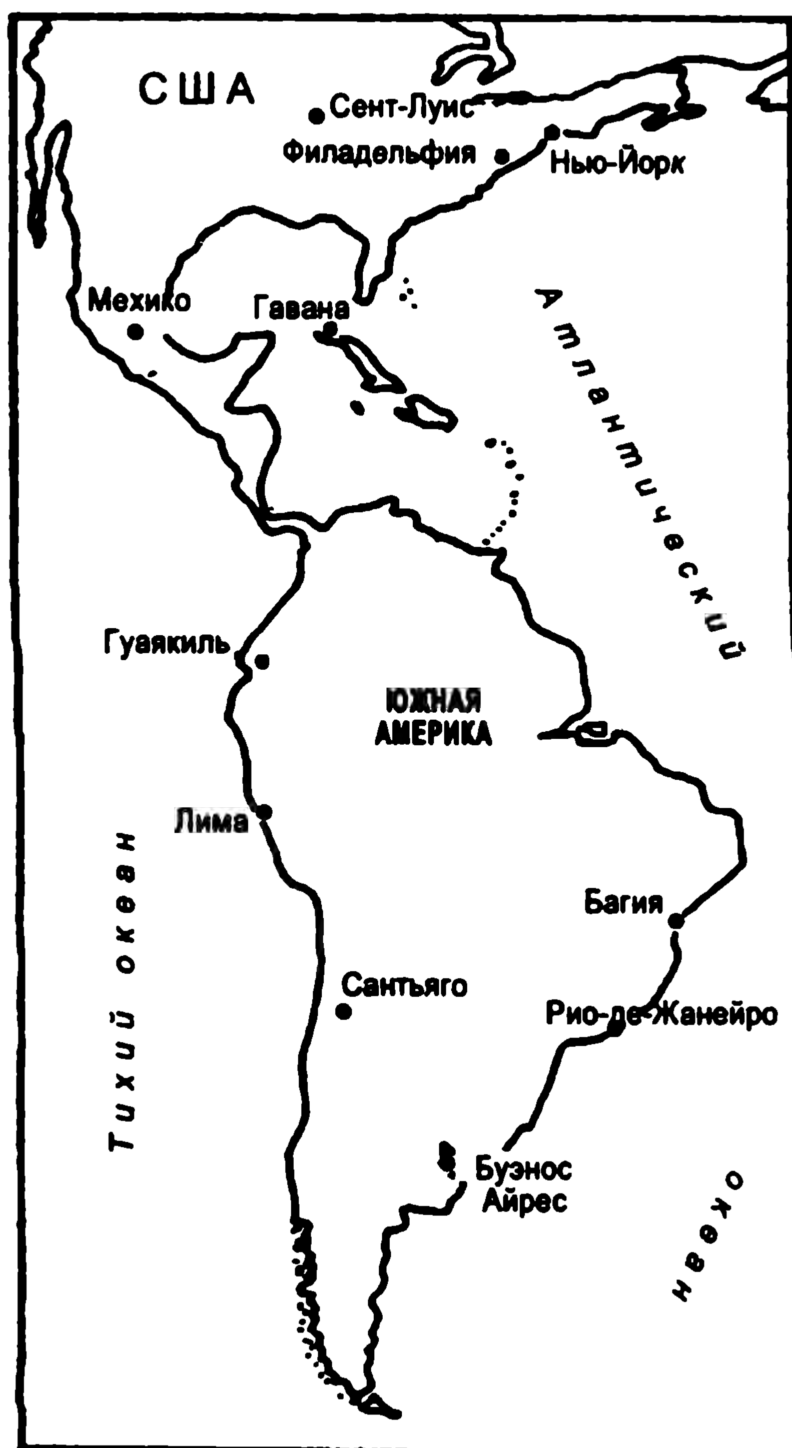
1850 г.

МАНЧЕСТЕР — 100 000
НЬЮ-ЙОРК — 500 000
ПАРИЖ — 1 000 000
Население Парижа в 1800 г. — 500 000

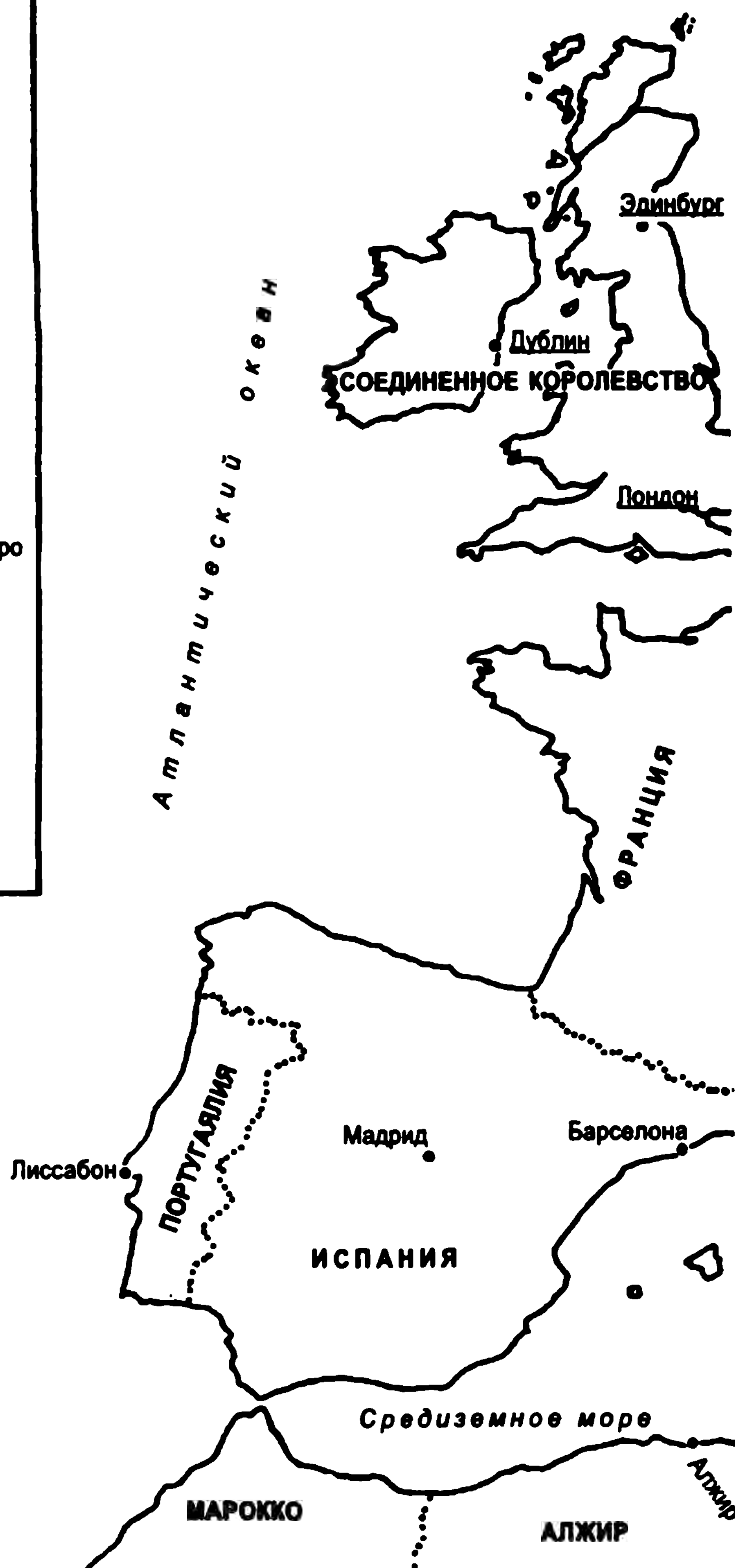

Глазго
Эдинбург
Северное
море
Манчестер
Лидс
Шефрфилд
Бирмингем
ЛОНДОН
Амстердам
Гамбург
Копенгаген
Балтийское
море
Санкт-Петербург
Москва
Берлин
Варшава
Бреслау
Брюссель
Дрезден
ПАРИЖ
Прага
Мюнхен
Вена
Будапешт
Одесса
Лион
Турин
Милан
Венеция
Марсель
Генуя
Бухарест
Черное море
Рим
СТАМБУЛ
Неаполь
Смирна
Средиземное
Палермо
Тунис
море
Каир

ЗАПАДНАЯ

Места и языки исполнения трех
«Сорока-воровка»,







Корфу — исполнение на французском и итальянском,
Лондон — на английском языке,

КУЛЬТУРА, 1815—1848 гг.: ОПЕРА

популярных опер: Россини — *«Севильский цирюльник»*, Обер — *«Немая из Портичи»*

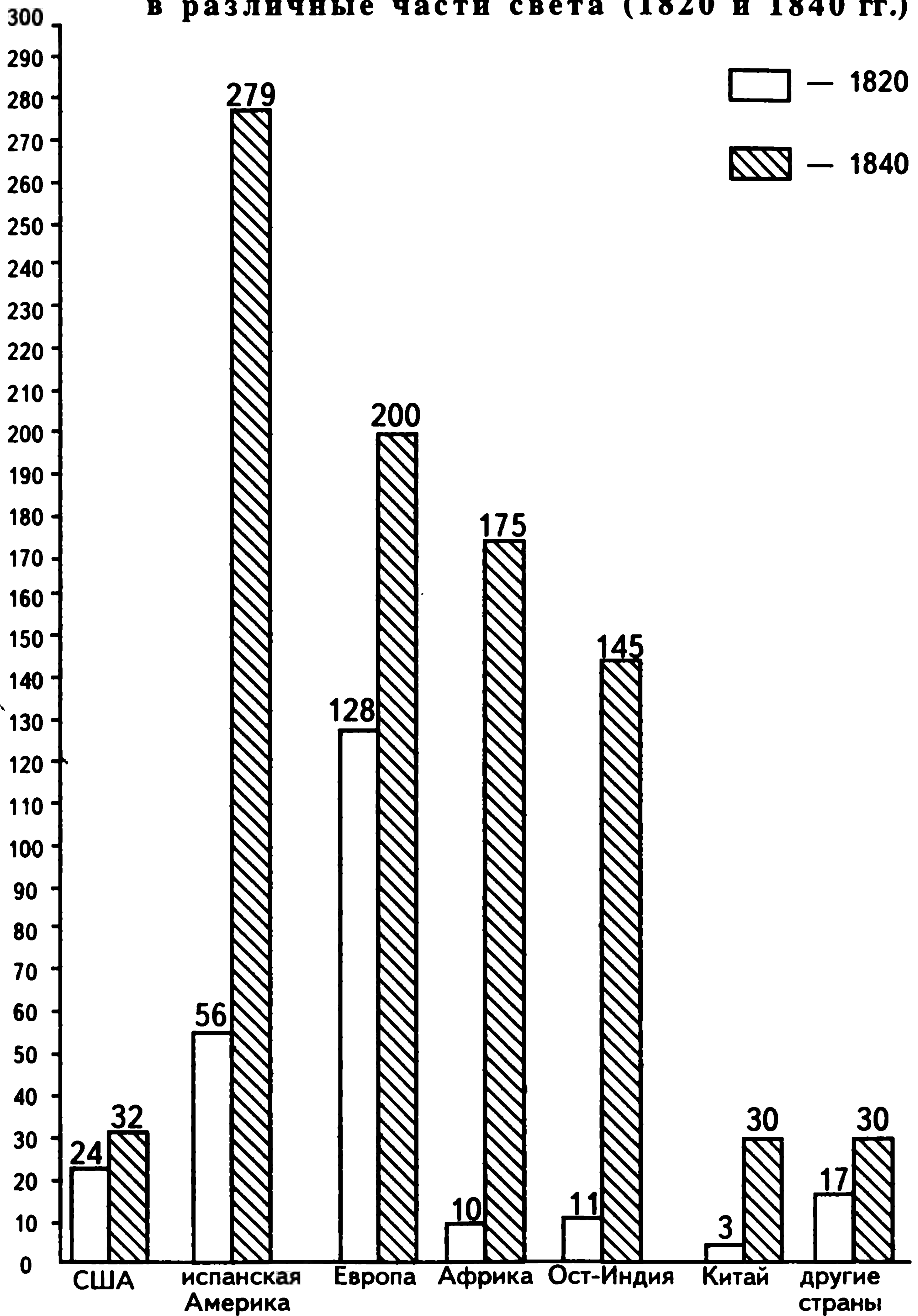


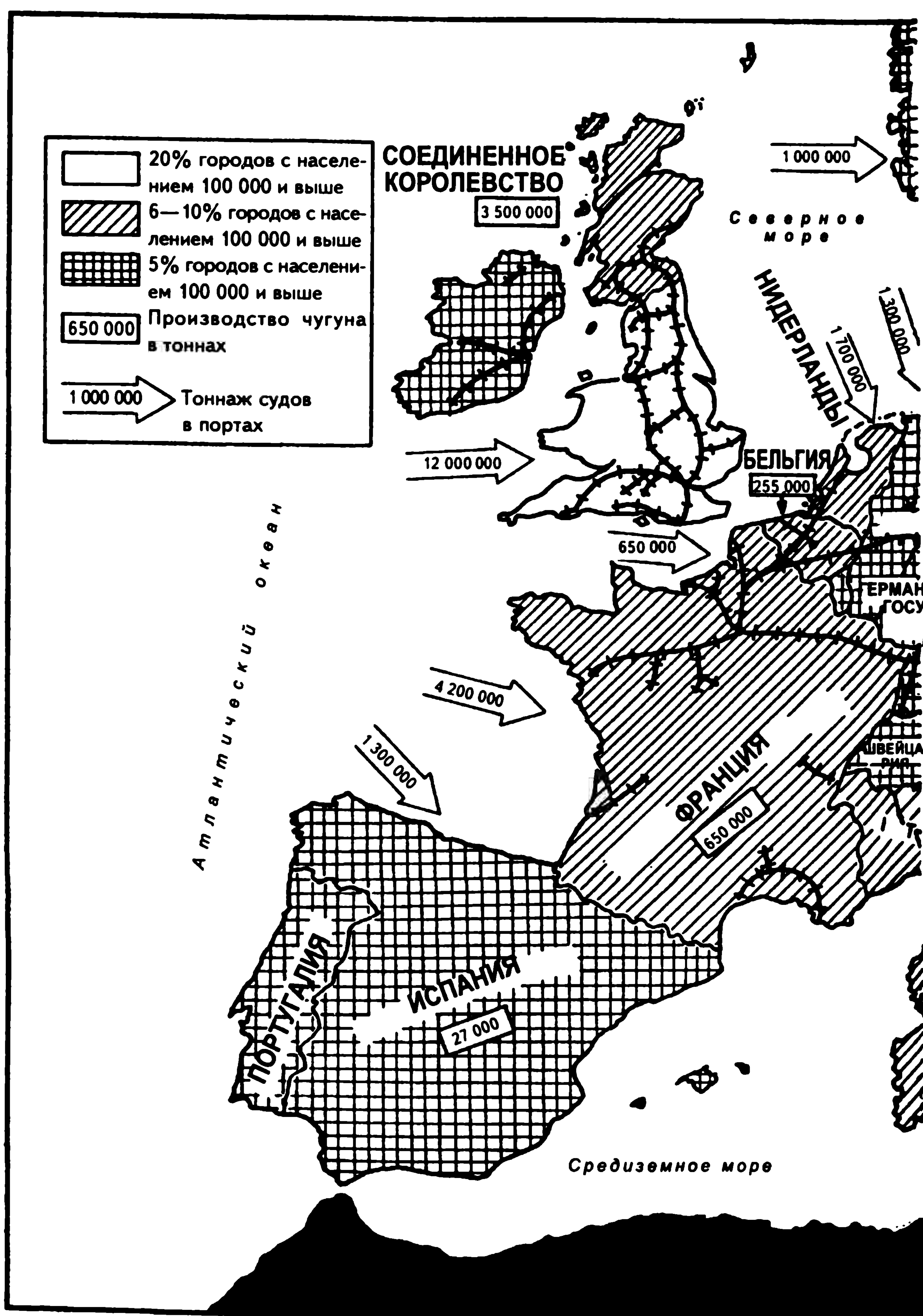
Базель — на немецком,
Санкт-Петербург — на немецком.

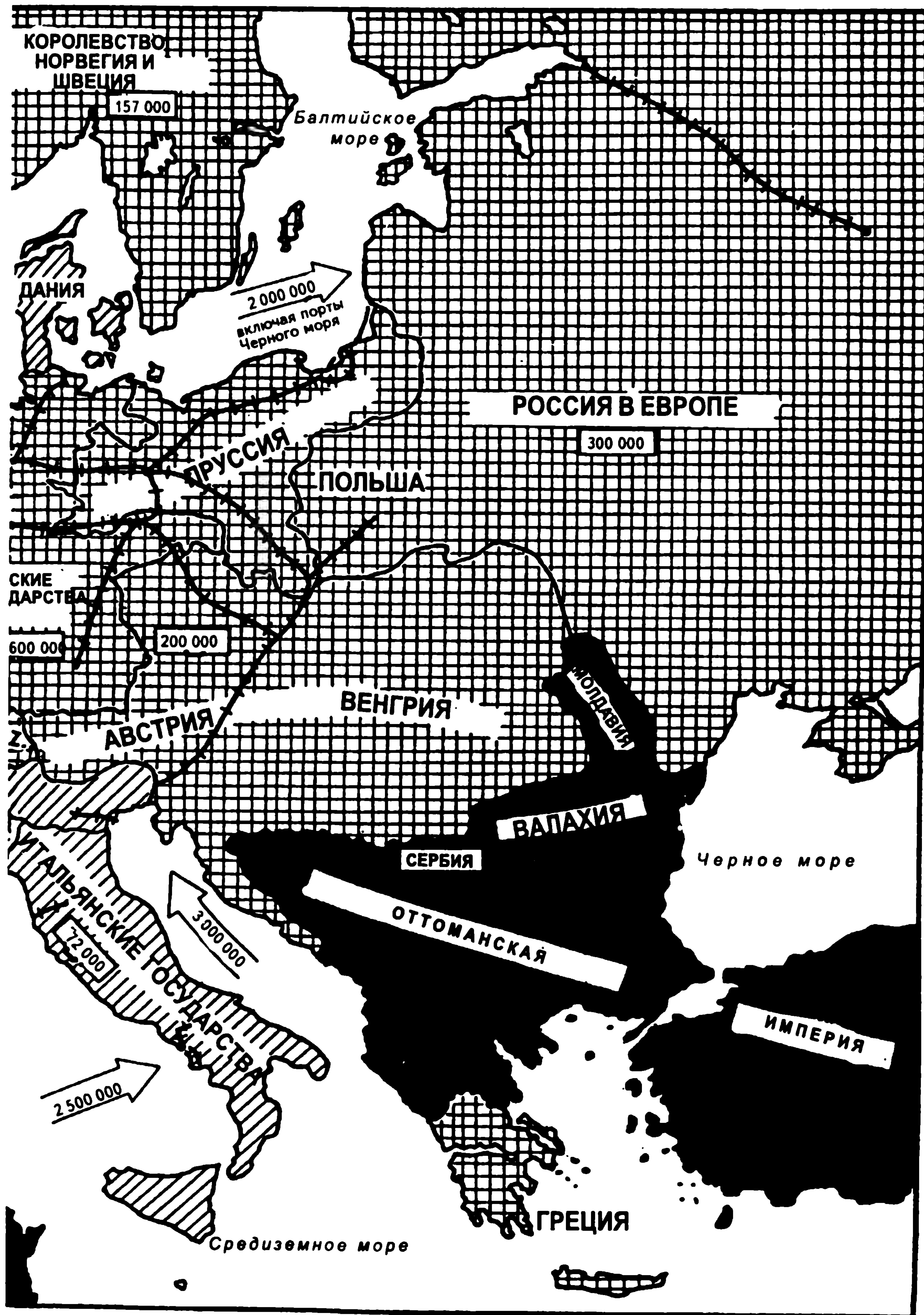
Государства Европы в 1836 г.

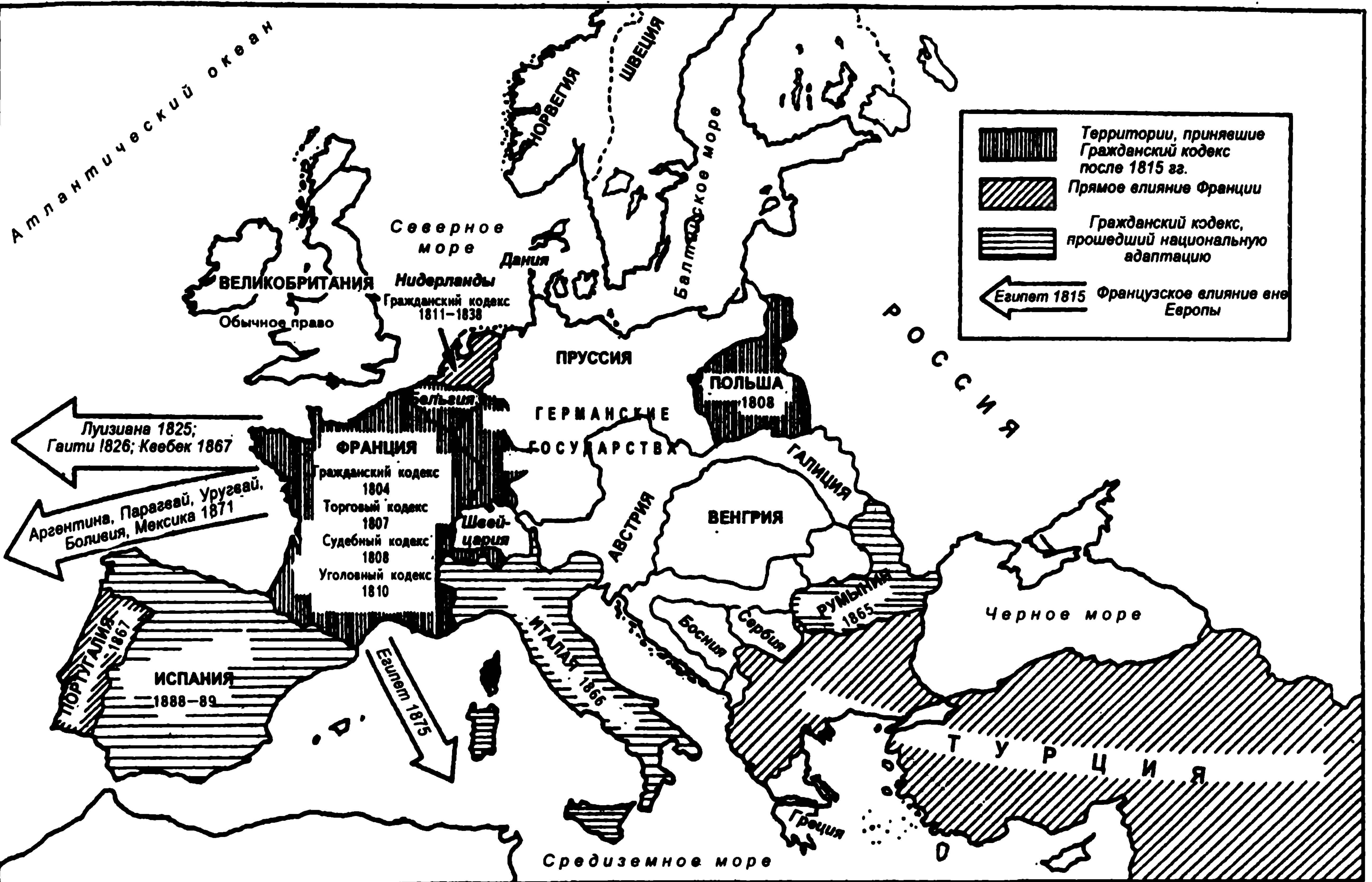
Наименование	Общее население, тыс. чел.	Число городов, свыше 50 000	Земли под пашней в моргенах, млн	Производство зерна в шефелях, млн	Говядина, крупный рогатый скот, млн	Сталь, млн т	Уголь, млн т
Россия, включая Польшу и Краков	49,54	6	276	1125	19	2,1	—
Австрия, включая Венгрию и Ломбардию	35,00	8	93	225	10,4	1,2	2,3
Франция	33,00	9	74	254	7	4	20,0
Великобритания, включая Ирландию	24,27	17	67,5	330	10,5	13	200
Пруссия	13,09	5	43	145	4,5	2	4,6
Германская конфедерация (не считая Австрии и Пруссии)	14,20	4	37,5	115	6	1,1	2,2
Испания	14,03	8	30	—	3	0,2	0
Португалия	3,530	1	30	—	3	0,2	0
Турция, включая Румынию	8,6	5	—	—	—	—	—
Королевство Неаполитанское	7,622	2	20	116	2,8	0	0,1
Пьемонт-Сардиния	4,450	2	20	116	2,8	0	0,1
Остальная Италия	5,00	4	20	116	2,8	0	0,1
Швеция и Норвегия	4,00	1	2	21	1,4	1,7	0,6
Бельгия	3,83	4	7	5	2	0,4	55,4
Нидерланды	2,75	3	7	5	2	0,4	55,4
Швейцария	2,00	0	2	—	0,8	0,1	0
Дания	2,00	1	16	—	1,6	0	0
Греция	1,00	0	—	—	—	—	—

Мировая мастерская: экспорт британского текстиля в различные части света (1820 и 1840 гг.)




20% городов с населением 100 000 и выше
6—10% городов с населением 100 000 и выше
5% городов с населением 100 000 и выше
650 000 Производство чугуна в тоннах
1 000 000 Тоннаж судов в портах
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
3 500 000
1 000 000
Северное море
НИДЕРЛАНДЫ
1 300 000
1 700 000
12 000 000
БЕЛЬГИЯ
255 000
650 000
Атлантический океан
4 200 000
1 300 000
ФРАНЦИЯ
650 000
ПОРТУГАЛИЯ
ИСПАНИЯ
27 000
Средиземное море


КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ И ШВЕЦИЯ
157 000
Балтийское море
ДАНИЯ
2 000 000
включая порты Черного моря
РОССИЯ В ЕВРОПЕ
300 000
ПРУССИЯ
ПОЛЬША
200 000
АВСТРИЯ
ВЕНГРИЯ
МОЛДАВИЯ
ВАЛАХИЯ
СЕРБИЯ
Черное море
ОТТОМАНСКАЯ
ИМПЕРИЯ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА
72 000
3 000 000
2 500 000
ГРЕЦИЯ
Средиземное море


Территории, принявшие Гражданский кодекс после 1815 гг.
Прямое влияние Франции
Гражданский кодекс, прошедший национальную адаптацию
Египет 1815
Французское влияние вне Европы
Атлантический океан
Северное море
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Обычное право
Нидерланды
Гражданский кодекс 1811–1838
Дания
НОРВЕГИЯ
ШВЕЦИЯ
Балтийское море
РОССИЯ
ПРУССИЯ
ПОЛЬША 1808
ГЕРМАНСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Бельгия
ФРАНЦИЯ
Гражданский кодекс 1804
Торговый кодекс 1807
Судебный кодекс 1808
Уголовный кодекс 1810
Швей-цария
ГАЛИЦИЯ
ВЕНГРИЯ
АВСТРИЯ
РУМЫНИЯ 1865
Черное море
Босния
Сербия
ИТАЛАЯ 1866
Луизиана 1825; Гаити !826; Квебек 1867
Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия, Мексика 1871
ПОРТУГАЛИЯ 1867
ИСПАНИЯ 1888–89
Египет 1875
ТУРЦИЯ
Греция
Средиземное море

КОММЕНТАРИИ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

[1] Американская революция 1776 г. — Хобсбаум имеет в виду американскую буржуазную революцию 1775—1783 гг., в ходе которой восставшие против Англии североамериканские колонии, свергнув власть метрополии, 4 июля 1776 г. провозгласили себя независимым государством — США.

[2] Английская революция середины XVII в. — Хобсбаум имеет в виду английскую буржуазную революцию 1640—1660 гг.

[3] Реформация. — Реформация (от лат. *reformatio* — преобразование, исправление) — широкое общественное движение против католической церкви, охватившее в XVI в. Германию, Швейцарию, Англию, Францию, Нидерланды, Скандинавские страны, Венгрию и Польшу. Она являлась протестом против церковной организации и идеологии средневекового католицизма и носила в целом антифеодальный характер. Идеологи Реформации отрицали верховенство римских пап и большую часть догматов католической церкви. В противоположность этому они выдвинули требования создания национальных церквей, не подчиненных римской курии, богослужения на родном языке, «дешевой церкви», принцип «оправдания верой» и сформировали учение о божественном предопределении («предыстинации»). Реформационные идеи соответствовали интересам и духу поднимающейся буржуазии.

[4] Робеспьер. — Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — выда-

ющийся деятель Великой французской революции конца XVIII в. депутат Генеральных штатов, Национального собрания и Национального конвента в 1789—1794 гг. Будучи избран членом Комитета общественного спасения (в июле 1793 г.), он фактически возглавил революционное правительство в период якобинской диктатуры 1793—1794 гг. После переворота 9 термидора (27 июля) II года (1794 г.) он и его ближайшие соратники-якобинцы были гильотинированы.

[5] Сен-Жюст. — Сен-Жюст Луи Антуан Леон (1767—1794) — французский революционер, один из сподвижников Робеспьера. Как и Робеспьер, член Комитета общественного спасения. Казнен после переворота 9 термидора.

[6] Бентам. — Бентам Иеремия (1748—1832) — английский философ, юрист, идеолог буржуазного либерализма. Бентам выдвинул учение о нравственности, основанное на принципе пользы. Он ограничивал функции государства охраной личности и частной собственности.

[7] Екатерина Великая. — Екатерина II (1729—1796) — императрица и самодержица всероссийская (1762—1796).

[8] «Даже Великую Китайскую империю заставили в 1839—1842 гг. открыть свои границы для экспансии западных правительств и бизнесменов». — В данном случае речь идет о так называемой первой «опиумной» англо-китайской войне 1839—1842 гг., завершившейся подписанием 29 августа 1842 г. в Нанкине англо-китайского договора «О мире, дружбе, торговле и возмещении убытков», согласно которому Китай открывал для английской торговли пять портов, на английские товары устанавливались льготные таможенные тарифы и император Китая уступал остров Сянган (Гонконг) королеве Великобритании.

[9] Джеймс Кук. — Кук Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель; руководил тремя кругосветными плаваниями. Во время первой экспедиции (1766—1771 гг.) посетил Таити,

обследовал Новую Зеландию, открыл восточный берег Австралии. Во время экспедиции 1772—1775 гг. Кук открыл острова: Новую Каледонию, Норфолк, Юж. Сандвичевы, Юж. Георгию, собрал ценные сведения об островах Океании и Южной Атлантики. Третья экспедиция Кука (1776—1779 гг.) в северную часть Тихого океана завершилась открытием Гавайских островов, где Кук был убит в стычке с местными жителями.

[10] Дилижанс. — От франц. *diligence* — большой крытый экипаж, запряженный лошадьми; применялся (до развития железнодорожного транспорта) для регулярной перевозки пассажиров, почты, багажа по определенным маршрутам.

[11] Гракх Бабеф. — Бабеф Гракх (Франсуа Ноэль) (1760—1797) — один из французских предшественников научного коммунизма, руководитель коммунистического движения «равных» в 1795—1796 гг. После раскрытия «заговора равных» (1796) арестован и казнен вместе со своим ближайшим соратником Дарте.

[12] «Вольный город». — По мере своего экономического роста европейские города вступали в борьбу с сеньорами (с XII в.) и добивались освобождения от их власти, приобретая нередко права самоуправления и вольности, например в Германии статус «вольных городов».

[13] «Город-государство». — Или полис по своему политическому устройству являлся либо аристократической, либо демократической республикой. Полисы появились в Финикии и Древней Греции во II—I тыс. до н. э.

[14] Стиль рококо (франц. *rococo*). — Стилистическое направление в европейском искусстве 1-й половины и середины XVIII в., связанное с придворной аристократической культурой. В архитектуре рококо выражалось в прихотливой, изысканной отделке внутренних помещений, включающей сложный асимметричный орнамент — резной, лепной или живописный,

многочисленные зеркала, панно, картуши. Для изобразительного искусства рококо характерны камерность и утонченная декоративность.

[15] Физиократы (франц. *physiocrates*). — Представители одного из направлений классической буржуазной политической экономии, возникшего в 50-х гг. XVIII в. во Франции. Физиократы исходили из признания объективных законов общественно-политической жизни, отождествляя общественные законы с законами природы. Идеальным «естественным» устройством общества они считали «земледельческое общество», в котором земледелие ведется на капиталистических началах, а господство принадлежит землевладельцам и духовенству.

[16] Асиенда. — Правильнее «асьенда» (от испан. *hasienda*) — крупное поместье в ряде стран Латинской Америки, возникшее в результате захвата земель местного населения испанскими колонизаторами.

[17] Пандуры. — Пехотное нерегулярное войско, впервые появившееся в Венгрии, одетое и вооруженное по образцу турецкого: переносное значение — иноземное войско.

[18] Колоны (от лат. *colonus* — земледелец). — Форма зависимости сельского населения от крупных землевладельцев в период Римской империи, а также в раннем средневековье в Западной Европе. Крупные землевладельцы сдавали землю в аренду мелкими участками свободным земледельцам — колонам, которые за пользование землей платили ее собственнику арендную плату и выполняли натуральные повинности. Юридически колоны считались свободными.

[19] Гайдн. — Гайдн Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор, представитель венской классической школы, основоположник классического стиля инструментальной музыки.

[20] «Феодальная реакция». — Усиление сеньориального гнета, рост государственных налогов и податей в отношении третьего со-

словия в годы, предшествовавшие Великой французской революции.

[21] Позднее средневековье. — Период средневековой истории, относящийся к XVI и первой половине XVII в.

[22] Десятину церкви. — Отчисления в пользу церкви со всех владений, а также с доходов землевладельцев.

[23] Фунт (от лат. *pondus* — вес, гиря). — В странах с английской системой мер — мера массы (веса), 1 фунт = 453,592 г.

[24] Унция (от лат. *uncia*, от *unus* — один). — Мера массы (веса) в странах с английской системой мер. Унция торговая = $^1/_{16}$ фунта, т. е. 28,35 г.

[25] Акр (англ. *acre*). — Земельная мера, применяемая в ряде англоязычных стран; первоначально обозначал площадь земли, обрабатываемую в день одной парой быков; в Англии и США 1 акр = 4 047 $м^2$.

[26] Набоб (или наваб). — От араб. «наиб», т. е. наместник; набоб — титул правителей областей, отколовшихся от империи Великих Моголов. В XVIII в. набобами называли также приехавших в Англию с награбленными богатствами высших служащих Ост-Индской компании.

[27] Большая энциклопедия Дидро и Даламбера. — Имеется в виду «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел», издававшаяся французскими просветителями Д. Дидро и Ж.-Л. д'Аламбером в 1751—1772 гг.

[28] Масонские ложи. — Масонство, или франкмасонство (от франц. *franc macon* — вольный каменщик), — религиозно-этическое течение, возникшее в начале XVIII в. в Англии, а затем распространившееся в других странах. Масонские ложи представляли собой тайные, иерархически построенные организации, с преимущественно аристократическим составом членов, насаждавшие мистику и боровшиеся с атеизмом и материализмом.

[29] Соединенные провинции. — Официальнее название Нидерландов в XVI—XVIII вв.

[30] Иосиф II Австрийский. — Иосиф II (1741—1790) — австрийский император с 1780 г.; император Священной Римской империи с 1765 г.

[31] «Большие войны: 1689—1713, 1740—1748, 1756—1763, 1776—1783 гг.». — Имеются в виду войны так называемой Аугсбургской лиги 1688—1697 гг. Война за испанское наследство 1701—1714 гг., Война за австрийское наследство 1740—1748 гг., Семилетняя война 1756—1763 гг., Война за независимость США 1776—1783 гг.

[32] Васко да Гама. — Васко да Гама (1469—1524) — португальский мореплаватель, открывший морской путь в Индию. В 1497 г. эскадра Васко да Гама вышла из Лиссабона, обогнула Африку с юга и вступила в Индийский океан; в 1498 г. прибыла к малабарскому берегу, близ города Каликута; позднее в 1502—1503 и 1524 гг. Васко да Гама совершил еще два плавания в Индию.

[33] Адам Смит. — Смит Адам (1723—1790) — знаменитый шотландский экономист, основоположник современной политэкономии.

[34] Кене, Тюрго, Дюпон де Немур, Лавуазье. — Хобсбаум называет имена наиболее видных французских физиократов XVIII в.

[35] «Вольтеровский доктор Панглосс». — Персонаж одной из самых знаменитых философских повестей Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759) — философствующий тупица, преподаватель «метафизико-теолого-космолого-глупологии», лейтмотивом поучений которого является фраза: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».

[36] Луддиты. — Участники движения разрушителей машин в Англии, начавшегося около 1760 г. в Шеффилде и Ноттингеме, вызванного разорением ремесленников и резким ухудшением положения пролетариата в результате конкуренции машин,

роста безработицы и нищеты. Движение луддитов продолжалось вплоть до начала 30-х гг. XIX в.

[37] Американские «джексоновские демократы». — Американские демократы во времена президентства Эндрю Джексона — седьмого президента США (1829—1837), при котором заметно усилилось положение демократов.

[38] «Хлебные законы». — С целью предотвратить падение цен на хлеб в Англии, связанное с тем, что после наполеоновских войн на внутреннем британском рынке в большом количестве появился дешевый ввозной хлеб, и тем самым сохранить прибыли лендлордов, парламент Великобритании в 1815 г. принял «хлебный закон», который фактически запрещал ввоз хлеба из-за границы до тех пор, пока цена внутри страны не составила бы 80 шиллингов за квартер и выше. 1 квартер = приблизительно 290 литрам.

[39] Артур Янг. — Янг Артур (1741—1820) — английский писатель и публицист, автор ряда сочинений по сельскому хозяйству.

[40] «Свод социальных законов Тюдоров». — Тюдоры — династия, правившая в Британии с 1485 по 1603 г. Во время их правления был принят ряд законов, с одной стороны, жестоко наказывавших жителей королевства, уличенных в бродяжничестве, с другой — несколько сдерживавших практику огораживания общинных земель, приводившую к разорению значительной части английского крестьянства.

[41] Томас Пейн. — Пейн Томас (1737—1809) — выдающийся публицист и деятель американской и французской буржуазных революций.

[42] Мадам Дюбарри. — Дюбарри Мария-Жанна Бекю (1743—1793) — фаворитка французского короля Людовика XV, бесцеремонно хозяйничавшая при дворе, тратя огромные государственные средства на свои удовольствия. В 1793 г. была казнена по приговору революционного трибунала.

[43] Рам Мохан Рой. — Рам Мохан Рой (1772—1833) — знатный

заминдар, основатель первых общественных организаций современного типа в Индии («Арья сабха», 1815, «Брахма самадж», 1628), а также первых еженедельных индийских газет на бенгальском и на персидском языках в 1821—1822 гг.

[44] Собрание нотаблей (от франц. notable — именитое лицо, от лат. *notablis* — замечательный, заметный). — Сословный орган во Франции XIV—XVIII вв. В него входили представители высшего духовенства, дворянства и зажиточные горожане по назначению короля. Собрание нотаблей созывалось нерегулярно и имело совещательный характер. Последний раз собиралось в 1788 г.

[45] Генеральные штаты. — Высшее сословно-представительное учреждение во Франции XIV—XVIII вв., состоявшее из депутатов от духовенства, дворянства и городов всей страны. Обычно короли созывали Генеральные штаты, чтобы получить их согласие на сбор налогов и денежные субсидии.

[46] Олигархия (от греч. ὀλιγαρχια — правление немногих). — Одна из форм правления, при которой власть сосредоточена в руках небольшой группы богачей.

[47] Мирабо. — Мирабо Габриэль Оноре Рикетти (1749—1791) — граф, деятель французской буржуазной революции конца XVIII в.; сыграл значительную роль в превращении Генеральных штатов 1789 г. в Национальное собрание; выдающийся оратор, лидер фельянов (либерального дворянства и крупной буржуазии).

[48] Санкюлоты (от франц. *sans* — без и *culotte* — короткие, до колен штаны, которые носили представители имущих классов общества). — Прозвище, данное дворянами и зажиточными буржуа плебеям Парижа и других городов, носившим длинные штаны из дешевой и грубой ткани.

[49] Во II году. — Т. е. в 1793 г. (первым годом считался 1792 г. — год провозглашения Франции республикой).

[50] Начало войны. — Т. е. 1792 г.

[51] Вальми. — Победа, одержанная революционной французской армией над австро-прусскими войсками герцога Брауншвейгского 20 сентября 1792 г.

[52] Джейн Остин. — Остин Джейн (1775—1817) — популярная английская писательница.

[53] Волюнтаристский (от лат. *voluntas* — воля). — Философское воззрение, объявляющее волю сверхприродным началом и движущей силой общественной жизни.

[54] «Новой гражданской религии Верховного Существа». — Культ Верховного Существа Робеспьер попытался ввести в начале июня 1794 г. как своеобразную альтернативу христианству и атеизму одновременно.

[55] *Lyon n'est plus!* — Лиона больше нет! (Франц.)

[56] «Тайный заговор Бабефа, фруктидор в 1797-м, флореаль в 1798-м, прериаль в 1799 г.» — Хобсбаум перечисляет наиболее значимые внутренние кризисы, которые пережил режим Директории: «заговор равных» (1796 г.), «чистка» законодательных советов от реакционных депутатов (1797 г.), новая «чистка» советов, теперь уже от депутатов «левого» толка (1798 г.), отставка директоров Мерлена и Ларевельера-Лепо под давлением Совета пятисот (1799 г.).

[57] *Levée en masse* — поголовное ополчение (франц.).

[58] «Джон-булльского поедателя говядины». — Джон Булль — фольклорный образ британца; ироническое прозвище «среднего» англичанина.

[59] *Corresponding societies*. — Корреспондентские общества (англ.).

[60] «*Les Révolutions de France et de Brabant*. — «Революции Франции и Брабанта», газета, издававшаяся К. Демуленом в 1789—1791 гг.

[61] Лаццарони (от итал. *lazzarone*, от испанского *lázaro* — прокаженный, нищий). — Лаццарони — деклассированные, люм-

пен-пролетарские элементы населения в Италии (особенно в Неаполе) и некоторых других странах в XVII—XIX вв.

[62] Саличетти. — Саличетти Кристофано (1737—1809) — корсиканец, французский политический деятель, член Учредительного собрания и член конвента. Способствовал выдвижению Наполеона, будучи комиссаром конвента в 1793 г. С 1806 г. до своей смерти — министр полиции и военный министр неаполитанского короля Жозефа Бонапарта.

[63] «Мирный перерыв в войне между двумя странами». — Амьенский мир между Францией и Великобританией (1802 г.) способствовал установлению мира в Европе на один год.

[64] *Afrancesados*. — Офранцуженные (исп.).

[65] Де Бональд. — Бональд Луи Габриэль Амбуаз (1754—1840) — виконт, французский политический деятель, реакционный мыслитель, осуждавший революцию и утверждавший, что естественным устройством общества, основанного на природе вещей, является монархия.

[66] Декларация Монро. — Декларация принципов внешней политики США, вошедших в послание президента Дж. Монро конгрессу от 2 декабря 1823 г., направленная против попыток вмешательства европейских держав в дела Западного полушария под лозунгом «Америка для американцев».

[67] Филэллины. — Передовые люди стран Европы, оказавшие материальную и моральную помощь национально-освободительному восстанию греческого народа против турецкого ига в 1821—1829 гг. Филэллинские общества на собранные средства снарядили отряды добровольцев, которые отправились сражаться на стороне греческих повстанцев.

[68] Оуэн. — Оуэн Роберт (1771—1858) — английский социалист-утопист, один из предшественников научного социализма. Он считал необходимой радикальную перестройку общества на началах общности владения, равенства в правах и коллективного труда. Эта реорганизация общества, по мнению Оуэна,

могла быть осуществлена правительствами. Собираясь доказать практическую осуществимость своей идеи, Оуэн основал колонию «Новая гармония» в США (1825 г.).

69 «Хотя их воздвигали в Париже и в 1588 г.» — Хобсбаум имеет в виду так называемые Дни баррикад (11—12 мая 1588 г.), когда участники Католической лиги во Франции открыто выступили против короля Генриха III, воздвигнув по всему Парижу баррикады и вынудив монарха бежать из столицы.

70 «В антикарлистском духе». — Т. е. в антимонархическом духе.

71 Чартисты. — Участники массового рабочего движения в Англии в 1832—1848 гг., проходившего под лозунгом проведения парламентской реформы.

72 Билль о реформе 1832 г. — Согласно биллю о реформе, подписанному королем 7 июня 1832 г., подверглось пересмотру и перераспределению представительство в парламенте отдельных городов и районов Англии, все избирательные округа подразделялись на городские и сельские, было увеличено представительство в парламент от городской буржуазии и крупных арендаторов в деревне, в силу чего общее число избирателей в стране возросло на 200 тыс. человек.

73 «Whiteboys», «Ribbonmen» — «Белые парни», «Люди в лентах» (англ.).

74 Жакерия (*Jacquerie*). — Крестьянское восстание в северных и северо-восточных провинциях Франции в 1358 г., получившее название по кличке «Жак-Простак» (Jacques Bonhomme), данной крестьянам феодалами, и направленное против усиления феодального гнета, отягченного разрухой, связанной со Столетней войной 1337—1453 гг.

75 Pays légal. — Правовое государство (франц.).

76 Mal de pays; mal de coeur. — Рок; тошнота (франц.).

77 Irish Repeal. — Речь идет о созданной по инициативе Дэниела О'Коннела (в 1841 г.) Национальной лояльной организации

рипилеров (от *repeal* — отмена), стремившейся к мирному расторжению унии с Англией.

[78] Мюридизм. — От араб. мюрид — ученик высшего мусульманского наставника; религиозное движение среди мусульман, возникшее в XIV в. в Средней Азии. Отказ от земных благ, пост, смирение и послушание наставникам — «мюршидам» — главные заповеди раннего мюридизма. В 20-х гг. XIX в. идеи мюридизма распространились на Восточном Кавказе и были использованы местным духовенством, возглавившим борьбу горцев против военной экспансии русского царизма. Главным путем духовного совершенствования было признано активное участие в газавате — войне против «неверных».

[79] Мальтус. — Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский священник, экономист, последовательный защитник обуржуазившейся земельной аристократии. В своей работе «Опыт о законе населения» (1798) Мальтус пытался доказать, будто причина перенаселения и нищеты трудящихся заключается в природе, в абсолютном недостатке средств существования вследствие абсолютного перенаселения.

[80] Рикардо. — Рикардо Давид (1772—1823) — английский экономист, идеолог промышленной буржуазии. В трудах Рикардо нашла завершение классическая буржуазная политэкономия, важнейшая его научная заслуга состоит в формулировании им теории стоимости.

[81] Майорат. — Позднелат. *majoratus*, от лат. *major* — больший, старший. В феодальном и буржуазном праве порядок, касающийся наследования недвижимого имущества, при котором это имущество целиком переходит по наследству в порядке первородства (при наличии нескольких сыновей наследует старший).

[82] Меркантилизм. — От итал. *mercante* — торговец, купец. Экономическая политика ряда европейских феодальных государств

XV—XVIII вв., выражавшая интересы нарождающейся буржуазии, стремящейся ускорить накопление капиталов в стране путем развития внешней торговли, колониальных захватов, торговых войн, порабощения отдельных народов, а также система взглядов, обосновывавших экономическую политику.

83 *Société générale pour favoriser l'Industrie Nationale des Pays Bas*. — Главное Общество поощрения национальной промышленности Нидерландов (франц.).

84 Трафальгарское сражение. — Победа, одержанная лордом Нельсоном над франко-испанским флотом у мыса Трафальгар 21 октября 1805 г.

85 Большая выставка. — По-видимому, Хобсбаум имеет в виду I Всемирную выставку, проходившую в Лондоне в 1851 г.

86 *Per capita*. — поголовно (лат.).

87 *Senatus consulte*. — сенатское постановление (франц.).

88 *Per absurdum*. — вопреки здравому смыслу (лат.).

89 Бэкон. — Бэкон Френсис (1561—1626) — английский философ-материалист. В своем главном сочинении «Новый Органон» (1620) он разработал новый антисхоластический метод научного познания. Боролся против схоластики и богословия; философия Бэкона прокладывала путь развитию опытных наук. Бэкон был убежден в могуществе человеческого разума, в возможности научного познания материального мира, в практическом значении знания для общественного благосостояния.

90 Гоббс. — Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ, один из основоположников материализма. Гоббс сводил все качественные характеристики многообразия материи к свойствам протяженности и все виды движения к механистическому перемещению. Государство, по Гоббсу, — искусственное тело, создаваемое по воле людей благодаря так называе-

мому договору, как особенная организация для ограничения борьбы всех против всех и охраны жизни, порядка, частной собственности граждан.

[91] Конт. — Конт Огюст (1798—1857) — французский буржуазный философ: основатель позитивизма, изложивший систему своих взглядов в «Курсе позитивной философии» в шести томах (1830—1842) и «Системе позитивной политики, или трактате по социологии» в четырех томах (1851—1854). Не отрицая существования внешнего мира, Конт проповедовал непознаваемость сущности вещей, ввел термин «социология».

[92] Уилберфорс. — Уилберфорс Уильям (1759—1833) — английский реформатор, борец против рабства негров.

[93] *Novum Testamentum.* — Новый Завет (лат.).

[94] Милленаризм (от лат. *mille* — тысяча). Приверженцы милленаризма (или хилиазма) — сторонники распространенного в древности и в средние века религиозно-мистического учения о «тысячелетнем царстве Христа», которое должно наступить на земле перед «концом мира».

[95] Деизм (от лат. *deus* — бог). Религиозно-философское учение, которое признает Бога первопричиной мира, сообщившей миру его законы, но считает, что дальнейшая жизнь Вселенной протекает независимо от Бога. Деизм отвергал идею откровения, личного бога, церковную обрядность. Деизм XVII— начала XIX в. сыграл прогрессивную роль в борьбе с теологией.

[96] *Weltanschauung.* — Мировоззрение (нем.).

[97] Бёрк. — Бёрк Эдмунд (1729—1797) — английский публицист, политический деятель, член парламента с 1774 г. от г. Бристоля. Подлинную известность Бёрку принесли его «Размышления о революции во Франции» (1790), не без основания в свое время названные «Манифестом контрреволюции».

[98] «Эмиль». — Один из самых знаменитых романов-трактатов

Ж.-Ж. Руссо, в котором он изложил свои взгляды по вопросам педагогики, «Эмиль, или О воспитании» (1762).

[99] Неандертальский человек (homo neandertalensis). — Ископаемые люди ашельской и мустьерской культуры раннего и среднего палеолита.

[100] Bona fide. — Должным образом (лат.).

[101] Галуа. — Галуа Эварист (1811—1831) — французский математик, основные исследования которого относятся к алгебре.

[102] *Jardin des Plantes*. — Ботанический сад (франц.).

А. А. Егоров

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 1: Мир в 1870-х годах

1* Saint-Just. *Ouevres complètes*. II, с. 514.

2* A. Hovelacque. La taille dans un canton ligure. *Revue Mensuelle de l'Ecole d'Anthropologie*. P. 1896.

3* L. Dal Pane. *Storia del Lavoro dagli inizi del secolo XVIII al 1815*. 1958. P. 135. R. S. Eckers. The North-South Differential in Italian Economic Development. *Journal of Economic History*, XXI, 1961. P. 290.

4* Quetelet, qu. by Manouvrier. Sur la taille des Parisiens. *Bulletin de la Societe Anthropologique de Paris*. 1888. P. 171.

5* H. Sèe. *Esquisse d'une Histoire du Règime Agraire en Europe au XVIII et XIX siècles*. 1921. P. 184; J. Blum. *Lord and Peasant in Russia*. 1961. P. 455—460.

6* Th. Haebich. *Deutsche Latifundien*. 1947. P. 27, и далее.

7* A. Goodwin (ред.). *The European Nobility in the Eighteenth Century*. 1953. P. 52.

8* L. B. Namier. *1848, The Revolution of the Intellectuals*. 1944; J. Vicens Vives. *Historia Economica de España*. 1959.

9* Sten Carlsson. *Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700—1863*. 1949.

10* Pierre Lebrun *et al.* La Revoluzione industriale in Belgio. *Studi Storici.* II, 3—4, 1961. P. 564—565.

11* Like Turgot (*Oeuvres,* V. P. 244):

'Ceux qui connaissent la marche du commerce savent aussi que toute entreprise importante, de trafic ou d'industrie, exige le concours de deux espéces d'hommes, d'entrepreneurs... et des ouvriers qui travaillent pour le compte des premiers, moyennant un salaire convenu. Telle est la véritable origine de la distinction entre les entrepreneurs et les maîtres, et les ouvriers ou compagnons, laquelle est fondé sur la nature des choses'

Глава 2: Индустриальная революция

1* Arthur Young. *Tours in England and Wales.* Лондонская школа экономики. P. 269.

2* A. de Toqueville. *Journeys to England and Ireland* / Под ред. Дж. П. Майера, 1958. P. 107—108.

3* Anna Bezanson. The Early Uses of the Term Industrial Revolution. *Quarterly Journal of Economics.* XXXVI, 1921—1922. P. 343; G. N. Clark. *The Idea of the Industrial Revolution.* Глазго, 1953.

4* См. также: A. E. Musson, E. Robinson. Science and Industry in the late Eighteenth Century. *Economic History Review.* XIII. 2, декабрь 1960; и труд Р. Э. Скофилда о промышленниках Цетральных графств Англии и Лунном обществе. Изд. 47, март 1956; изд. 48, 1957. *Annals of Science.* II, июнь 1956, и т. д.

5* K. Berill. International Trade and the Rate of Economic Growth. *Economic History Review.* XII, 1960. P. 358.

6* W. G. Hoffmann. *The Growth of Industrial Economics.* Manchester, 1958. P. 68.

7* A. P. Wadsworth, J. de L. Mann. *The Cotton Trade and Industrial Lancashire.* 1931, Vol. VII.

29 Зак. 82

8* F. Crouzet. *Le Blocus Continental et l'Economie Britannique*. 1958, с. 63, предполагает, что в 1805 г. это достигло двух третей.

9* P. K. O'Brien. British Incomes and Property in the early Nineteenth Century. *Economic History Review*. XII, 2, 1959. P. 267.

10* Hoffmann, см. выше, с. 73.

11* Baines. *History of the Cotton Manufacture in Great Britain*. London, 1835. P. 431.

12* P. Mathias. *The Brewing Industry in England*. Кэмбридж, 1959.

13* M. Mulhall. *Dictionary of Statistics*. 1892. P. 158.

14* Baines, см. выше, с. 112.

15* См. также: Phyllis Deane. Estimates of the British National Income. *Economic History Review*. Апрель 1956 и апрель 1957 гг.

16* O'Brien, см. выше, с. 267.

17* По поводу устойчивого состояния см.: J. Schumpeter. *History of Economic Analysis*. 1954. P. 570—571. Решающей является формулировка Джона Стюарта Милля (*Principles of Political Economy,* кн. IV, гл. iv): «Когда страна обладает давно устоявшимся большим производством и большой чистый доход позволяет накапливать сбережения, и, следовательно, когда существуют средства делать большое ежегодное добавление к капиталу, одной из характерных черт такой страны является то, что уровень прибыли сохраняется на обычном уровне в своих пределах, каким он был и раньше — минимальная ширина ладони, — и страна поэтому находится на самой грани устойчивого состояния... Простое продолжение существующего ежегодного увеличения капитала, если нет никаких обстоятельств, противодействующих его эффекту, должно быть достаточным в течение небольшого количества лет, чтобы сократить чистый уровень прибыли (до минимума)». Однако, когда это было опубликовано (1848 г.), противодействующая сила — волна развития, вызванная строительством железных дорог — уже проявила себя.

18* *History of the Middle and Working Classes* радикала Джона Вейда, *Reflections suggested by the perusal of Mr. J. Horsley Palmer's pamphlet on the causes and consequences of the pressure on the Money Market* (1837 г.) банкира лорда Оверстоуна, *Fluctuations of Currency, Commerce and Manufacture; referable to the Corn Laws* (1840); участника кампании проведения антизернового закона Дж. Уилсона; и во Франции А. Бланком (брат известного революционера) в 1837 г. и М. Брионом в 1840 г. Несомненно, также и другими.

19* Baines, см. выше, с. 441. A. Ure, P. L. Simmonds. *The Cotton Manufacture of Great Britain* (издание 1861 г.). P. 390, и далее.

20* Geo. White. *A Treatise on Weaving*. Глазго, 1846. P. 272.

21* M. Blaug. The Productivity of Capital in the Lancashire Cotton Industry during the Nineteeth Century. *Economic History Review*. Апрель, 1961.

22* Thomas Ellison. *The Cotton Trade of Great Britain*. Лондон, 1886. P. 61.

23* Baines, см. выше. P. 356.

24* Baines, см. выше. P. 489.

25* Ure, Simmonds, см. выше. T. 1. C. 317, и далее.

26* J. H. Clapham. *An Economic History of Modern Britain*. 1926. C. 427, и далее; Mulhall, см. выше, с. 121, 332; M. Robbins. *The Railway Age*. 1962. C. 30—21.

27* Rondo E. Cameron. *France and the Economic Development of Europe 1800—1914*. 1961. C. 77.

28* Mulhall, см. выше. C. 501, 497.

29* L. H. Jenks. *The Migration of British Capital to 1875*. Нью-Йорк и Лондон, 1927. C. 126.

30* D. Spring. The English Landed Estate in the Age of Coal and Iron. *Journal of Economic History*. XI, I, 1951.

31* J. Clegg. *A chronological history of Bolton*. 1876.

32* Albert M. Imlah. British Balance of Payments and Export of Capital, 1816—1913. *Economic History Review V*. 1952, 2. P. 24.

33* John Francis. *A History of the English Railway*. 1851, II, 136; см. также: H. Tuck. *The Railway Shareholder's Manual*. (7-е издание, 1846), Предисловие, и T. Tooke. *History of Prices*. II. P. 275, 333—234, по поводу вколачивания накопленных в Ланкашире излишков в железные дороги.

34* Mulhall, см. выше, с. 14.

35* *Annals of Agric*. XXXVI. P. 214.

36* Wilbert Moore. *Industrialisation and Labour*. Корнелл, 1951.

37* Blaug, указ. цит. С. 368. Число детей до тринадцати лет, однако, в 1830-х годах резко уменьшилось.

38* H. Sèe. *Histoire Economique de la France*. Vol. II. P. 189.

39* Mulhall, см. выше; Imlah, указ. цит., II, 52. P. 228—229. Точной датой этой оценки является 1854 г.

Глава 3: Французская революция

1* См.: R. R. Palmer. *The Age of Democratic Revolution*. 1959; J. Godechot. *La Grande Nation*. 1956. Vol. 1 Chapte 1.

2* B. Lewis. The Impact of the French Revolution on Turkey. *Journal of World History*. I, 1953—1954. P. 105.

3* H. Sèe. *Esquisse d'une Histoire du Règime Agraire*. 1931. P. 16—17.

4* A. Soboul. *Les Campagnes Montpèllieraines à la fin de l'Ancien Règime*. 1958.

5* A. Goodwin. *The French Revolution*. 1959. P. 70.

6* C. Bloch. L'èmigration francaise au XIX siècle. *Etudes d'Histoire*

Moderne, Contemp. I, 1947. P. 137; D. Greer. *The Incidence of the Emigration during the French Revolution.* 1951, однако дает намного меньшую цифру.

7* D. Greer. *The Incidence of the Terror.* Гарвард, 1935.

8* *Oeuvres Completes de Saint-Just.* Vol. II. P. 147 (ред. К. Веллей, Париж, 1908).

Глава 4: Война

1* См. например: W. von Groote. *Die Entstehung d. Nationalbewussteins in Nordwestdeutschland 1790—1830.* 1952.

2* M. Lewis. *A Social History of the Navy, 1793—1815.* 1960. P. 370, 373.

3* Gordon Craig. *The Politics of the Prussian Army 1640—1945.* 1955. P. 26.

4* A. Sorel. *L'Europe et la revolution francaise.* I, (ред. 1922 г.). P. 66.

5* *Considèrations sur la France.* Гл. IV.

6* Цит. по: L. S. Stavrianos. Antecedents to Balkan Revolutions. *Journal of Modern History,* XXIX, 1957. P. 344.

7* G. Bodart. *Losses of Life in Modern Wars.* 1915. P. 133.

8* J. Vicens Vives (ред.). *Historia Social de España y America.* 1956, IV, ii. P. 15.

9* G. Bruun. *Europe and the French Imperium.* 1938. P. 72.

10* J. Leverrier. *La Naissance de l'armèe nationale, 1789—1794.* 1939. P. 139; G. Lefebvre. *Napolèon.* 1936. P. 198, 527; M. Lewis, см. выше, с. 119; *Parliamentary Papers.* XVII, 1859. P. 15.

11* Mulhall. *Dictionary of Statistics:* War.

12* *Cabinet Cyclopedia.* I. P. 55—56 (Изделия из металла).

[13*] E. Tarlé. *Le blocus continental et le royaume d'Italie*. 1928. P. 3—4, 25—31; H. Sée. *Histoire Economique de la France*. II. P. 52; Mulhall, указ. цит.

[14*] Gayer, Rostow and Schwarz. *Growth and Fluctuation of the British Economy, 1790—1850*. 1953. P. 646—649; F: Crouzet. *Le blocus continental et l'èconomie Britannique*. 1958. P. 868, и далее.

Глава 5: Мир

[1*] Castlereagh. *Correspondece*. Третья серия, XI. C. 105.

[2*] Gentz. *Depèches inèdites*. I. C. 371.

[3*] J. Richardson. *My Dearest Uncle, Leopold of the Belgians*. 1961. C. 185.

[4*] R. Cameron. См. выше. C. 85.

[5*] F. Ponteil. *Lafayette et la Pologne*. 1934.

Глава 6: Революция

[1*] Luding Boerne. *Gesammelte Schriften*. III. P. 130—131.

[2*] *Memoirs of Prince Metternich*. III. P. 468.

[3*] Vienna, Verwaltungsarchiv: Polizeihofstelle H 136/1834, отрывки.

[4*] Guizot. *Of Democracy in Modern Societies*. Лондон, 1938. C. 32.

[5*] Наиболее яркое обсуждение этой генеральной стратегии революции содержится в статьях Маркса в *Neue Rheinische Zeitung* во время революции 1848 года.

[6*] M. L. Hansen. *The Atlantic Migration*. 1945. P. 147.

[7*] F. C. Mather. The Government and the Chartists in *Chartist Studies*. A. Briggs (ред.), 1959.

8* См.: *Parliamentary Papers,* XXXIV, 1834; отвечает на вопрос 53 (причины и следствия сельских беспорядков и поджогов в 1830 и 1831 годах, например, в Ламбурне, Спине (Берксе), Стипл Клейдоне (Баксе), Бонингтоне (Глосе), Эвенли (Нортансе).

9* R. Dautry. *1848 et la Deuxième Republique*. 1848. P. 80.

10* St. Kiniewicz. La Pologne et l'Italie à l'èpoque du printemps des peuples. *La Pologne au Xe Congrès International Historique*. 1955. P. 245.

11* D. Cantimori в: *The Opening of an Era: 1848*. F. Fejto (ред.), 1948. P. 119.

12* D. Read. *Press and People*. 1961. P. 216.

13* Irene Collins. *Government and Newspaper Press in France, 1814—1881*. 1959.

14* См.: E. J. Hobsbawm. *Primitive Rebels*. 1959. P. 171—172; V. Volguine. Les idèes socialistes et communistes dans les sociètès secrètes. *(Questions d'Histoire,* II, 1954. P. 10—37); A. B. Spitzer. *The Revolutionary Theories of Auguste Blanqui*. 1957. P. 165—166.

15* G. D. H. Cole and A. W. Filson. *British Working Class Movement. Select Documents*. 1951. P. 402.

16* J. Zubrzycki. Emigration from Poland. *Population Studies*. VI. 1952—1953. P. 248.

17* Энгельс Марксу, март, 9, 1847 г.

Глава 7: Национализм

1* Hoffmann v. Fallersleben. Der Deutsche Zollverein. В: *Unpolitische Lieder*.

2* G. Weill. *L'Enseignement Secondaire en France 1802—1920*. 1921. P. 72.

3* E. de Laveleye. *L'Instruction du Peuple*. 1872. P. 278.

4* F. Paulsen. *Geschichte des Gelehrten Unterrichts*. 1897, II. P. 703; A. Daumard. Les eleves de l'Ecole Polytechnique 1815—1848 *(Rev. d'Hist. Mod. et Contemp.* V 1958); Общее число немецких и бельгийских студентов в среднем семестре в начале 1840-х годов было около 14 тыс. J. Conrad. Die Frequenzverhältnisse der Universitäten der hauptsächlichen Kulturländer *(Jb. f. Natiönalök. u. Statistik.* LVI, 1895. P. 376, и далее).

5* L. Liard. *L'Enseignement Superieur en France*. 1789—1889 (1888). P. 11 и далее.

6* Paulsen, см. выше, II, с. 690—691.

7* *Handworterbuch d. Staabwissenschaften* (2-е изд.), art. Buchhandel.

8* Laveleye, см. выше, с. 264.

9* W. Wachmuth. *Europaische Sittengeschichte*. V, 2, 1839. P. 807—808.

10* J. Sigmann. Les radicaux badois et l'idee nationale allemande en 1848. *Etudes d'Histoire Moderne et Contemporaine*. II, 1948. P. 213—214.

11* J. Miskolczy. *Ungarn und die Habsburger-Monarchie*. 1959. P. 85.

Глава 8: Земля

1* Haxthausen, Studien. ueber Russland. 1847, II, P. 3.

2* J. Billingsley. *Survey of the Board of Agriculture for Somerset*. 1798. P. 52.

3* Цифры основываются на данных 'New Domesday Book' 1871—1873 годов, но нет никакого основания верить, что они не представляют ситуацию в 1848 г.

4* *Handworterbuch d. Staatswissenschaften* (Второе издание), art. Grundbesitz.

5* Th. von der Goltz. *Gesch. d. Deutschen Landwirtschaft*. 1903, II; Satorius v. Waltershausen. *Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815—1914*. 1923. P. 132.

6* Цит. по: L. A. White (ред.). *The Indian Journals of Lewis, Henry Morgan*. 1959. P. 15.

7* L. V. A. de Villeneuve Bargemont. *Economie Politique Chreitienne*. 1834. Vol. II. P. 3 и далее.

8* C. Issawi. Egypt since 1800. *Journal of Economic History*. XXI, I, 1961. P. 5.

9* B. J. Hovde. *The Scandinavian Countries 1720—1860.* 1943, Vol. 1. P. 279. Что касается увеличения среднего урожая с 6 млн т (1770 г.) до 10 млн т, см.: *Hwb. d. Staatswissenschaften,* art. Bauernbefreiung.

10* A. Chabert. *Essai sur les mouvements des prix et des revenus 1798—1820*. 1949, II. P. 27 и далее; F. l'Huillier. *Resherches sur l'Alsace Napoleonienne*. 1945. P. 470.

11* Например, G. Desert в: E. Labrousse (ред.). *Aspects de la Crise... 1846—1851*. 1956. P. 58.

12* J. Codechot. *La Grande Nation*. 1956, II. P. 584.

13* A. Agthe. *Ursprung u. Lage d. Landarbeiter in Livland*. 1909. P. 122—128.

14* Что касается России, Лященко, см. выше, с. 360; что же касается сравнения между Пруссией и Богемией, см.: W. Stark. Niedergang und Ende d. Landwirtsch. Grossbetriebs in d. Boehm. Laendern (*Jb. f. Nat. Oek*. 146, 1937. P. 434 и далее).

15* F. Luetge. Auswirkung der Bauernbefreiung в: *Jb. f. Nat. Oek*. 157, 1943. P. 353 и далее.

16* R. Zangheri. *Prime Ricerche sulla distribuzione della proprieta fondiaria*. 1957.

17* E. Sereni. *Il Capitalismo nelle Campagne*. 1948. P. 175—176.

18* См.: G. Mori. La storia dell'industria italiana contemporanea *(Annali dell'Instituto Giangiacomo Feltrinelli,* II, 1959. P. 278—279); и этого же автора: 'Osservazioni sul libero-scambismo dei moderati nel Risorgimento' (*Rivista Storica del Socialismo,* III, 9, 1960).

19* Dal Pane. *Storia del Lavoro in Italia dagli inizi del secolo XVIII al 1815*. 1958. P. 119.

20* R. Zangheri (ред.). *Le Campagne emiliane nell'epoca moderna*. 1957. P. 73.

21* J. Vicens Vives (ред.). *Historia Social y Economica Espana y Amerika*. 1959, IVii. P. 92, 95.

22* M. Emerit. L'etat intellectuel et moral de l'Algerie en 1830. *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*. I, 1954. P. 207.

23* R. Dutt. *The Economic History of India under early British Rule*. (новое чертвертое издание). P. 88.

24* R. Dutt. *India and the Victorian Age*. 1904. P. 56—57.

25* B. S. Cohn. The initial British impact on India. (*Journal of Asian Studies*. 19, 1959—1960. P. 418—431) показывает, что в округе Бенарес (Уттар Прадеш) чиновники пользовались своим положением для организации оптовых продаж земель. Из 74 владельцев больших поместий к концу столетия 23 были обязаны наследственным титулом на землю своим связям с гражданскими служащими (с. 430).

26* Sulekh Chandra Gupta. Land Market in the North Western Provinces (Uttar Pradesh) in the first half of the nineteenth century (*Indian Economic Review,* IV, 2, август 1958). См. также отражение и расследование аграрной подоплеки восстания 1857 года в северо-восточных провинциях этого же автора (*Enquiry,* Нью-Дели, февраль, 1959).

27* R. P. Dutt. *India Today*. 1940. P. 129—130.

28* K. H. Conell. Land and Population in Ireland. *Economic History Review*. II, 3, 1950. P. 285, 288.

29* S. H. Cousens. Regional Death Rates in Ireland during the Great Famine. *Population Studies*. XIV, 1, 1960. P. 65.

Глава 9: К индустриальному миру

1* Цит. по: W. Armytage. *A Social History of Engineering*. 1961. P. 126.

2* Цит. по: R. Picard. *Le Romantisme Social*. 1944, часть 2, гл. 6.

3* J. Morley. *Life of Richard Cobden*. Издание 1903 г., с. 108.

4* R. Baron Castro. La poblacion hispano-americana. *Journal of World History*. V. 1959—1960. P. 339—340.

5* J. Blum. Transportation and Industry in Austria 1815—1848. *Journal of Modern History*. XV, 1943. P. 27.

6* Mulhall, см. выше, Post Office.

7* Mulhall, там же.

8* П. А. Хромов. *Экономическое развитие России в XIX-XX веках*. 1950, таблица 19, с. 482—483. Но сумма продаж росла намного быстрее. См. также: J. Blum. *Lord and Peasant in Russia*. P. 287.

9* R. E. Cameron, см. выше. P. 347.

10* Цит. по: S. Giedion. *Mechanisation Takes Command*. 1948. P. 152.

11* R. E. Cameron, см. выше. P. 115, и далее.

12* R. E. Cameron, см. выше. C. 347; W. Hoffmann. *The Growth of Industrial Economies*. 1958. P. 71.

13* W. Hoffmann, см. выше. C. 48; Mulhall, см. выше. C. 377.

[14*] J. Purs. The Industrial Revolution in the Czech Lands. *Historica,* II, 1960. P. 199—200.

[15*] R. E. Cameron, см. выше. С. 347; Mulhall, см. выше. С. 377.

[16*] H. Kisch. The Textile Industries in Silesia and the Rhineland. *Journal of Economic History*. XIX, декабрь, 1959.

[17*] O. Fischel and M. V. Boehn. *Die Mode, 1818—1848.* Мюнхен, 1924. С. 136.

[18*] R. E. Cameron, см. выше. С. 79, 85.

[19*] Классическим примером такого обсуждения является: G. Lefebvre. *La revolution francaise et les paysans* (1932), перепечатанная в: *Etudes sur la revolution francaise* (1954).

[20*] G. Mori. Osservazioni sul liberoscambismo dei moderati nel Risogrimento. *Riv. Storic. del Socialismo*. III, 1960. P. 8.

[21*] C. Issawi. Egypt since 1800. *Journal of Economic History*. Март, 1961, XXI. P. 1.

Глава 10: Карьера открыта таланту

[1*] F. Engels. *Conditions of Working Class in England.* Глава XII.

[2*] M. Capefigue. *Histoires des Grandes Operations Finansieres*. IV, 1860. P. 255.

[3*] M. Capefigue, указ. цит. С. 254, 248—249.

[4*] A. Beauvilliers. *L'Art du Cuisinier*. Париж, 1814.

[5*] H. See. *Histoire Economique de la France*. II. P. 216.

[6*] A. Briggs. Middle Class Consciousness in English Politics 1780—1846. *Past and Present*. 9, апрель 1956. P. 68.

[7*] Donald Read. *Press and People 1790—1850.* 1961. P. 26.

[8*] S. Smiles. *Life of George Stephenson.* Издание 1881 г. С. 183.

9* Charles Dickens. Hard Times.

10* Leon Faucher. *Etudes sur l'Angleterre*. I, 1842. P. 322.

11* M. J. Lambert-Dansette. *Quelques familles du patronat textile de Lille-Armentieres*. Lille, 1954. P. 659.

12* Oppermann. *Geschichte d. Königreichs Hannover.* Цит. по: T. Klein. *1848, Der Vorkampf.* 1914. C. 71.

13* G. Schilfert. *Sieg u. Niederlage d. demokratischen Wahlrechts in d. deutschen Revolution 1848—1849*. 1952. P. 404—405.

14* Mulhall, см. выше. С. 259.

15* W. R. Sharp. *The French Civil Service*. Нью-Йорк, 1931. С. 15—16.

16* *The Census of Great Britain in 1851*. Лондон, Лонгман, Браун, Грин и Лонгманс, 1854. С. 57.

17* R. Portal. La naissance d'une bourgeoisie industrielle en Russie dans la premiere moitie du XIX siecle. *Bulletin de la Societe d'Histoire Moderne*. Douzieme serie, II, 1959.

18* Vienna, *Verwaltungsarchiv,* Polizeihofstelle, H 136/1834.

19* A. Girault et L. Milliot. *Principes de Colonisation et de Legislation Coloniale*. 1938. P. 359.

20* Louis Chevalier. *Classes Laborieuses et Classes Dangereuses*. Париж, 1958, III, часть 2 оспаривает использование термина «варвары» как при их враждебности, так и при их дружелюбии к рабочей бедноте в 1840-х годах.

21* D. Simon. Master and Servant в: J. Saville (ред.), *Democracy and the Labour Movement*. 1954.

22* P. Jaccard. *Histoire Sociale du Travail.* 1960. P. 248.

23* P. Jaccard, см. выше. С. 249.

Глава 11: Рабочая беднота

1* Ткач Хауффе, род. в 1807 г., цит. по: Alesxander Schneer. *Ueber die Noth der Leinen-Arbeiter in Schlesien...* Берлин, 1844. С. 16.

2* Теолог П. Д. Микеле Аугусти, *Della liberta ed eguaglianzo degli uomini nell'ordine naturale e civile* (1790). Цит. по: A. Cherubini. *Dottrine e Metodi Assistenziali dal 1789 al 1848.* Милан, 1958. С. 17.

3* E. J. Hobsbawm. The Machine Breakers. *Past and Present,* I, 1952.

4* 'About some Lancashire Lads' в: *The Leisure Hour* (1881). Я обязан этой ссылкой мистеру А. Дженкину.

5* 'Die Snapspest im ersten Drittel des Jahrhunderts'. *Handwerterbuch d. Staatswissenschaften.* Второе издание, art. 'Trunksucht'

6* L. Chevalier. Classes Labourieses et Classes Dangereuses.

7* J. B. Russel. *Public Health Administration in Glasgow.* 1903. С. 3.

8* Chevalier, см. выше. С. 233—234.

9* E. Neuss. *Entstehung u. Entwichlung d. Klasse d. besitzlosen Lohnarbeiter in Halle.* Берлин, 1958. С. 283.

10* J. Kuczynski. *Geschichte der Lage der Arbeiter.* Берлин, 1960, Т. 9. С. 264, и далее; Т. 8. С. 109, и далее.

11* R. J. Rath. The Habsburgs and the Great Depression in Lombardo-Venetia 1814—1818. *Journal of Modern History,* XIII. С. 311.

12* M. C. Muehlemann. Les prix des vivres et le mouvement de la population dans le canton de Berne 1782—1881. *IV Congres International d'Hygiene.* 1883.

13* F. J. Neumann. Zur Lehre von d. Lohngesetzen. *Jb. f. Nat. Oek.* 3-я серия, IV, 1892. С. 374 и далее.

14* R. Scheer. *Entwicklung d. Annaberger Posamentierindustrie im 19. Jahrhundert.* Лейпциг, 1909. С. 27—28, 33.

15* N. McCord. *The Anti-Corn Law League.* 1958. P. 127.

16* 'Par contre, il est sur que la situation alimentaire, a Paris, s'est deterioree peu a peu avec le XIX siecle, sans doute jusqu'au voisinage des annees 50 ou 60' R. Philippe в: *Annales* 16, 3, 1961, 367. По поводу аналогичных расчетов для Лондона, см.: E. J. Hobsbawm. The British Standard of Living. *Economic History Review*. X, 1, 1957. Общее потребление мяса на душу населения во Франции, как кажется, фактически оставалось неизменным с 1812 по 1840 год. *Congres International d'Hygiene 1878*. 1880. Т. 1. С. 432.

17* S. Pollard. *A History of Labour in Sheffield*. 1960. С. 62—63.

18* H. Ashworth в: *Journal Stat. Soc*. V(1842). P. 74; E. Labrousse (ред.). *Aspects de la Crise. 1846—1851*. 1956. P. 107.

19* *Statistical Committee appointed by the Anti-Corn Law Conference... March 1842*. P. 45.

19a. R. K. Webb в: *English Historical Review*. LXV, 1950. С. 333, и далее.

20* Цит. по: A. E. Musson. The Ideology of Early Co-operation in Lancashire and Cheshire; *Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society*. LXVIII, 1958. P. 120.

21* A. Williams. *Volkssongs of the Upper Thames*. 1923. P. 105 публикует эту версию скорее более классово сознательной.

22* A. Briggs. The Language of 'class' in early nineteenth century England, в: A. Briggs and J. Saville (ред.). *Essays in Labour History*. 1960; E. Labrousse. *Le mouvement ouvrier et les Idees sociales*. III (Course de la Sorbonne), с. 168—169; E. Coornaert. La pensee ouvrier et la conscience de classe en France 1830—1848, в: *Studi in Onore di Gino Luzzato*. III, Милан, 1950. С. 28; G. D. H. Cole. *Attempts at General Union*. 1953. С. 161.

23* A. Soboul. *Les Sanculotts de Paris en l'an II*. 1958. С. 660.

24* S. Pollard, см. выше. С. 48—49.

25* Th. Mundt. *Der dritte Stand in Deutschland und Preussen...* Бер-

лин, 1847. С. 4. Цит. J. Kuczynski. Gesch. d. Lage d. Arbeiter 9. P. 169.

[26*] Karl Biedermann. *Vorlesungen ueber Socialismus und sociale Fragen*. Лейпциг, 1847. Цит. Kuczynski, см. выше. С. 71.

[27*] M. Tylecote. *The Mechanics'Institutes of Lancashire before 1851*. Манчестер, 1957, VIII.

[28*] Цит. по: *Review Historique* CCXXI, 1959. P. 138.

[29*] P. Gosden. *The Friendly Societies in England 1815—1875*. 1961. P. 23, 31.

[30*] W. E. Adams. *Member of a Social Atom*. I. P. 163—165, Лондон, 1903.

Глава 12: Идеология: религия

[1*] Civilta Cattolica, II, 122. Цит. по: L. Dal Pane, il socialismo e le questione sociale nella prima annata della Civilta Cattolica *(Studi Onore di Gino Luzzato)*. Милан, 1950. С. 144.

[2*] Haxthausen. *Studien ueber... Russland*. 1847, I. P. 388.

[3*] См.: портрет австралийского джентльмена Антонио Мачадо в: *Poesias Completas*. Австралийское издание. С. 152—154: Gran pagano, Se hizo hermano De una santa cofradia' и т. д.

[4*] G. Duveau. *Les Instituteurs*. 1957. P. 3—4.

[4a*] J. S. Trimingham. *Islam in West Africa*. Оксфорд, 1959. С. 30.

[5*] A. Ramos. *Las Culturas negras en el mundo nuevo*. Мехико, 1943. С. 277 и далее.

[6*] W. F. Wertheim. *Indonesian Society in Transition*. 1956. P. 204.

[7*] *Census of Great Britain 1851: Religious Worship in England and Wales*. Лондон, 1854.

[8*] Mulhall. *Dictionary of Statistics:* 'Religion'.

[9*] Mary Merryweather. *Expirience of Factory Life*. Третье издание, Лондон, 1862. С. 18. Ссылка относится к 1840-м годам.

[10*] T. Rees. *History of Protestant Nonconformity in Wales*. 1861.

[11*] Marx-Engels. *Werke*. Берлин, 1956, I. P. 378.

[12*] *Briefwechsel zwischen Fr. Gentz und Adam Muller*. Генц Мюллеру, 7 октября 1819 года.

[13*] Генц Мюллеру, 19 апреля 1819 года.

Глава 13: Идеология: светская жизнь

[1*] *Archives Parlementaires*. 1787—1860. T. VIII. С. 439. Это был первый набросок параграфа 4 Декларации человека и гражданина.

[2*] Declaration of the Rights of Man and Citizen 1798, paragraph 4.

[3*] E. Roll. *A History of Economic Thought*. Изд. 1948 г. С. 155.

[4*] *Ouvres de Condorcet*. Изд. 1804 г., XVIII. С. 412; *(Ce que les citoyens ont le drot d'attendre de leur representants)* R. R. Palmer. *The Age of Democratic Revolution*. I, 1959. P. 13—20, оспаривает неубедительно, что либерализм был более ясно демократичным, чем представлен здесь.

[5*] См.: С. B. Macpherson. Elmund Burke. *Translation of the Royal Society of Canada*. LIII, секция II, 1959. С. 19—26.

Цит. по: J. L. Talmon. *Political Messianism*. 1960. P. 323.

[7*] Rapport sur le mode d'execution du decret du 8 ventose, an II. *Oeuvres Completes*. II, 1908. С. 248.

[8*] *The Book of the New Moral World*. Часть IV. С. 54.

[9*] R. Owen. A New View of Society: or Essays on the Principle of the Formation of the Human Character.

[10*] Цит. по: Talmon, см. выше. С. 127.

[11*] К. Маркс. Предисловие к Критике политической экономии.

[12*] *Letter to the Chevalier de Rivarol.* 1 июня, 1791 г.

[13*] Что касается его «декларации политической веры», см.: Eckermann. *Gespraeche mit Goethe.* 4.1.1824.

[14*] G. Lukacs. *Der junge Hegel.* C. 409 — что касается Канта, отрывок, особенно II; 5 — что касается Гегеля.

[15*] Lukacs, см. выше. С. 411—412.

Глава 14: Искусства

[1*] S. Laing. *Notes of a Traveller on the Social and Political State of France, Prussia, Switzerland, Italy and other parts of Europe, 1842.* Изд. 1854 г. С. 275.

[2*] *Ouvres Completes.* XIV. С. 17.

[3*] H. E. Hugo. *The Portable Romantic Reader.* 1957. C. 58.

[4*] Fragmente Vermischten Inhalts. (Novalis. *Schriften.* Йена, 1923). III. C. 45—46.

[5*] Из *The Philosophy of Fine Arts.* Лондон, 1920, V.I. C. 106.

[6*] E. C. Batho. *The Later Wordsworth.* 1933. C. 227, см. также: C. 46—47, 197—199.

[7*] Mario Praz. *The Romantic Agony.* Оксфорд, 1933.

[8*] L. Chevalier. *Classes Laborieuses et Classes Dangereuses a Paris dans la premiere moitie du XIX siecle.* Париж, 1958.

[9*] Ricarda Huch. *Die Romantik.* I. P. 70.

[10*] P. Jourda. *L'exotisme dans la litterature francaise depuis Chateaubriand.* 1939. P. 79.

11* V Hugo. *Oeuvres Completes*. XV P. 2.

12* *Oeuvres Complètes*. IX, Париж, 1879. P. 212.

13* См.: M. Thibert. *Le rôle social de l'art d'après les Saint-Simoniens*. Париж, новое издание.

14* P. Jourda, см. выше. P. 55—56.

15* M. Capefigue. *Histoire des Grandes Operations Financières*. IV P. 252—253.

16* *James Nasmyth, Engineer, An Autobiography* / Ред. Сэмюэль Смайлс. 1897. P. 177.

17* Там же. С. 243, 246, 251.

18* E. Halèvy. *History of the English People in the Nineteenth Century*. Картонированное издание, I. С. 509.

19* D. S. Landes. Vieille Banque et Banque Nouvelle. *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*. III, 1956. P. 205.

20* См.: the long-playing records '*Shuttle and Cage*' *Industrial Folk Ballads*, (10T13), *Row, Bullies, Row* (T7) and *The Blackball Line*, (T8) all on Topic, London.

21* Цит. по: G. Taylor. Nineteenth Century Florists and their Flowers (*The Listener* 23.6.1949). Ткачи из Пейсли были особенно восторженными и жесткими «флористами», признающими только восемь цветов, стоящих разведения. Кружевники из Ноттингема выращивали розы, которые еще не были — в отличие от алтея — цветком рабочего человека.

22* *Select on Drunkenness* (Parl. Papers, VIII, 1834) Q 571. В 1852 г. 28 баров и 21 пивной магазинчик в Манчестере (из 481 бара и 1298 пивных магазинчиков для города с населением в 303 000 человек) имели музыкальные развлечения. (John T. Baylee; *Statistics and Facts in reference to the Lord's Day*. Лондон, 1852. С. 20).

Глава 15: Наука

[1*] Цит. по: S. Solomon. *Commune*. Август, 1939. С. 964.

[2*] G. C. C. Gillispie. *Genesis and Geology*. 1951. С. 116.

[3*] Цит. по: Encyclopèdie de la Plèiade. *Histoire de la Science*. 1957. P. 1465.

[4*] *Essai sur l'èducation intellectuelle avec le projet d'une Science nouvelle*. Лозанна, 1787.

[5*] См.: Guerlac. Science and National Strength, in E. M. Earle, ed. *Modern France*. 1951.

[6*] Цит. по: S. Mason. *A History of the Science*. 1953. P. 286.

Глава 16: Вывод: к 1898 году

[1*] Haxthausen. *Studien ueber... Russland*. 1847, I. P. 156—157.

[2*] Hansard, 16 февраля 1842 г., цит. по: Robinson and Gallagher. *Africa and the Victorians*. 1961. P. 2.

[3*] R. B. Morris. *Encyclopedia of American History*. 1953. P. 515, 516.

[4*] П. Лященко.' *История российской национальной экономики*. С. 273—274.

[5*] Там же. С. 370.

[6*] J. Stamp. *British Incomes and Property*. 1920. P. 515, 431.

[7*] M. L. Hansen. *The Atlantic Migration 1607—1860*. Гарвард, 1945. с. 252.

[8*] N. McCord. *The Anti-Corn Law League 1838—1846*. Лондон, 1958. Гл. V.

[9*] T. Kolokotrones, цит. по: L. S. Stavrianos, Antecedents to Balkan Revolutions. *Journal of Modern History*, XXIX, 1957. P. 344.

БИБЛИОГРАФИЯ

И сам вопрос и литература, посвященная этому вопросу, так обширны, что даже при строжайшем отборе библиография заняла бы много страниц. Коснуться всех деталей, которые могут заинтересовать читателя, невозможно. Руководство по дальнейшему чтению было составлено Американской исторической ассоциацией («Руководство по исторической литературе» периодически пересматривается) для студентов и преподавателей Оксфорда, «Избранный список работ по Европе и другим странам 1715—1815 гг.», отредактированный Дж. С. Бромлеем и А. Гудвином (Оксфорд, 1956 г.) и «Избранный список литературы по европейской истории 1815—1914 гг.», отредактированный Алланом Буллоком и А. Дж. П. Тэйлором (1957 г.). Первый лучше. Книги, помеченные ниже, также содержат библиографические рекомендации.

Существует несколько серий по всеобщей истории, касающихся данного периода или какой-либо его части: основной является «Люди и цивилизации», потому что она содержит два тома Жоржа Лефевра, которые являются историческими шедеврами: *«Французская революция» (т. 1, 1789—1793, имеется в Англии, 1962) и *«Наполеон» (1953). Ф. Понтейль* «L'éveil des nationalités 1815—1848» (1960), вышедший вместо раннего тома под тем же названием Г Вейля, по которому также необходимы разъяснения. Аналогичная американская серия «Подъем современной Европы» является более логически построенной, но географически более ограничена. Можно прочесть книги Кейна Бринтона *«Революционное десятилетие 1789—1799» (1934), Дж. Бруун *«Европа и Французская империя» (1938) и Ф. Б. Арца *«Реакция и революция 1814—1832» (1934). Библиографически наиболее полезна серия «Клио», предназначенная для сту-

дентов и периодически пересматриваемая, особо отметим те места, где представлены текущие исторические дискуссии. Это такие книги: Е. Преклин и В. Л. Тапи, *«Le XVIIIe sciècle» (2 тома); Л. Вилла «La Pévolution et l'Empire» (2 тома), Дж. Дроз, Л. Гене и Дж. Видаленк *«L'époque contemporaine», т. 1, 1815—1871. Хотя устаревшая «Allgemeine Wirfschaftsgeschichte», т. II, «Новое время» Дж. Кулишера, переизданная в 1954 г. до сих пор является хорошим собранием экономической истории, но есть еще множество книг американских коллег приблизительно таких же по качеству, которые могут быть рекомендованы: «Экономическая история Европы с 1750» В. Боудена, М. Карповича и А. П. Ушера (1937), «Бизнес-цикл I» Дж. Шумпетера (1939) охватывают более широкий спектр событий, чем следует из заголовка. Из главных переводных работ по истории «Изучение развития капитализма» М. Х. Добба (1946) и «Великие изменения» (изданные как «Источники нашего времени» в Англии, 1946) К. Полания, также «Современный капитализм III: Экономическая жизнь прошлых лет высшего капитализма» (1928) Вернера Зомбарта-старшего. Для широкой публики «Histoire de la population mondiale de 1700 á 1948» (1949) М. Райнгарда, в особенности короткое, но замечательное вступление К. Циппола «Мировая экономическая история» (1962). По технике — Зингер, Хольмиард, Холл и Уильямс — «История техники», IV: «Промышленная революция 1750—1850» (1958) — не очень дальновидная, но полезная для справок. «Социальная история по инженерному искусству» (1961) В. Х. Эрмитаж с замечательным введением и «Социальная история осветительных работ» (1958) В. Т. О'Дэа и занимательны и полезны. Смотри также книги по истории науки. По сельскому хозяйству устаревшая, но еще пригодная А. Се «Esquisse d'une histoire du régime agraire en Europe au XVIII et XIX sciècles» (1921), пока ее нечем заменить более подходящим. До сих пор нет сборника современных исследований по сельскому хозяйству. О деньгах Марка Блоха очень короткая «Esquisse d'une histoire monetaire de l'Europe» (1954) так же полезна, как и К. Маккензи «Банковские системы Великобритании, Франции, Германии и США» (1945). Для желающих имеется полный сборник Р. Е. Камерона «Франция и экономическое развитие Европы 1800—1914» (1961), одно из самых существенных исследований за последние годы, может служить предислови-

ем к проблемам кредитования и инвестиций вместе с непревзойденной до сегодняшнего дня Л. Х. Дженкса, «Хождение британского капитала до 1875» (1927).

До сих пор нет полностью охватывающего обращения к вопросу промышленной революции, несмотря на множество недавних работ по экономическому развитию, не всегда представляющего интерес для историков. Наилучшей работой является «Studi Storici», 3—4 (Рим, 1961) и более специализированная «Первая международная конференция по экономике», Стокгольм, 1960 (Париж—Гаага, 1961). П. Монто «Промышленная революция 18-го века» (1906), несмотря на свой возраст, она остается основной в Британии. С 1800 г. ничего лучшего так и не появилось. «Британия и промышленность Европы 1750—1870» (1954) В. О. Гендерсонса описывает влияние Британии; «Промышленная революция в чешских землях» (Historica II, Прага 1960) Дж. Перса содержит библиографию для семи стран; В. О. Гендерсон «Промышленная революция на континенте: Германия, Франция, Россия 1800—1914» (1961) — для студентов последнего курса. Среди главных остается К. Маркс «Капитал», т. I,. и С. Гидион «Механизация» (1948) — первая работа по массовому производству.

А. Гудвин «Европейское дворянство в 18-м веке» (1953) знакомит с аристократией. О буржуазии ничего такого не написано. По счастью, лучшим источником являются легкодоступные романы Бальзака. «История положения рабочих при капитализме» (Берлин, 38 томов) Ю. Кучинского является энциклопедией о рабочем классе. Наилучшим современным учением остается Ф. Энгельс, «Положение рабочего класса в Англии в 1844». Для городского пролетариата Л. Шевалье, «Classes laborieuses et classes dangereuses á Paris dans la première moitié du 19-e sciècle» (1958) прекрасно сочетает в себе экономические сведения с художественным содержанием. Э. Серени «Il capitalismo nelli campagne» (1946), хотя сведения относятся только к Италии позднего периода, наиболее полезная работа по изучению крестьянства. Тот же автор «Storia des passaggio agrario italiano» (1961) дает анализ изменений в сельском хозяйстве, происшедших благодаря производственной деятельности человека. «Влияние картофеля на общество и историю» (1949) Р. Н. Саламана замечательна из-за исторической важности этого вида продовольствия, но несмотря на последние исследования история это-

но несмотря на последние исследования история этого жизненного продукта очень малоизвестна; следует отметить «Продукты питания англичан» (1939) Ж. Дрюмонда и А. Вильбрахама, «L'officier francais 1815—1871» (1957) Ж. Шалмена, «L'instituteur» (1957) Ж. Дюво и «Школьные учителя» (1957) А. Тропа, о необычных историях в профессии, где автор также описывает положительные изменения в обществе капитализма; а также «Летописи церковного прихода для Шотландии» Дж. Галта.

Наиболее интересной историей науки является «Наука в истории» Дж. Д. Бернала и «История наук» (1953) С. Ф. Масона — наилучшие по натурфилософии. Для справок М. Дома «Histoire de la science (Encyclopedie de la Pleiade, 1957). «Наука и промышленность в 19 веке» (1953) Ж. Д. Бернала дает несколько примеров взаимного влияния; Р. Тайтон, «Французская революция и научный прогресс» (в книге С. Лиллей «Очерки по общественной истории науки», Копенгаген 1953); К. К. Гиллиспи, «Генезис и геология» (1951) занимательна и отображает трения между наукой и религией. Об образовании — Г. Дуво и Б. Симона, «Изучение истории образования 1780—1870» (1960). О прессе — Ж. Вейль «Le Journal» (1934).

Существует множество трудов по истории экономики: Э. Ролла «История экономической мысли», Дж. Б. Бури «Идея прогресса» (1920), Э. Галеви «Развитие философского радикализма» (1938). Л. Маркус «Мысль и революция: Гегель и подъем социальной теории» (1941), Ж. Д. Коль «История социалистической мысли, 1789—1850». «Новый мир Генри Сен-Симона» (1956) Франка Мануэля — самая последняя работа об этой загадочной и значительной фигуре. Август Корну «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и работа (1818—1844)»; Берлин 1954; Ганс Коль «Идея национализма» (1944).

О религии. К. С. Латоретти «Христианство в революционную эпоху» I—III (1959—1961); В. Кантвелл Смит «Ислам в современной истории» (1957) и Х. Р. Нибур «Социальные источники сектантства» (1929) — о двух развивающихся религиях этого периода, В. Латернари; *«Moviment religiosi diliberta e di salvezza» (1960); С. Дубнов «Всемирная история еврейского народа» VIII и IX (1929) о евреях.

Для углубленного изучения истории искусств. Н. Л. Б. Певзнер «Очерк о европейской архитектуре» (иллюстрированное издание, 1960); Е. Х. Гомбрих «История искусств» (1950) и П. Х. Ланг «Музы-

ка в западной цивилизации» (1942); Арнольд Хайзер «Социальная история искусств», II (1951); Ф. Новотни «Живопись и скульптура в Европе 1780—1870» (1960) и Х. Р. Хичкок «Архитектура в 19 и 20 столетиях» (1958), учебная история искусств; Р. Д. Клингендер «Искусство и промышленная революция» (1947) и «Гойя и демократическая традиция» (1948); К. Кларк «Возрождение Готики» (1944); П. Ф. Фракостель, «Le style empire» (1944); И. Ф. Антал «Влияние классицизма и романтизма» (Бурлингтонский журнал 1935, 1936, 1940. 1941). О музыке: А. Айнштайн «Музыка и романтическая эра» (1947) и «Шуберт» (1951). О литературе: Г Лукач «Гёте и его время» (1955); «Исторический роман» (1962) и главы из Бальзака и Стендаля в «Изучении европейского реализма» (1950); Ж. Броновски «Уильям Блейк — человек без маски» (1954); Р. Веллег, «История современного критицизма 1750—1950, I» (1955); Р. Гоннард «Le Légende du bon sauvage» (1946), Х. Т. Паркер «Культ античности и французские революционеры» (1937), П. Трахард «La sensibilité révolutionnaire 1791—1794» (1936), П. Журда «L'exotisme dans la littérature francaise» (1938) и Ф. Пикард «Le romantisme social» (1944).

Из исторических событий этого периода постараемся выделить некоторые темы. О революциях и революционных движениях библиография очень объемная по 1789 году. Несколько меньше по 1815—1848 гг. Ж. Лефевр «Начало Французской революции» (1949), А. Собуль «Précis d'histoire de la Révolution Francais» (1962), А. Гудвин «Французская революция» (1956). Существует еще много литературы. Бромлей и Гудвин представили хорошее руководство из следующих работ: Собуль «Les sanscullottes en l'an II» (1960), энциклопедический труд Ж. Рюде «Толпа во Французской революции» (1959) и Ж. Годшо «La contre-révolution» (1961). К. Л. Р. Джеймс «Черные якобинцы» (1938) описывает революцию на Гаити. С. Франкович «Idee sociali e organizzazione operaia nella prima meta dell 1800» (1959) и Е. Айзенштайн «Филиппо Микеле Буонарроти» (1959) знакомят нас с тайными обществами. А. Мазур «Первая русская революция» (1937) рассказывает о декабристах. Р. Ф. Лесли «Польская политика и революция в ноябре 1830» (1956). О рабочих движениях нет общего исследования. Е. Доллинз «Histoire du mouvement ouvrier» I (1936) знакомит только с Британией и Францией. А также А. Б. Шпитцер «Революционные теории Августа Бланки» (1957), Д. О. Эванс «Le socialisme romantique»

(1948) и О. Фести «Le mouvement ouvrier au début de la monarchie de Juillet» (1908).

О 1848 г. Ф. Фейте «Начало эры, 1848» (1948) содержит очерки о многих странах; Ж. Дроз «Les révolutions allemandes de 1848» (1957), Е. Лабрусс «Aspects de la crise... 1846—1851» (1956) — подробное освещение экономики Франции. А. Бриггс «Изучение чартизма» (1959). Е. Лабрусс «Comment naissent les révolutions?» (Париж, 1948).

По международным отношениям: А. Сорель «L'Europe de la Révolution Françáise I» (1895), Ж. Годшо «Великая нация» в 2 т. (1956) описывают экспансию революции за границу. Тома 4 и 5 — *«История международных отношений» (А. Фугиера до 1815 г. и П. Ренувен — 1815—1871 гг., обе 1954 г.). О процессе войны: Б. Х. Лиддел Гарт «Призрак Наполеона» (1933), Тарле «Нашествие Наполеона в Россию в 1812 г.» (1942), Ж. Лефевр «Наполеон, заметки о Французской армии», М. Леви, «Социальная история морского флота 1789—1815» (1960). Е. Ф. Хекшер «Континентальная система» (1922) — ее необходимо дополнить Ф. Круазе «Le blocus continental et l'économie britannique» (1958) по экономическим проблемам. Ф. Редлих «De praeda militari: грабеж и награбленное добро 1500—1815» (1955). Ж. Н. Л. Бейкера «История географических исследований и открытий» (1937) и замечательный «Российский атлас географических открытий и исследований» (1959) содержат описание завоевания мира европейцами; К. Паникар «Азия и западное влияние» (1954), Г. Сцелле «Le traité negriere aux Indes de Gastille», 2 т. (1906) и Г. Мартин «Histoire de l'Esclavage dans les colonies francaises» (1948) — основа изучения работорговли. Е. О. Липпман «История сахара» (1929) и Н. Дир. «История сахара», в 2 т. (1949). Е. Вильямс «Капитализм и рабство» (1944). По теме «неформальной» колонизации мира через торговлю и канонерки — М. Гринберг «Британская торговля и открытие Китая» (1949) и Х. С. Ферне «Британия и Аргентина в XIX в.» (1960). Относительно двух больших районов, находившися под европейским владычеством — В. Ф. Вертайм «Индонезийское общество в переходный период» (1959) (см. также Ж. С. Фурниваль «Колониальная политика и практика», 1956, которая относится к Индонезии и Бирме); из многочисленной литературы об Индии можно выбрать: Э. Томпсон и Г. Т. Горат «Подъем и осуществление британского правления в Индии» (1934); Е. Стокс «Анг-

лийские утилитаристы и Индия» (1959); А. Р. Дезай «Социальная основа индийского национализма» (Бомбей, 1948); такой литературы по Египту при Мохаммеде Али нет, но вот Х. Додвел «Основатель с временного Египта» (1931) может проконсультировать.

Невозможно не указать литературу по истории некоторых стран. О Британии: Э. Галеви «История английского народа в XIX в.» остается фундаментальной по истории Англии в 1815 г., т. 1; А. Бриггз «Эра улучшений 1780—1867» (1959). О Франции: Ф. Саньяк «La formation de la société francaise moderne», II (1946), Г. Райт «Франция в наше время» (1962), Ф. Понтейль «La monarchie parlementaire 1815—1848» (1949) и Ф. Артц «Франция во время реставрации Бурбонов» (1931). О России: М. Флоринский «Россия», II (1953) и М. Н. Покровский «Краткая история России», (1933) и Лященко «История национальной экономики России» (1947). О Германии: Р. Паскаль «Подъем современной Германии» (1946), К. С. Пинсон «Современная Германия» (1954). Т. С. Хамероу «Реставрация, революция, реакция: Экономика и политика Германии 1815—1871» (1958). Д. Ж. Дроз и Г Крэйг «Политика прусской армии» (1955). Об Италии: Д. Канделоро. «Gloria dell Italia moderna II 1815—1846» (1858). Об Испании: П. Вилар «История Испании» (1949) и Ж. В. Вивс «Historia social de España y America Latina», IV, 2 (1959) прекрасно иллюстрирована, А. Ж. П. Тейлор «Габсбургская монархия» (1949), Э. Вангерман «От Иосифа II до якобинских испытаний» (1959). О Балканах: Л. С. Ставрианос «Балканы с 1453» (1953) и Б. Льюис «Возникновение современной Турции» (1961). О Севере: Б. Ж. Ховд «Скандивавские страны 1720—1865», 2 т. (1943). Об Ирландии: Э. Штраус «Ирландский национализм и британская демократия» (1951) и «Великий голод, из недавней Ирландской истории» (1957). О Нидерландах: Х. Пиренн, «История Бельгии», V—VI (1926, 1932), Р. Демолин «Революция 1830» (1950) и Х. Р. Ц. Райт «Свободная торговля и протекционизм в Нидерландах 1816—1830» (1955).

И несколько замечаний о главных работах. «Энциклопедия мировой истории» (1948) В. Лангера или Плотц «Главные даты мировой истории» (1957), «Летопись европейской цивилизации 1501—1900» (1949) А. Майера. «Словарь статистики» (1892) М. Малхала. Среди энциклопедий по истории новая «Советская Историческая Энциклопедия» в 12 томах». В «Encyclopédie de la Pleiade» имеется не-

сколько томов по всеобщей истории, истории литературы, истории исследований и истории науки. Cassell's Encyclopedia of Literature (2 тома). И под редакцией Э. Блома и Грави «Энциклопедический словарь о музыке и музыкантах» (9 томов) (1954). «Энциклопедия мирового искусства», (из 15 томов опубликованы I—V). «Энциклопедия Общественных наук» (1931).

Следующие атласы: «Атлас истории СССР» (1950), Дж. Д. Фейг «Атлас истории Африки» (1958), Х. В. Хазард и Х. Л. Кук «Атлас по исламской истории» (1943) Ж. Т. Адамс «Атлас по Американской Истории» (1967) и главные — Дж. Энгель «Большой атлас всемирной истории» (1957) и Р. Мак-Нали «Атлас мировой истории» (1957).

ОГЛАВЛЕНИЕ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ XIX ВЕКА ЭРИКА ХОБСБАУМА *А. А. Егоров* 3

Предисловие 6

Введение 8

ЧАСТЬ I. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ

Глава 1. МИР В 178О-х годах 13
Глава 2. ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 43
Глава 3. ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 80
Глава 4. ВОЙНА 113
Глава 5. МИР 144
Глава 6. РЕВОЛЮЦИИ 157
Глава 7. НАЦИОНАЛИЗМ 187

ЧАСТЬ II. ИТОГИ

Глава 8. ЗЕМЛЯ 207
Глава 9. К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ МИРУ 233
Глава 10. КАРЬЕРА, ДОСТУПНАЯ ТАЛАНТУ 253
Глава 11. РАБОЧАЯ БЕДНОТА 277
Глава 12. ИДЕОЛОГИЯ: РЕЛИГИОЗНАЯ 299
Глава 13. ИДЕОЛОГИЯ: СВЕТСКАЯ 320
Глава 14. ИСКУССТВА 346
Глава 15. НАУКИ 378
Глава 16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТНОСИТЕЛЬНО 1848 г. 404

Карты 419

Комментарии к русскому изданию 433

Примечания 448

Библиография 469

Эрик Хобсбаум

ВЕК РЕВОЛЮЦИИ

Европа 1789 — 1848

Художник Т. Неклюдова
Корректоры: О. Милованова, В. Югобашьян

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.
Сдано в набор 24.10.98. Подписано в печать 30.11.98.
Формат 60x90/16. бум. офсетная. Гарнитура CG Times.
Печать офсетная. Усл. п. л. 30,0.
Тираж 5000 экз. Зак. 82.

Издательство «Феникс»
344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на полиграфическом предприятии «Офсет».
400001, г. Волгоград, ул. Ким, 6.

Эрик Хобсбаум родился в Александрии в 1917г. Получил образование в Вене, Берлине, Лондоне и Кембридже. Член Британской Академии и Американской Академии Искусств и Наук, обладатель почетных степеней университетов ряда стран. До пенсии работал в Бирбекском Колледже Лондонского университета, а затем в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Его книги: Primitive Rebels, Labouring Men and Worlds of Labour, Industry and Empire and Bandits.

Посвященная двадцатому веку трилогия известного британского историка Эрика Хобсбаума является одним из величайших достижений современной исторической мысли.

С момента выхода в свет первого тома этого выдающегося труда (более трех десятилетий назад) и вплоть до сегодняшнего дня исследование Хобсбаума неизменно попадает практически во все каталоги книг по всеобщей истории, предлагаемые англоязычному читателю. Разгадка этого феноменального успеха проста: после нескольких десятилетий упорного и кропотливого труда английский ученый создал детальный и оригинальный обзор важнейших явлений и процессов, характерных для европейского общества в период между 1789 и 1914 гг. При этом он не только суммировал факты, но и попытался вписать их в систему исторического синтеза, «воссоздать дух того времени».

В «Веке революции» Хобсбаум проследил трансформацию европейской жизни между 1789 и 1848 гг. на примере «двойственной революции» — Великой французской революции и промышленной революции.

ISBN 5-222-00614-X

